

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

НАТАЛИЯ ЛЕБИНА

ПАССАЖИРЫ
КОЛБАСНОГО
ПОЕЗДА

ЭТЮДЫ К КАРТИНЕ БЫТА РОССИЙСКОГО ГОРОДА: 1917 – 1991



КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ



Новое
Литературное
Обозрение

НАТАЛИЯ ЛЕБИНА
ПАССАЖИРЫ
КОЛБАСНОГО
ПОЕЗДА

ЭТЮДЫ К КАРТИНЕ БЫТА
РОССИЙСКОГО ГОРОДА: 1917—1991

НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА

2019

УДК 304.3(47+576)«1917/1991»

ББК 63.3(2)6-75

ЛЗЗ

Редактор серии Л. Оборин

Лебина, Н.

ЛЗЗ Пассажиры колбасного поезда: Этюды к картине быта российского города: 1917–1991 / Наталия Лебина. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 584 с.: ил. (Серия «Культура повседневности»)

ISBN 978-5-4448-0948-8

Новая книга известного историка Наталии Лебиной состоит из исследований-этюдов, на микро- и макроуровне описывающих все стороны повседневности советского горожанина: от питания до развлечений, от выбора одежды до интимной жизни, от заключения брака до похоронных обрядов. Лейтмотив книги — специфическое развитие общецивилизационного процесса модернизации в советских условиях. Лебина пишет не только как исследователь, но и как свидетель эпохи: эпизоды из истории ее семьи выступают как примеры типичных ситуаций, в которые попадали советские обыватели.

УДК 304.3(47+576)«1917/1991»

ББК 63.3(2)6-75

На обложке: Танцы на платформе.

Фото из личного архива Н. Б. Лебиной

© Н. Лебина, 2019

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

*Внукам Тиме и Ване посвящается.
Может быть, когда-нибудь прочтут...*

ИСТОРИК И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: ОБЩЕЕ И СУГУБО ЧАСТНОЕ

Сравнительно недавно я прочитала в LiveJournal следующие строки: «Суть в том, что никаких специфических „колбасных электричек“ в том СССР <...> не было. Миф о колбасных электричках в СССР возник уже после разгрома всего советского, он следствие специальной работы институтов пропаганды с человеческой памятью. Идеологи берут некоторый кусочек реальности из воспоминаний и навязчиво толкуют его в своих интересах... „Колбасные электрички“ — миф, их никогда не было в том виде, в котором нам их подают. Даже сам термин и знаменитый анекдот я в СССР никогда не слышал до перестройки»¹. А когда высказывания подобного рода я услышала и в публичных псевдопатриотических выступлениях, идея, структура и, главное, название новой книги о советском быте стали для меня очевидными.

Я попытаюсь представить обыденную жизнь как историко-социальное полотно, написанное, если так можно выразиться, в манере пуантилизма. Конечно, это метафора. Ведь «отдельными точечными мазками» (технический прием пуантилизма) будут являться небольшие самостоятельные тексты, которые я называю «этюдами». Их совокупность должна представить целостное изображение быта российского города в советскую эпоху. В качестве названий этюдов выступят возникшие в советской действительности или видоизменившиеся под ее

влиянием слова и словосочетания. Это названия вещей, продуктов, социальных типажей, явлений и институтов, существовавших в бытовом пространстве.

На первый взгляд может показаться, что моя новая книга, в которой материал — 27 этюдов — расположен в алфавитном порядке, — это вариант словаря². Но это не так. Мне представляется, что написание тематических словарных справочников, претендующих на воссоздание картины обыденной жизни конкретной исторической эпохи, — задача, которую можно осуществить лишь совместными усилиями профессионалов: историков и лингвистов. Именно поэтому я предпочла ныне написать по сути дела сборник статей (этюдов) о советском быте.

Выбор тематики в первую очередь определяется авторским дискурсом. Право на составление текстов по такому принципу в остроумной форме изложил известный лингвист и философ Вадим Руднев. Он считает, что даже в словари можно включать «те слова и словосочетания, которые понятны и интересны нам самим»³. Конечно, мне, имеющей в своем научном арсенале достаточное количество исследовательских работ, посвященных разнообразным проблемам истории обыденности в рамках советской системы, нелегко представить читателю нечто совершенно новое. Некоторые сюжеты моей новой книги были частично затронуты в статьях и монографиях, опубликованных в 1982–2015 годах. Но в нынешнем тексте я попыталась показать необычные ракурсы изучения проблем повседневности. Так, в качестве знакового для жизни в СССР слова на букву «А» я выбрала не «аборт» — явление, над которым много размышляла и как исследователь, и как публикатор⁴, а «акваланг». Эта лексическая единица, появившаяся в русском языке в 1960-х годах, у меня ассоциируется с процессом изменения роли спорта в жизни советских людей. Интересным мне представилось и рассмотрение через оптику социальной истории существительного «шуба» в сочетании с прилагательным «искусственная». В этом понятии

можно разглядеть вестиментарный код распада установок «сталинского гламура» — бытовой составляющей большого стиля. Он, как известно, был основан на принципах навязчивой презентации роскоши и респектабельности, как в архитектуре, так и в одежде.

Анализ социально-бытового смысла аббревиатуры ЖАКТ позволяет с неожиданной стороны раскрыть проблематику обеспечения советских граждан жильем. В научном и общественном дискурсах сегодня превалирует точка зрения о преднамеренном закабалении городского населения посредством жилищной политики в СССР⁵. Отрицать это бессмысленно, тем более что разворачивающаяся ныне спешная реновация хрущевок в Москве — лишнее доказательство того, что власть манипулирует бытовыми проблемами населения в своих интересах. И тем не менее для понимания противоречивости характеристик советской повседневности следует знать, что в 1920–1980-х годах государство неоднократно предлагало способы решения «квартирного вопроса» за счет личной инициативы населения. Правда, контуры российской обыденности 1917–1991 годов, сформированные при отсутствии частной собственности и в идеологических тисках господства единой коммунистической идеологии, тормозили развитие индивидуальных начинаний.

Еще больше проблем в реконструкции картины советского быта, как в сфере науки, так и в области общественного сознания, позволяет выявить словосочетание «колбасный(ая) поезд (электричка)». Его существование в пространстве русского подцензурного языка зафиксировано филологами, отслеживавшими появление новых слов и выражений в 1990-х годах: «колбасными» назывались электропоезда, «на которых в период продовольственного дефицита в 1970–1980-е годы совершались поездки из провинции в Москву и другие крупные города за продуктами и за бывшей тогда дефицитной колбасой (публ. ирон.)»⁶. «Колбасные электрички» фигурируют и в ряде

словарей советской повседневности⁷. Однако ни филологи, ни антропологи, ни даже историки не осмеливаются датировать возникновение на первый взгляд забавного вида транспорта для перевозки мясных изделий. Подобная ситуация и наводит на мысль о том, что «колбасные поезда» как некий символ товарного дефицита в СССР в 1970–1980-х годах — миф, созданный журналистами для очернения советской повседневности. Об этом и писал блогер в своем «Живом журнале». Конечно, в СССР никто умышленно не формировал спецсоставы для массовых закупок колбасных изделий в Москве и доставки их на периферию. Во всяком случае, пока документально подтверждена этих фактов, в отличие от существования в 1970–1980-х годах «лыжных стрел» — электричек для любителей зимнего спорта, — обнаружить не удалось*. Но реально можно считать саму идиому «колбасный(ая) поезд (электричка)», что легко подтвердить с помощью целого комплекса исторических источников. Например, фольклор эпохи Брежнева зафиксировал датированный 1979 годом анекдот, который вполне мог породить словосочетание, соединяющее продукт питания и средство передвижения: «Что такое: длинное, зеленое и пахнет колбасой? — Электричка из Москвы»⁸.

Изыскания фольклористов являются хотя и косвенным, но впечатляющим подтверждением целого ряда процессов, стремительно развивавшихся в советском быту 1970–1980-х годов. В первую очередь это продуктовый дефицит, связанный с деструктивными тенденциями в сельском хозяйстве. Информация о проблемах с продовольствием в городах СССР в эпоху брежневского застоя ныне не секрет⁹. Конечно, в это время

* Л. В. Беловинский не подвергает сомнению факт существования в 1970–1980-х годах дополнительных пригородных субботних и воскресных электропоездов в Москву из соседних областей. Более того, автор энциклопедического словаря советской повседневности без ссылок на источники информации смело утверждает: «Каждый секретарь обкома в условиях продовольственного дефицита считал для себя долгом и большой честью добиться такой дополнительной электрички» (Беловинский 285).

голод советским людям не угрожал, но многих продуктов, и прежде всего мяса, явно не хватало. Не случайно ЦК КПСС и Совет министров СССР разработали в мае 1982 года «Продовольственную программу». Цель документа — в возможно короткие сроки, к 1990 году, решить проблему бесперебойного снабжения населения продуктами¹⁰. Программа сразу стала предметом фольклорного творчества. Уже в 1982 году появились анекдоты: «Что будет в СССР после выполнения „Продовольственной программы“? — Всеобщая перепись оставшегося населения», «Новый лозунг: „Умрем с голоду, но „Продовольственную программу“ выполним“» и др.¹¹ Эти тексты — вполне надежное свидетельство дефицита продуктов питания в СССР уже в предперестроечное время. В 2002 году писатель Леонид Жуховицкий опубликовал в «Литературной газете» статью «Анекдот против статистики», где настоятельно рекомендовал «будущим историкам, специализирующимся на советской жизни, изучать не статистические таблицы, а анекдоты». «Истина — там!» — утверждал литератор¹². Осмелюсь добавить — а нередко и в идиоматических выражениях.

Знаковым в контексте советских бытовых реалий является и то, что в названии «продуктовых» поездов фигурирует прилагательное «колбасный(ая)», а не «мясной(ая)». Объяснить это можно переменами в структуре питания в результате увеличения численности городского населения. У горожан традиционно отличные от селян пищевые ориентиры, но в СССР к специфике городской культуры еды уже в 1960-х годах прибавился феномен некоего «извращенного вкуса», порожденный нарастающим дефицитом. Определенные продукты превратились в неофициальные, но устойчивые маркеры положения человека в системе социальных связей. Касалось это и мясных деликатесов. Искусствоведа Михаила Германа уже в начале 1960-х годов поразило «невиданное барство» его московских родственников — партийных чиновников среднего уровня. В их доме в избытке были уже малодоступные обычным людям

продукты. При этом за столом, по воспоминаниям Германа, все «накладывали себе на тарелку толстые ломти карбоната, ветчины, дорогих колбас, сыра и лопали их, заедая тонкими ломтями хлеба с маслом»¹³. Такая еда не соответствовала принципам здорового питания, но демонстрировала принадлежность либо к номенклатуре, либо к клану торговых работников. На рубеже 1970–1980-х годов «престижность» потребления колбасы — не слишком полезного продукта — достигла апогея. И это аккумулировала в себе идиома «колбасная электричка».

Забавное выражение, благодаря наличию в нем существительного, означающего название транспортного средства, свидетельствовало и об особой стратегии выживания советских людей. Она основывалась на идее самообеспечения, которое можно было реализовать, в частности, посредством поездок. В эпоху Гражданской войны появился феномен «мешочничества». Тогда горожане в теплушках выезжали на периферию менять вещи на продукты. Советские курортники всегда везли с юга недоступные горожанам средней полосы и Севера фрукты и овощи. Помогали выживать в условиях дефицита и поезда, перевозившие «челноков» эпохи горбачевской перестройки. Кроме Москвы и Ленинграда, а также столиц союзных республик «заповедными» местами, где относительно свободно продавалось прежде всего мясо, были и города закрытого типа. Такие научно-производственные поселения вошли в советскую послевоенную историю под названием ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование). Наукограды, где исследовательские лаборатории входили в крупные производственные структуры, представляли собой модель идеальной жизни в государстве Советов¹⁴. Жительница одного из таких уральских ЗАТО свидетельствовала: «Нам казалось, что мы живем уже при коммунизме. В магазинах было все — от крабов до черной икры»¹⁵. Кроме постоянных жителей «отовариться» в ЗАТО могли люди, командированные на секретные объекты. Горьковский инженер, начальник расчетного бюро тогдашнего

секретного научно-конструкторского учреждения ПНО ГАЗ Владилен Денисов рассказывал о внезапном «счастье», свалившемся на него в одной из командировок на Урал. Попав в годы застоя в закрытый город — Новоуральск, он смог привезти домой, в Горький, 2 кг шашлыка¹⁶! В данном случае дефицит был доставлен самолетом, а не «колбасной электричкой».

Эпизод из воспоминаний нижегородца подчеркивает идиоматический характер выражения «колбасный поезд», запечатлевшего специфику снабжения и шопинга в последние 20–25 лет существования советской власти. В стране не хватало не только продовольствия, но промышленных товаров, что усугублялось нелепостями системы планирования. В небольшие городки и поселки городского типа часто завозили совершенно не востребованные там предметы одежды и обуви. Эту диспропорцию зафиксировала художественная литература 1970-х годов, например роман Виля Липатова «И это все о нем» (1974). Небольшой полудеревенский магазинчик в сибирской глубинке поразил героя липатовской книги небывалым изобилием: «В Сосновском орсовском магазине на нестроганных прилавках лежит весь мир <...> Коричневая кофточка <...> была изготовлена во Франции, голубая курточка с восхитительными замками и висюльками приплыла в поселок из Японии, нейлоновые рубашки были упакованы в Югославии, мужские плащи были с чешскими этикетками; чулки лежали итальянские, термосы — индийские, детские гольфы — болгарские <...> В Сосновку, в Сосновку, городские модницы! За <...> лаковыми высокими сапогами, для которых в Сосновке нет асфальта <...> Здесь носят отечественные резиновые и кирзовые сапоги, курткам с замками и висюльками пока предпочитают телогрейки»¹⁷. Неудивительно, что жители крупных городов из командировок на периферию везли разные вещи, которые, конечно, поступали в торговые сети мегаполисов, но очень быстро там раскупались <...> Так, самолеты и поезда дальнего следования становились разновидностью

«колбасных электричек». В общем, если назвать один из этюдов к картине советского быта «Колбасный поезд», я бы дала этой части книги следующий подзаголовок: «Идиомы и анекдоты как источник по истории эпохи застоя». Исследователя не должно пугать отсутствие понятия «колбасная(ый) электричка (поезд)» в словарях неологизмов брежневского периода истории СССР. Экзотическое словосочетание намекало на странности советской повседневности и, конечно, не встречалось в подцензурной лексике.

Сюжет с «колбасной электричкой» введен мною в предисловие не только потому, что я хочу прояснить смысл ряда мифов о специфике советского быта и не слишком скучно рассказать читателям об использовании фольклора в качестве исторического источника. Есть у моего нового текста и «сквозная задача». Вернее сказать, следуя алгоритму, предложенному когда-то Константином Станиславским, я должна осуществить некое «сквозное действие», чтобы решить главную задачу текста и ответить на вопрос, каким все же было советское общество: традиционным или современным (модерным). Сквозным же действием будет приобщение историка-традиционалиста к «антропологическому повороту» в гуманитарном знании.

Сам термин «антропологический поворот» пока еще остается в российском интеллектуальном пространстве предметом научных споров. Именно так я расцениваю дискуссию на страницах 113-го номера журнала «Новое литературное обозрение». На моей памяти исследователя-историка, начавшего свой профессиональный путь на рубеже 1960–1970-х годов, проходили бурные дискуссии — правда, в рамках единой и единственной на то время методологии, — о том, каково историческое наполнение понятия «культурно-технический уровень рабочего класса». Историки изо всех сил пытались найти инструменты влияния рабочих на создание произведений литературы и искусства. Теоретики продуцировали слоганы, которые с трудом увязывались с жизненными реалиями и прошлого, и текущего

момента. В качестве примера приведу идеи «развитого социализма» и «союза труда и науки». В 1980–1990-х годах отечественные гуманитарии темпераментно обсуждали проблемы ментальности, активно генерируя разнообразные определения этого термина. Затем дискуссия развернулась по поводу общего и особенного в понятиях «история ментальности» и «историческая антропология»¹⁸. Однако понятийные споры не приносят должного результата. Не антропологизуют прошлое и новые, не совсем обычные для отечественных историков темы исследования. Так произошло с книгой Сергея Журавлева и Юкки Гронова «Мода по плану»¹⁹.

Журавлев — сотрудник Института Российской истории РАН — совершил научный подвиг. Известно, что академическая тяжеловесность не позволяет отечественным ученым, специализирующимся, в частности, в области гражданской истории России XX века, выходить за рамки традиционных представлений об «истинно научных темах» и заниматься изучением социального феномена моды в историческом контексте. Журавлеву и Гронову удалось выстроить академическую модель развития советской модной индустрии. Их книга — аналитическое, хорошо фундированное повествование об административно-организационной стороне моделирования одежды в СССР. Но «антропологический след» в тексте отсутствует, что во многом объясняется спецификой источниковой базы исследования: обилием нормативных и делопроизводственных документов моделирующих организаций.

Конечно, и источники такого рода можно при желании «очеловечить». В моей исследовательской практике было достаточно подобных ситуаций. Так, ценные сведения именно антропологического, связанного с поведением и эмоциями людей, характера удалось обнаружить в сугубо официальных бумагах — протоколах заседаний комиссии при подотделе благоустройства отдела коммунального хозяйства Ленсовета в конце 1924 — середине 1925 года. Члены комиссии, в том

числе представители научной и художественной интеллигенции, вынужденно обсуждали бредовую идею постановки на Александровскую колонну в центре Дворцовой площади фигуры Ленина²⁰. Стенограммы заседаний комиссии — внешне формальные документы государственной организации (Ленсовета) — дают представление о практиках выживания «спецов» в условиях идеологического диктата большевиков. Иронические предложения интеллектуалов обрядить фигуру Ленина в тогу, а красноармейцев «в ампирные одежды» — документальное свидетельство накала эмоций в сфере культуры в середине 1920-х годов.

Антропологический след можно обнаружить и в официальных, поддающихся формализации документах. Пример — так называемые «мебельные дела». Они формировались в 1918–1922 годах в ходе «квартирного или жилищного передела» (подробнее см. «Уплотнение»). Сочетание четких анкет с глубоко индивидуализированными заявлениями и жалобами позволяет понять, что чувствовали люди, терявшие и обретавшие материальные знаки социального благополучия — квартиры и мебель. «Мебельные дела» — репрезентативные материалы для изучения антропологии классовой ненависти.

И все же традиционно считается, что детали быта лучше всего отражены в текстах личного происхождения, с характерной для них повествовательностью. Они не только констатируют факты, но и передают индивидуальный подход автора к событиям и явлениям, а также разнообразные эмоции. Эти качества во многом присущи произведениям художественной литературы, написанным во время или сразу после определенных исторических событий. Историки давно и многократно обсуждали ценность такого нарратива для реконструкции прошлого. Лев Гумилев, например, отмечал: «Каждое великое и даже малое произведение литературы может быть историческим источником, но не в смысле буквального восприятия его фабулы, а само по себе, как факт, знаменующий идеи и мотивы

эпохи. Содержанием такого факта являются его смысл, направленность и настроенность, причем вымысел играет роль обязательного приема»²¹.

Я буду часто использовать художественные произведения, прозу и поэзию, созданные в советское время представителями разных литературных направлений. Писатели — современники описываемых событий, придерживавшиеся реалистического метода, — «по умолчанию» были точны в передаче именно деталей быта. Достоверность художественной литературы подтверждается и тем, что одни и те же бытовые факты зафиксированы и у явных апологетов коммунистической власти, и у литераторов-диссидентов, и у тех, кто смог найти золотую середину в изображении советской действительности. Одновременно в книге будут встречаться и отсылки к привычным эгодокументам: дневникам, письмам, воспоминаниям, как опубликованным, так и извлеченным из архивов.

Целенаправленное аналитическое чтение разнообразных исторических источников сформировало авторский дискурс. Однако не меньшее влияние на него оказал и опыт собственной обычной жизни человека, «рожденного в СССР». Мои родственники и я много чего повидали за 74 года советской власти. Среди нас были люди, создавшие свой капитал и потерявшие его после революции, были те, кого «сажали», и те, кто «сажал», были ушедшие в мир иной в почтенном возрасте и благополучии, и те, кто в разочаровании выбрал путь физического самоуничтожения. Предки поселились в Петербурге на рубеже XIX–XX веков. В семье уже пять коренных городских поколений. Представители трех из них родились и выросли в советской действительности. Перемены, которые принесла революция 1917 года, выпали и на долю моих родных. Они познали горечь несбывшихся надежд эпохи нэпа, испытали трудности довоенных пятилеток, Финской кампании, блокады и Ленинградского фронта. Вместе с ними я соприкоснулась с нуждой обывденной жизни «воинов-победителей», восторгами и разочарованиями

времени десталинизации. И старшее, и среднее, и молодое поколение нашей среднекультурной питерской семьи не впали в психоз «вещизма», в искус диссидентства и в соблазн «исхода» в годы брежневско-романовского застоя. Мы преодолели проблемы перестроечного времени и нашли смысл существования в новых реалиях развития российского общества. Я не стыжусь обыкновенности моей семьи. Мы действительно питерские обыватели.

Несмотря на превратности судьбы, революции и войны, в нашем доме сохранился некий «фонд» личных документов. Это трудовые книжки и удостоверения личности, всякого рода благодарственные грамоты 1920–1940-х годов, принадлежавшие моим бабушкам и дедушкам; это семейные письма Великой Отечественной войны и мирного времени; это даже детские записки, которые отправлял мой сын из пионерского лагеря во второй половине 1980-х, и, конечно, фотографии. Но до настоящего времени никто из моих близких не посчитал возможным использовать неоспоримое преимущество старости — право писать мемуары, что стало особенно популярно в контексте всеобщей компьютеризации населения. Профессор Университета Тампере Ирина Савкина справедливо охарактеризовала эту ситуацию сегодняшнего времени: «Вопрос о том, кто имеет право на автобиографию и другие формы публичной саморепрезентации, который в былые времена так смущал бравшихся за перо, уходит в вечность вместе с этим самым „вечным пером“. Во времена, когда „наш бог — блог“, ответ на этот вопрос очевиден: таким правом и возможностью наделен каждый»²².

Действительно, вспоминают ныне многие, но... Как профессиональный историк я прекрасно понимаю, что ценность материалов персонального происхождения зависит или от масштаба личности, решившей поведать о себе в потоке времени, или от причастности мемуариста к неординарным событиям. В моем случае нет ни того ни другого, и все же я хочу

включить в эту книгу мои личные впечатления о советском быте. Однако, чтобы не погрязнуть в мелочах, интересных лишь для себя и узкого круга знакомых, я буду комментировать исследовательский текст об истории повседневности личными и семейными воспоминаниями. Кстати сказать, это позволит приблизиться к методикам антропологического исследования повседневности, в числе которых — так называемая микроистория. Отчасти причиной включения в исследовательский текст собственных мемуаров стала позиция некоторых специалистов по социальной истории, которые неоднократно отмечали, что необходимо писать об истории повседневности с позиций собственного эмоционального восприятия предметного мира прошлого²³. Воспоминания — самая удобная и в то же время безопасная форма реализации этой идеи, хотя для создания серьезной мемуаристики прежде всего необходим талант. А он как деньги: есть — есть, а нет — значит, нет. Впрочем, и здесь могут прийти на помощь профессиональные навыки и знания. В 1930-х годах работники Истпарта (научно-исследовательского учреждения) провели несколько вечеров воспоминаний участников обороны Петрограда в годы Гражданской войны. Это были мемуарные выступления на заданную тему и по определенным опросникам, подготовленным историками²⁴. Конечно, стенограммы вечеров необходимо подвергать верификации, как любые другие источники, но заданность темы явно дисциплинировала мысль мемуаристов. Так будет и в моем случае. А конкретность предмета воспоминаний провоцирует, казалось бы, совершенно неожиданные ассоциации. Но ведь они, как подчеркивал Константин Паустовский, «теснейшим образом участвуют в творчестве»²⁵. Осмелюсь уточнить — как в литературном, так и в научном.

Написанная в двух жанрах — исторического исследования и воспоминаний, — моя новая книга представляется достаточно рискованным экспериментом. Однако надеюсь, что обилие

в этюдах фактического материала, извлеченного из самых разнообразных и достаточно традиционных источников, защитит меня от агрессивных критиков. А присутствие личных сюжетов позволит парировать нападки тех оппонентов, которые по поводу исследований сравнительно недавнего прошлого всегда заявляют: «Обычные люди так не жили!» Жили! И выражение «колбасный поезд» вполне может быть метафорой для описания реалий быта среднего советского горожанина.

АКВАЛАНГ

*Любительский спорт: от гражданской обязанности
к модному стилю поведения*

Слово «акваланг» — название торговой марки, фирмы по производству оборудования и снаряжения для подводного плавания. Вероятно, именно поэтому оно отсутствует в «Энциклопедическом словаре российской повседневности XX века», составленном Сергеем Борисовым. Леонид Беловинский, по видимому желая избежать претензий, связанных с некорректностью использования понятия «акваланг» в русском языке, включил в лексикон советской повседневности лишь термин «аквалангисты». Так он именует подводных пловцов, использующих «ласты и специальные аппараты для дыхания под водой»¹. Человечество и до изобретения аквалангов, и параллельно с ними имело приспособления для относительно длительного нахождения в подводном пространстве. Однако скафандр, например, для использования требует коллективных усилий. Конструкция же акваланга изначально подразумевала некую автономность в применении. Неудивительно, что именно этот аппарат, а не традиционное снаряжение водолазов, стал фигурировать в сфере быта и досуга.

Научно-популярную информацию об аквалангистах советский человек смог получить почти одновременно с разоблачением культа личности Сталина: в 1956 году в журнале «Юность» был опубликован перевод книги французских исследователей мирового океана Жак-Ива Кусто и Фредерика Дюма

«В мире безмолвия». Текст книги по причине нежного возраста (восемь лет) я осилить не смогла. Но в 1957 году на советских киноэкранах появился снятый годом раньше документальный фильм Кусто «В мире безмолвия». Его я смотрела три раза. Впечатление было ошеломляющим. Мне кажется, что основные знания о подводном мире, во всяком случае о гигантских скалах мантах и о страшной рыбе мурене, я получила из фильма Кусто. Но пока это выглядело как чудо — свободный человек в подводном мире. К середине же 1960-х ситуация изменилась. Реалии «мира безмолвия» стали частью советской повседневности. Это произошло отчасти и благодаря советскому кино. Сильное впечатление на советских людей произвели блестящие подводные съемки в фильме Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», снятом по одноименному роману Александра Беляева. В 1961 году кинокартина вышла на экраны кинотеатров СССР. Роль Ихтиандра сыграл артист Владимир Коренев, а главную женскую роль, Гуттиэре, — совсем юная Анастасия Вертинская. Фильм имел огромный успех. Девушки стали носить широкие юбки а-ля Гуттиэре. Но наибольшую известность «Человеку-амфибии» принесла песня композитора Андрея Петрова на слова Соломона Фогельсона «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно...». Под нее танцевали и дома, и на танцплощадках модный тогда чарльстон, ее распевали в поездах под гитару. И, как ни странно, идеологические структуры относились к этому довольно спокойно. Ведь в фильме с помощью этой песенки показывали «буржуазный мир». В середине 1960-х годов под влиянием обаяния киногероя Коренева первых советских аквалангистов стали «ихтиандровцами»². Это совсем забытое ныне слово использовалось для обозначения людей, увлекавшихся подводным плаванием, которое именно в это время стало прочно входить в досуг советских людей. Журнал «Наука и жизнь» в 1965 году отмечал: «Всего восемь лет назад появились в нашей стране первые аквалангисты, а сейчас подводников можно встретить



Юный «аквалангист».
1960-е. Личный архив
Н. Г. Снетковой

в любом море, реке, водохранилище»³. Подводным плаванием, как писали советские газеты, уже занимались 13-летние подростки. Правда, использовали они не акваланг, а так называемый «комплект № 1 для ныряния и подводной охоты»: ласты, маску и трубку⁴.

И все же можно констатировать, что в годы оттепели советские люди приобщились к ранее малоизвестному виду спорта. И это было не просто соревнование на выносливость при погружении в воду, как в годы сталинизма, у спортсменов-водолазов. Это было еще и любование причудливым подводным миром, некий прорыв в неизвестность. Изначально советские «ихтиандровцы» пытались в условиях «дикого» отдыха с помощью новых технических средств обеспечить себя

едой. Академик Евгений Велихов вспоминал о лете, которое они с женой провели на рубеже 1950–1960-х годов в Судаке: «Мы <...> приехали с палаткой, снаряжением для подводной охоты и ограниченными финансами <...> Палатку бросали на целый день. Пили в основном очень дешевое шампанское „брют“ с завода (завод шампанских вин в Новом Свете. — Н. Л.). <...> Варили лапшу и охотились. Вожделенной была кефаль, но охота на нее была нелегким делом <...> Большая рыба прячется в пещерах на дне. Нужно было нырнуть метров на 10–12 и заглянуть в пещеру»⁵. С той же «продовольственной» целью ныряли на Рижском взморье и другие юные бунтари начала 1960-х годов, герои повести Василия Аксенова «Звездный билет» (1961):

Юрка плыл под водой. Он дышал через трубку и смотрел вниз — песчаное и словно гофрированное дно. <...> Внизу шмыгнула стайка мелочи покрупнее.

«Тюлька, — подумал Юрка. — Четыре рубля килограмм».

Но постепенно красота непривычного мира завораживала:

Дно было совершенно чистое: ни кустика, ни камушка. Черта с два подстрелишь на таком дне! <...> Юрка посмотрел наверх. Там все сияло ярко и вызывающе. Здесь был другой, мягкий и вкрадчивый, мир. Юрка чувствовал все свое тело, легко проникшее в этот чужой мир. Он чувствовал себя гордым и мощным, как никогда, представителем воздуха и земли в этой иной стихии»⁶.

Советский кинематограф 1960-х годов также зафиксировал новшество. В кинокомедии «Три плюс два», снятой в 1963 году по мотивам пьесы Сергея Михалкова «Дикари», три убежденных холостяка, отдыхая на Черноморском побережье, тоже плавают с маской и ластами. Итак, технические приспособления для дыхания под водой, ранее профессиональные, становятся частью повседневности. Одновременно снижается характерный для советского общества 1920–1950-х годов социальный

пафос спортивных занятий: постепенно они превращаются из гражданской обязанности в форму модного поведения, что было нереально в эпоху сталинизма.

Ко времени смерти Сталина в советском культурно-бытовом пространстве завершилось формирование большого стиля. Его визуальные репрезентации нашли отражение в архитектуре, а также в живописи и скульптуре, пропагандировавших особую агрессивно-монументальную стилистику телесности. Ее развитию способствовал официальный спорт. Власть рассматривала его как инструмент целенаправленного воспитания нового человека, готового к созидательному, чаще всего тяжелому физическому труду и, как отмечалось уже в 1919 году, в решениях II съезда комсомола, к «вооруженной защите революции»⁷. Конечно, спортизация в первую очередь молодежи (особенно в 1920-х годах) составляла часть социальной политики по оздоровлению населения, и прежде всего молодежи. В октябре 1922 года СНК РСФСР принял декрет о систематическом надзоре за здоровьем рабочих-подростков, согласно которому раз в год в стране повсеместно проводились профилактические медицинские осмотры. По их результатам юношей и девушек отправляли на лечение в санатории. Уже в 1924 году в СССР бесплатно воспользовались путевками 200 000 человек⁸. В большинстве случаев «лечение на курортах» сопровождалось физкультурными занятиями. Как правило, это были малобюджетные мероприятия, не требовавшие специфических условий, особых костюмов и инвентаря.

Более того, одежда первых советских спортсменов (как правило, примитивная и дешевая) на первых порах превратилась в элемент официально поощряемой советской моды рубежа 1920–1930-х годов, где старательно и стереотипно демонстрировалась принадлежность к эпохе индустриализации и технологизации. Как писал Юрий Олеша, это была некая специфическая красота, возникающая «от частого общения с водой, машинами и гимнастическими приборами»⁹. Популярностью

пользовались «соколки» — трикотажные футболки с цветными шнуровками. Именно в такой футболке запечатлена девушка на картине Александра Самохвалова «ГТО» (1931). Американский исследователь М. О'Махоуни отмечает, что скромные «соколки» оказались модными среди советской молодежи «намного раньше, чем футболка стала частью повседневной одежды на Западе»¹⁰. Однако по мере упрочения большого стиля в советской повседневности все отчетливее проявлялись две тенденции: гламуризация моды и военизация физической культуры.

Властные структуры, формируя нормы облика хорошо одетого советского человека, создали в середине 1930-х целый ряд симулякров, своеобразных ложных знаков. С их помощью укреплялась мифология повседневности большого стиля, нашедшая выражение и в модных трендах эпохи сталинизма. Элементы и мужского, и женского костюма были дорогими, монументальными и доступными элитным слоям общества сталинского социализма. Конечно, в обыденной жизни эпохи большого стиля существовали дешевые вещи спортивного духа. Реально модными, доступными многим, хотя и совершенно непрактичными, оказались летние парусиновые мужские и женские туфли на резиновой подошве, копирующие теннисную обувь. Верх мужских и женских туфель делался из некрашеной льняной ткани — парусины. Молодые люди натирали ее для белизны зубным порошком. Неудивительно, что на танцплощадках предвоенного времени часто можно было видеть белые следы, оставленные слишком рьяными, но скромно обеспеченными модниками¹¹. Но такие примеры немногочисленны. Советская высокая мода была не только нарочито гламурной, она обладала утрированно выраженными характеристиками маскулинности и женственности, что не могло способствовать формированию унисексуальной телесности спортивного характера.

Одновременно физическая культура отдалялась от повседневности. Следует согласиться со следующим утверждением

Майка О'Махоуни: «В середине и конце 1930-х годов над Советским Союзом нависла угроза мировой войны... и физкультура стала опять рассматриваться как часть военной подготовки»¹². В подобной ситуации физические упражнения были скорее гражданской обязанностью, а не досуговыми практиками и выражением стилистики бытового поведения. Рядовой советский человек занимался теми видами спорта, которые в данный момент соответствовали государственным задачам, а главное — могли быть презентованы в публичном пространстве улиц или официальных стадионов. Последние стали активно возводиться в стране после постановления СНК РСФСР от 28 октября 1931 года «О строительстве физкультурных сооружений». Их появление способствовало утверждению идеи общедоступности спорта. Наряду со стадионами для этих же целей использовались и улицы больших городов СССР, где в 1930-х проводились грандиозные спортивные парады. Одновременно значимость индивидуальности личности явно принижалась: личность превращалась в послушный механизм для государственных манипуляций.

В результате десталинизации 1950–1960-х годов социальный статус и смысловое наполнение понятия «спортивное тело» были скорректированы, а физкультура переместилась в сферу досуга и потребления. Конечно, в официальных документах массовый спорт по-прежнему рассматривался как часть воспитательной работы. Третья Программа КПСС, принятая в 1961 году и нацеливавшая население на построение коммунизма за 20 лет, предусматривала вовлечение «в физкультурное движение все более широких слоев населения, особенно молодежи»¹³. Но в реальности наблюдалась демилитаризация массового спорта: все меньше людей стремились выполнить нормы БГТО, ГТО и ГЗР. Эти аббревиатуры, появившиеся в эпоху большого стиля, расшифровывались так: «Будь готов к труду и обороне», «Готов к труду и обороне», «Готов к защите Родины». С 1950 по 1965 год количество обладателей

престижных до войны значков в массе физкультурников Ленинграда, например, сократилось с 35,9 до 14,3%¹⁴. В сталинском обществе массовый спорт носил сугубо военизированный характер. Для получения значка БГТО, например, надо было не просто сдать нормы по легкой атлетике, лыжам и т. д., а продемонстрировать умения пользоваться противогазом и стрелковым оружием. Даже подъем тяжестей — традиционный показатель физической подготовки — в отношении юношей толковался как переноска «патронного ящика», а девушек — как перетаскивание вдвоем «раненого»¹⁵. В ходе десталинизации, сопровождавшейся потеплением международных отношений, физкультурные занятия начали явно демилитаризировать. Так, вместо гранаты в школе стали метать теннисный мяч. Петр Вайль и Александр Генис — одни из первых исследователей эпохи 1960-х годов в СССР — справедливо отмечают, что «идея мирного соревнования с Западом смягчила суровые нравы военизированного советского спорта»¹⁶. Более того, в 1960 году власти разрешили занятия регби, запрещенные в 1949 году в ходе борьбы «с низкопоклонством перед Западом»¹⁷.

В годы оттепели, как утверждает О'Махоуни, «характерный для предшествующей эпохи акцент на оптимизме, массовом участии и великих возможностях физкультуры в деле формирования новых людей начал таять»¹⁸. Одновременно то, что ранее выглядело лишь как тренировка тела и гражданская обязанность, становилось средством коллективного, но неформального и не контролируемого властью досуга¹⁹. Это проявилось в росте популярности лыжных прогулок. Если конькобежцы зависели от властей, которые организовывали катки, то лыжные вылазки можно было совершать вполне самостоятельно, просто в хорошей компании, что придавало им аромат свободы. На фотографиях начала 1950-х строгость одежды лыжников еще напоминает униформу. Вскоре и одежда и поведение станут более раскрепощенными.



Лыжники эпохи «большого стиля». Начало 1950-х.
Личный архив Н. Б. Лебиной

Именно в годы оттепели любительские занятия лыжами стали одним из знаков принадлежности к людям нового поколения, для которых более гармоничным казалось проведение досуга в лесу, вдали от городской суеты. Неслучайно герои повести Василия Аксенова «Коллеги» (1959) — все заядлые лыжники. Во фразу «поехать покататься на лыжах» они вкладывают не только спортивный, но и коммуникативный смысл. Именно под этим предлогом к молодому врачу Саше Зеленину неожиданно приезжает погостить его знакомая Инна: «К нему едет незнакомая девушка по имени Инна. Совершенно незнакомая. Чужая. Образ, надуманный при помощи писем и телефонных разговоров, исчез. Словно к спасательному кругу, Зеленин протянул руку к письму. „...я измучилась. Ты стал уплывать от меня, стираться в памяти. Может быть,

я сумасшедшая и нахалка, но я твердо решила: сдаю последний экзамен *досрочно и выезжаю к тебе. Учти — просто кататься на лыжах* (курсив мой. — Н. Л.). Не выгонишь?»²⁰ Спорт, таким образом, становится средством прояснения непростых любовных отношений.

Идеал телесности эпохи оттепели — это не лыжник-разрядник 1930–1940-х годов, участник военизированных походов, а затем и боевых действий — и Финской, и Великой Отечественной войн, а скорее любитель-спортсмен, сочетающий физическое и интеллектуальное совершенство. Модность внешнего облика играла здесь не последнюю роль. Тот же Аксенов пишет: «Двое людей с лыжами на плечах двигались по льду берега. <...> Это молодые люди: они идут легко. Это веселые люди: один хлопнул другого по спине, тот на мгновение присел, будто корчась от смеха. Это не местные люди: слишком „мастерский“ у них вид (узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канадки)»²¹.

Спрос на лыжи рос: в 1957 году в Ленинграде, например, продали 45 тысяч пар лыж, а в 1958 году — уже 60. Однако покупателей не устраивал ограниченный ассортимент спортивного инвентаря²². В 1959 году в одном из ленинградских магазинов системы «Спортторга» прошла выставка-продажа, на которой были представлены уже беговые, прыжковые и туристские лыжи²³. К середине 1960-х любительское катание на лыжах превратилось в модный тренд советской повседневности. Об этом свидетельствует и официальная статистика. Среди ленинградцев, по данным 1965 года, в лыжных спортивных секциях занималось 88 000 человек, тогда как в секциях баскетбола — всего 52 000²⁴. Для непрофессионалов в 1960-х годах на уже существовавшие лыжные базы стали продаваться однодневные путевки. Газета «Ленинградская правда» сообщала в январе 1964 года: «Обладателям путевок выдается туристское снаряжение, даются консультации по организации походов и лыжной техники, двухразовое питание». Но советская легкая

промышленность не успевала за новыми потребностями населения: купить приличную одежду для зимнего спорта было довольно сложно. Не случайно журнал «Работница» периодически публиковал в качестве бесплатных приложений выкройки лыжных костюмов²⁵. Эта одежда шилась из фланели с начесом и быстро теряла форму. Во второй половине 1960-х благодаря активному внедрению в жизнь синтетики советские люди стали с удовольствием приобретать для спортивных занятий брюки из эластика, на самом деле не предназначенные для зимних прогулок. Они были, как правило, без подкладки. На помощь здесь приходила новинка эпохи десталинизации — утепленные мужские кальсоны. Их в СССР стали поставлять китайцы. Голубое исподнее «с внутренним начесом... с двумя пуговицами на гульфике» и неизменной биркой «Дружба» считалось престижной и дефицитной вещью²⁶. Но трудности с одеждой, как правило, не останавливали заядлых лыжников-любителей, которые исправно заполняли по выходным дням поезд под названием «лыжные стрелы». Они появились одновременно с введением пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Произошло это во второй половине 1960-х, но не повсеместно. Для организации нормального производственного процесса необходимо было сохранить общее количество рабочих дней в году, исходя из ранее существовавшей 42-часовой трудовой недели (шесть дней по семь часов). На большинстве предприятий это сделали за счет укорачивания обеда на четверть часа. Однако в ряде городов, в том числе и в Ленинграде, первоначально избрали другой способ. Раз в месяц суббота объявлялась рабочей, и это время неким образом распределялось в объеме всего года. Такие субботы получили название «черных». Ситуация мгновенно отразилась в фольклоре. Популярным стал анекдот: «Чем Москва отличается от Ленинграда? Здесь нет белых ночей и черных суббот».

Настоящим спортивным новшеством 1960-х годов стала мода на плавание зимой в открытой воде, в чем Вайль и Генис

усматривают определенный политический подтекст: «Роль холодной воды и холода вообще представляется в те годы непомерной. Шумной сенсацией стало открытие зимнего бассейна „Москва“ (на месте снесенного храма Христа Спасителя). Бюрократов в фельетонах помещали под ледяной душ критики. Реальной ледяной водой приводили в чувство пьяниц в вытрезвителях. Трудновоспитуемый хулиган в кинокомедии начинает исправление в рабочей бригаде именно с добровольно принятого холодного душа»²⁷. Исследователи вообще полагают, что «холодная вода» в прямом и переносном смысле превратилась сама по себе в своеобразный символ отрезвления и очищения общества от рутины «сталинского мещанства». Это, конечно, метафора. Обливания и обтирания советские медики и гигиенисты считали гарантией здоровья и до политической шоковой терапии XX съезда. И все же купание зимой как вид спортивных любительских занятий действительно появилось в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Фотокорреспонденты тех лет любили снимать эффектные моменты заплывов в ледяной воде, демонстрируя тем самым появление новых телесных практик, которые превращались в своеобразные модные тренды. Их запечатлела и художественная литература, в частности проза Аксенова, в данной ситуации повесть «Апельсины из Марокко» (1962): «Ну и парень этот Базаревич, такой чудик! Он каждый день это проделывает и ходит по морозу без шапки и в одном только тонком китайском свитере. Он называет себя „моржом“ и все время агитирует нас заняться этим милым спортом. Он говорит, что во многих странах есть ассоциации „моржей“, и переписывается с таким же, как и он сам, психом из Чехословакии. У них с этим чехом вроде бы дружеское соревнование и обмен опытом»²⁸. Число «моржей» росло. В Ленинграде, например, секция любителей зимнего плавания только при обществе «Спартак» насчитывала в 1963 году более 100 человек²⁹. А в Минске в апреле 1967 года состоялась, по сообщению

газеты «Известия», всесоюзная научно-методическая конференция «моржей».

Был и у меня знакомый «морж»: в начале горбачевской перестройки в Ленинградском отделении института истории СССР АН СССР, где я работала с 1971 по 1992 год, появился очень симпатичный, бородатый, бесконечно интеллигентный сотрудник Чеслав Эрастович Сымонович. Он-то и оказался на поверку «моржом» — плавал в пруду на стадионе В. И. Ленина. Не знаю, долго ли продолжалось увлечение Сымоновича, в конце 1980-х годов он счел себя «неспособным» продолжать деятельность «академического ученого» и ушел из института. Такой поступок мог совершить только человек, закаленный «моржеванием».

Конечно, в советской действительности поклонники и зимнего, и подводного, и обычного плавания с трудом могли отыскать приличные одеяния для купания. Это в равной степени касалось и мужчин, и женщин (подробнее см. «Дикари»). Значительно менее требовательным к экипировке и одновременно самым модным спортивным увлечением эпохи десталинизации был бадминтон. В любительском варианте он не требовал специальной организации пространства (критерий, который, по Пьеру Бурдьё, определяет доступность тех или иных видов спорта населению). В романе Аксенова «Пора, мой друг, пора» (1963) есть характерное описание обстановки советских дачных поселков: «В соснах иногда мелькали белые рубашки, по обочинам тихо проезжали велосипедисты, перед дачами люди играли в бадминтон»³⁰. Модность занятий бадминтоном фиксировала и периодическая печать. Газета «Неделя» писала весной 1965 года: «С катастрофической быстротой исчезают с прилавков магазинов изящные ракетки, ажурные воланы, и сетки, которыми запасаются на лето желающие обрести стройность и бодрость. Начинается очередная бадминтонная эпидемия»³¹.

Я очень хорошо помню повальное увлечение игрой в волан. Ракетки мне привез из очередной командировки в Москву

мой отец — Борис Дмитриевич Лебин (1920–1985). Он практически всю жизнь, с 1949 года, проработал в системе Академии наук и часто ездил в командировки в Президиум АН СССР. В бадминтон я научилась играть в 13 лет и лихо обыгрывала всех во дворе Дома академиков. Так называют в Петербурге здание, возведенное еще в конце XVIII века на правом берегу Невы в районе нынешнего Благовещенского моста. В доме всегда обитали академические ученые — великие и не очень. Здесь и моя семья в разном составе прожила в целом более полувека — с 1951 по 2008 год. Ракетки я возила с собой в любые поездки. Мама, Екатерина Николаевна Лебина, в девичестве Николаева-Чиркова (1920–2013), сшила мне специальный чехол на молнии, который можно было носить на плече. В школьной юности игра бадминтон помогала завязывать знакомства — в первую очередь с противоположным полом. Так, в 1963 году в Коктебеле я познакомилась с Тито Понтекорво, сыном известного академика-физика Бруно Понтекорво. С Тито мы несколько раз перекидывались воланом во дворике маленького домишки, где я с мамой жила в комнатке с земляным полом за два рубля в день, а сын академика ночевал на коврике в саду за пятьдесят копеек.

Модные тренды спортивности и бодрости в годы оттепели проявились и в практике трудовой повседневности. На многих советских предприятиях с 1956 года по инициативе Президиума ВЦСПС начали проводить производственную гимнастику³². Добровольно-принудительное оздоровление горожан по инициативе власти воспринималось с энтузиазмом и рассматривалось как выражение демократизации жизни. Ведь в конце 1920-х, на излете нэпа, физкультурные перерывы в рабочих цехах уже пытались внедрить сторонники системы НОТ (научной организации труда). Начинание нотовцев прекратилось в условиях форсированного построения социализма. В 1960 году «пятиминутками бодрости» (так часто называли производственную гимнастику) было охвачено 7 миллионов

человек, а в 1966 году — более 11 миллионов³³. Профсоюзы занимались и подготовкой специальных общественных инструкторов, способных проводить эти «пятиминутки». С начала 1960-х на Всесоюзном радио появилась специальная передача. Она выходила в эфир в 11 часов утра. Диктор бодрым тоном призывал работающих потянуться, провести сгибания, поставить ноги на ширине плеч и т. д. Однако полезное начинание просуществовало недолго. Энтузиазм оттепели к началу 1970-х годов иссяк. К этому времени производственной гимнастикой занималось не более 15% трудящихся. Но физическая культура в целом становилась частью досуга, реализуемого в приватном пространстве.

В годы брежневского застоя в научно-исследовательских институтах в обеденные перерывы даже люди, глубоко презиравшие всякий организованный спорт, с удовольствием играли в настольный теннис. Так было в «ящике», где трудился мой муж — Олег Никленович Годисов (1951 г. р.). Сразу после окончания физико-механического факультета Ленинградского политехнического института он был принят на работу в закрытый НИИ Министерства среднего машиностроения. Ныне это учреждение входит в систему госкорпорации «Росатом». Стук пинг-понгового шарика раздавался по так называемым присутственным дням и в стенах Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, где начиналась моя научная карьера. Реальность популярности настольного тенниса подтверждается киноисточниками. «Молодой человек, с вами все ясно. Играйте в пинг-понг, Гена!» — говорит в фильме Геральда Бежанова и Анатолия Эйрамджана «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) психолог Сусанна внешне заурядному программисту, маркируя тем самым обыденность его манеры проведения свободного времени³⁴.

Люди 1970–1980-х годов с удовольствием восприняли новую стилистику спортивных занятий, появившуюся в процессе

десталинизации. Без особого блеска, но с чувством легкого пижонства мы с мужем катались на лыжах. Особое удовольствие нам доставляло таскать с собой сына (Леонида Олеговича Годисова, 1977 г.р.). В четыре года он три четверти пути ехал верхом на шее отца: маленькие лыжи забавно торчали. Подобающей одежды для лыжных прогулок у меня долго не было. Чаще всего надевала куртку с теплым свитером. Первый спортивный костюм хорошего качества у меня появился уже в конце 1970-х годов. У мужа постоянными стали командировки в закрытые города (ЗАТО). Самолеты Ленинград–Свердловск, которыми он добирался в один из закрытых атомных городов Урала — Новоуральск, — были для нас «колбасными поездами». На мой вопрос: «Куда тебя отправляют?» — муж привычно отвечал: «На блаженный остров коммунизма», используя бойкий слоган забытого ныне прекрасного советского писателя Владимира Тендрякова. Правда, для результативного посещения ломившихся от изобилия магазинов уральского ЗАТО требовались деньги. У нас, тогда еще начинающих ученых — историка с кандидатской степенью и физика, еще не кандидата, — с финансами было туго. Но все же прелестные чешские спортивные костюмы муж привез мне и маленькому сынишке. Оба были приобретены в магазине детского трикотажа в Новоуральске: сыну, правда, на вырост, ну а я тогда еще вполне «помещалась» в детский 44-й размер. Костюмы мы долго носили и в качестве лыжных, и просто тренировочных.

Всей семьей мы плавали в бассейне, какое-то время даже играли в большой теннис. Отсутствие обвязки очень вдохновляло. «Псевдоспорт» помогал даже тогда бороться с лишним весом. Ведь стремление быть стройным появилось задолго до перестройки. Так, модный облик женщины 1960-х годов дополнял своеобразный спортивный аксессуар — хулахуп. Гимнастический обруч, вращающийся вокруг тела, — самое популярное средство для похудения, появившееся в годы оттепели,

о чем, в частности, свидетельствуют, строки из поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС» (1965):

И, терпя от насмешников муку,
Только сверху я трогала суп,
И крутила проклятую штуку
Под названием «хула-хуп»³⁵.

Действительно, идея стройности — результата физических упражнений — становилась основополагающей в новой, пост-сталинской повседневности. Советский женский журнал «Работница» с 1957 года постоянно публиковал материалы под рубриками «Как стать стройной», «Последите, пожалуйста, за собой», в которых предлагались специальные комплексы гимнастики. На страницах издания выступали практикующие врачи. Так, в февральском номере «Работницы» за 1960 год появилась статья профессора Ф. Меньшикова «Полнота не признак здоровья», где предлагалось специальное меню «на два дня для тучных»³⁶.

В условиях десталинизации и демократизации формировались новые, отличные от прежних, сталинских, каноны женской и мужской привлекательности. Чрезмерная брутальность и гиперболоизированная женственность казались ненатуральными, как и плакатная красивость. Все это слишком напоминало статичные формы эпохи сталинизма, в рамках которой спорт был прежде всего способом формирования коммунальных тел, предназначенных для тяжелого труда, защиты социалистического отечества и производства потомства. Теперь в моду вошла спортивная деловитость. На уровне частного пространства распространялись ориентиры женственности, отрицающие монументальные черты красавиц эпохи сталинизма, о чем свидетельствуют мемуары шестидесятников. Привлекательными казались, например, Ася Пекуровская (жена Сергея Довлатова) — «коротко, „под мальчика“ стриженная, своевольная и очаровательная»³⁷, переводчица Галина Дозмарова-Харкевич, которая «обладала прекрасной спортивной фигурой»³⁸, жена

драматурга и барда Александра Галича Ангелина, отличавшаяся почти декадентской художью³⁹. Идеал стройной женщины, конечно же, подразумевал ее подвижность и спортивность, но без элементов атлетизма, характерных для женского канона времени большого стиля. Демилитаризация спорта и его перемещение в сферу приватности сказались и на внешнем облике мужчин. Новый образец мужественности не был таким нарочито воинственным и публичным, как в эпоху большого стиля. Идеалом становился образ спортсмена-интеллектуала. Так выглядели штангист Юрий Власов и легкоатлет Валерий Брумель.

Вайль и Генис отмечали: «Новый чемпион лучился улыбкой, поправляя очки, невзначай ронял томик Вознесенского, а установив рекорд, спешил на зачет по сопромату»⁴⁰. То же можно было заметить и в любительском спорте. Для после сталинских поколений он превратился в бытовую практику с флером мужественной интеллигентности и романтизма. Такой характер носили, например, полулюбительские занятия альпинизмом (его гимном стал фильм «Вертикаль» (1967) режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова по сценарию Сергея Тарасова и Николая Рашеева с песнями Владимира Высоцкого) и туризмом, всегда сопровождавшиеся авторской песней. И, конечно, образ мужчины спортивного вида с гитарой в руках становился модным трендом.

Быть спортивными и подтянутыми в годы оттепели стремились люди вне зависимости от их гражданской позиции. Физическое совершенство способствовало появлению у новой генерации советских людей чувства уверенности. Об этом, в частности, писал Аксенов в повести «Апельсины из Марокко»: «Мы не обрываем связи с цивилизацией! <...> Все для самоуважения! <...> И под водой ты не растеряешься — акваланг!»⁴¹

БОРМОТУХА

*Алкоголь в сфере советской
социально-бытовой политики*

Удивительно, но словечко «бормотуха» не попало в «Толковый словарь языка Совдепии», изданный еще в 1998 году лингвистами Вальтером Мокиенко и Татьяной Никитиной. А ведь это типичный советизм, дату появления которого определить нетрудно. Такого понятия не знал Владимир Даль. Не было этого слова и в прижизненных советских изданиях словарей Сергея Ожегова и Дмитрия Ушакова — прежде всего по причине его отсутствия в поле русского языка в целом. Впервые слово «бормотуха» в лексике прессы и художественной литературы зафиксировали ленинградские лингвисты, занимавшиеся выявлением новых слов и выражений 1970-х годов¹. Согласно Национальному корпусу русского языка, первое употребление этого слова в художественной литературе встречается в «Царь-рыбе» Виктора Астафьева (1974). Но в академический четырехтомный «Словарь русского языка», изданный в 1981–1984 годах, забавное обозначение продававшихся в СССР в 1970-х годах дешевых вин все же не включили. Скорее всего, это произошло по цензурным требованиям. Ведь слово «бормотуха» могло выглядеть как своеобразный вербальный маркер противоречивости алкогольной политики государства на протяжении всей советской истории.

Уже в первые дни пребывания у власти большевики столкнулись с необходимостью выработать четкую позицию по

отношению к алкоголю. Правительство Ленина вынуждено было бороться с так называемыми «винными погромами». Они начались в стране еще ранней осенью 1917 года. Зачинщиками пьяных бесчинств в ряде провинциальных центров стали солдаты городских гарнизонов, которые, по мнению современников, вели себя «похуже собак»². Первые слухи о свержении Временного правительства подхлестнули активность «пьяных революционеров». Наибольшую опасность они представляли в Петрограде. Здесь находились огромные склады спиртного, часть которых располагалась непосредственно в Зимнем дворце. Один из членов Петроградского военно-революционного комитета (ВРК) вспоминал, что во избежание повторного штурма Зимнего солдатам близлежащих казарм из царских подвалов ежедневно выдавалось по две бутылки на человека на день³. В начале ноября 1917 года начали грабить частные склады. Пьяные погромы представляли реальную опасность и для новой государственности, и для обывателя. Ленин, по воспоминаниям современников, явно страшился, что погромщики «утопят в вине всю революцию», и требовал «расстреливать грабителей на месте»⁴. Власть призывала к жестокому подавлению погромщиков и охране общественного порядка. Однако этих мер оказалось недостаточно. В конце ноября 1917 года было решено уничтожить все винные и спиртовые запасы в Петрограде. Бутылки разбивались прямо в подвалах, и затем вино откачивали оттуда помпами. Лев Троцкий вспоминал: «Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы лакали прямо из канав»⁵. Такую же тактику пришлось применить и в других российских городах. В Екатеринбургe, например, в ноябре 1917 года, чтобы избежать эксцессов, власти спустили в один из городских прудов 9000 литров спирта. Большевики смогли полностью покончить с винными погромами лишь в начале декабря 1917 года. Более трудной оказалась задача сформулировать собственный взгляд на вопросы производства и потребления алкоголя.

Новая власть поначалу вообще не собиралась заниматься ни производством, ни продажей спиртного на государственном уровне. Законодательные акты периода военного коммунизма, в частности декрет «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ» (декабрь 1919 года), можно расценивать как продолжение политики тотальной национализации всех видов производства. Утопические воззрения большевиков на возможность пополнять бюджет без торговли вином, а следовательно, и без «водочной монополии» особенно ярко проявились после окончания Гражданской войны. В ленинской концепции построения социализма в России не было места спиртному как источнику добычи «легких денег».

Но в середине 1920-х годов большевики все же решили воспользоваться самым быстрым способом получения денежных средств — введением госмонополии на производство и продажу алкоголя. Это решение не было неожиданным. В 1919–1924 годах в Советской России производились виноградные вина крепостью до 12 градусов, пиво, а главное, «русская горькая», своеобразная «бормотуха» периода нэпа. Ее начали производить согласно постановлению ЦИК и СНК СССР «О разрешении выделки и продажи наливок, настоек, коньяка и ликерных вин крепостью не свыше 30° и об установлении размера акцизного обложения указанных напитков» от 3 декабря 1924 года⁶. Любопытно, что уже через несколько дней после выхода декрета, в двадцатых числах декабря 1924 года, только что появившийся спиртосодержащий напиток именовали «рыковкой», а иногда и «полурыковкой»⁷. Свое народное название новый вид алкоголя получил в честь тогдашнего председателя СНК Алексея Рыкова, полагавшего, что с помощью водки можно будет победить самогонщиков. Самое же имя Рыкова в 1920-е годы стало нарицательным как в стане противников, так и в стане сторонников свободной продажи крепких алкогольных напитков.

А в среде интеллигенции, по воспоминаниям современников, был популярен анекдот: «В Кремле каждый играл в свою карточную игру: Сталин — в „короли“, Крупская — в „акульку“, Рыков — в „пьяницу“»⁸. Крепость «рыковки» не превышала 30 градусов, что вызывало насмешки профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца». Однако «рыковка» еще не была водкой-монополькой.

28 августа 1925 года появилось постановление ЦИК и СНК СССР «О введении в действие положения о производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими»⁹, и с 1 октября 1925 года государство стало выпускать и продавать спиртные напитки крепостью 38 градусов и торговать ими. Фольклор отреагировал на странную крепость большевистской водки, о чем свидетельствует следующий анекдот: «Встретились на том свете Николай II с Лениным. „А что, Ильич, водку продаете?“ — „Продаем“. — „А сколько градусов?“ — „Тридцать восемь“. — „И стоило же из-за двух градусов такую заваруху устраивать!“»¹⁰ И все же свободная продажа крепкого спиртного вызвала невиданный ажиотаж. В Ленинграде, как описывали современники, «в первый день выпуска сорокаградусной люди на улицах... плакали, целовались, обнимались... За ней кинулись, как в 1920 году за хлебом»¹¹. Такая картина наблюдалась повсеместно¹².

Производство спирта подвергалось строгому учету со стороны властей, но продавать водку разрешалось и частникам. По словам Сталина, это позволяло создать условия «для развития нашей индустрии собственными силами»¹³. Первая советская сорокаградусная водка сначала продавалась по довольно низкой цене. Это вызывало неподдельный восторг населения и на короткое время даже привело к снижению уровня самогоноварения в стране. Появилась и новая, советская расфасовка спиртного, в народе сразу получившая политизированные названия: бутылочку объемом в 0,1 л именовали «пионером», 0,25 л — «комсомольцем», 0,5 л — «партийцем».

В декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) «вождь всех народов» демагогически заявил о возможности постепенно свернуть выпуск водки, «вводя в дело вместо водки такие источники дохода, как радио и кино»¹⁴. Однако за все годы существования советской власти это намерение не было воплощено в жизнь. Алкогольные напитки всегда составляли важнейший источник пополнения бюджета. Монополия государства на продажу водки была в числе первых признаков формирования большого стиля с присущими ему элементами тоталитаризма. Власть стала безудержно наращивать производство алкоголя, который должен был раскупаться населением. Утопическая идея полной трезвости, по сути дела, становилась антигосударственной.

Однако не следует считать, что сталинское руководство страны на рубеже 1920–1930-х годов ставило прямую цель спаивания народа. Переход к свободной продаже спиртных напитков продемонстрировал несостоятельность представлений большевиков об абсолютной трезвости как норме, существовавшей в ментальности трудящихся. Официальная статистика зафиксировала рост потребления водки. Основная масса горожан не смогла противиться искусству спиртного, которое теперь можно было приобрести в магазинах. Водку потребляли не только нэпманы, но сознательные пролетарии. По данным ЦСУ СССР, по сравнению с 1922 годом расходы рабочей семьи на спиртные напитки выросли в 1927 году почти в 18 раз¹⁵. Это заставило советские властные структуры начать организованную борьбу с пьянством. В июне 1926 года появились тезисы ЦК ВКП(б) «О борьбе с пьянством», а в сентябре того же года — декрет СНК РСФСР «О ближайших мероприятиях в области лечебно-предупредительной и культурно-просветительной работы по борьбе с алкоголизмом». В стране стала формироваться сеть противоалкогольных диспансеров. В Ленинграде первое такое учреждение открылось в 1927 году, а в 1928-м — второе. В Москве в середине 1929 года работало уже 30 диспансеров¹⁶. Включились в борьбу с пьянством

и общественные организации, в частности комсомол и пионерия. Эффективной формой общественного протеста против алкоголизации стали детские демонстрации. Моя мать как активная пионерка девяти лет с удовольствием маршировала на школьных утренниках под плакатами: «Отец, не пей. Купи книги детям, одень их», «Отец, брось пить. Отдай деньги маме», «Мы требуем трезвости от родителей». Рабочие в целом поддерживали кампанию, ведь полного запрета продажи алкоголя за ней не последовало.

В начале 1930-х борьба с пьянством стала постепенно сокращаться. Однако происходило это в завуалированной форме. Будучи заинтересованной в продаже спиртного для пополнения бюджета, власть тем не менее не осмеливалась прямо отвергнуть привычную моральную норму осуждения алкоголизма. Именно поэтому по инициативе государства в 1931–1932 годах начали закрываться пивные. Но параллельно Главное управление спиртовой и спиртоводочной промышленности Наркомснаба СССР летом 1933 года сочло необходимым организовать во всех регионах «ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ВОДКОЙ И В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ПЕРЕСТРОИТЬ СБЫТОРАБОТУ». Использование заглавных букв в документе подчеркивает важность для государственных структур этого решения. Для его исполнения за шесть месяцев 1933 года только в Ленинграде количество винно-водочных магазинов возросло с 444 до 625¹⁷.

В середине 1930-х широкая доступность водки и вина, возможность их свободного приобретения без карточек превратили потребление алкоголя в норму советской повседневности. В 1936 году Анастас Микоян вполне серьезно заявлял, что до революции пили «от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь... Теперь веселее стало жить. От хорошей и сытой жизни пьяным не напешься... Весело стало жить, значит, и выпить можно...»¹⁸ Подобные высказывания оправдывали возрастающее стремление

к спиртным напиткам. А для облагораживания ситуации власть стала наращивать производство элитных видов алкоголя, в первую очередь шампанского. Сталин, по свидетельству Микояна, был недоволен, что стахановцы — представители новой элиты — не получают это вино в достаточном количестве¹⁹.

В июле 1936 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин „Массандра“». За пять лет — с 1937 по 1941 год — предполагалось увеличить выпуск шампанского в 60 раз. Уже летом 1937 года один только крымский завод «Новый Свет» выпускал в день около 12 000 бутылок «буржуазного» напитка. При этом в процессе его производства были в полном объеме использованы способы «социалистического штурма». Микоян вспоминал: «Французский, так называемый классический метод выдержки шампанского представлял собой длительный процесс, занимающий много лет: кроме выдержки вина в течение трех лет в бочках этот метод требует еще трехлетней выработки в бутылках. Такие длительные сроки не могли нам обеспечить быстрого увеличения масштабов производства. Поэтому мы решили, сохранив все же некоторый объем производства по французскому методу на старом заводе „Абрау-Дюрсо“ и некоторых других, параллельно организовать производство шампанского по более простому, дешевому и ускоренному... способу, сокращавшему срок выдержки шампанского до 25 дней»²⁰. Дешевое советское шампанское продавали повсеместно, увеличивая иллюзию всеобщего благополучия. Так выглядел вариант «бормотухи» эпохи большого стиля. Систематических антиалкогольных кампаний, в отличие от ситуации рубежа 1920–1930-х годов, власти не проводили. Но пьянство осуждалось, правда с сугубо политических позиций. Лиц, склонных к злоупотреблению спиртным, в соответствии с политической конъюнктурой стали называть «приспешниками троцкистско-зиновьевской банды»²¹. Однако советской власти не удалось уничтожить

алкоголизм, полностью его политизировав. Продажа спиртного по-прежнему была важным источником доходов.

В годы войны политика сталинского режима усугубила проблему алкоголизации общества. Спиртное превратилось в надежный и постоянно действующий стимул «к труду и обороне» благодаря появлению «наркомовских ста грамм»²². Уже в ходе Советско-финской войны по распоряжению Совнаркома СССР с 1 января 1940 года бойцам и командирам полагался дополнительный паек — 100 грамм водки и 100 грамм сала в день. Эту практику власть продолжила и в дни Великой Отечественной войны. С 1 сентября 1941 года на передовой ежедневно выдавали по 100 грамм алкоголя. Весной 1942 года поголовное обеспечение водкой прекратилось. С ноября 1942 года по 100 грамм алкоголя получали военнослужащие, непосредственно участвующие в боях, и по 50 грамм — те, кто находился в полковых и дивизионных резервах, рыл окопы и сооружал укрепления на передовых позициях. В праздники спиртным оделяли всех фронтовиков²³. Балерина Татьяна Вечеслова описывала в своих воспоминаниях впечатления о «военной» водке «бледно-сиреневого цвета», напоминавшей денатурат: «Она называлась „сырец“. Она обжигала внутренности, но зато сколько раз потом оберегала от простуды»²⁴.

Проевававший всю войну на Ленинградском фронте, отец никогда не вспоминал о спирте. А вот у мамы — «реальной блокадницы» — «алкогольные впечатления» остались. 1 января 1942 года «наркомовские 100 грамм» спасли моих бабушку (Екатерину Ивановну Чиркову, в девичестве Николаеву, 1900–1984), дедушку (Николая Ивановича Чиркова, 1903–1977) и маму. Их, уже умиравших в холодной кухне квартиры на Невском проспекте, нашел внезапно зашедший навестить друга бывший дедов сослуживец. Он прибыл с фронта и привез новогодний подарок — 100 грамм спирта, 100 грамм сала и стакан пшена. Половину крупы бабушка отнесла соседям — семье Миловых. В конце войны выдачи спиртного возросли. На три месяца

1945 года для поощрительных целей было отпущено примерно по 1,3 литра водки в квартал на человека — мужчин, женщин и даже подростков²⁵.

После победы государство продолжало наращивать выпуск алкоголя и расширять его продажу. Все это происходило в условиях полного отсутствия учреждений по социальной реабилитации алкоголиков. Акции власти против самогонварения защищали монополию государства на изготовление спиртного и торговлю им. Одновременно правительство систематически снижало цены на алкоголь. Водка в 1947 году подешевела на 33%, а в 1953-м — еще на 11%; крепкие и десертные вина в 1950 году — на 49%, а пиво — на 30%²⁶. В конце 1940-х годов к тому же появились и новые заведения системы общепита, где спиртное отпускалось в розлив. Это возникшие после приказа Наркомторга СССР от 31 декабря 1945 года коммерческие чайные, в которых подавались кроме собственно чая и водка, и пиво, и крепленое вино²⁷. С отменой карточного снабжения они практически вытеснили сам чай из чайных, которые в народе стали иногда называть «голубыми дунами». Здесь в одном помещении действовали и пивная, и чайная. Нередко в таких заведениях небольших городков буфетчики давали «выпить-закусить „под крестик“, то есть в долг»²⁸. Пользовались этим и бывшие фронтовики. Сложный процесс адаптации к мирной жизни в разрушенной, полунищей стране у многих сопровождался злоупотреблением спиртными напитками. Ценности военного времени оказались не востребованными. И единственным местом, где можно было вспомнить недавнее героическое прошлое, стали питейные заведения. Здесь развязывались языки, лились слезы, царила своеобразная «шалманная демократия». Писатель Эммануил Казакевич записал в дневнике в мае 1950 года: «День Победы... Я зашел в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик... пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал: „Если будет война, я опять пойду“...»²⁹ Спиртное многим развязывало языки, и это, по-видимому, устраивало власть.



Алкоголь в частном пространстве. 1950-е годы.
Личный архив Н. Б. Лебиной

Алкоголь таким образом превращался в инструмент контроля над настроением населения. В послевоенном сталинском обществе процветали пивные, закусочные и рестораны, с весны 1944 года коммерческие, а затем и обычные. Система же антиалкогольной профилактики по-прежнему отсутствовала.

С приходом к власти Хрущева в «алкогольной» политике государства наметились определенные перемены. Они, конечно, не коснулись монополии на спиртное. Первоначально новый советский лидер, по воспоминаниям современников, пришел в ярость от цифр, свидетельствовавших о гигантских объемах винно-водочного производства. Ведь алкоголь по-прежнему присутствовал не только в публичной сфере — в пивных и ресторанах, но и в домашнем быту советских людей.

Новый советский лидер даже потребовал сократить сети магазинов по продаже спиртных напитков. В 1957 году правительство приступило к обсуждению мер по борьбе с пьянством, в числе которых фигурировали и предложения повысить цены на алкоголь³⁰.

В декабре 1958 года появилось правительственное постановление «Об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле спиртными напитками». В документе указывалось: «В старом обществе... трудные условия жизни вызывали у трудящихся стремление забыться в вине, „залить горе вином“ В советском обществе нет причин для подобных настроений»³¹. Риторика постановления резко отличается от высказываний сталинского руководства о возможности и необходимости «выпить при хорошей жизни». Первый хрущевский антиалкогольный документ ввел строгие ограничения на время, а главное, и места торговли спиртными напитками. В городах закрылись ларьки, киоски и палатки, торговавшие алкоголем в розлив. Исчезли «рюмочные» и «голубые дунай», чайные с алкогольным уклоном. Пьянство буквально выплеснулось на улицы городов, где после правительственных постановлений было трудно найти место для возлияний. И на это, конечно, отреагировал фольклор конца 1950-х — начала 1960-х годов: «Милицонер стыдит гражданина, справляющего малую нужду на забор: „Как вам не стыдно! Посмотрите — в двух шагах от вас общественная уборная“. — „Не могу же я мочиться там, где люди выпивают и закусывают“»³²

Ситуация вынудила власть пойти на учреждение институций «культурного питания». К их числу можно отнести пивбары — модернизированную форму популярнейших в России и СССР пивных. Выраженный питейный дух этих заведений, конечно, не соответствовал идеям строительства коммунизма. Но отказаться от них было невозможно с коммерческой точки зрения. В свете тенденции к автоматизации быта уже в 1959 году в стране начали работать автоматы по продаже пива. А на месте старых пивных часто открывались, как писали в прессе, «удобные пивные бары, где можно почитать газету, журнал»³³. Но центров коммунистического досуга из них не получилось. И это прекрасно понимали современники. Андрей Битов в одном из своих рассказов 1961–1962 годов

замечал: «Я вижу пивную-автомат и захожу в нее. Раньше это была просто пивная... Теперь тут стоят стойки из серого противного мрамора и блестят никелем автоматы... Но люди не могли расстаться с этим местом, они по-прежнему ходят сюда, и они сохранили все по-прежнему: дух пивной не ушел отсюда... <...> И по-видимому, даже пивное начальство понимает, что бороться с этим бесполезно»³⁴.

Новыми заведениями с прозападной культурой питья стали бары, в которых продавали спиртное порюмочно. Литератор Соломон Волков, размышляя вместе с Иосифом Бродским об эпохе Хрущева, отметил, что тогда «многие мечтали о стиле жизни а-ля Хемингуэй: подойти к стойке бара и мужественно заказать стопку кальвадоса»³⁵. Однако само слово «бар» существовало в лексиконе советского горожанина уже в 1920-е годы. «Малая советская энциклопедия», изданная в 1929 году, указывала, что бар — это «винная или пивная лавка, в которой пьют стоя»³⁶. В крупных ресторанах стойки, именуемые барами, существовали и в 1930-х, и в 1940-х. И все же в стабильный элемент городского пространства бар превратился в годы оттепели. Тогда же появляется официальное наименование профессии — «бармен» и его модификация для женского пола — «барменша»³⁷. В барах советская молодежь приобщалась к западным стандартам потребления спиртного в виде коктейлей. В русском исполнении они нередко представляли собой своеобразную «бормотуху» 1960-х годов. Ее употребление не было редкостью, но всегда считалось средством быстро опьянеть по дешевке. Не случайно в фильме «Осенний марафон», снятом в 1979 году режиссером Георгием Данелией по сценарию Александра Володина, есть фраза о непристойности смешивания водки с портвейном. «Хиппи лохматый» — западный человек — в представлении Василия Ивановича (артист Евгений Леонов) требовал явно чего-то нехорошего, твердя: «Коктейль. Коктейль»³⁸.

Декабрьское постановление ЦК КПСС 1958 года нанесло серьезный урон бюджету страны. Неудивительно, что почти

одновременно с подорожанием в 1962 году мяса, масла и молочных продуктов на 25–30% возросли и цены на алкоголь. До денежной реформы 1961 года полулитровая бутылка водки стоила 21 рубль 20 копеек, после реформы — 2 рубля 12 копеек, а в 1962 году — уже 2 рубля 87 копеек. Разница в 75 копеек казалась существенной, на эту сумму можно было купить даже по повышенным ценам шесть буханок хлеба по 12 копеек, 300 грамм колбасы по 2 рубля 20 копеек и многое другое. Нынешнему поколению, конечно, совсем непонятно, почему в фильме Леонида Гайдая на «липовом» такси, прибывшем за Семеном Семеновичем Горбунковым, стоит странный номер «28-70 ОГО». Так режиссер отреагировал на рост стоимости водки. Хрущевские манипуляции с ценами на алкоголь, конечно, зафиксировал и фольклор, о чем лично я узнала благодаря случаю из школьной жизни. В октябре 1964 года, сразу после смещения с государственных и партийных постов Хрущева, в элитную физико-математическую школу, где я тогда училась, пришел представитель райкома КПСС с политинформацией о «текущем моменте», а главное, с просьбой: не распространять анекдоты об опальном партийном лидере. Но на язвительный вопрос: «Какие анекдоты, например, нельзя рассказывать?» — лектор с явным удовольствием продекламировал:

Товарищ, верь, придет она,
 На водку старая цена,
 На закуску будет скидка,
 Ушел на пенсию Никитка!

И добавил в заключение: «Вот такое никому не рассказывайте!»

В ходе хрущевской антиалкогольной кампании предусматривалось и преследование самогонварения как посягательства на государственную винную монополию. В 1960 году, согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР, за производство самогона в виде наказания предусматривались лишь меры общественного порицания. Но уже с мая 1961-го злостных самогонщиков могли посадить в тюрьму на срок до

трех лет. Однако потребление спиртных напитков не уменьшилось. В общественном же сознании укоренялся образ заблудшего, но симпатичного российского пьяницы. Он ассоциировался с плутоватыми милягами Трусом (актер Георгий Вицин) и Балбесом (актер Юрий Никулин) из фильмов Гайдая. Одновременно хрущевское руководство страны, в отличие от сталинских властей, пыталось развернуть и антиалкогольную работу. Это была своеобразная советская филантропия, возможная лишь при десталинизации социума. В стране активизировалась деятельность медвытрезвителей. Как специальный раздел медицины стала определяться наука наркология. В СССР специалисты-наркологи занимались прежде всего реабилитацией алкоголиков³⁹. Появляется препарат для лечения лиц, злоупотребляющих спиртным, — антабус⁴⁰.

С мер воспитательного характера началась и антиалкогольная кампания брежневского руководства. Весной 1967 года был принят указ Верховного Совета РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц (алкоголиков)». Несмотря на наличие в этом и последующих документах филантропических идей о помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью, реабилитационные мероприятия носили принудительный и репрессивный характер. В годы оттепели, как известно, мелкое хулиганство в пьяном виде расценивалось как административное правонарушение и нередко каралось пятнадцатисуточным лишением свободы. Суд при вынесении приговора должен был предусмотреть и меры по перевоспитанию провинившихся без тюремного наказания. Тогда в городском быту возникли «указники». Все 15 суток они должны были работать на стройках, на уборке мусора и т. д. Газета «Правда» писала в августе 1966 года: «Арестованным теперь предстоит проститься с прическами и проводить эти пятнадцать суток в тяжелом физическом труде». В этих мероприятиях были пока элементы карнавализации, характерные для эпохи хрущевских реформ. Именно эту сторону

антиалкогольной кампании 1960-х годов изобразил Гайдай в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В новелле «Напарник» студент Шурик в исполнении Александра Демьяненко нашел адекватные меры для воспитания дебошира и пьяницы Федя (Алексей Смирнов). Брежневская же борьба с пьянством стала носить значительно более жесткий характер. Алкоголиков могли уволить с работы и направить по ходатайству трудового коллектива на принудительное лечение.

В 1974 году вышел новый указ Президиума Верховного Совета, и в стране появились лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Это были наркологические учреждения закрытого типа, находившиеся в ведении МВД СССР. Попавшие в ЛТП, как правило, находились там по два года и трудились на тяжелой монотонной работе, на которую было трудно найти желающих. Попытки сбежать из профилактория карались лишением свободы сроком до одного года. Государство создало целую систему репрессивных мер управления и устрашения, что вынуждало обычных граждан искать адекватные стратегии выживания. Мой муж вспоминал, как в конце 1970-х годов на партийном собрании их «режимного» предприятия рассматривалось персональное дело сотрудника, якобы замеченного в систематическом пьянстве. Ситуация была критической: хорошему работнику грозило отправление в ЛТП. В ходе разбирательства выяснилось, что проживал он на Фурштатской улице (тогда улице Петра Лаврова), где в Питере традиционно размещаются иностранные консульства. Охраняющим их стражам порядка подозрительным казался даже слабый запах алкоголя. В результате, возвращаясь домой после работы и выпитой кружечки пива, человек постоянно попадал в поле зрения милиции. В ажиотаже борьбы с пьянством ему пытались навязать статус хронического алкоголика. Однако коллектив, сославшись на секретность расчетов, выполняемых сотрудником, наложил «вето» на его увольнение в течение пяти лет для сохранения государственной тайны, одновременно лишив

доступа к «сов. секретным» документам. В закрытых учреждениях это означало резкое понижение служебного статуса. После собрания секретарь партийной организации в кулуарах, не стесняясь в выражениях, посоветовал любителю пива переехать в спальный район Ленинграда. Но человек все ж был спасен от реальной угрозы попасть в ЛТП, которых в конце 1980-х годов в СССР уже насчитывалось более трех сотен. В них лечилось и трудилось почти 300 000 человек⁴¹. Пребывание в профилактории избавляло от алкогольной зависимости не более 10% помещенных туда лиц, но судьбы ломало многим. Ведь на них стояло клеймо «сидельцев». Наряду с ужесточением отношения к алкоголикам брежневские властные структуры на 30–35% повысили цены на крепкие напитки — коньяк и водку. Народ сразу откликнулся частушкой:

Было пять, а стало восемь.

Все равно мы пить не бросим.

Передайте Ильичу —

Нам и десять по плечу*.

Для большинства населения покупать алкоголь по таким ценам становилось проблематичным. В быту активно использовали всякого рода самодельные спиртные напитки, тем более что брежневская эпоха — время расцвета дачного строительства. На участках даже в северных районах страны росли яблоки и черноплодная рябина, вполне пригодные для изготовления алкоголя в домашних условиях. Однако «гражданская инициативность» такого рода могла явно нанести урон государственному бюджету. Для его пополнения власть увеличила производство низкосортных плодово-ягодных вин, доступных по цене и потому названных народом «плодово-выгодными» или «бормотухой». Самым знаменитым напитком этой серии был «Солнцедар», запечатленный и в фольклоре, и в художественной

* Фигурирующие в частушке цифры — примерная стоимость алкоголя в масштабе цен.

литературе. При всей гиперболизации свойств легендарного напитка и народ, и литераторы сходятся в одном — алкогольная сила его была поистине убойной. Не случайно в уста дворничихи из рассказа «Приличный двубортный костюм» Сергей Довлатов вложил фразу: «Последний (муж. — Н. Л.) за „Солнцедаром“ ушел, да так и не вернулся»⁴². «Бормотуха» поборола даже антиалкогольные запреты на продажу спиртного лишь с 11 часов. Крепость «плодово-выгодных» вин не превышала 28 градусов, что делало их доступными для покупателей в любое время суток. Их продажа в 1970–1980-е годы росла на 250%, тогда как водки — на 25%, а коньяка — на 27%⁴³. Можно смело говорить об организованном спаивании тех, кого обычно называют «простым народом», и превращении их в дешевую рабочую силу посредством системы ЛТП. Ведь представители высших слоев советского общества вполне могли купить по новым ценам и коньяк, и водку, а также приобрести в магазинах «Березка» дорогой, элитный алкоголь⁴⁴.

Смена политического руководства в СССР после смерти Брежнева, а именно короткое пребывание у власти с ноября 1982-го по февраль 1984-го Юрия Андропова, также ознаменовалась новым отношением к алкоголю. Я хорошо помню интеллигентские страхи тех полутора лет: боязнь новых репрессий, поводом для которых все считали попытки Андропова наладить трудовую дисциплину. За этим волнениями как-то незаметно прошло сенсационное в свете советской алкогольной политики снижение цен на водку. В продаже появилось сорокаградусное спиртное по 4 рубля 50 копеек за бутылку. До этого цена доходила до 5 рублей 20 копеек. Новый алкоголь назывался просто — «Водка». В фольклорных источниках оно расшифровывалось — «Вот он добрый какой Андропов»⁴⁵ Эту подешевевшую алкогольную продукцию в обиходе к тому же прозвали «андроповкой».

Последнюю советскую антиалкогольную кампанию моя семья ощутила в полной мере. 7 мая 1985 года вышло

постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по предотвращению пьянства и алкоголизма, искоренению самогонарения». А 6 июля 1985 года у меня умер отец, по современным меркам и моим теперешним представлениям — не очень старый человек шестидесяти пяти лет. Организация поминок превратилась в трагифарс: водку, согласно государственной инициативе, можно было купить только после 14 часов и в ограниченном количестве. В магазине для приобретения спиртного нас с мужем попросили предъявить свидетельство о смерти. Какое-то время назад мне казалось, что память мне изменила и такого не могло быть. Однако в книге «Советский анекдот. Указатель сюжетов», изданной в 2014 году Михаилом Мельниченко, я обнаружила следующую шутку: «Во времена Горбачева. Умирает мужчина преклонных лет. Родня спрашивает у него последнее желание: „Водочки бы...“ — „Только по справке о смерти“. — „Счастливые!“ — говорит умирающий»⁴⁶. Мои воспоминания оказались вполне репрезентативными.

Реалии горбачевской антиалкогольной кампании — совсем недавнее прошлое, детали которого живы в памяти многих. Руководство страны объявило нелепой идею культурного, умеренного потребления спиртных напитков, тем самым посягнув на многие бытовые ритуалы и традиции (см. «ЗАГС»). В ходе горбачевской антиалкогольной кампании возникло Всесоюзное добровольное общество трезвости (ВДОБТ), куда в добровольно-принудительном порядке вступило 15 млн человек. Возродился и официальный журнал «Трезвость и культура», где печатались антиалкогольные материалы и ученых, и литераторов. Сотрудники ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, где я тогда работала, должны были принять посильное участие в трезвеннической пропаганде. Ячейку общества создали — правда, очень немногочисленную. Ее члены не очень представляли себе, чем должны заниматься. И тогда секретарь партийной организации института, талантливая и рано ушедшая из жизни Лидия Николаевна

Семенова, автор блестящей книги о повседневной жизни эпохи Петра I⁴⁷, краснея и запинаясь, предложила издать сборник статей о борьбе с пьянством в России⁴⁸. Это был, кстати сказать, один из первых опытов обращения академических ученых к истории девиантного поведения, хотя авторы о таком понятии и не слышали. Участвовала в этом сборнике и я, хотя и не вступила в члены ВДОБТ.

Объем производства винно-водочной продукции сократился вдвое. В стране вырубались уникальные виноградники. Создается впечатление, что горбачевская антиалкогольная кампания была направлена на разрушение государственной монополии на производство и торговлю спиртным. Винные магазины открывались в 14 часов, люди получали увечья в огромных очередях за водкой, которая становилась «второй валютой» в СССР. Одновременно в стране ввели талоны на спиртное. Самогоноварение росло в гигантских масштабах, что привело к перебоям в поставках сахара. Резко увеличилось потребление спиртосодержащих жидкостей: лосьона, клеев, одеколонов. А главное, в СССР появилось огромное количество «паленой водки» — своеобразной «бормотухи» эпохи перестройки.

ВОЛОСАТИК

Волосы и власть: протест и контроль

Слово «волосатик», конечно же, не является советизмом. Согласно академическому «Словарю русского языка», так именуется «паразитический водяной червь, похожий на волос», а также «горный хрусталь или аметист с волоконообразным строением»¹. Однако в годы брежневского застоя биологическое и минералогическое толкование слова дополнилось социально-эстетическим. Согласно словарю-справочнику новых слов и выражений, появившихся в советской подцензурной лексике 1970-х годов, «волосатик» — это мужчина, а чаще юноша с длинными волосами. Слово употреблялось в разговорной речи и выражало неодобрительное отношение к человеку с подобной прической². В повести Василия Шукшина «Печки-лавочки» (1969) главный герой в письме к своим деревенским родственникам с явным пренебрежением сообщает: «Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но... профессора коробит. Меня тоже»³.

Действительно, термин «волосатик» стал маркером бытовой аномалии, порожденной дисциплинирующими практиками советской власти в сфере телесности вообще и области причесок в частности. Идея регламентации внешнего облика — не изобретение большевиков. На протяжении всей мировой истории в качестве важных составляющих человеческого тела-текста рассматривались не только руки, ноги, шея и т. д., но и волосы⁴. Их значимость и знаковость оценивалась

с функционально-предметной и технико-гигиенической точек зрения. Форма причесок или бород, нарочитая демонстрация или тщательное сокрытие шевелюры всегда обозначали общественный статус, пол и возраст, уровень сексуальной и даже политической активности. Ритуальность и общественный смысл можно усматривать и в технологии парикмахерского искусства (стрижка, укладка, завивка, окраска), и в особых приемах гигиены, хотя здесь скорее сказывается уровень развития техники и химии, а также бытового комфорта. И все же советские государственные и идеологические структуры внесли своеобразный дисциплинирующий вклад в практики отращивания/обрезания волос и ухода за ними. Специфика же властного дискурса в отношении причесок и бород во многом зависела от изменений сущности социально-бытовых ценностей на конкретном историческом этапе развития Страны Советов.

Приход большевиков к власти в России хронологически почти совпал со всплеском моды на короткие женские прически, хотя, конечно, стриглись женщины и раньше. Так, в 20-х годах XIX века появилась прическа «а-ля Титюс» — короткие туго завитые локоны. В 1860–1870-х годах коротко стриглись молодые российские «нигилистки». Но массовый «постриг» женщин и в Европе, и в России пришелся на 1910–1920-е годы⁵. Обусловили новую моду «а-ля гарсон» эмансипация женщин, вовлечение их в производственные процессы и активную общественную жизнь. Но не менее важным был и модный статус стрижки, ее своеобразная роскошь. Американский исследователь С. Здатни пишет: «То, что женские прически стали короче, не означает, что они делались проще или дешевле. Напротив, *cheveux courts* требовали постоянного ухода и регулярных визитов в парикмахерский салон»⁶.

В Советской России стиль а-ля гарсон в целом и сопутствовавшие ему короткие, хорошо уложенные волосы у женщин прежде всего ассоциировались с «нэпманским шиком». В рассказе Алексея Толстого «Гадюка» (1928) есть описание

остромодной в 1920-х годах прически, технологию создания которой героине рассказа объясняет соседка по коммунальной квартире, дама явно непролетарского происхождения: «Стричь... сзади коротко, спереди с пробором на уши...»⁷ В соперничестве с дочерью американского миллиардера Вандербильда Эллочка Шукина из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (1928) обрезает прекрасную черную косу и перекрашивается в рыжий цвет⁸. Пантелеймон Романов в романе «Товарищ Кисляков» (1927–1930) неоднократно привлекает внимание читателя к прическам женщин. Они появляются «с модно остриженными волосами» или «по-модному подстриженные, с напояженными кончиками загибающихся у висков волос»⁹. Стилль а-ля гарсон захватил и моих бабушек. Никто из женщин по папиной и маминой линии не мог похвастаться густыми и пышными локонами. Может быть, поэтому все с удовольствием стриглись.

Многие атрибуты нэпманской моды (узкие короткие юбки, блузоны с искусственным цветком или ниткой жемчуга, завязанной углом, яркая губная помада, туфли на высоких каблуках и т. д.) подвергались осуждению идеологических структур¹⁰. Но короткая стрижка, знаменитая «буби-копф», была как будто вне критики. В традиционных исторических источниках — в документах государственных и партийных органов, в периодической печати и даже в воспоминаниях — нет данных об осуждении коротких женских причесок в 1920-х — начале 1930-х годов. Это можно, скорее всего, объяснить тем, что стрижка волос рассматривалась и как некий социальный акт отречения от прошлого, старого, рутинного. В России общие индустриально-урбанистические тенденции усилились социальными катаклизмами революции и Гражданской войны. Новая женщина Страны Советов, таким образом, просто и легко восприняла моду на стрижки — неперенный элемент стиля а-ля гарсон, популярного в мире в первой четверти XX века. Конечно, возникает вопрос, как выглядели эти прически без

участия парикмахера. Трудно представить себе, что активные партийки и комсомолки проводили много времени в тогдашних салонах красоты. Неудивительно, что стрижка и как маркер революционности, и как эстетический эталон хорошо выглядела на женщинах с вьющимися от природы волосами. Эту ситуацию зафиксировала художественная литература 1920-х годов. В романе Николая Островского «Как закалялась сталь» (1930–1934) у коммунистки Риты Устинович «шапка непослушных волос окаймляла загорелое лицо»¹¹. Лелька Ратникова — героиня романа Викентия Вересаева «Сестры» (1928–1931) — «украшала весь взвод стройной своей фигурой в юнгштурмовке и хорошенькой кудрявой головой»¹². Стриженные вороные кудри и у Сани Ермаковой — «первой девушки» из одноименной повести Николая Богданова (1928)¹³. Детали такого рода в литературе 1920-х, как представляется, реабилитировали модные устремления «новых женщин», а также способствовали отмежеванию коммунисток и сознательных пролетарок от стриженных нэпманских модниц. Создается впечатление, что властные и идеологические структуры принимали форму прически а-ля гарсон, но осуждали необходимость ее «парикмахерского» оформления. Критике, если судить по комсомольской и сатирической печати 1920-х годов (журналы «Крокодил», «Бегемот», «Смехач», «Красный ворон»), иногда подвергались разные виды завивки, так как на это надо было тратить время у парикмахера — в ущерб общественно-полезной деятельности.

Мужские прически, как, впрочем, и форма бород, усов и бровей, тоже не привлекали большого внимания идеологических структур. Но иногда в комсомольской печати и художественной литературе 1920-х можно встретить критические замечания по поводу молодых рабочих пареньков, отращивавших буйные чубы «а-ля революционные матросы» и в то же время не соблюдавших элементарных правил гигиены. Владимир Маяковский в пьесе «Клоп» бичевал Пьера Скрипкина (бывшего комсомольца Присыпкина) за баки «как хвост

у собаки», к тому же еще и немывые. А в романе Вересаева «Сестры» отрицательный герой — парень с подбритыми бровями и дурно пахнущими грязными ногами.

В конце 1920-х вместе с падением престижа кожаной куртки — социально значимого атрибута периода Гражданской войны и элемента мировой милитари-моды — короткая женская стрижка в СССР утратила популярность. А в 1930-х — начале 1940-х властные и идеологические представления о внешнем облике советского человека начали обретать черты гламурности. В определенной мере это касалось и причесок. Работница одного из ленинградских заводов З. Н. Земцова вспоминала, что в середине 1930-х годов собиравшиеся на торжественный вечер в Кремле женщины по случаю празднования 8 марта получили указание явиться на банкет «не нигилистками <...> с короткой стрижкой, а выглядеть женщинами и чтобы наряд соответствовал»¹⁴.

Сталинский гламур, характеризовавшийся помпезностью и тяжеловесной роскошью, воспринял общемировую моду женских завитых пышных причесок с коками. Мои родственницы не приобщились к подобным сооружениям на голове. Но на семейных фотографиях своих друзей и коллег я видела и локоны, и коки. Все это напоминало прически кинозвезд 1940-х годов Дины Дурбин, Марики Рёкк, Энн Шеридан и др.

«Большой стиль» отразился и на мужчинах, для них вполне допускались пышные усы. Мой друг и коллега, известный питерский историк Владлен Измозик, рассказывал, что ему пришлось увидеть в архиве Выборга приказ, отданный полковником Анатолием Красновым, командующим 70-й стрелковой дивизией Ленинградского фронта в связи с преобразованием ее в ноябре 1942 года в 45-ю гвардейскую. В документе предписывалось всем мужчинам отрастить «буденновские усы», а женщинам-военнослужащим — «сделать шестимесячную завивку (перманент)». Это чудо парикмахерской техники уже активно использовалось советскими женщинами во



Прически конца 1940-х годов. Личный архив И. В. Синовой

время Великой Отечественной войны, что нашло отражение в повести Веры Пановой «Спутники» (1946):

Парикмахерша подула на длинные щипцы и стала накручивать на них волосы брюнетки. От головы брюнетки повалил дым. Брюнетка осторожно моргала замазанными ресницами и все терпела.

В соседней комнате происходили уже совершенные страсти. Там сидела женщина. Штук сорок, а может, и больше, электрических шнуров было протянуто от ее головы к стенке. Женщина не могла повернуть голову, а только водила глазами.

— А это чего? — со страстным интересом спросила Васька.

— Перманент, — ответила Ия.

Парикмахерша подошла к женщине в шнурах и стала орудовать у ее головы точно так же, как орудовал Низвецкий (электрикомонтер санитарного поезда. — *Н. Л.*) у своей доски с штепселями¹⁵.

Имперские тенденции, характерные для позднего сталинизма, в частности введение отдельного обучения девочек и мальчиков в средней школе в 1943 году, а затем в 1949 году — единой школьной формы, полностью копировавшей гимназическую, создали почву для благоприятного отношения власти к длинным женским волосам — но обязательно заплетенным в косы. Это, конечно, в первую очередь касалось юных девушек. Иными словами, мощные тоталитарные тела («Девушка с веслом», «Рабочий и колхозница») следовало венчать не легкомысленными стрижками, а античными косами или пышными волнистыми волосами.

И все же наиболее отчетливо властные дисциплинирующие инициативы по отношению к волосам как неотъемлемой части тела-текста «человека советского» проявились в 1950–1960-х годах. Регламентирующие практики коснулись и женских, и мужских причесок, а также бород. Косы как явный атрибут сталинского гламура потеряли былую привлекательность. Отчасти это произошло благодаря возврату в 1954 году к совместному обучению в школе. Ритуал школьной сексуальности — дерганье за косички — у многих девочек отбивал желание иметь длинные волосы. В официальном дискурсе, отраженном в советской периодике конца 1950-х — начала 1960-х годов, короткая стрижка у женщин расценивалась как знак самостоятельности, мобильности, молодости. Журнал «Юность» советовал «...девушкам, едущим на новостройки или на целину, в места необжитые, косы срезать и носить короткую стрижку: это куда удобней». А журнал «Работница» декларировал: «Сейчас модна короткая стрижка, она всегда молодит женщину»¹⁶. В новых прическах аккумулировались характеристики женской идентичности, освобожденной от обязательного выполнения своей природной функции — деторождения. Обрезание волос вновь, как в 1920-х годах, обрело символический характер демонстрации если не нового социального статуса, то жизненной позиции. Не вызвала властного отторжения модная на Западе в начале

1950-х годов прическа «венчик мира». Волосы в этом случае завивали и укладывали в форме венца вокруг головы. И хотя на страницах «Крокодила» периода ранней оттепели с такой прической изображали чаще всего подруг стилияг, аккуратность «венчика мира» спасла его от жесткой критики власти¹⁷. Я хорошо помню, что так какое-то время убирала волосы и моя мама — натуральная золотистая блондинка с зелеными глазами.

Правда, во второй половине 1950-х годов некоторые виды женских причесок все же подверглись гонениям. Критика велась с позиций борьбы со слепым подражанием западной моде, что напоминало время искоренения «космополитизма» в советской культуре в 1940-х годах. В 1957 году на советских экранах демонстрировался фильм режиссера Андре Мишеля «Колдунья» — французское кинематографическое прочтение повести Александра Куприна «Олеся». Героиня кинокартины носила длинные прямые волосы, распущенные по плечам. Эту моду мгновенно подхватили советские девушки, подражая Марине Влади — исполнительнице главной роли в кинокартине. Любопытно, что в 1949 году чешские кинематографисты показали киноленту режиссера Владимира Чеха «Дикая Бара» о девушке-дикарке с пышными, неприбранными волосами. Фильм был в советском прокате — и, естественно, раньше «Колдуньи». Какое-то время на рубеже 1940–1950-х в СССР бытовало выражение: «Что ты такая растрепанная, как дикая Бара!», но в условиях сталинского гламура прическа «дикой Бары» не стала популярной. Подражать же «Колдунье» захотели многие. Ее форма с неким непривычным намеком на интимность привлекала молодежь и раздражала старшее поколение. Это раздражение я ощутила на себе, когда в 1963 году, в пятнадцатилетнем возрасте, пришла в школу с распущенными волосами. Они были не то чтобы хорошими, но чистыми и блестящими. Однако от преподавательницы английского языка, дамы предпенсионного возраста, я получила замечание по поводу вульгарного вида и совет «заколоться», то есть подобрать волосы.

Андрей Битов, вспоминая 1957 год, писал: «Меня поджидала моя „колдунья“ (тогда вошла в моду Марина Влади, и <...> „моя“ шла по улице с распущенной рыжей гривой <...>), нам вслед свистели и плевались»¹⁸. Отторжение распущенных волос ощущалось и на уровне властных суждений. Даже в середине 1960-х журнал «Работница» писал: «Неэстетично выглядят и обесцвеченные перекисью длинные распущенные волосы: они всегда кажутся нерасчесанными, пристегиваются пуговицами»¹⁹. Относительно «конского хвоста» (так называлась, по свидетельству лингвистов, модная в годы оттепели женская прическа «с перехваченными сзади незаплетенными длинными волосами»)²⁰ вербально закрепленного властного осуждения обнаружить не удалось. Однако журнал «Крокодил» во второй половине 1950-х годов довольно часто публиковал карикатуры на «никчемных модниц и лентяек», где они изображались с «конскими хвостами»²¹.

После демонстрации в СССР в 1960 году французского фильма «Бабетта идет на войну» режиссера Кристиана-Жака в моду вошли высокие конусообразные копны, сделанные из полудлинных и длинных волос. Так была причесана главная героиня фильма в исполнении Брижит Бардо — секс-символа 1960-х годов. Актриса Людмила Гурченко вспоминала: «Шестидесятые... На экранах с большим успехом прошел фильм „Бабетта идет на войну“. И все женщины стали ходить с прическами „а-ля Бабетта“... из-за больших голов с начесами все казались тонконогими»²². «Бабетта», по мнению властей, была асоциальна и по форме, и по технологии выполнения. Прическа обычно делалась в парикмахерской и не расчесывалась в течение недели. Для придания прочности «Бабетту» обильно поливали лаком, который парикмахеры в 1960-е годы изготавливали сами: мебельный лак разводился одеколоном, а затем рассеивался из пульверизаторов. Начес — основу «Бабетты» — клеймили все. Он считался вредным с точки зрения гигиены, в чем вряд ли можно сомневаться и сегодня. На страницах журнала

«Работница» официально осуждались высокие начесы, «которые так не вяжутся со всей деловой обстановкой»; полагалось, что «девушки со взбитыми волосами теряют очарование юности, выглядят значительно старше своих лет»²³. Не признавался и начес на коротких волосах. Стрижку, дополненную взбитой челкой, называли «Я у мамы дурочка». В кинокомедии 1961 года «Полосатый рейс» (режиссер Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер и Виктор Конецкий) прическу именно с таким названием носит главная героиня Марианна. Ее роль сыграла знаменитая укротительница тигров Маргарита Назарова. И все же, несмотря на критику, начес в 1960-х годах был самым популярным приемом создания прически. Василий Аксенов в повести «Апельсины из Марокко» писал: «... (Катя. — Н. Л.) подошла к зеркалу и стала причесываться. Конечно, начесала себе волосы на лоб так, что они почти закрывали правый глаз»²⁴. В парикмахерских даже в начале эпохи застоя сооружали, взбивая пряди волос, советский вариант «Бабетты» — «Колос», иногда дополненный одиноким спущенным локоном.

Конечно же, власть, осуждая начес и распущенные волосы, тревожилась не о состоянии «здоровья» женских волос. Больше всего раздражало то обстоятельство, что «колдунья», «бабетта», «конский хвост» были изобретены на Западе. С этих же позиций критиковались и мужские прически. С трофейными, западными кинолентами в СССР пришла мода на удлиненные волосы у мужчин. Первыми на такой эксперимент отважились стилиаги. По воспоминаниям поэта Анатолия Наймана, «стрижка в Советском Союзе всегда была мукой, десятилетиями предполагалось фасонов лишь три — бокс, полубокс, полька»²⁵. Вероятно, поэтому появление мужчин, причесанных иначе, вызвало бурю эмоций. Стилиаги ввели в обиход «бродвейку». У нее было два вида — длинные зачесанные назад волосы или короткая стрижка, увенчанная одинокой прядью спереди, которую взбивали, превращая в высокий кок. И ту и другую «бродвейку» носили в сочетании с косо подбритыми

висками и тоненькими усиками. Обе разновидности «стильной» прически требовали применения бриолина. Он придавал волосам яркий блеск и прилизанность. Все это, как иронизировал в своих воспоминаниях искусствовед Михаил Герман, «наводило на мысль о полном нравственном падении»²⁶. В литературе начала 1950-х тоже зафиксировано официальное отторжение «бродвеек» и прочих куафюрных изысков. В романе «Времена года» (1954) Вера Панова сочла необходимым выразить отношение своей героини Дорофеей Куприяновой, на рубеже 1940–1950-х годов крупной чиновницы в провинциальном городе Энске, к длинным прическам: «Волосы чуть не до плеч — мода, что ли, у них не стрижься?.. А поповские патлы для чего? <...> Чья мода? Не знаю такой моды. <...> Чтобы отделиться? От кого отделиться?»²⁷

Первоначально были попытки бороться с новой модой кардинальными методами. Конечно, в нормативных актах невозможно обнаружить четких предписаний стричь коротко всех стилиг. Однако такую инициативу проявляли добровольные помощники милиции: бригадмилыцы, а затем дружинники. У этих хамских акций на самом деле была, конечно, неизвестная ретивым комсомольским деятелям символическая основа. Известно, что в христианской традиции добровольное обрезание волос рассматривается как символ жертвы, а насильственное — как жесткий дисциплинирующий акт, подразумевающий отказ от прошлых бытовых практик.

Однако в конце 1950-х набриолиненные коки уже не считались остромодными. В новый неофициальный маркер современности мужского канона превратились бороды. До этого, как писали современники, «бород просто не было, только — у Калинина, деревенских стариков и профессоров в кино»²⁸. То, что далеко не старые мужчины взялись отращивать бороды, связано со стремлением приблизиться к западным стандартам — в частности, к внешнему облику писателя Эрнеста Хемингуэя. Протестный характер бороды сразу почувствовали

идеологические структуры. Зять Никиты Хрущева, известный журналист Алексей Аджубей, прямо писал: «Бороды воспринимались как вызов общественному мнению»²⁹. Не помогали ни ассоциации со знаменитыми кубинскими «барбудес», ни песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Куба, любовь, моя» (1962), в которой пелось об этих «революционных бородачах», ни стихи Роберта Рождественского (1960–1961) со строками:

Милые бородачи,
с вами я, с вами я!
Пожалуй, до субботы
отращу бороду,
в МИД пойду ругаться
и поеду к Кастро!

Бородачи на первых порах подвергались критике на комсомольских собраниях. Этот феномен зафиксировал Аксенов в повести «Апельсины из Марокко». А питерский поэт-шестидесятник Владимир Уфлянд вспоминал, что после трехмесячного пребывания в «Крестах» (знаменитая питерская тюрьма) за якобы спровоцированный дебош он «бросил бриться и был, наверное, единственным в городе человеком с бородой, за что и был заклеен как стилига с надменно выпяченной нижней губой каким-то прокурорским работником»³⁰. Конечно, кроме западного влияния мода на бороды в 1960-х годах объяснялась увеличением престижа профессии геологов, часто не брившихся в экспедициях из-за обилия мошки, и растущей популярностью таких видов отдыха, как туризм и альпинизм. Эту ситуацию отразило и советское кино, в частности фильм режиссера Станислава Говорухина «Вертикаль» (1967). Знаковой можно считать фразу героя Владимира Высоцкого. Собираясь в горы, он заявил: «А у меня все готово: борода, гитара»³¹.

По-другому к бородам стали относиться после свержения Хрущева. Антихрущевские настроения партийной верхушки



Бородачи 1970-х годов. Личный архив Н. Б. Лебиной

некоторые деятели культуры и искусства истолковали как антизападные. Неосталинизм брежневского времени окрасился в патриотические тона. Это была очередная попытка возрождения религиозно-национальной духовности в строго государственных рамках. «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, изыскания филолога Дмитрия Лихачева, позволившие по-новому оценить «Слово о полку Игореве», «Черные доски» Владимира Солоухина возродили обыденную моду на русское, и в первую очередь на иконы и соответствующие им по духу бородачи. Однако далеко не все мои знакомые «милые бородачи» отращивали растительность на лице из псевдопатриотических побуждений. Скорее это была форма мужского кокетства. И, главное, форсить таким образом в годы застоя было уже безопасно. В 1971 году я поступила в аспирантуру теперешнего Санкт-Петербургского Института истории РАН



Волосатики 1970-х годов. Личный архив А. В. Егоровой

и оказалась в отделе, где изучали советскую историю России. Именно в этом подразделении были сосредоточены все бородатые мужчины института, и никто не применял к ним никаких дисциплинарных мер.

Более драматично развивались взаимоотношения власти и так называемых «волосатиков». Мода на длинные волосы у мужчин возродилась в середине 1960-х годов под влиянием The Beatles. В молодежной среде появились юноши, носившие слегка удлинненные прически, всего лишь закрывавшие уши и часть шеи.

Тем не менее «волосатика», как в начале 1950-х годов стилисту, могли не пустить на занятия в школу и институт, задержать на улице как нарушителя общественного порядка и даже насильно постричь прямо в милиции. Один из юных советских битломанов, по чудесному стечению обстоятельств мой сокурсник по истфаку ЛГУ, известный историк Михаил Сафонов, вспоминал, что в 1966 году от принудительной стрижки его спасла только серебряная медаль, удостоверение о получении которой случайно оказалось у него при себе. Сочетание медали и нестандартной прически выглядело настолько парадоксальным, что милиционеры отпустили «волосатика» с миром³². Длинные волосы носили и советские хиппи, первое публичное собрание которых произошло 1 июня 1972 года на Пушкинской площади в Москве.

В целом следует отметить, что насильственная стрижка (бритье) и женщин, и мужчин были не столько широко распространены, сколько демонстративно агрессивны. Это вызывало возмущение у многих³³. И естественно, что большинство интеллектуалов сохранило в памяти именно посягательства на прически и бороды. Значительно меньше им запомнились перемены в технико-гигиенической политике власти по отношению к волосам. А изменения были, и значительные. В то время в быт горожан активно внедрялись достижения химической промышленности. В середине 1960-х лингвисты зафиксировали появление названия новой отрасли химической промышленности — «бытовая химия»³⁴. В быту появились новые моющие средства. Книга «Домоводство», изданная в 1957 году, предлагала «Мыльную стружку» и порошок «Новость». В 1959 году «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже рассказывала о мыльных брикетах «Снежинка», «Лебедь» и жидком мыле «Универсол»³⁵. То же издание, но вышедшее в 1966 году, уже информировало о таких моющих средствах, как «Автотурист», «Капронил», «Ракета», «Эра», «Синтол», и даже об импортных порошках «Мильва», «Мильвок», «Персиль»³⁶.

Достижением «химизации народного хозяйства» — шампунями — все наше семейство пользовалось активно с начала 1960-х годов. До этого в качестве средства для мытья волос население в основном употребляло обычное кусковое мыло: глицериновое, дегтярное, детское. Жирные волосы журнал «Работница» еще в 1956 году (правда, в основном женщинам) советовал очищать с помощью мыльного спирта и горчицы, а сухие — вообще мыть не чаще одного раза в 10–15 дней³⁷. В 1959 году «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже информировала о появлении жидкого мыла под названием «Шампунь», замечая, однако, что «длительное систематическое его применение может вызвать высыхивание и истончение волос»³⁸. Действительно, население нуждалось не только в информации о существовании чудо-средств для новых

гигиенических практик, но и разрешениях и запретах на их применение. Осенью 1960 года журнал «Работница» вынужден был в спешном порядке дать ответ на вопрос читательниц из Вологды, Читы и Киева: «Можно ли мыть волосы „Новостью“?» Врач-косметолог А. Гусарова писала на страницах журнала по этому поводу: «Порошок „Новость“ получил широкое распространение в нашем быту. Он хорош для стирки изделий из шелка, шерсти, трикотажа и меха, так как в отличие от жирового мыла моет и в жесткой воде, и в кислой, и в щелочной. Но мыть им волосы нельзя, потому что в состав порошка входят очень едкие вещества, как, например, серная кислота и щелочь, которыми можно повредить не только волосы, но и кожу»³⁹.

Химизация повлияла и на технологии завивки волос. Уже в 1958 году журнал «Работница» напечатал материал под знаковым заголовком «И химия стала служить красоте», посвященный преимуществам химзавивки перед перманентом⁴⁰. Одновременно журнал предложил и определенные дисциплинирующие практики использования «химии» для создания хорошей прически: «Ошибаются те женщины, которые считают, что, сделав перманент или химическую завивку, они тем самым избавили себя от дальнейшего ухода за прической. Завивка и перманент лишь облегчают укладку волос, которую необходимо делать регулярно. В этом сезоне остаются модными прически, уложенные не локонами, а крупными, слегка вырисовывающимися волнами, что придает волосам вид естественной завивки»⁴¹. А уже в 1961 году эта ситуация получила отражение в художественной литературе. В повести Ирины Грековой «Дамский мастер» герой, молодой парикмахер, говорит клиентке: «Со своей стороны, могу предложить вам химию... <...> Самый современный вид прически. Имейте в виду, за рубежом совсем прекратили шестимесячную, целиком перешли на химию. <...> Шестимесячная — это баран. <...> Химия дает более интересную линию прически...»⁴² В начале 1960-х годов

фабрика «Свобода» стала выпускать краску «Гамма», которая имела восемь оттенков цветов⁴³. «Химией» женщины нашей семьи пользовались, чтобы придать пышность прическе. Краска была в меньшей чести. Бабушка по маминой линии рано и очень ровно поседела. Серебро волос эффектно контрастировало с прекрасным цветом лица. Мама не красилась вообще и почти до 70 лет поражала всех красивыми светлыми волосами, потом как-то изящно из золотистой блондинки превратилась в пепельную.

Достижения научно-технического прогресса вошли в быт советских людей в результате демократизации социальной сферы, и дисциплинирующие практики власти начали меняться. Уже в начале 1957 года через год после судьбоносного XX съезда КПСС на пленуме ЦК комсомола было решено не только бороться с попытками буржуазной пропаганды «навязать советской молодежи низменные вкусы», но и «всемерно поощрять стремление молодежи красиво выглядеть»⁴⁴. В советской периодике стали регулярно появляться статьи с рекомендациями по уходу за волосами. Но, пожалуй, наиболее существенным изменением во властных практиках стало расширение сети парикмахерских. В августе в 1962 году появилось специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения. В документе не только констатировались нехватка женских парикмахерских и неудовлетворительная организация обслуживания в них, но и предусматривалось создание салонов красоты на предприятиях, где работают преимущественно женщины. Официальная советская статистика фиксировала рост числа парикмахерских в СССР с 35300 в 1965 году до 48300 в 1981-м⁴⁵. По приблизительным подсчетам, на один город с населением 50 и более тысяч человек приходилось в начале 1980-х примерно по 100 «салонов красоты». В общем, не так уж мало. С 1966 года мастера по прическам ежегодно участвовали в городских и общесоюзных конкурсах, выезжали

с показами своих достижений и за рубеж. Советские женщины эпохи застоя прошли испытание прическами «гаврош», «каскад», «сессон» и др. У мужчин все было скучнее: или модельная, или обычная стрижка. Но главное, в конце 1970-х почти все кампании дисциплинирующих практик в отношении волос «неорганизованного» населения прекратились. Власть оставила за собой контроль над большими коллективами, в частности армией, где стрижка у мужчин под ноль, кроме гигиенических, несомненно, преследовала и жестоко регламентирующие цели. Периодически «строили» и школьников, но это была частная инициатива учительских коллективов. Значительно жестче на телесные каноны советских людей, в частности на уход за волосами, повлиял нараставший в перестроечные годы товарный дефицит: отсутствие в продаже нужных моющих и красящих шампуней и т. д.

ГАЛОШИ

Научно-технический прогресс и внешний облик горожанина

Галоши, или калоши, и как лексический факт, и как реальный предмет появились в российском культурно-бытовом пространстве задолго до событий 1917 года. Но исчез этот вид резиновой обуви, долго время представлявший собой обязательный атрибут городского пространства, в советское время. В первой половине XIX века горожане пользовались кожаными чехлами на деревянной подошве. О них еще в 1839 году писал Владимир Сологуб в повести «История двух калош»: «Я так много в жизни своей ходил пешком, я столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затоптанные, в обществе лакеев, без всякого уважения»¹. О первых резиновых «мокроступах», как изначально называли галоши в России, стало известно в 1840-х годах. Появление новой «обуви для обуви» во многом было результатом промышленной революции, а конкретнее, бурного развития так называемой химической промышленности и технологий производства резины из натурального

каучука. В России выпуск резиновых галош начался во второй половине XIX столетия. Особую известность имели изделия питерского завода «Треугольник» и московского «Богатыря». Оба предприятия после событий 1917 года прибавили к своим исконным именам прилагательное «красный».

Резиновая обувь — вещь в общем-то сугубо утилитарная — в начале XX века была и своеобразным маркером социального благополучия. Именно этот смысл заложен в реплике доктора Борменталья — героя булгаковского «Собачьего сердца» — об отсутствии у пролетариев галош, которые в деревне и вообще считались роскошью. Ветераны завода «Красный треугольник» вспоминали, что, приезжая в гости к сельской родне, они старались и в дождь, и в солнечную погоду гулять в новеньких блестящих галошах. Обувь, которую рабочие получали бесплатно в заводской лавке, вызвала повышенный интерес крестьян². Для социально благополучных горожан накануне событий 1917 года обувь из резины — атрибут бытовой культуры, предмет с выраженным защитно-гигиеническим назначением. «Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду», — говорит представителям домкома профессор Преображенский, наставительно разъясняя вредность этой привычки и для индивидуального здоровья, и для общественной гигиены. И хотя события повести «Собачье сердце» разворачиваются в советской Москве 1920-х годов, в репликах героя явно закодированы сложившиеся у обеспеченных слоев городского населения до прихода к власти большевиков привычные бытовые практики. В их ряду были поведенческие навыки, связанные с использованием резиновой обуви: ее обязательно снимали при входе в дома и учреждения. Для хранения галош существовали специальные «галошные» стойки. На рубеже XIX–XX веков горожанин предъявлял и определенные требования к внешнему виду «мокроступов». Они должны были не только оберегать от влаги ноги своих владельцев, но и не уродовать их внешность. В стихотворении Игоря Северянина

«Каретка куртизанки» (1911) есть строчки о необходимости «окалошить» изящные ножки, чтобы они не промокли. Сложно себе представить, что героиня стихотворения, приказывающая гарсону симпровизировать «блестящий файв-о-клок» и пьющая «крем-де-мандарин», надела бы на ноги нечто некомфортное и некрасивое.

Производители российской резиновой обуви всячески старались привлечь внимание потенциального потребителя своих товаров. Петербургский «Треугольник» в конце XIX — начале XX века стал выпускать утепленные галоши, а также модели с утолщенным задником, которые легко снимались без помощи рук. Все изделия были не только блестящими благодаря лакировке, но и легкими, так как производились с помощью техники ручной склейки. На предприятиях предреволюционной России каждую галошу от начала до конца изготавливал один человек, занимаясь не только клейкой, но и заготовкой деталей, и их намазкой. Делали это только женщины, более приспособленные к кропотливой операции, требующей особой аккуратности. Но именно они больше всего страдали от вредности резинового производства. Около каждого рабочего места стояла банка с клеем на основе бензина, в большой концентрации вредного для здоровья. Демократическая газета «Путь правды» в начале 1914 года разместила заметку о ситуации на «Треугольнике». Там попытались использовать якобы усовершенствованный бензиновый клей. Результат оказался ужасающим: «Женщины падали между столами, разбиваясь о железные рамки и чугунные колодки. Раздавались нечеловеческие, дикие, душу раздирающие крики и стоны. Куда ни посмотришь, везде... корчатся в судорогах, с искаженными посинелыми лицами...»³ Галошниц «Треугольника» в Петербурге называли «трясучками» — сказывалась необходимость при работе «на себя» действовать очень быстро, нерасторопность каралась материально. Но в значительной мере нервная дрожь была последствием токсического воздействия бензина.

Тем не менее производство «обуви для обуви» успешно развивалось. В 1913 году в резиновой промышленности России трудились почти 23 000 рабочих. Они производили шин и прочих изделий на 39,8 млн рублей, а галош — на 81,7 млн рублей!⁴

После событий 1917 года галоши на некоторое время превратились в супердефицитный вид обуви — предприятия резиновой промышленности практически остановили производство. Отсутствовал главный компонент клея — бензин. На заводе «Богатырь» в Москве его попытались заменить керосином. Эту хитрость переняли и рабочие «Треугольника». В результате на предприятии в неделю стали делать по 300–500 пар резиновой обуви. Но качество изделий от таких новшеств страдало. Возрождение производства началось в годы нэпа. В феврале 1922-го был создан государственный трест резиновой промышленности. Он объединил четыре завода: «Красный треугольник» в Ленинграде и московские предприятия «Красный богатырь», «Каучук», «Проводник». Первые советские галоши активно рекламировались. В 1923 году появилось сразу несколько плакатов Александра Родченко со стихотворными текстами Владимира Маяковского, вошедшими в его творчество под общим названием «Резинотрест». Судя по экспонатам, сохранившимся в фондах Музея истории Санкт-Петербурга, резиновая обувь в первой половине 1920-х делалась неплохо. Примером тому могут служить изящные «полугалошки», которые надевались на легкие дамские туфельки. На производстве было много старых мастеров, и они в совершенстве владели методом клейки, позволявшим сделать галоши легкими, прочными и до некоторой степени элегантными. Однако вредность работы на резиновом производстве не уменьшалась.

В 1931 году писатель Викентий Вересаев завершил роман «Сестры», полтора года проработав санитарным врачом на московском резиновом заводе «Красный богатырь». Документальный подход к реальности, характерный для Вересаева, нашел яркое выражение в литературно-художественном изображении



Плакат «Резинотрест». 1923.
Художник А. М. Родченко
© Александр Родченко / РАО
(Москва) / 2018

проблем здоровья женщин-галошниц. С врачебной скрупулезностью литератор описал тяжелейшее наркотическое отравление, которое вызывал клей на бензине: «Противно-сладким дурманом он пьянил голову. Сперва становилось весело. Очень смешно почему-то было глядеть, как соседка зубами отдира-ла тесемку от пачки или кончиком пальца чесала нос. Лелька начинала посмеиваться, смех переходил в неудержимый плач, и, шатаясь, пряча под носовым платком рыдания, она шла на медпункт дохнуть чистым воздухом и нюхать аммиак. Одежда, белье, волосы — все надолго пропитывалось тошнотным запахом бензина. Голова болела нестерпимо — как будто железный обруч сдавливал мозг. Приходила домой — одного только хотелось: спать, спать — спать все двадцать четыре часа в сут-ки. А жить совсем не хотелось. Хотелось убить себя. И мысль о самоубийстве приходила все чаще... Тяжелы последствия хронического вдыхания бензина. Уже через два-три года ра-боты исчезал самый яркий румянец со щек девушек, все были раздражительны и нервны, в тридцать лет начинали походить

на старух»⁵. Объективности ради следует сказать, что в 1920-х годах в рамках всеобщей заботы о здоровье пролетариата предпринимались попытки облегчить труд галошниц. На «Красном треугольнике» была организована группа активистов НОТ (научной организации труда). В стремлении реализовать модные тогда идеи Алексея Гастева, большевика, идеолога Пролеткульта, прозванного «русским Тейлором»* и сосредоточившего внимание на организации трудового процесса, несколько инженеров попытались разделить производство резиновой обуви на восемь операций. То есть одну галошу делали восемь работниц, но непосредственно «склеивкой» занималась лишь одна из них. Количество банок с клеем в цеху резко сокращалось, но и производительность труда также резко падала, а главное, ухудшалось качество изделия. Однако «началом конца» эстетически благопристойных галош стало внедрение конвейеров.

Технический прогресс, уничтоживший индивидуальность «обуви для обуви», одновременно способствовал расширению объемов ее производства. Резиновая промышленность в годы первых пятилеток была одной из самых результативных отраслей народного хозяйства. Количество изготовленных галош уже в 1928 году превысило дореволюционные показатели на 33%, а к 1940 году — вдвое⁶. Неудивительно, что людям, чьи детство и юность пришлось на 1920–1930-е годы, советская резиновая обувь запомнилась очень хорошо. Питерский поэт Владимир Шефнер писал: «В те времена их (галоши. — Н. Л.) носили почти все — от мала до велика...» Ему вторит и прозаик Даниил Гранин: «У всех на ногах блестели галоши». До войны внутри «обуви для обуви» хозяева закрепляли маленькие букочки с собственными инициалами, чтобы отличить свои «мокроступы» от чужих⁷. Носили их не только из-за недостатка обуви, но и потому, что в стране — и в небольших городах, и в Москве,

* Фредерик Тейлор (1856–1915) — американский инженер, основатель системы научной организации труда.

и Ленинграде — еще не существовало асфальтных тротуаров и мостовых. Правда, в начале 1930-х не у многих хватало денег на галоши. Они тогда стоили 15 рублей, а средняя зарплата не превышала 120 рублей. Неудивительно, что для большей части советских людей, как, например, для семьи молодого ленинградца Аркадия Манькова, позднее известного историка, покупка галош в 1933 году была почти несбыточной мечтой.

Конвейерная сборка обеспечила прорыв в производстве резиновой обуви — количество продукции резко увеличилось. Но предел роста эффективности труда был заложен в физических возможностях женщин, сидевших за конвейером. Не помогли и столь почитаемые властью в конце 1920-х — начале 1930-х годов «ударные методы» работы. Реальную помощь оказала новая техника. На «Красном треугольнике», а затем и на «Красном богатыре» в арсенал методов изготовления галош вошла штамповка. Она заменяла 23 операции сборки резиновой обуви на одну! Впрочем, натуральный каучук штамповался плохо. И вновь галоши ощутили на себе темпы развития научно-технического прогресса — на предприятиях резиновой промышленности появились первые партии синтетического каучука, разработанного по методу академика Сергея Лебедева.

Особое развитие штамповка получила после окончания Великой Отечественной войны. Галоши в середине 1940-х годов пользовались большой популярностью у советских людей. В 1947 году после отмены карточек в течение первого месяца торговые работники определили товары повышенного спроса. Среди промтоваров лидировали галоши! В одном из московских универмагов за день продали всего лишь 120 пар кожаной обуви, но зато 1500 пар резиновой. В некоторых районах столицы был даже введен лимит на ее продажу. А продавцы предлагали уменьшить спрос за счет повышения цен на обувь из резины. На барахолках же в это время галоши, которые стоили в магазинах примерно 22 рубля, продавались по 175–200 рублей за пару⁸.

Метод штамповки позволял делать 3500 пар резиновой «обуви для обуви» на одном прессе за смену! Но галоши были тяжелыми, неэластичными, грубыми. И все же и в начале 1950-х они продолжали обеспечивать определенный комфорт в условиях непогоды. Их производство в СССР выглядело достаточно отлаженным. Знаменитый «Красный треугольник» в это время выпускал около 100 артикулов резиновой обуви и даже пытался разрабатывать ее новые виды. Летом 1955 года на предприятии начали изготавливать женские галоши без каблука на тонкой подошве. «Эти галоши, — писала „Ленинградская правда“, — очень удобны в условиях резкой перемены погоды. Их можно носить с собой в кармане или в дамской сумочке»⁹. Конечно, подобных вещей я не помню, ничего не говорили о них и мои родители. Запечатлелись в детской памяти лишь огромные «мокроступы» папиного фронтового друга Виктора Павловича Прохорова, дядьки огромного — 1 м 90 см — роста. Носил он обувь 45-го размера. Тоже редкость. Прохоровская резиновая обувь напоминала мне лодки. Наверное, так же думал и наш кот, всегда залезавший именно в галоши Виктора Павловича. В общем, «обувь для обуви» в годы моего детства была элементом обыденности горожан всех возрастов и социальных групп.

Привычный статус галош поколебала хрущевская оттепель. Самое это слово, определяющее в советской истории эпоху демократизации общественной жизни и деструкции сталинского быта, порождает не только социально-политические ассоциации. Его прямое значение связано с процессом таяния снега и льда, обилием влаги, неизбежной распутицей и грязью. Неудивительно, что остромодной вещью начала хрущевской оттепели стали мужские ботинки на толстой микропористой подошве, которую в СССР прозвали «манной кашей». Ничего подобного нельзя было купить в советских магазинах в середине 1950-х. Но частные сапожники, еще существовавшие в условиях социалистической экономики, по воспоминаниям бывших стилиг, героев документальной книги «Стилиги: Как это было»,

«наклеивали толстую мягкую подошву и еще гофрировали ее сбоку»¹⁰. Известный советский модельер Александр Игманд вспоминал о еще более экзотической практике обувщиков на дому: «У меня был один знакомый по прозвищу Шнапс, который из обыкновенных туфель делал платформы. Он разрезал покрышки для машин, вырезал по контуру обуви и пришивал к ботинкам. В народе такие туфли назывались танками — они были на шинах толщиной пять-шесть сантиметров»¹¹. Литераторы Петр Вайль и Александр Генис считали, что эта обувь наиболее соответствовала «принципам раскрепощения личности»¹². Действительно, мощная рифленая подошва позволяла спокойно преодолевать лужи и слякоть. Свобода же в начале оттепели выражалась в возможности игнорировать обязательный атрибут межсезонья — галоши. Они у «поколения XX съезда», который развенчал культ личности Сталина, считались чем-то допотопным и ненужным. Кроме того, на рубеже 1950–1960-х годов советские «мокроступы» вошли в конфликт с остромодной в прямом и переносном смысле обувью. Так, поэт Евгений Рейн, выбирая наиболее значимые признаки времени хрущевских реформ, писал в стихотворении «Шестидесятые» (1978):

И остроносые ботинки,
И длиннохвостые блондинки...
Вас, бледноватые картинки,
Я вызываю на парад.

В конце 1950-х самым серьезным событием в западной моде стал резкий переход от закругленной формы обувного носка к заостренной. Кроме того, «остроносые ботинки» завершили вытеснение из гражданской мужской одежды военизированного стиля. В 1920-х — начале 1950-х годов с ним ассоциировались высокие сапоги. В годы нэпа, когда в сравнении с периодом революции и Гражданской войны несколько улучшилось обеспечение городского населения одеждой и обувью, в гардеробе мужчин появились ботинки «шимми», или «джимми», чаще всего сделанные из светлой, почти желтой кожи. Даниил

Хармс записал в дневнике в сентябре 1926 года: «Купил сапоги „Джим“ в Гостином дворе, Невская сторона, магазин 28»¹³. В желтых ботинках разыскивал сокровища тещи Кисы Воробьянинова великий комбинатор Остап Бендер, главный герой романа «Двенадцать стульев». Эта обувь потрясла провинциальную мадам Грицацуеву и показалась ей особой приметой внешнего облика Бендера. Однако сотрудник газеты «Станок» не согласился с мнением брошенной Бендером «знойной женщины» и заявил: «Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят»¹⁴. О популярности этой обуви повествует и фольклор: молодежь во второй половине 1920-х вдохновенно распевала песню с такими словами:

Я Колю встретила на клубной вечериночке.
 Картину ставили тогда «Багдадский вор».
 Оксфорд сиреневый и желтые ботиночки
 Зажгли в душе моей негаснущий костер.

Но в конце 1920-х человек в ботинках «шимми» уже выглядел как представитель «сословия бывших». Пантелеймон Романов в романе «Товарищ Кисляков» выделил следующие детали облика «общипанного интеллигента»: «На нем... прорезиненное пальто, порыжевшее от солнца, фуражка и на ногах вместо сапог краги бутылочной формы с ремешками, надевавшиеся как голенища к башмакам»¹⁵. Шнурки на обуви были в узелках, «каблуки у башмаков, съеденные с одной стороны асфальтовыми тротуарами, имели жалкий вид и были рыжие, так как не хватало терпения каждый раз чистить их сзади»¹⁶. Неудивительно, что бывший инженер, а после революции музейный работник Ипполит Кисляков внешне одобрительно относится к предложению своего нового начальника, выдвиженца из рабочих, носить вместо башмаков сапоги: «Как доношу, так куплю сапоги, — сказал Кисляков, и ему показалось, что его костюм действительно излишне франтоват»¹⁷. Сапоги вновь становились камуфляжной деталью внешнего облика, средством демонстрации лояльности к новой стилистике



Популярная обувь 1930-х годов: сапоги кожаные и кирзовые, белые парусиновые туфли. Личный архив Н. Б. Лебиной

повседневности, диктуемой территориальными перемещениями первых пятилеток.

Начищенные ботинки вернулись в быт горожан во второй половине 1930-х годов в контексте эстетических ориентиров сталинского гламура как составляющей большого стиля. Но в 1940–1950-х под влиянием возрастания статуса «человека военного», а отчасти и в связи с нехваткой обуви гражданского образца мужчины вновь стали носить, а может быть, и просто донашивать сапоги. Известный океанолог и поэт-песенник Александр Городницкий вспоминал: «В начале десятого класса в нашей школе появился ладно скроенный молодой подполковник... Его литая фигура, туго обтянутая новенькой гимнастеркой с яркими полосками орденских колодок, зелено-черное мерцание погон, портупей и начищенных до предельного блеска сапог безоговорочно покорили и наши мальчишеские сердца... Нельзя забывать, однако, что для нас, школьников

военного поколения, облик боевого офицера был тогда главным идеалом. Не в пример Белинскому „титло литератора“ заслонялось от нас „блеском мундиров и мишурой эполет“»¹⁸. Одновременно после Великой Отечественной войны сапоги стали атрибутом «криминальной моды», детали которой можно реконструировать по материалам воспоминаний поэтов-шестидесятников. Городская шпана во второй половине 1940-х — начале 1950-х предпочитала носить черное, желательное двубортное драповое пальто, белый шелковый шарф, серые буклированные кепки с гибким козырьком, широкие брюки, почти клеш, обязательно заправленные в начищенные сапоги¹⁹. Поражает эклектика этого модного набора — сочетание псевдозелегантности, уголовной бравады и копирования стиля «фронтовика». На старой семейной фотографии, сделанной в воскресный день 1952 года на углу Мойки и Невского проспекта, я с удивлением обнаружила, что мой отец, инвалид войны, уже тогда работник системы Академии наук, одет почти по такой моде. Правда, без белого шарфа и в пристойной кепке. Но начищенные до блеска сапоги присутствовали.

К середине 1950-х годов внешний облик горожан изменился, кончилась эпоха сапог, вошли в моду элегантные остроносые ботинки. У Василия Аксенова в повести «Коллеги» есть показательная фраза: «Крепкие башмаки, но — Боже! — неостроносые! Сложная проблема элегантности»²⁰. Советские обувщики, правда, не поспевали за модой. Мужские полуботинки фабрики «Скороход», например, в конце 1950-х годов не только не соответствовали новым эстетическим требованиям, но были вообще малопригодны для носки, так как весили 1 кг 200 г каждый! Ситуацию немного улучшала попадавшаяся на советских прилавках импортная обувь. На рубеже 1950–1960-х она, конечно, была предметом повышенного спроса. Анатолий Найман вспоминал, что внезапно понадобившиеся ему остроносые венгерские туфли можно было купить только через знакомую продавщицу. Неудивительно, что в конце 1950-х годов

человек, обутый в узконосые ботинки, привлекал к себе повышенное внимание, как отмеченный знаком особой элегантности. Актриса Татьяна Доронина, описывая свою первую встречу в 1958 году с актером БДТ Павлом Луспекаевым, вспомнила, что ее буквально сразил вид его обуви: «Я смотрю и вижу именно ботинки. Я боюсь поднять глаза. Я уставилась на эти узконосые модные черные ботинки со шнурками»²¹. По воспоминаниям Евгения Евтушенко, примерно в это же время «в одном рабочем клубе на сцену начали выскакивать дюжие молодцы с красными повязками, которым в моих остроносых ботинках почудился вызов пролетарскому вкусу»²². В начале 1960-х годов в СССР появилась австрийская и английская обувь. Единственным ее недостатком была дороговизна. Современники вспоминали, что в 1961 году супермодные остроносые английские туфли из-за своей высокой цены «спокойно лежали» на полках советских магазинов. Отечественные же остроносые ботинки стали делать лишь в начале 1960-х годов. Первыми в стране надели советские строгие туфли из черного хрома с зауженным носком ленинградские мужчины. Такую обувь начала изготавливать городская обувная фабрика «Восход». Конечно, привычные, удобные и практичные галоши надеть на остроносые ботинки — знак хрущевской оттепели — практически невозможно.

Еще больше проблем возникло у женщин, ведь модная обувь конца 1950-х годов обладала в дамском варианте еще и новой формой каблука. В Европе ее называли шпилькой, а в СССР иногда именовали «гвоздиком» из-за расположенного внутри металлического штыря. Туфли такого фасона были сначала только импортными. Отечественные производители приблизились к освоению новых тенденций в 1960-х. Советская пресса уже рассказывала о многообразии изделий обувщиков, перечисляя «элегантные вечерние туфли из замши и лакированной кожи на каблуке, который модницы называют шпилькой, «различные туфли на тонком среднем каблуке, туфли разных

фасонов и цветов с каблуком от 25 до 75 мм, с закрытым и открытым носком, с закрытым и открытым задником»²³. В реальности половина всей выпускаемой обуви пока еще шилась по моделям 1954–1958 годов, что вызывало резонное недовольство женщин. Они писали в газеты: «Считаем, что женщины — не футболисты и достойны более изящной обуви»²⁴. В то же время галош и бот, в которые спокойно прятались относительно старомодные туфли на толстых, массивных каблуках, хватало. Это позволяло обуться по погоде и без особых затрат.

К середине 1960-х в СССР выпускали уже достаточное количество модных туфель с острыми носами и на шпильках. Эта мода «записала» свой след прямо на тротуарах городских улиц: острые каблочки летом буквально протыкали размягчавшийся под лучами летнего солнца асфальт. Модная женская обувь упомянута в песне из знаменитого в 1960-е годы «дворового цикла» композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина. Молодой Иосиф Кобзон пел:

В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере,
 Глупая, мучит тебя лишь одно:
 Как бы соседи тебя не увидели
 Да старики, что стучат в домино.

Но вожделенные шпильки/гвоздики порождали серьезные бытовые проблемы. Журнал «Работница» летом 1961 года развернул дискуссию о том, в каких случаях следует носить «изящные босоножки без задника на каблучках „шпилька“». Женщины считали их пляжными, но изумлялись довольно высокой цене. Журнал же разрешил сомнения следующим образом: «Современная мода предлагает фасон туфель на тонком каблучке без задника. Их можно надевать с нарядным платьем. Для пляжа эти туфли не годятся хотя бы уже потому, что они на высоком каблучке»²⁵. Еще сложнее оказалось вписать модную женскую обувь в осенне-зимнее городское пространство. Газетчики начала 1960-х отмечали: «Вкусы меняются — многие предпочитают теперь носить обувь с зауженным носком и тонким

каблуком, а попробуйте найти галоши к ней!»²⁶ На «Красном треугольнике» попытались наладить производство женских резиновых галош для туфель с каблуком-шпилькой²⁷. Но идея оказалась абсурдной. Наверное, кто-нибудь все же осознал, какой опасности подвергались женщины, которых собирались обуть в эти изделия. Ведь и боты, и галоши должны были надеваться на туфли со шпилькой, иногда достигавшей 12 см: балансирование на таком двухслойном каблуке — номер почти смертельный. По-видимому, до массового выпуска таких бот и галош дело не дошло. Их не помнила ни одна женщина из моей семьи.

Окончательную точку в более чем вековой городской жизни «обуви для обуви» поставила программа химизации народного хозяйства, реализованная в годы оттепели. По решению майского пленума ЦК КПСС 1958 года производство туфель и ботинок из искусственной кожи выросло в 2,3 раза, а изделий на микропористой подошве — в 40 раз²⁸. Это был своеобразный ответ власти стилигам. Они в начале 1950-х уже носили обувь на светлой, чаще всего белой, микропоре, которую называли «манной кашей». Эта подошва действительно позволяла ходить в сырую погоду без галош. В начале 1960-х годов на микропоре, правда более сдержанного цвета, стали ходить все. В годы хрущевских реформ в пространстве советской повседневности возник и новый, унисексуальный вид обуви. Произошло это в значительной мере благодаря «химизации народного хозяйства». Вершиной советского обувного искусства стали разработанные в осенне-зимний сезон 1961/62 боты (ботинки) из прорезиненного войлока на толстой резиновой подошве, в быту из-за своей скучной рациональности получившие название «прощай, молодость»²⁹. Боты были не слишком элегантными, но дешевыми в сравнении с импортными утепленными ботинками и удобными. Литератор Дмитрий Бобышев вспоминал друга своей молодости Володю Швейгольца, который совершенно серьезно заявлял: «Пока молодой, носи с юмором боты „прощай, молодость“, причем на размер

больше: тепло и дешево, и в гостях, легко скинув их, не на-топчешь»³⁰. Серийное производство бот в мужском и женском варианте началось в 1963 году³¹. Поносила такие, по сути дела, утепленные галоши и моя мама. Школа милиции, где она преподавала уголовное право, уголовный процесс и только появившуюся тогда криминологию, переехала в 1961 году из здания на Мойке в центре Ленинграда в пригород — Стрельну. Поездка на работу занимала почти два часа. Только что вошедшие в моду высокие зимние сапожки сразу превратились в дефицитный товар. Женщины нашей семьи принципиально не хотели стоять в очередях. Старшему поколению это напоминало блокадные практики, а я была из числа юных снобов — полуинтеллектуалов 1960-х годов, презиравших всякие там «тряпки-тапки». К тому же «прощай, молодость» хорошо грели ноги и не скользили. Кроме того, перед походом на лекцию мама надевала изящные туфли, которые так и «жили» в ее рабочем столе.

Исчезновение галош из городской бытовой культуры сопровождалось появлением новых поведенческих стереотипов. Своеобразным знаком повседневности эпохи оттепели стала сменная обувь. Практика снимать уличную обувь в помещении коснулась прежде всего школьников, а также широко распространилась в приватном пространстве квартир. Эти факты трудно обнаружить в источниках официального происхождения. Однако опубликованные мемуары, источники устного происхождения и художественная литература сохранили об этом память. Сначала женщины меняли сапожки на микропоре, предназначенные для ношения без обуви, на туфли в театре. Но этот поведенческий код был калькой с манеры сдавать на вешалку галоши и поэтому спокойно воспринимался кореными горожанами. Иной характер имела появившаяся практика снимать уличную обувь в гостях. В дохрущевскую и раннехрущевскую эпоху горожанин сбрасывал в прихожей грязные галоши и проходил в комнаты. С появлением специальных

осенне-зимних ботинок на микропоре люди считали возможным находиться в гостях без обуви вообще. Внедрение этой привычки вызывало раздражение в многопоколенных городских семьях. Иосиф Бродский вспоминал, что его мать всегда возражала против того, чтобы дома ходили в носках. Она требовала, чтобы и домашние, и гости надевали тапочки. Мать, писал поэт, «считала эту привычку (ходить без обуви. — Н. Л.) невоспитанностью, обычным неумением себя вести»³².

Мужчина в костюме, галстук и носках — знаковая фигура в контексте гостевого общения, проявившаяся на рубеже 1960–1970-х годов. Произошедший здесь слом повседневности многим казался посягательством на культурно-бытовые традиции города со стороны мигрантов из села, лимитчиков, провинциалов. Эта деталь точно подмечена в повести Владимира Кунина «Ребро Адама», написанной, правда, в 1980-е: в ней командировочный из провинции

Евгений Анатольевич осторожно переступает порог и сразу же автоматически снимает полуботинки, оставаясь в носках.

— Эй, эй! Немедленно прекратите этот стриптиз! — прикрикивает на него Нина Елизаровна. — В нашем доме это не принято.

— Что вы, что вы... Как можно?

— Я кому сказала — обувайтесь! Тоже мне, герой-любовник в носочках!³³

Несмотря на внешнюю курьезность многого из вышесказанного, в крахе галош и возвышении синтетической обуви закодирован глубокий семантико-семиотический смысл, имеющий как общецивилизационные, так и конкретно-исторические характеристики. Акт снятия обуви и почти насильственное обряжение в чужую в поле традиционных культур всегда носил знаковый характер. В советском же бытовом пространстве он маркировал, с одной стороны, скрытую агрессивность нового частного пространства — отдельной квартиры, в первую

очередь хрущевки; с другой — излишнюю деинтимизацию предметов личного пользования (домашних тапочек).

Галоши в контексте перемен, порожденных оттепелью, утратили приоритетное положение на улицах городов, переместились в сельское, а скорее даже в садоводческое пространство как предмет, полностью лишенный эстетики и предназначенный для особо грязных работ. Однако это вовсе не означало, что резиновая обувь в целом стала сдавать свои позиции как комфортный и в какой-то степени модный элемент внешнего облика человека второй половины XX века. Напротив, советская резиновая промышленность наращивала темпы производства. Так, если в 1950 году в СССР выпускали обувных изделий, предохраняющих от влаги и грязи, на 417 млн рублей, то в 1967 году — на 687³⁴. Дизайнеры и производственники осваивали новые виды обуви. В 1961 году появились «баскетбольные ботинки с эластичной стелькой из микропористой резины на текстиле», более известные как кеды³⁵. Еще в конце 1950-х в СССР начали поставлять текстильные ботинки на резиновой подошве, сделанные в Китае. Они оказались очень востребованным товаром, использовались не только для спортивных занятий, но и как туристическая обувь. В 1966 году на экраны страны вышел документальный фильм режиссера Игоря Бессарабова «Возьмите нас с собой, туристы». Музыкальным фоном короткометражки была песня «Кеды» композитора Александра Флярковского на слова поэта Леонида Дербенева. Это был гимн уже советским изделиям из резины и текстиля:

В кедах можно вслед за песенкой шагать
 По асфальту, по траве, среди болот,
 В кедах можно даже по небу летать,
 Если к ним еще добавить вертолет.
 По всей земле пройти мне в кедах хочется,
 Увидеть лично то, что, то, что вдалеке.
 А ты пиши мне письма мелким почерком,
 Поскольку места мало в рюкзаке.

Однако самым значительным достижением советских обувщиков стало массовое изготовление цельнорезиновой обуви, которая надевалась непосредственно на ноги. Это были разного вида сапоги и утепленные боты. Их производство осуществлялось благодаря научно-техническому прогрессу — вулканизированной резине придавали нужное очертание в специальных пресс-формах. По сравнению с клеевой формованная обувь не лакировалась отдельно, но была более устойчивой к износу, резиновая облицовка прочнее скреплялась с подкладкой. Полимерные материалы — бренд хрущевских отепельных преобразований — облегчали переход к формовке резины.

Осенью 1969 года в Москве состоялась международная выставка «Обувь-69». Сохранившийся каталог поражает великолепием именно резиновой обуви советских производителей. Продукция «Красного треугольника» и «Красного богатыря» демонстрировала стремление производителей «к внешневидовому сближению кожаной и резиновой обуви (силуэт, форма каблука, создание фактуры резин, имитирующих кожи, и т. д.)»³⁶. Непромокающие сапоги для женщин и детей выпускались в разных цветовых решениях: коричневые, белые, зеленые, красные, что было совершенно непривычно для советского потребителя, воспитанного на черных галошах с малиновой подкладкой. Совершенствовались и пресловутые ботинки «прощай, молодость». Как писали советские дизайнеры в каталоге выставки «Обувь-69», для верха резиново-текстильной обуви теперь применяются «фактурные текстильные материалы, вельвет в крупный и мелкий рубчик»³⁷. Трудно сказать, доходило ли все это резиновое и резиново-текстильное великолепие до рядового потребителя в достаточных количествах, но сталинские штампованные грубые галоши к концу оттепели превратились в реальный анахронизм. Под воздействием научно-технического прогресса происходило технологическое и стилистическое преобразование резиновой обуви, менялись ее модный статус и утилитарная ценность.

ДИКАРИ

Одежда как гарантия приватности досуга

О толковании в русском языке слова «дикарь» («дикари») можно узнать даже из составленного в середине XIX века словаря Даля. Прилагательное «дикий» означает «в природном виде состоящий, не обработанный человеком, невозделанный, природный; необразованный; неручной; необузданный, свирепый; суровый; застенчивый, чуждающийся людей...». А существительное «дикарь» уже при жизни Даля часто использовалось в переносном смысле: «Он живет дикарем, почти затворником, не выходит в люди, чуждается их...»¹ В советском лингво-бытовом пространстве получило специфическое применение иносказательное содержание давно устоявшейся лексической единицы «дикарь». Именно потому филологи относят это понятие к новообразованиям 1960-х годов: «Дикарь. О том, кто отдыхает, путешествует без путевки, неорганизованно, в частном порядке»². Формулировка «в частном порядке» характеризует осязаемое наличие элементов приватности в структуре и содержании досуга советских людей, что не слишком соответствовало коммунистическим воззрениям.

В контексте раннебольшевистского дискурса досуг рассматривался как некое организованное мероприятие ради оздоровления в первую очередь «социально ценных» индивидуумов. Неудивительно, что дома отдыха и санатории, появившиеся в России после 1917 года, в первую очередь предназначались для рабочих и членов партии коммунистов. Первое такое

учреждение начало функционировать в Петрограде в октябре 1919 года. Газета «Петроградская правда» писала: «Открытие домов отдыха — начало создания новых условий жизни для трудящихся. Это первый камень того грандиозного здания, где со всеми удобствами будут отдыхать те, кто заслужил отдых»³. На знаменитом еще в царской России Сестрорецком курорте в окрестностях Петербурга, судя по дневнику Корнея Чуковского, летом 1924 года одновременно отдыхало по 500 рабочих: «...для них оборудованы ванны, прекрасная столовая (шесть раз в день — лучшая еда), порядок идеальный, повсюду в саду ящики „для окурков“»⁴. В 1925 году одна из отдыхающих в Сестрорецке делилась впечатлениями в письме родственникам в Ташкент: «Не успела выйти из больницы, как мне уже больница приготовила место в Сестрорецком курорте. Находимся в сосновом лесу, воздух замечательный, кормят пять раз в день, питание шикарное, лечение по всем специальностям. Получаю уколы мышьяка, пью „Ессентуки“, словом, попала в рай земной на полтора месяца»⁵. Санатории и дома отдыха для рабочих функционировали и на юге — в Крыму, на Кавказе. Но туда в 1920-х годах рядовые пролетарии ездили нечасто. На заседании фабричного комитета одной из ленинградских фабрик в мае 1926 года отмечалось, что на южные курорты — в Ялту, Форос, Сочи, Гагры, Кисловодск — предприятие могло приобрести всего одну путевку на весь летний сезон⁶.

Рабочие, получавшие путевки, невольно приобщались к отдыху по режиму. В санаториях все подчинялось лечебным целям. Пребывание на пляже именовалось «водными процедурами» и «солнечными ваннами». Купались и загорали организованные отдыхающие в определенное время, в строго отведенных местах, четко разделенных по половому признаку. У них не было необходимости показывать свое тело в лучшем виде, чему мог бы способствовать особый наряд для отдыха на воде.

Обыватель, не охваченный системой организованного отдыха, вообще не утруждал себя мыслями о пляжной одежде.

Михаил Булгаков в фельетоне «Шансон д'эте» (1923) писал: «В воскресенье — чистый срам. Голье, ну в чем мать родила, по всей реке лежат»⁷. Иностранцы, посещавшие СССР в конце 1920-х, отмечали «голые пляжи» в Москве и Ленинграде, разделенные на условные мужские и женские зоны. Купальники же, в которых плавали пока еще нечастые интуристы, вызвали изумление и отторжение⁸. Нудизм в данном случае был проявлением естества, а особые костюмы для плавания, напротив, воспринимались как подчеркивание сексуальности, характерной для нэпманской буржуазии. Пляж в большевистском дискурсе расценивался как пространство для совершенно конкретной цели — бодрящего и гигиенического контакта с водой.

В мировой же практике в это время можно было увидеть специальные одежды для досуга на морских пляжах, которые постепенно превращались в публичные места. На Западе уже в 1920 году началось фабричное производство сплошных женских купальников. В 1928 году Эльза Скьяпарелли в Париже открыла специальный магазин спортивных товаров. В их числе были и яркие вязаные, часто из натуральной шерсти, женские купальные костюмы с юбочками и специальные, длинные, обтягивающие фигуры мужские трусы для плавания. Их позднее стали называть «боксерами». Такие предметы гардероба в СССР в 1920-х годах могли приобрести лишь люди, имеющие связи с заграницей или не гнушающиеся покупать контрабандный товар: крупные хозяйственники, обласканные советской властью деятели литературы и искусства, нэпманы. Они поддерживали сложившийся еще до революции внешний облик неорганизованных курортников и на рубеже 1920–1930-х годов блистали на южных курортах чесучовыми костюмами и канотье, белыми батистовыми платьями и широкополыми шляпами, а главное, особыми купальными принадлежностями.

Однако постепенно особые наряды для пляжа становились редкостью: в государстве строящегося социализма частная инициатива по найму и сдаче жилья пресекалась, перманентно

существовала карточная система распределения продуктов, было все меньше людей, способных позволить себе выезд на юг без государственных дотаций в виде путевок. В условиях сталинской повседневности изменилась и практика предоставления бесплатного отдыха даже нуждающемуся труженику. Путевки начали давать лишь передовикам производства. Один из современников зафиксировал эту ситуацию в юношеском дневнике, относящемся к 1933 году: «17 июля. Я в отпуске <...> Решил разузнать в заводской страхкассе, нельзя ли достать платную путевку в какой-либо дом отдыха. Там сидела высокая, упитанная женщина в красном платке. С ней разговаривали какие-то двое, очевидно, рабочие. Она широко, беспрестанно и приветливо улыбалась, щуря заплывшие глазки <...> И той же улыбочкой по инерции обладала меня <...> Я высказал свою просьбу. „А кем вы работаете?“ — вновь спросила она, очень ловко сгоняя с лица улыбку, хотя и не утрачивая прежней приветливости. „Счетоводом“, — ответил я. „Фи! Служащий... нет, нет, ничего для служащих нет!“»⁹

В советском довоенном обществе сложилась и определенная иерархия оздоровительных заведений, в зависимости от ведомств, их финансировавших. Подтверждением этих априори известных практик служат источники из личного архива нашей семьи. У моих родственников ни одного, ни устно, ни письменного, свидетельства об отдыхе в 1930-х годах в советских санаториях нет. Единственное, что могли позволить себе бабушка с дедушкой по материнской линии, — это поездка на отдых в Псковскую область, в деревню Лябино, в 1932 году. Туда деда, служившего в милиции, ранее послали на борьбу с кулацкими бандами. Помню его рассказ, как он мерз в засаде зимой и для согрева жевал застывший кусок сала, казавшийся даже сладковатым на морозе. Бабушка же моего мужа — Ольга Захаровна Годисова (1899–1944), о трагической судьбе которой я немного расскажу в этюде «Смерть», в 1930-х годах неоднократно отдыхала в цеховских санаториях.

Об этом свидетельствуют многочисленные письма к маленькому сыну — Никлену Петровичу Годисову (1925–2010), отцу моего мужа, и фотографии из мест отдыха сталинской партийной номенклатуры. Мальчик в это время тоже жил в лечебных заведениях для детей партийных работников. Трогательно и в то же время страшно выглядят выдержки из переписки матери и 12-летнего сына в 1937 году. «Это вид видный из одного окна нашей палаты крыша кабинета врача и гора верблюд. а в правом углу кусочек бухгалтерии, — пишет маленький Никлен, — Мама живи поправляйся и крепни для борьбы с врагами притаившихся в рядах партии и в комсомоле».

Мать отвечает: «А живем мы в особенное время, и дети у нас должны быть особенные, лучше, чем везде. Они должны быть здоровые и очень крепко любить социализм»¹⁰. Я не сомневаюсь, что и Ольга Захаровна, и ее сын, мой свекор, не без медицинских оснований жили в санаториях — деталей их недугов немало в переписке. Однако другая половина наших родственников даже не могла приблизиться перед войной к системе «доступного и бесплатного» советского здравоохранения. Здесь царили негласные правила уже сформировавшегося «большого стиля». Моего деда после контузии, полученной во время захвата вооруженного преступника в 1937 году, никто не лечил. Просто уволили из милиции как инвалида, что, вероятно, и спасло ему жизнь в период репрессии. Со своими болячками Николай Иванович Чирков мог устроиться лишь учеником токаря на завод. Отказались даже мобилизовать в армию в начале войны. Обрато в милицию взяли только в 1942 году — почти умирающего от голода, но все-таки опытного оперативника. Это спасло жизнь в блокадном Ленинграде.

Во второй половине 1930-х годов номенклатурных санаториев становилось все больше, и основным видом одежды для отдыха в Советском Союзе считались пижамы. Любопытно, что они существовали и в первых советских здравницах для рабочих. Чуковский писал об особых полосатых



Письмо с Кавказа. 1930-е.

Личный архив О.Н. Годисова и Н.Б. Лебиной



Письмо с Кавказа 2. 1930-е.

Личный архив О.Н. Годисова и Н.Б. Лебиной

казенных костюмах, предоставляемых отдыхающим пролетариям в Сестрорецком курорте¹¹. Специальная же одежда для купания, как для женщин, так и для мужчин, предназначалась в первую очередь для спортсменов.

Десталинизация быта привела к тому, что люди начали сами, без путевок, уезжать на время отпусков — прежде всего на юг. Людей, отдохнувших таким образом, уже в середине 1950-х стали называть «дикарями». Через несколько лет, в середине 1960-х годов, это название, как писала «Литературная газета», «настолько вошло в обиход, что его уже можно употреблять без кавычек. А вошло оно потому, что дикари — наиболее многочисленная из категорий отдыхающих, выбирающих маршрут по своему вкусу»¹². Питерский историк Михаил Рабинович вспоминал, как в середине 1950-х они с женой поехали отдыхать в Крым: «Никаких путевок у нас не было, — писал мемуарист, — и мы поехали „дикарями“. Добрались благополучно до Коктебеля... и в тот же день сняли комнату с „питанием“»¹³. На юге в сезон часто сдавали не комнаты, а койки (спальное место). Долгое время цена на них не менялась: до хрущевской денежной реформы 1961 года она равнялась 10 рублям (пятидесятиграммовое мороженое-эскимо тогда стоило 1 рубль 10 копеек), а затем — 1 рублю. Частный сектор — пока не совсем нелегальный, но довольно разветвленный — обеспечивал и жильем, и едой, правда, уже за дополнительную плату. Ныне удивляет неприхотливость неорганизованных курортников. Звезда ленинградского балета 1960–1970-х Габриэла Комлева вспоминала, как она приехала в 1958 году в Крым по курсовке — документу, обеспечивающему лечение в санатории без жилья и питания. По совету многоопытных беспутевочных отдыхающих балерина попросила врача выписать в виде лечебной процедуры сон на пляже. Так у нее появилась легальная койка прямо на берегу моря. «Пляж по сути был моим домом, — пишет Комлева. — Свои вещи я хранила у знакомых»¹⁴. Такое «жилье»

требовало «спецодежды» — хорошего купального костюма. О появлении этих новых реалий жизни человека советского, связанных с деструкцией бытовых устоев сталинского «большого стиля», на официальном уровне впервые поведал Сергей Михалков.

В сентябре 1958 года на сцене московского Театра имени М. Н. Ермоловой с успехом прошла премьера михалковской пьесы «Дикари». Так драматург окрестил людей, приехавших на собственных машинах к Черному морю и расположившихся жить в палатках прямо на берегу. Действительно, в конце 1950-х традиционные для советского общества формы досуга дополнились длительными поездками на автомобилях. До Великой Отечественной войны обыватели чаще всего, как зеваки, наблюдали на улицах больших городов СССР редкие машины, в основном иностранного производства. В 1940 году в СССР было выпущено всего 5500 легковушек¹⁵. После Победы количество автомобилей в частном пользовании стало расти. Появились трофейные, а главное, новые отечественные машины: сначала «Москвич», относительно доступный для рядового потребителя. Бывший питерский стилиста Олег Яцкевич вспоминал: «Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня в пятьдесят восьмом году умерла мама — рано очень. Мамуля оставила мне большую кучу денег, как тогда казалось. На самом деле там была не такая и большая куча, но я купил себе „Москвич-401“. Это было событием»¹⁶. Почти одновременно появилась и знаменитая «Победа».

Хрущевское руководство выстраивало свою иерархию автомобилей. В декабре 1956 года начался выпуск автомашины «Волга», а с конца 1957-го — разработка народного автомобиля эпохи десталинизации, «Запорожца». Примерно тогда же дальние поездки на собственных автомобилях уже рассматривались как реальная форма отдыха советских граждан. Уже в марте 1955-го «Ленинградская правда» сообщала читателям, что скоро на Кавказе откроются пансионаты «по обслуживанию

граждан, приезжающих на курорты на своих автомобилях»¹⁷. Автотуризм пропагандировался и в кино. В 1957 году на экраны страны вышел фильм «К Черному морю», снятый режиссером Андреем Тутышкиным по сценарию Леонида Малюгина. Главные роли исполняли юная Изольда Извицкая, звезда фильма Григория Чухрая «Сорок первый», и Анатолий Кузнецов, будущий знаменитый Федор Сухов из «Белого солнца пустыни». Герои кинокомедии на собственных машинах ехали отдыхать и праздновать свадьбу на юг. Идеи доступности автотуризма предлагались и молодежи, не имевшей собственных машин. В наиболее яркой форме это сделано в фильме «Друг мой, Колька!» (1961), дипломной работе позднее известных режиссеров Алексея Салтыкова и Александра Митты. Действие происходило в обычной советской школе, в которой появился новый пионервожатый, по совместительству шофер автобазы. Совершенно чуждый формализму и не владеющий педагогической риторикой, вожатый, роль которого играл Кузнецов, завоевал сердца школьников именно идеей восстановить старый грузовик и поехать на нем в Крым. Фильм был популярен в 1960-е еще и потому, что в нем звучали песни на стихи Булата Окуджавы.

К 1960 году производство легковых автомобилей в СССР выросло по сравнению с 1945-м почти в 28 раз, достигнув 139 000 в год. Соответственно, больше стало и автовладельцев. Уже в первом издании «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства» (1959) имелась статья, посвященная автомобильному туризму как «популярному виду отдыха и путешествий». Авторы энциклопедии давали автотуристам ряд советов, определяемых прежде всего уровнем тогдашнего автосервиса. Это касалось установки дополнительных багажников, где необходимо разместить запасные канистры с бензином и маслом, а также формирования автогруппы из машин одного типа, что позволило бы «брать (в путешествии. — Н. Л.) значительно меньше запасных частей»¹⁸.

Сложности, сопровождавшие взаимоотношения советского человека с автомобилем, следовали из развития плановой экономики. Но уже само их наличие позволяет утверждать, что в СССР в обыденной жизни появились предметы, характерные для западных бытовых стандартов, которые основаны на четком разграничении публичной и приватной сферы (притом что последняя постоянно расширяется). Об этом свидетельствовала и михалковская пьеса «Дикари». Ее героини закапывают на месте своей стоянки бутылку из-под шампанского со следующей запиской: «„В здоровом теле — здоровый дух!“ Мы, презирающие и осуждающие все виды отдыха, кроме „дикого“, заявляем, что это место на берегу Черного моря открыто 20 июля 1956 года и в тот же день закреплено за нами пожизненно. Каждый год обязуемся мы, используя для этого все средства и возможности, отдыхать именно и только здесь!»¹⁹ Записку можно расценивать как своеобразный меморандум поколения шестидесятников, «детей XX съезда», тем более что дата проведения антисталинского партийного форума и появления героев пьесы Михалкова на Черноморском побережье — 1956 год — совпадают. Нелепо было произносить подобные клятвы в строгих костюмах и тем более в полосатых пижамах — атрибуте сталинского организованного отдыха. Неудивительно поэтому, что Михалков тщательно описал в авторских ремарках к спектаклю внешний облик своих героев. Это синие сатиновые брюки спортивного покроя и безрукавка-сеточка, выгоревшие от солнца короткие штаны и майка неопределенного цвета, а иногда и только одни помятые белые брюки при полностью обнаженном торсе. Кроме того, важнейшая деталь сценического интерьера — красные и желтые плавки и купальники, которые периодически сушатся на веревке, протянутой между двумя деревьями. Как протест против бытовых канонов отдыха по-сталински звучит и песня «дикарей» из михалковской пьесы. При этом детали внешнего облика отдыхающих по-новому дважды упоминаются в тексте:

На побережье всех морей
 Ты можешь встретить «дикарей»,
 И повсеместно
 Они под звездным небом спят
 И отдыхают как хотят,
 Живут чудесно!
 Коль ты назвался «дикарем»,
 Ты не пасуй перед дождем,
 Не хнычь напрасно!
И не смотри, как ты одет
 И что сегодня на обед,
 Ведь жизнь прекрасна!
 Всего лишь только тридцать дней
Мы ходим в шкуре «дикарей»,
 Живем на славу!
 Кто честно трудится весь год,
 Тот по-дикарски, без забот,
 Живет по праву!
 Курорты нам не по душе.
 Для нас ведь рай и в шалаше,
 В простой палатке.
 Пускай иные говорят,
 Что в голове у «дикаря»
 Не все в порядке!..²⁰

Конечно, дух пуританства, еще царивший на советских сценах в середине 1950-х годов, не позволил михалковским героям появиться перед зрителем в купальниках и плавках. Но можно утверждать, что пляж как место отдыха менял свой характер. Естественная открытость тела презентовалась в новом пространстве, все больше и больше обретавшем черты достаточно публичного места, где было необходимо и возможно демонстрировать и гендерные отличия, и коммуникативные способности в выгодном свете.

До Второй мировой войны западные модельеры предлагали женщинам появляться на пляже в цельнокроеных костюмах

с открытыми спиной и грудью. В середине 1940-х годов практически одновременно два французских дизайнера — Жак Эйм и Луи Репар — создали купальники, состоящие из двух частей: бюстгалтера и трусов. Первоначально этот фасон назывался «Атом». После взрыва в 1946 году американской атомной бомбы в Тихом океане на атолле Бикини супероткровенный женский пляжный наряд получил имя печально знаменитого кораллового острова. Бикини быстро распространилось в Европе. Его женственный вариант с отделкой оборками продемонстрировала юная Брижит Бардо в фильме «И бог создал женщину» (1956)²¹.

В США в большинстве штатов бикини находилось под запретом до середины 1960-х годов. В СССР, как ни парадоксально, ситуация была иной. На смену купанию «голышом», в рубашках без рукавов и мужских майках у советских женщин в 1940-х — середине 1950-х годов пришла практика появления на пляже в трусах и бюстгалтерах. Это чаще всего были обычные бельевые изделия традиционно пастельных цветов. Особы с более изысканным вкусом плескались в воде в черных трусиках и лифчиках. На начальном этапе развития именно «дикий» отдых способствовал тому, что советские люди купались в нижнем белье. Автовладельцы обычно останавливались на стоянки в безлюдных, как им казалось, местах. Даже в 1960 году журнал «Работница» писал: «Иногда видишь на берегу реки или озера женщин, купающихся в нижнем белье: трикотажных, шелковых трусиках и бюстгалтерах — белых, розовых, голубых цветов. Это настолько некрасиво, что лучше совсем не купаться тем, кто забыл взять с собой специально предназначенный для купания костюм»²².

Однако чем больше в СССР становилось автомобилей и любителей пеших походов с длительными ночевками на воздухе, тем чаще частное пространство дикого отдыха подвергалось вторжению таких же любителей пожить прямо на берегу. Эта ситуация, по сути дела, и описана у Михалкова.

Нарочитая интимность нижнего белья, далеко не всегда отличавшегося красотой, вступала в противоречие с нормальным стремлением продемонстрировать свое тело в наилучшем виде (чему в целом способствует грамотно подобранный купальный костюм).

На помощь «дикарям», желавшим выглядеть достойно даже в воде, в середине 1950-х пришли практики «самострока». Правда, это относится в большей мере к женщинам, которые традиционно использовали корсетные изделия. В годы децентрализации, во всяком случае, в крупных городах существовали бельевые ателье и надомницы, специализировавшиеся на шитье бюстгалтеров и поясов²³. Эти же мастера могли по особому заказу сшить и некое подобие купального костюма из двух частей. Кроме того, первые широкодоступные книги по домашнему рукоделию предлагали выкройки «спецодежды» для пляжа. В первом издании «Домоводства» (1957) была помещена большая статья о раскрое и пошиве бюстгалтера с большой вытачкой и женских трусов²⁴. Выкройки сопровождались единым для двух изделий рисунком, на котором изображалась женщина, явно направлявшаяся купаться²⁵. В третьем издании книги при почти полном сохранении текста 1957 года появилась новая картинка пляжного костюма из двух частей. Наряд дополнялся широкополой шляпой и кокетливой сумочкой-мешком из той же ткани, что и трусы с бюстгалтером²⁶. Изделия для публичного купания предлагалось шить из пестрого ситца или сатина. В общем, получалось, что советские женщины опережали американок в смелости купальных нарядов, отдавая предпочтение костюму из двух частей уже в конце 1950-х. Одновременно специалисты по моделированию одежды для отдыха и спорта считали необходимым следовать так называемым ансамблевым принципам. В 1959 году редакция «Журнала мод» подготовила специальный альбом «Одежда молодежи». Там демонстрировался вариант пляжного ансамбля. Он состоял из закрытого купальника и широкой юбки,

сделанных из набивного ситца, а также фигуро и штанишек из гладко крашенного льняного полотна²⁷. Такие же вещи предлагало и издание «Модели сезона». В первом номере за 1959 год можно встретить «пляжный комплект из полосатой хлопчатобумажной ткани. Купальник на бретелях, сверху отделан цветной планкой. Юбка широкая, у талии приспособлена, отрезной низ с горизонтальным изображением полос отделан цветной планкой»²⁸. Здесь же рекламировался набор — костюм для загара и купания без бретелей из яркой набивной хлопчатобумажной материи и халатик²⁹. Рижские модельеры в 1961 году также предлагали советским женщинам появляться на пляже в закрытом купальнике из набивной «пестрой ткани, отделанной одноцветной бейкой, переходящей в бретели». В комплект входила и юбка «спереди сверху и донизу на пуговицах»³⁰. Это очень напоминало пуританские пляжные наряды Америки рубежа 1950–1960-х. Однако закрытые купальники из ситца не могли «держат» форму, в особенности если были сшиты в домашних условиях. Возможно, поэтому советские «дикарки» ориентировались на «самострок» из двух частей, зачастую бессознательно подражая Брижит Бардо. Хотя, если верить комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», отечественные модельеры в конце 1960-х тоже пытались внедрять образцы «пляжного ансамбля мини-бикини-69» в советское культурно-бытовое пространство³¹.

Закрытые же купальники, наиболее удобные для водного спорта и сделанные из хороших синтетических тканей, были, как правило, импортными и потому малодоступными. Именно о таком пляжном наряде и способе его приобретения писал Федор Абрамов в повести «Алька» (1971): «Есть, есть у нее купальник. Такой, что в ихней деревне и не снился никому, — темно-малиновый, шерстяной, с вшитым белым ремешком, с карманчиком на молнии (зимой три часа на морозе выстояла за ним в очереди)»³². То, что в советской торговле в 1960-х годах, в период господства синтетики, не было

костюмов из эластичных тканей, можно объяснить лишь неповоротливостью модной индустрии в СССР. Невольно вспоминаются собственные бытовые практики. В юные годы, как раз совпавшие с периодом десталинизации, я сносила четыре закрытых купальника. Первый сшила мне из ситца мама. К купальнику прилагалась широкая юбка на резинке из аналогичного материала. На плоской как дощечка 12-летней девочке ситец выглядел неплохо, но быстро потерял и форму и цвет от купания в Балтийском море. Затем появился вновь самодельный костюм, сделанный из обрезанных тонких черных шерстяных рейтуз. Сверху в районе груди была пристроена шелковая оборочка. В 16 лет на день рождения получила от родительских знакомых, как-то связанных с торговлей, купальник из синтетики. Несмотря на всю свою безразмерность, он был мне невозможно велик и потому подвергся ушивке на машинке «Тула». Она с большим напряжением строчила низкосортный довольно толстый нейлон. Самой роскошной вещью в ряду моих пляжных нарядов стал проданный мне знакомым парикмахером нейлоновый купальный костюм югославского производства со шнуровкой. И все же чаще в юности я перебывалась ситцевыми бикини — иногда сшитыми самостоятельно, иногда купленными в магазинах.

Но если женщины в годы оттепели могли порадовать себя хотя бы самодельными купальниками, то у мужчин все было гораздо сложнее. В мировой моде плавки — очень короткие трусы, плотно облегающие тело и предназначенные для купания, — появились в начале 1960-х годов. Историки моды характеризуют их как мужскую версию бикини³³. До начала 1930-х основной вид мужского исподнего — это длинные нижние штаны (кальсоны). Трикотажные «боксеры», пригодные для купания, так и не появились в СССР. Мужчинам, не желавшим носить длинное исподнее, приходилось довольствоваться мятыми синими трусами, сшитыми из сатина и получившими название «семейные». Их даже случайная демонстрация

у наиболее утонченных представителей мужского населения в годы оттепели уже вызывала неловкость. Характерную ситуацию подметил Василий Аксенов в повести «Коллеги»: «Саша почувствовал тоскливый стыд, увидев себя глазами Даши. Застывший в журавлиной позе, очкастый, тощий верзила в длинных неспортивных трусах. Как назло, сегодня он раздумал надевать голубые волейбольные трусики»³⁴.

Особенно некомфортно было купаться в «семейных трусах», которых на самом деле в продаже тоже не было в достаточном количестве. В стране не уделяли должного внимания изготовлению одежды, а тем более белья для мужчин. В 1963 году обыкновенные мужские трусы из синего или черного сатина оказались в числе особо дефицитных товаров. Способы разрешения проблемы рассматривались на достаточно высоком государственном уровне. Осенью 1963 года на очередной сессии Ленгорисполкома в ходе прений по отчетному докладу тогдашнего первого лица правительства города Василия Исаева высказывались критические замечания по организации производства мужского белья. «Дело доходит до того, — с возмущением говорили выступающие, — что из-за отказа швейных фабрик принять на летнее время заказ на обыкновенные трусы торгующие организации разместили этот заказ из своего материала в Евпатории...» Еще курьезнее выглядели оправдания начальника управления швейной промышленностью Ленинграда. Он утверждал, что «на складах фабрик скопилось более 100 тыс. трусов, не выбираемых торговыми организациями», а их «увлечение... размещением трусов на берегу Черного моря» связано с желанием иметь туда постоянные командировки³⁵. Аналогичные дебаты, скорее всего, проходили во всех городах СССР: мужских трусов — не только удобных, трикотажных, но и обычных «семейных» — не хватало повсеместно.

Для «детей XX съезда» появление в семейных трусах на пляжах ассоциировалось с неуклюжестью и неспортивностью. Не случайно в кинокомедии Юрия Чулюкина «Неподдающиеся»

(1959) «трудновоспитуемый» Толя Грачкин неумело пытается прыгнуть с вышки в мятом исподнем до колена, тогда как суперположительный комсомолец и спортсмен демонстрирует свой торс во вполне достойной купальной амуниции. Но на самом деле спортивные плавки были острым дефицитом. На помощь чаще всего приходили практики подмены, свидетельствующие о разнообразии стратегий выживания советских людей. Дмитрий Бобышев надолго запомнил совет друга: «На лето — в качестве купального костюма купи за 12 копеек детские трикотажные трусики, и на твоих взрослых чреслах они обретут тугую элегантность!»³⁶ Именно так, судя по сохранившимся шутивным фотографиям отдыха в Крыму, в конце 1960-х годов поступал мой будущий муж.

Хорошие импортные плавки «с карманчиком на „молнии“ и вышитым якорем», как у героя повести Анатолия Рыбакова «Каникулы Кроша» (1966), выступали маркером физически развитого, спортивного человека: «Такие плавки могут быть только на хорошем пловце или прыгуне в воду. Плавал я неплохо, а прыжками в воду надо будет заняться. Мы приходим с Зоей на пляж, она сидит рядом со мной, восторгается теми, кто прыгает в воду, а я молчу. Молчу, молчу, а потом этак небрежно поднимаюсь на вышку и хоп — прыжок ласточкой! Хоп — двойное сальто с оборотом! Хоп — обратное сальто с переворотом!.. Зоя рот разинет от удивления»³⁷. В начале 1960-х целый ряд литераторов считал необходимым сделать берег моря или озера важным местом действия. Герои повести Аксенова «Звездный билет» (1962) размещаются в палатках на побережье Балтики. Сюда же приезжают отдыхать и молодые влюбленные — действующие лица одиозного романа Всеволода Кочетова «Секретарь обкома». И все они вне зависимости от идейной позиции писателей одеты в подходящие для ситуации сугубо пляжные вещи.

Активно пользовались плавками и купальными костюмами не только автовладельцы, но и туристы, нередко добиравшиеся



Плавки, 1970-е.
Личный архив
О.Н. Годисова

на юг с помощью автостопа. Это явление пришло в СССР с Запада. Там в конце 1950-х существовала довольно развитая система организованного автостопа. Остановившая автомобиль, человек предъявлял водителю специальный жетон и так мог проехать часть пути. К началу 1960-х годов автостоповское движение пришло и в советскую действительность. В Ленинграде, например, оно зародилось в 1961 году, и по талонам «Автостопа» за первый год ленинградцы проехали 150 000 км, а за 1963 год — уже 10 500 000 км. После состоявшегося весной 1964 года совещания при Центральном совете по туризму, рекомендовавшего «распространять метод „автостопа“, делающий путешествие доступным миллионам советских людей...», почин распространился по всем областям СССР³⁸. «Автостоповцев» можно было увидеть на дорогах Поволжья, Новгородчины, Прибалтики и т. д. В областных советах по туризму при профсоюзах желающим путешествовать предельно дешевым способом выдавали книжки «со знаком остановки машин на обложке». Кроме того, за очень небольшую плату поклонники «Автостопа» приобретали талоны на проезд. Водитель, берущий пассажиров, теоретически мог собрать эти талоны, затем отправить их в советы по туризму и получить шанс выиграть в специальной лотерее шоферов-автостоповцев³⁹. Однако это была трудоемкая и малоэффективная работа. Водителям более выгодно было сдавать талоны «Автостопа» в бухгалтерию собственных предприятий для получения денежной компенсации. Но и эта идея оказалась трудновыполнимой. В советских условиях, где, кроме плохих дорог, существовала запутанная система учета и распределения финансов, «Автостоп» не получил должного развития. Однако «дикое» передвижение по стране росло и за счет «походников», использовавших поезда и автобусы.

В конце 1920-х в СССР существовало Общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Оно занималось развитием «туристского движения среди рабочих и крестьянских

масс и политическим руководством этим движением»⁴⁰. Походы, которые организовывало ОПТЭ, носили по большей части политическую и познавательную направленность. Свободу экскурсий в 1930-х годах ограничивала жесткая система паспортного контроля, сковывавшая передвижение граждан по стране. В годы хрущевских реформ туристы могли сами выбирать маршруты. Походы приобрели в основном оздоровительно-спортивную направленность с явно романтическим, а иногда и эротическим оттенком. Существовала даже поговорка: «Альпинизм — школа мужества, а туризм — школа замужества». Человек в кедах, в спортивном трикотажном синем костюме с растянутыми коленками, с огромным рюкзаком — наиболее характерный типаж советских вокзалов 1960-х — начала 1970-х годов. Еще одной важной деталью облика походника стала гитара. Это было время появления самодеятельной (авторской) песни, весьма почитаемой у туристов.

Походный стиль досуга в годы оттепели противопоставлялся нудному, упорядоченному отдыху в санаториях, а сами походники множили племя «дикарей». Культурно-бытовую значимость купальников и плавок, подчеркивающих хорошее телосложение и сексуальный шарм их владельцев, особенно ярко продемонстрировала киноверсия пьесы «Дикари». В 1963 году на экраны страны вышел фильм «Три плюс два» режиссера Генриха Оганесяна. Герои кинокартины, заметно помолодевшие по сравнению с действующими лицами спектакля в театре Ермоловой, с явным удовольствием демонстрировали и спецодежду для купания, и свои тела. Они, современно мыслящие и раскованные люди 1960-х годов, отдыхали «дикарями». И в качестве недостойной альтернативы своей повседневности они с иронией говорили об организованном «культурном отдыхе». Его признаки — не только трехразовое питание, но и явное наследие сталинского прошлого, специфическая одежда — «пижама в полоску»⁴¹, лишенная и эротизма и приватности.

ЕЛКА

Религиозные праздники в стране «безбожников»: инверсия досуговых норм и патологий

Считать слово «елка» советизмом абсурдно. Более того, превращение наименования хвойного растения в понятие, означающее некое праздничное действо, зафиксировал еще Даль. В его словаре отмечено: «Переняв, через Питер, от немцев обычай готовить детям к рождеству разукрашенную, освещенную елку, мы зовем так иногда и самый день елки, сочельник»¹. Действительно, в России к 1917 году важным компонентом зимних религиозных праздников стало еловое дерево. Без него не проходили ни Рождество, ни Святки в городской среде. И это уже воспринималось как устойчивая бытовая норма, как народная традиция. Но все же слово «елка» может быть отнесено к вербальным знакам советского быта. Оно аккумулирует в себе изменения властного отношения к праздничному досугу в городах и демонстрирует инверсию бытовых норм и аномалий советской повседневности.

Большевики не рискнули сразу признать патологией все народные традиции. Неудивительно, что в декрете о восьмичасовом рабочем дне — одном из первых законодательных актов советской власти (29 октября 1917 года) — в качестве нерабочих дней фигурировали и общепризнанные религиозные праздники. Государственных торжеств по этому поводу, конечно, не проводилось, но ни Рождество, ни сопутствующую ему елку новая власть не отменяла и не запрещала. Некий

сумбур в привычную структуру досуга внесла большевистская календарная реформа: 24 января 1918 года СНК принял Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря. Произошедший сдвиг дат изменил ритм зимних праздников, хотя в частной среде их продолжали отмечать даже в голодные дни Гражданской войны. 7 января 1920 года Корней Чуковский записал в дневнике: «Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые им давали в гимназии, сушили их — и вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой — как подарки родителям! Дети, которые готовят к рождеству сюрприз для отца и матери!»²

Надежды на всеобщее празднование Рождества возродил нэп. Уголовный кодекс 1922 года подтверждал положение первых советских декретов, объявивших религию частным делом граждан. Препятствие исполнению религиозных обрядов, мешающих общественному спокойствию, каралось законом. Однако властный нейтралитет по отношению к церковным праздникам носил «вооруженный характер». Большевики, следуя общим идеям секуляризации повседневности, все же считали Рождество вкупе с елкой аномальными явлениями. Это выразилось в атеистических молодежных выступлениях конца 1922 — начала 1923 года, поддержанных новым государством. В 1922 году в первый день Рождества (по старому стилю) на площадях и улицах многих российских городов были устроены карнавалы и факельные шествия с музыкой и песнями «антипоповского» толка. А в Царицыне (Волгограде), например, шумное антирелигиозное торжество прошло дважды, по старому и по новому стилю: в декабре в виде карнавала, а в январе — в виде спектакля по присланной из ЦК РКСМ пьесе «Бог-отец, бог-сын и К^о»³. Комсомольцы насмеялись не только над православными праздниками. В Тамбове в январе 1923 года во время фарса «антирелигиозного богослужения»

пародировались действия священнослужителей всех религий⁴. В дни комсомольских антицерковных кампаний на улицах городов часто звучали антирелигиозные песни на слова Демьяна Бедного и Владимира Киршона. Антирождественские демонстрации 1923 года прошли мирно, хотя в Екатеринбурге у Златоустовской церкви комсомольцы все же подрались с верующими⁵. В целом «комсомольское рождество» не нарушило привычную атмосферу праздничной повседневности. «Политизированное» молодежное веселье на улицах городов, как ни парадоксально, у части населения даже усилило приподнятое настроение. Шествия комсомольцев по форме напоминали традиционные русские Святки, также имевшие карнавальную основу и элементы кощунственного смеха, восходящего еще к языческим временам. Это были присущие российской ментальности приемы осмеяния религии. Действительно, в России испокон веков сосуществовали высокий уровень веры и осмеяние ханжеской святости и напускного благочестия⁶.

Благополучно завершившаяся кампания дала право ЦК РКСМ продолжить свою антирелигиозную деятельность. 26 января 1923 года бюро ЦК комсомола приняло решение: «Принять постановление <...> об установлении 7 января „днем свержения богов“ и ежегодном проведении его по СССР»⁷. Но ЦК партии большевиков придерживался иного мнения. В феврале 1923 года антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) пришла к выводу о необходимости воздержаться от шумных шествий и карнавалов и придать антирелигиозной работе более серьезный характер⁸. С весны 1923-го власти начали скрупулезно придерживаться статей УК РСФСР о свободе исполнения религиозных обрядов. Крупные церковные праздники и прежде всего Рождество, считавшиеся по советскому календарю нерабочими днями, стали отмечаться если не официально, то во всяком случае публично. Более того, в Петрограде, например, руководство города в 1923–1925 годах определяло место проведения рождественских гуляний.

Одновременно комсомол не оставил попыток внедрить новые формы быта, на фоне которых привычные церковные торжества выглядели бы патологией. В 1924 году в Ленинграде комсомольцы в предрождественские дни пытались собирать людей в клубах. На политизированных вечеринках предлагалось заменить церковные праздники революционными⁹. Например, ленинградские комсомольцы предлагали начать «постепенное превращение старой Троицы в новый праздник „окончания весеннего сева“»¹⁰. В это же время в Ярославле возникла идея отмечать вместо праздника Вознесения — день Интернационала, в Духов день — годовщину расстрела рабочих в июле 1918 года, в Преображение устраивать торжества по поводу ликвидации белогвардейского мятежа в городе, а Успение объявить днем пролетарской диктатуры. Все названные даты по-прежнему должны были оставаться нерабочими. Такая «беспринципная» позиция обывателя объяснялась очень просто. В 1924 году днем отдыха уже перестал считаться праздник Воздвижения, а в 1925-м — Крещения и Благовещения. Одновременно пока не отмененное Рождество в середине 1920-х годов отмечали практически все горожане, независимо от социального положения.

Новогоднюю елку для детей в декабре 1923 года организовали даже в имении «Горки», где находился безнадежно больной Ленин. В годы нэпа люди по устоявшейся традиции украшали в конце декабря жилье еловыми деревьями, продажа которых происходила вполне официально. Чуковский 25 декабря 1924 года записал в дневнике: «Третьего дня шел я с Муркой к Коле — часов в 11 утра и был поражен: сколько елок! На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками — и возле воза унылый мужик, безнадежно вззирающий на редких прохожих... Засыпали елками весь Ленинград, сбили цену до 15 коп. И я заметил, что покупаются елки главным образом маленькие, пролетарские — чтобы поставить на стол»¹¹. О пышности празднования Рождества 1926 года в Москве с удивлением писал в своем

дневнике немецкий философ Вальтер Беньямин: «1 января. На улицах продают украшенные по-новогоднему ветки. Проходя по Страстной площади, я видел продавца, который держал длинные прутья, покрытые до самого кончика зелеными, белыми, голубыми, красными бумажными цветами, на каждой ветке — свой цвет»¹².

К середине 1920-х годов возродилась и традиция обильного застолья в дни Рождества. Тот же Беньямин отмечал на праздничном столе москвичей икру, лососину, гуся, рыбу по-еврейски¹³. Моя мама вспоминала Рождество 1927 года: праздничный ужин готовил ее родной отец, мой дед Иван Иванович Алексеев (в следующем году он скончался). В центре стола находилось блюдо с огромным окороком. Его мой родной дед запекал собственноручно. Для этого мясо два дня перед приготовлением замачивалось в молоке со специями. Я тоже иногда так делаю и сейчас. Мама в старости с удовольствием ела мою новогоднюю стряпню, но последний отцовский окорок был вне конкуренции. В семьях «бывших» по-прежнему устраивали праздники елки для детей¹⁴. В частном пространстве Страны Советов в 1920-х годах елка оставалась основным атрибутом зимних праздников.

Плюрализм повседневности периода нэпа охладил и пыл комсомола. С 1925 по 1928 год ЦК ВЛКСМ не принял ни одного решения и не издал ни одного циркуляра, направленных на компрометацию обиденной религиозности. Бытовые практики городского населения во многом оставались связанными с церковными традициями. Перелом наступил на рубеже 1920–1930-х. 24 января 1929 года появилось секретное письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы». Идеологическое руководство страны прямо указывало на необходимость отстранить церковь от контроля над повседневной жизнью населения, над его досугом¹⁵. Религиозные праздники директивным путем превращались в социальную аномалию. Вновь был задействован сценарий начала

1920-х годов, когда церковные торжества заменялись революционными. Еще до появления письма ЦК ВКП(б) в Ленинграде зимой 1929 года в клубе завода «Электросила» прошел молодежный карнавал. Праздник имел выраженную антирождественскую, атеистическую направленность — среди собравшихся встречались юноши в импровизированных одеждах священнослужителей. Правда, после «безбожного» бала-маскарада многие с удовольствием отметили Рождество в семье¹⁶. Весной 1929 года брянский совет воинствующих безбожников выступил с предложением: «Ввести законодательным вопросом (так в источнике. — *Н. Л.*) новое летоисчисление и новый год с Октябрьской революции»¹⁷. В Ленинграде летом 1929 года комсомольцы развернули кампанию, главной идеей которой была замена торжества Преображения (6 августа) на праздник Первого дня индустриализации. В этот день рабочим в качестве антирелигиозного протеста предлагалось выйти на работу¹⁸. Однако эффективность подобных антирелигиозных мероприятий, как и в начале 1920-х, была невелика. Значительно более действенным с точки зрения инверсии нормы (почитания церковных праздников) в патологию оказался общий слом ритма повседневной жизни, начавшийся в 1929 году в связи с реформой рабочей недели. Большевики изменили уже ставший привычным григорианский календарь. В СССР согласно постановлению СНК СССР от 24 сентября 1929 года вместо семидневной появилась непрерывная рабочая неделя, прозванная в просторечии «непрерывкой». Сначала это была «пятидневка»: человек четыре дня трудился, на пятый — отдыхал. Но выходной был скользким. Внутри одного предприятия получалось, что четыре пятых всего персонала постоянно находились на работе. Это позволяло не прерывать производственный процесс. Внешне количество выходных у населения увеличилось, но это произошло отчасти из-за сокращения праздников, в первую очередь религиозных. Кроме того, нарушался ритм внутрисемейного досуга, исчезали

привычные встречи с друзьями. Современники вспоминали: «Собираться вместе становилось все труднее. Обязательно кому-нибудь на другой день приходилось работать»¹⁹. Все религиозные торжества исчезли из советского официального бытового пространства. Первый удар был нанесен именно по Рождеству. Газета «Правда» писала в передовой статье 25 декабря 1929 года: «Непрерывный рабочий год и пятидневная рабочая неделя не оставляют больше места для религиозных праздников... В этом году впервые рождественские дни являются обычными трудовыми рабочими днями...

Под запретом оказалась и елка. Массированная антирелигиозная пропаганда обрушилась в первую очередь на детей. В детских газетах и журналах с 1930 года систематически печатались антирелигиозные, а по сути дела, антиелочные произведения. В 1931 году ленинградский детский журнал «Чиж» опубликовал стихотворение Александра Введенского «Не позволим», где были такие строки:

Не позволим мы рубить
Молодую елку,
Не дадим леса губить,
Вырубать без толку.

Только тот, кто друг попов,
Елку праздновать готов.
Мы с тобой — враги попам,
Рождества не надо нам²⁰.

Моя мама запомнила эти вирши на всю жизнь. Она декламировала их как участница антиелочной постановки «Елки-палки» в школе в самом начале 1930-х годов. Тогда же была принята и в Союз воинствующих безбожников, о чем с гордостью, прыгая с ножки на ножку, сообщила своей бабушке (моей прабабушке) — Евдокии Алексеевне Николаевой. Та просто погладила внучку по голове и сказала: «Ну и с богом, детка. Наверное, так надо!» Незадолго до этого мою прабабушку

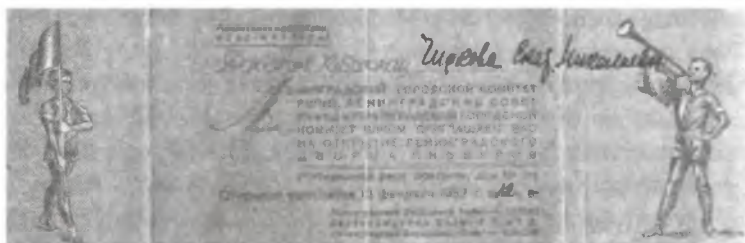
выпустили из знаменитой «парилки». В 1931–1933 годах в Ленинграде (как и в других крупных городах) прошла кампания по «выколачиванию золота». Людей, как правило бывших торговцев — а именно торговцем был мой прадед Иван Павлович Николаев, к тому времени уже умерший, — держали в жарко натопленных помещениях, где приходилось стоять, тесно прижавшись друг к другу. Больше суток выдерживали немногие. Боясь попасть в «парилку», многие отдавали золото добровольно. Об этом, в частности, вспоминала литературовед Елена Скрябина. Ее начальник, комендант завода, неоднократно намекал молодой женщине, что ношение обручальных колец — буржуазный предрассудок и драгоценность следует сдать государству²¹. Сохранился эпизод с «парилкой» и в памяти нашей семьи. Моя прабабушка по материнской линии — вообще-то тверская крестьянка. Она ходила нищенкой по дворам, приглянулась сыну торжокского торговца сеном и вышла за него замуж. В начале 1930-х Евдокии Алексеевне было уже за шестьдесят. Она с трудом переносила духоту «парилки». Конвойный сжалился над старушкой — дал чурбачок и разрешил сесть у самой двери. Наверное, это ее и спасло. Золота уже в семье никакого уже не было. Единственное сохранившееся богатство — витую золотую цепь толщиной в палец и почти двухметровой длины — распилили на кусочки и отдали в Торгсин. Так удалось выкормить маминого двоюродного брата, родившегося в 1931 году. До его появления на свет в 1929 году у маминой тетки умерла от скарлатины четырехлетняя дочь. В приступе отчаяния кроткая «кока» (так дети в нашей семье называли своих крестных) Рая изрубила топором все иконы в доме. Для нее с «богом» было покончено... Прабабушка осталась истинно верующей и всепрощающей — именно поэтому она философски отнеслась к маминым детским воспоргам по поводу звания «безбожницы».

Других семейных воспоминаний об антиелочной кампании начала 1930-х годов не осталось. А она была продолжительной

и жесткой. Под угрозой штрафа запрещалось устраивать новогодние праздники для детей в школах и детсадах. Прекратилась государственная торговля елями. Комсомольские активисты пытались даже устраивать проверки частных квартир, чтобы выяснять, не отмечают ли владельцы Рождество. В Москве, по воспоминаниям Эммы Герштейн, членов ЦК профсоюза работников просвещения заставляли «под Новый год ходить по квартирам школьных учителей и проверять, нет ли у них елки»²². Многие, тем не менее, продолжали украшать свой дом привычным образом, но в сугубо приватно форме, тщательно занавешивая окна и побаиваясь доносов. Петербурженка Софья Цендровская рассказывала о своем детстве: «Новогоднюю елку ставили тайно. Окна занавешивали одеялами, чтобы никто не видел. Ставить елку было строжайше запрещено»²³. Сложнее всего приходилось людям, жившим в коммунальных квартирах. Об этом свидетельствуют автобиографические заметки Скрыбиной, отмечавшей, что «если устраивали елку для детей, то старательно запрятавали ее, чтобы ни соседи, ни управдом ее не заметили. Боялись доносов, что празднуем церковные праздники»²⁴.

В ноябре 1931 года вновь произошли изменения в советском календаре — СНК СССР вместо пятидневки ввел шестидневку. Скользящие выходные отменялись, а нерабочими днями объявлялись 6, 12, 18, 24 и 30-го числа каждого месяца. Установление единых выходных несколько улучшило ситуацию — семья могла после двухлетнего перерыва провести вместе свободный день. Однако полностью наладить нормальный график отдыха и работы не удалось. Эксперименты с пятидневками, шестидневками и даже декадами продолжались вплоть до конца 1930-х годов. Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года была введена единая 48-часовая неделя с выходным днем в воскресенье. Но реабилитация елки произошла на пять лет раньше.

Чтобы поддержать ощущение благополучия жизни в СССР, в середине 1930-х идеологические структуры предали забвению



Билет во Дворец пионеров. 1937. Личный архив Н. Б. Лебиной

связь елки с религиозными праздниками. В декабре 1935 года в «Правде» появилась статья секретаря ЦК украинской компартии Павла Постышева «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!». Партийный лидер писал: «Почему у нас школы, детские ясли, пионерские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятешек трудящихся советской страны? <...> Комсомольцы, пионерработники должны под новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская елка!»²⁵ После принятия Конституции 1936 года, предоставившей духовенству избирательные права наравне с остальным населением, появилась надежда, что элементы повседневной религиозности обретут

признаки бытовой нормы. Люди стали вновь публично исполнять религиозные обряды — прежде всего это выразилось в притоке верующих в церкви в дни крупных православных праздников, в частности Рождества. Власть вновь заняла нейтральную позицию по отношению к религиозным праздникам. Правда, представители государства не принимали участия в церковных торжествах. Не было и официальных рождественских гуляний. Но праздник елки в Новый год становился советской традицией. Юная безбожница — моя мама — уже заканчивала школу и с удовольствием праздновала Новый год под елочкой, которую теперь безбоязненно ставили в домах, а главное, в публичных местах. В Ленинграде главная детская елка проводилась во Дворце пионеров. Мама присутствовала на его открытии в феврале 1937 года. Об этом очень радостном для нее событии свидетельствует бережно сохраненный пригласительный билет.

Новогоднее всеобщее веселье, поощряемое властью, явно затмевало воспоминания о религиозном контексте зимнего праздника.

В художественной литературе с середины 1930-х годов стали встречаться упоминания о вполне светских новогодних торжествах. Юрий Герман в романе «Наши знакомые», опубликованном в 1936 году, писал о встрече Нового года как некоем судьбоносным событии в жизни главной героини Антонины Старосельской. Новогодний праздник в компании с будущим вторым мужем, до революции управляющим крупным петербургским рестораном Пал Палычем Швырятых, проходит на излете нэпа в привычной стилистике старых рождественских праздников:

Новый год они встретили вместе, вдвоем, — так предложил Пал Палыч, и Антонина согласилась. <...> Провансаль для винегрета оказался очень вкусным, печенье таяло во рту, все удалось на славу, и Антонина в одиннадцать часов ушла переодеваться. Вернувшись, она застала Пал Палыча еще более помолодевшим и совсем

элегантным: на нем был добротный темный костюм, скромный галстук, белоснежное белье и отличные лаковые туфли... <...>

...они долго слушали купленные к этому дню пластинки Чайковского, Визе, Штрауса, Мусоргского. <...>

Пластинки, действительно, были отличные, граммофон не хрипел и не булькал, как обычно, стосвечовая лампа поливала круглый стол белым светом, искрились вина в бутылках, и множество огоньков дрожало в хрустальных бокалах — все было отлично, пахло духами и старым ковром. Антонина чувствовала себя совсем девочкой, и ей все казалось, что потом, после Нового года, они большой компанией непременно выйдут на Неву и будут бродить по льду. Будут смеяться и скользить, потому что на льду ведь скользко...

Без минуты двенадцать Пал Палыч открыл бутылку шампанского. Пробка ударилась в потолок, пенная золотистая влага потекла на ковер.

— Бокал, скорее бокал! — Пал Палыч посмеивался: — Ничего, Тонечка, ничего, так и полагается.

Стенные часы пробили густо и громко двенадцать часов, все получилось очень торжественно. Пал Палыч поднял свой бокал и сказал взволнованным голосом:

— Ну, Тонечка, пусть этот год будет для нас хорошим и новым. Пусть жизнь будет новой. Пусть все будет!²⁶

Через несколько лет, уже в годы первой пятилетки героиня Антонина опять-таки встречает Новый год, но в иной обстановке, вместе с ее друзьями по работе на строительстве жил-массива в Ленинграде:

Когда Антонина наконец окончательно оделась и вышла в столовую, было уже без минуты двенадцать и все стояли вокруг стола со стаканами в руках... <...> Альтус тотчас же к ней повернулся и протянул стакан с темным, маслянистым вином. В эту минуту отчаянно затрещал будильник, и все стали чокаться.

— С Новым годом! — крикнула Женя. — До конца, пейте вино до конца!

Антонина пила и чувствовала, что вино необычайно вкусное, кисловато-терпкое и крепкое. <...>

— Уф, — вздохнула она и стукнула стаканом об стол, — как вкусно... <...> И деловито съела большую котлету. <...>

Она вовсе не ложилась спать в эту ночь. Вернувшись домой, долго и азартно играла в дурака с Родионом Мефодьевичем, Щупаком, Заксом, пила чай, особенно как-то смеялась, а потом ушла к себе и до восьми часов проходила по комнате, кутаясь в платок и старательно собираясь с мыслями. Потом надела старенькое платье и пошла на комбинат²⁷.

Обстановка праздника совершенно иная, нет ни шампанского, ни хрустальных бокалов, ни классической музыки, ни веселой прогулки. Старая символика сказочного торжества, связанного и с Рождеством, ушла, а новая пока не появилась. Но Герман как довольно тонкий психолог, еще не ведая, каким будет Новый год, еще не описывая елку как неперменный атрибут зимних праздников, все же отметил знаковый смысл обрядов, связанных со сменой годового цикла.

Полное восстановление статуса Нового года, то есть объявление его днем отдыха, произошло после Великой Отечественной войны, в 1947 году. К моменту смерти Сталина сложилась и символика проведения главного зимнего торжества. Она описана в романе Веры Пановой «Времена года» (1954). События в произведении охватывают один, предположительно 1950 год. Повествование начинается так:

С Новым годом!

Пройдет сорок минут, и на Спасской башне заснеженного Кремля, в Москве, часы отобьют полночь. В миллионах радиоприемников и репродукторов повторится бой кремлевских часов, его услышат во всем мире.

Упадет двенадцатый удар, люди сдвинут свои чарки и скажут: «С новым счастьем!»

Милый сердцу обычай — встреча Нового года. Население города Энска готовилось к этой встрече целый месяц. Громадный был спрос на елочные украшения: блестящие шарики, целлофановые хлопушки, картонажи, куколки, золотой «дождь», золотые орехи, разноцветные свечи, «елочный блеск», похожий видом на нафталин и продающийся в запечатанных пакетиках, как глауберова соль. Одних только дедов-морозов разных размеров в декабре продано четырнадцать тысяч штук. В том числе совершенно выдающийся дед, дед-экстра, дед-люкс в рост человека... <...> [Он] стоит в сияющей витрине, в раме из еловых ветвей: могучий, красноносый, в роскошной шубе из ваты, в настоящих валенках, с раззолоченной палицей в руке; и у ног его по зеркальцам-прудам катаются на крошечных салазках мальчики и девочки с красными флажками... <...>

Многие в последний час вспомнили, что забыли купить такие-то закуски и такие-то подарки, и кинулись исправлять свой промах.

Повальный азарт приобретения: несут мандарины и яблоки в сетчатых сумках, свертки и бутылки, коробки с тортами и куклами, мячи, кульки конфет. <...>

Какой-то чудак в франтовской велюровой шляпе тащит на плече длинную облезлую елку. Эх, когда спохватился: не успеете, гражданин, украсить ваше дерево к двенадцати! <...>

Да, он поздновато сообразил, что хорошо бы украсить комнату елкой; сообразив, почувствовал, что это необходимо сделать, что без елки его жизнь неполноценна... <...> И вот чудак поднимается по лестнице с елкой на плече. Елка пахнет дорогими воспоминаниями детства...²⁸

Все детали этого текста напоминают дореволюционные описания новогодних ощущений. К началу 1950-х годов елка успешно переместилась из сферы частного быта в пространство

БИЛЕТ

ДЛЯ ВХОДА НА ПРАЗДНИК КОМСОМОЛЬСКОЙ ПАСХИ.

ОУСТРАИВАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ

Р. Б. С. МОЛОДЕЖИ ЗАВОДА

„БОЛЬШЕВИК“

В КЛУБЕ ИМЕНИ ТОВА. ЛЕНИНА,

в субботу 7-го Апреля с. г. в 10 ч. веч.

Кол. Союза Молодежи зав.

„Большевик“

ПРИМЕЧАНИЕ: вход в клуб от 10 до 11 часов вечера.

Комсомольская пасха. Пригласительный билет. 1923.
ЦГА ИПД СПб

публичной советской повседневности. Это был тот редкий случай, когда власти всего лишь «очистили» праздник от клерикального содержания, восстановив его как норму обыденной жизни.

Статус второго, а для российского варианта православия, возможно, и первого религиозного праздника — Пасхи — так и не был восстановлен.

В годы нэпа горожане, несмотря на проводившиеся революционной молодежью кампании «комсомольской пасхи», привычно участвовали в шумных гуляньях в предпасхальные и пасхальные дни. Питерскому старожилу Павлу Бондаренко, чье детство совпало с 1920-ми годами, больше всего запомнился праздник Вербного воскресенья. Гулянья на площадях Ленинграда сопровождались торговлей лакомствами, балаганными представлениями, продажей особых игрушек: свистулек,

«тещиных языков» и мячиков-раскидайчиков*.²⁹ Художник Валентин Курдов, родившийся в 1905 году, вспоминал о том, как он был на пасхальной заутрене в 1926-м и, словно в детстве, вновь стоял «в толпе верующих, а теперь и просто любопытствующих людей с горящей свечкой в руке...»³⁰. В условиях нэпа было несложно соблюдать и традиции обильного пасхального стола. По данным журнала «Антирелигиозник», в рабочих семьях на Пасху 1927 года с большим удовольствием ели «яйца, куличи, пасху и другие культовые продукты»³¹. Известный комсомольский публицист Иван Бобрышев писал в 1928 году: «Пасхальное обжорство, пасхальная пьянка... упорно держат рабочие окраины»³².

Календарная реформа 1929 года и введение «непрерывки» вообще уничтожили воскресенье, что нарушило празднование Пасхи, а карточная система не позволяла подготовить к празднику праздничные, ритуальные блюда. Историк Аркадий Маньков, в начале 1930-х 20-летний юноша, с удивительной прозорливостью писал об этом в своем дневнике: Запись сделана 16 апреля 1933 года: «То, что большинство теперь не делает пасх и куличей, объясняется тем, что далеко не каждый в состоянии закупить творог, сахар и т. д., но это не значит, что в народе умерло стремление заменить хотя бы раз в год ежедневную порцию кислых щей с куском черного хлеба куском сладкого творога и порцией сдобного белого кулича. И здесь совершенно безразлично, какую форму примет это стремление, когда оно реализуется»³³.

Не изменили статус Пасхи ни отмена карточек в 1935 году, ни новая советская Конституция. Правда, по данным сводок

* Раскидайчики стали одной из немногих базарных игрушек эпохи нэпа, доживших до перестройки. Это был небольшой, по воспоминаниям Андрея Битова, с детский кулачок мячик из бумаги, набитый опилками, стянутый меридианами ниток, на длинной тонкой резинке; брошенный, он возвращается к владельцу» (Битов 1989, 136). Продавали эти мячики только цыгане и только в праздничные дни — 1 мая и 7 ноября.

органов НКВД и материалам мартовских постановлений ЦК ВЛКСМ об антирелигиозной работе в 1937–1938 годах, количество участников торжественных пасхальных богослужений резко возросло³⁴. Но крестные ходы — традиционный ритуал церковного торжества — по-прежнему можно было проводить только вокруг храмов³⁵. Никаких публичных церемоний по поводу Пасхи власть не устраивала. Ситуация не изменилась и после официального примирения советской власти с православной церковью в 1943 году. Но особых гонений, направленных на искоренение пасхальной традиции, до конца 1950-х годов не наблюдалось.

На рубеже 1950–1960-х, в период оттепели, началось новое наступление на религиозные праздники. В январе 1960 года вышло сразу два постановления ЦК КПСС об усилении партийной пропаганды и антирелигиозной агитации³⁶. Решено было в предпасхальные вечера организовывать культурно-массовые бесплатные мероприятия, демонстрировать лучшие фильмы и спектакли. В 1970-х годах в пасхальную ночь телевизионное вещание продолжалось до 3–4 часов утра. Это было непривычно для советского зрителя: обычно даже в выходные дни телепрограммы заканчивались около полуночи. В Пасху же до утра транслировались фильмы комедийного характера. Мне больше всего запомнились чехословацкие киноленты «Лимонадный Джо» (1964) Олдржиха Липского и «Призрак замка Моррисвиль» (1966) Борживоя Земана. В студенческом возрасте я смотрела их в кинотеатрах, а позднее искренне радовалась тому, что через десять лет их можно увидеть и по телевизору. Они были сняты в остроумном жанре пародий на вестерны и мистические детективы. Кроме того, в фильмах пели популярнейшие в 1960-х — начале 1970-х чешские певцы — Карел Готт и Вальдемар Матушка.

В противостоянии Пасхе участвовали и торговые организации. Они по предписанию властей с 1960 года должны были принять «меры по ликвидации продажи в дни церковных

праздников куличей, пасхальной массы, мацы и др. товаров»³⁷ Одновременно на замену традиционным пасхальным кушаньям в магазины поступали вне зависимости от церковного календаря «кекс весенний» и «творожная масса с изюмом» — антагонисты куличей и пасхи.

Однако религиозный праздник, упорно изгоняемый властью из публичного пространства, спокойно существовал после Великой Отечественной войны в приватной сфере, контроль над которой в сравнении с 1930-ми заметно ослабился. Моя бабушка начала после длительного перерыва ходить в церковь во время блокады, а на рубеже 1950–1960-х годов стала соблюдать посты, в первую очередь Великий пост перед Пасхой. Все родные это знали и реагировали очень спокойно, несмотря на то что беспартийными в семье были только бабушка и я по младости лет. Пышно отмечалась и сама Пасха. В квартире бабушки и дедушки на Невском проспекте в эти дни пахло удивительными куличами и особой, приготовленной на растертых крутых яичных желтках, вареной пасхой с самодельными цукатами. Большим поклонником бабушкиной пасхальной стряпни был писатель Юрий Павлович Герман. С ним, можно сказать, дружил мой дед, милицейский работник. Познакомились они еще в 1930-х годах в бригаде знаменитого Ивана Васильевича Бодунова, героя многих произведений Германа. В германовских повестях и романах в числе персонажей второго плана — «орлов-сыщиков» — фигурировал и мой дед Николай Иванович Чирков. Он женился на моей бабушке после смерти ее первого мужа — маминого отца — и стал родным человеком, позднее — самым любимым дедушкой. «Выдержанный товарищ. Можно положиться при любых обстоятельствах» — так охарактеризован Чирков в документальной повести Германа «Наш друг — Иван Бодунов»³⁸. А еще Юрий Павлович отметил особые отношения в семье бабушки и дедушки, которые до конца жизни называли друг друга не иначе как «Коленька» и «Катенька». Любимым у писателя был эпизод,

относящийся к началу 1930-х годов: «Екатерина Ивановна Чиркова — супруга замначи Николая Ивановича — бежит по перрону за уходящим поездом, дабы ее Коленька не уехал ловить бандитов в мерзлых февральских болотах без валенок. „Стойте, стойте!“ — будто бы кричит Екатерина Ивановна вслед поезду и бросает в тамбур сначала один валенок, а в тамбур другого вагона второй: „Ничего, Коленька соберет!“»³⁹.

За пасхальным столом в начале 1960-х собирались члены КПСС: дедушка — с 1919 года, мой отец — с 1940-го, мама — с 1942-го, Юрий Павлович Герман — с 1958-го. Никто на них не доносил в партийные инстанции, а они — индифферентные к вопросам религии, спорящие о культе личности, а не о воскрешении Христа — просто отдавали дань памяти народной традиции и уважения моей бабушке. Со смертью деда в 1977 году мы в семье Пасху не праздновали — у бабушки на это не было сил... Но ныне мне, человеку невоцерковленному, нравится этот праздник своей неистребимой надеждой на будущее.

ЖАКТ

Личная инициатива решения жилищных проблем: возможности и ограничения

Авторы «Толкового словаря языка Совдепии» смело включили в число советизмов аббревиатуру «ЖАКТ», расшифровав ее как «жилищно-арендное кооперативное товарищество»¹ Однако отсутствие каких-либо указаний на дату появления в русском языке этой аббревиатуры не позволяет выявить ее социальный смысл. В реальности правовым документом, фиксирующим возникновение ЖАКТов в советском быту, стало постановление ЦИК и СНК СССР «О жилищной кооперации» от 19 августа 1924 года. Оно закрепило право граждан участвовать не только в управлении жилищным хозяйством, но строить на собственные средства жилье². Так документально советская государственность, в основе которой лежала идея запрета на частную собственность, по сути дела конституировала личную инициативу в решении квартирных проблем. Это положение явно противоречило первоначальным установкам большевиков, организовавшим в 1918–1920 годах форсированное обобществление городского хозяйства (подробнее см. «Уплотнение»). Полная муниципализация недвижимости — постулат жилищной политики советской власти — к концу Гражданской войны оказалась тормозом на пути возрождения порядка в городах: жилые дома и большинство административных зданий находились в плачевном состоянии. Описанием разрухи в коммунальной сфере были наполнены газеты начала 1920-х.

В Оренбурге, по данным местной прессы, к началу 1920-х годов 40% жилья пришло в негодность из-за отсутствия, в частности, водосточных труб. Их разобрали на дымоходы для буржоек³. Эти временные печки, по воспоминаниям очевидцев, выглядели примерно так: «кусок кровельного железа, свернутого в трубку в ½ аршина высотой, сверху отверстие, прикрываемое тоже железным тонким кружком. Сбоку небольшое отверстие, куда вставляется тонкая железная труба, и ее присоединяют обыкновенно к открытой дверце в окне. С другого бока пониже крошечная дверца; через нее можно протолкать маленькие кусочки лучинки или простую бумагу и — зажечь»⁴. Буржуйками отапливались и обыватели, и совслужащие. Последние мало заботились о сохранности государственного имущества, и это происходило повсеместно. Главная официальная газета Ивано-Вознесенска в 1920–1921 годах нередко сообщала о том, что разного рода комиссии и подкомиссии городского Совета, переезжая из одного здания в другое, выламывали рамы и дверные косяки, бездумно разбивали стекла⁵. В мемуарной прозе Константина Паустовского есть описание процесса «вноса» мебели в помещение одесского Опродгубкома — учреждения, ведавшего снабжением города в 1920 году: «Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке»⁶.

Разруху усугубляло и «малокультурное» поведение жильцов, вселившихся в бывшие «барские квартиры». Практики быта «новых хозяев» запечатлены в художественной литературе, созданной «по горячим следам» в 1920-е годы. Хрестоматийный пример, конечно, «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Но не менее выразительны и детали, воссозданные Викентием

Вересаевым в романе «В тупике» (1923), написанном на провинциальном материале: «В квартиру <...> вселили десять солдат. Они водворились в кабинете <...> выходившем на садовую террасу, и в комнате рядом. Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом <...> Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек — и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами»⁷.

К январю 1921 года жильё в связи с отменой квартплаты стало дармовым, что еще больше «раскрепостило» новых жильцов. Городская недвижимость превращалась в настоящую клоаку. Дело дошло до того, что летом 1921 года Ленин, обращаясь к Малому Совнаркому, написал с возмущением: «Наши дома — загажены подло»⁸. Средств на приведение домов в порядок у советской власти не было. И тогда, кардинально изменив жилищную политику, большевики решили отдать большую часть муниципализированного жилья в коллективную собственность горожан.

С сентября 1921 года в Советской России начали создаваться жилищные товарищества. В какой-то мере их можно считать преемниками возникших после событий февраля 1917 года своеобразных институтов самоорганизации горожан — домовых комитетов, — хозяйственно-созидательная деятельность которых в годы военного коммунизма прекратилась⁹. Все усилия обновленных домкомов, имевших в своем составе теперь новых жильцов из числа «бедноты», были направлены на осуществление жилищного передела. При переходе к нэпу власть решила переложить тяготы ремонта и восстановления разрушенных и запакощенных зданий на городских обывателей. В жилищные товарищества принимались не только представители пролетариата, но и бывшие владельцы квартир, и недавно появившиеся нэпманы. Многие из них рьяно принялись

ремонттировать свое жилье. В Петрограде, например, особую активность проявило жилтоварищество дома 72 по Невскому проспекту, которое возглавлял известный фотограф Моисей Наппельбаум. За два года в доме восстановили водоснабжение, канализацию и отопление за счет самообложения жильцов¹⁰. В 1924 году произошло правовое оформление деятельности жилищных товариществ. Появившиеся в результате ЖАКТы официально получили право распоряжаться финансами конкретного дома и распределять жилую площадь в нем. В середине 1920-х в крупных городах СССР, например в Ленинграде, в ведении ЖАКТов находилось 75% всех городских домов. В целом в стране с 1925 по 1929 год количество членов жилищно-арендной кооперации выросло почти вдвое — с 621 000 до 1 113 000 человек¹¹.

Несмотря на эффективность своей деятельности, жактовцы постоянно испытывали разного рода трудности — это и нападки официальных коммунально-управленческих структур, и споры жильцов жактовских домов. В 1926 году появился характерный анекдот: «Что такое жилтоварищество? — Когда жильцы одного дома по-товарищески бьют друг другу морду»¹². Переложив на кооперативные товарищества заботу о жилом фонде, власти в конце 1920-х решили привлечь ЖАКТы к новому витку квартирного передела, начавшемуся с лета 1927 года (подробнее см. «Уплотнение»). Примерно тогда же закончилась и жактовская вольница: из руководства товариществ вытеснили всех «бывших» и нэпманов. В отдельных случаях новое пробольшевицкое руководство ЖАКТов использовало всё же знания людей из непролетарской среды. Они были вынуждены работать в системе коммунального хозяйства, где на рубеже 1920–1930-х не существовало «запрета на профессии» для лиц непролетарского происхождения. Знаменитая фраза Остапа Бендера: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы» — насыщена глубоким социальным смыслом: в услугах



Выпускной класс петроградской женской гимназии А. Н. Васильева. Февраль 1917. Личный архив Н. Б. Лебиной

управдомов и других работников ЖАКТов власть нуждалась вне зависимости от их общественного генезиса. Счетоводом сразу в двух ленинградских ЖАКТах работал, судя по дневниковым записям 1933 года историка Аркадия Манькова, его отец — бывший обер-секретарь Сената¹³. В должности управдома два года с 1925 по 1927 год состояла и моя бабушка. А с весны 1928-го по лето 1932 года она работала бухгалтером в ЖАКТе в доме № 9 по 4-й Красноармейской улице. Здесь очень пригодилась математика, которой ее обучали до революции в частной женской гимназии А. Н. Васильева на Рижском проспекте, 19.

Бабушку не затронули чистки ЖАКТов в 1929 году — возможно, благодаря новому замужеству. С точки зрения старших

сестер, это был мезальянс: дочь бывшего домовладельца стала женой местного участкового! Моя мама, тогда девятилетняя девочка, слыша разговоры родственников, называла жениха «Чирков-Участков». Она долго не могла понять, где фамилия, а где название профессии. В 1932 году ЖАКТ на 4-й Красноармейской был ликвидирован. В жилищную систему бабушка вернулась лишь в 1942 году. Трудности и злоключения, выпавшие на долю нашей семьи в первое десятилетие советской власти, определили, по сути дела, бабушкину профессиональную судьбу. На пенсию она ушла в 1955 году с должности главного бухгалтера Жилищного управления Смольнинского района Ленинграда и была, в общем, довольна своей жизнью, в отличие от отца историка Манькова. От ЖАКТов к середине 1950-х остались лишь воспоминания. Еще в 1937 году они прекратили свое существование как легализованная форма управленческой активности населения.

По-иному развивалась судьба строительных кооперативов, созданных одновременно с ЖАКТаами и носивших название РЖСКТ (рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества). Действительно, с середины 1920-х годов в СССР новые дома стали возводить на деньги пайщиков. Первыми право построить собственное жилье получили рабочие. Кооперативы создавались по производственному принципу, то есть членами одного трудового коллектива. Строительство разворачивалось обычно вблизи крупных заводов и преимущественно на окраинах городов. Здесь, по мнению архитекторов 1920-х годов, возможно было создать советские города-сады (или поселки-сады). В Ленинграде, например, при Балтийском и Адмиралтейском заводах, а также при «Красном Путиловце» действовали кооперативы, пайщики которых уже в 1925–1926 годах получили первые квартиры. Строящиеся малоэтажные дома имели удобства: электричество, водопровод, канализацию. Но, пожалуй, главным преимуществом было то обстоятельство, что жилье находилось недалеко от места

службы. Рабочие, по воспоминаниям слесаря Кировского завода, Героя Социалистического Труда Константина Говорушина, получали в районе своего предприятия маленькие, но преимущественно отдельные квартиры¹⁴. Кооперативное строительство жилья для пролетариев запечатлено в художественной литературе рубежа 1920–1930-х. В романе Вересаева «Сестры» один из персонажей, комсомольский активист завода «Красный витязь» (в реальности завода «Красный богатырь»), жил «в огромном шестиэтажном, только что выстроенном доме рабоче-жилищной кооперации»¹⁵. С конца 1920-х годов, согласно циркуляру НКВД, Наркомата юстиции (НКЮ) и Наркомата труда (НКТ) СССР от 15 сентября 1928 года, пайщиками строительных кооперативов могли стать практически все граждане СССР, которые «пользуются избирательными правами»¹⁶. На этом основании формировались ОЖСКТ — общегражданские жилищно-строительные кооперативные товарищества. Жилье на паях строили писатели, актеры, инженеры, вузовские работники. Так проявлялась личная инициатива граждан, стремившихся обеспечить себе нормальные бытовые условия. В Москве в Камергерском переулке в 1929–1930 годах по проекту архитектора Сергея Чернышова был возведен семизэтажный дом для РЖСКТ «Крестьянская газета». Позднее он получил название «Дом писателей», или «Дом писательского кооператива». Примерно в это же время в самом центре Ленинграда, на улице Рубинштейна, появился дом-коммуна инженеров и писателей (подробнее см. «Общежитие»). Кооперативное строительство развернулось по всей стране¹⁷, и конечно, на него распространялись действовавшие в то время нормы распределения жилой площади — 8,5 кв. м на человека. Но все же это был способ решения жилищных проблем за счет личных средств граждан.

К концу 1930-х власти решили, что в условиях социалистического общества человек не должен иметь права распоряжаться жилой площадью, даже если она построена на его деньги. 17 октября 1937 года ЦИК и СНК СССР приняли

постановление «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах»¹⁸. Этот документ стал правовой основой для упразднения и жилищно-арендной кооперации, и союзов жилищно-строительной кооперации. Бывшие кооперативные дома перешли в собственность местных советов и государственных предприятий.

Из официально разрешенных форм личной инициативы граждан по улучшению бытовых условий в пространстве «большого сталинского стиля» к концу 1930-х годов осталась лишь обмен. Он продолжал существовать как реалья повседневной жизни, которую советские властные структуры предложили населению вместо купли-продажи и найма-сдачи жилплощади. Эти практики не могли функционировать из-за отсутствия частной собственности на недвижимость. Даже в короткий период нэпа, когда небольшая часть ранее муниципализированных домов и квартир была передана в собственность частных лиц, власти ревностно следили за процессами, происходившими на рынке жилья. В конце 1926 года появился декрет ВЦИК и СНК «О порядке выселения лиц, осужденных за покупку жилой площади, из занимаемых ими помещений». И хотя это касалось в первую очередь муниципальной площади, количество официальных сделок по купле-продаже комнат и квартир стало сокращаться. С 1927 года в рамках кампании по самоуплотнению (см. «Уплотнение») государственные органы решили не только узаконить и расширить стихийную практику обмена жилья, но, главное, строго ее регламентировать. Согласно постановлению СНК РСФСР от 15 ноября 1927 года «О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях» создавались «посреднические квартирные бюро» и «бюро обмена». Обменивать площадь можно было только с разрешения домоуправления. Оно следило за тем, чтобы сделка не имела «явно выраженного спекулятивного характера»¹⁹. Особое внимание власть уделяла обменным операциям, которые совершали так называемые «нетрудовые элементы».

Им чинились разного рода препятствия. Мои родственники, не сумевшие по причине явной социальной неполноценности в Стране Советов приобщиться к кооперативному строительству в 1920–1930-х годах, охотно пользовались системой обмена. Особенно активна была бабушка: в течение 8 лет, с 1930 по 1938 год, умудрилась трижды поменять места жительства. Все это были комнаты в коммуналках. В Казачьем переулке бабушкина семья жила вместе с родными Татьяны Дорониной, но до рождения самой актрисы. Особых препятствий при обмене бабушке никто не чинил. Наверное, все же сказывалось место работы деда. Но, несмотря на эти оптимистические детали семейной биографии, следует отметить, что контролирующие функции государства в сфере обмена постоянно расширялись, чему способствовала ликвидация в 1929 году категории квартирохозяев, а в 1937 году — кооперативной собственности на недвижимость. Новые правила изменения жилищных условий, исключавшие куплю-продажу, получили правовое оформление в инструкции Наркомхоза (Народного комиссариата коммунального хозяйства) и Наркомюста РСФСР от 3 ноября 1939 года²⁰. Изложенные в документе положения действовали почти без модификаций до распада СССР. Неудивительно, что советским людям необходимо было построить особую стратегию выживания. Без сложных комбинаций, как правило, совершать обмены не удавалось. Но моя семья в 1950–1970-х годах с этими вопросами не сталкивалась. Бабушка с дедом размещались в отдельной квартире, находившейся, правда, на первом этаже, на Невском проспекте; я с родителями — в Доме академиков на набережной Лейтенанта Шмидта (Благовещенской). Нашей, хотя и небольшой, семье не слишком комфортно жилось в системе анфиладных комнат дома постройки конца XVIII века, но официальным путем разменять довольно большую, 70-метровую, квартиру не удавалось. Обращаться же к маклерам родители боялись. Эта незаконная, но доходная профессия

благополучно существовала параллельно с государственными обменными структурами — посредническими бюро, бюро обменов и даже с образованным в начале 1970-х годов Горжилобменом. Своеобразное свидетельство тому — фильм режиссера Алексея Коренева по сценарию Валентина Азерникова «По семейным обстоятельствам» (1976). Роль обаятельного маклера, пользовавшегося кодовыми выражениями «квартира — это тетя, метраж — возраст», сыграл Владимир Басов. Квартирный обмен фигурирует не только в советском кино, но и, конечно, в блестящей прозе Юрия Трифонова. Писатель сумел усмотреть сложный социально-психологический контекст операции квартирно-комнатного ченча.

Не сложились у моей семьи отношения и с кооперативным строительством. Филологи полагают, что аббревиатура ЖСК — жилищно-строительный кооператив — вошла в бытовую советскую лексику в 1970-х²¹. Однако сами жилищно-строительные кооперативы, уничтоженные в конце 1930-х годов, возродились в СССР раньше — в разгар хрущевских реформ. В марте 1958 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации», в котором заявили о целесообразности создания ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), чтобы ускорить обеспечение населения квартирами. Осенью того же года появился и Примерный устав ЖСК. Он, в отличие от подобных предписаний конца 1920-х — начала 1930-х годов, довольно жестко регламентировал порядок вступления в кооперативы. В конце 1950-х кооперативную квартиру могли построить лишь лица, «постоянно проживающие в данной местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий»²². Позднее Устав ЖСК несколько раз уточнялся, но положения о доступе к строительству жилья за деньги собственников не менялись. Власть нормировала и эту сторону советского быта. В Ленинграде для вступления в кооператив надо было иметь жилую площадь, размеры которой не превышали бы 6 кв. м

на человека. Кроме того, даже первый взнос в строительство впечатлял своими размерами — примерно 30% стоимости. В 1984 году двухкомнатная кооперативная квартира общей площадью 48 кв. м в Ленинграде стоила 5690 рублей — на начальном этапе, таким образом, следовало заплатить 1870 рублей²³. Средняя зарплата составляла в это время 169 рублей. Следовательно, сразу полагалось отдать почти годовую зарплату. Как правило, в кооператив вступали люди, получавшие крупные единовременные выплаты. В известной повести «Семьдесят два градуса ниже нуля» (1975) о полярниках 1970-х годов Владимир Санин писал об одном из участников антарктического похода на санно-гусеничном поезде: «Заработав в Антарктиде хорошие деньги, построил трехкомнатную кооперативную квартиру»²⁴. С 1965 года появилась возможность приобретения кооперативной квартиры через систему «Внешпосылторга» за валюту²⁵. Доступа к этим преимуществам советской жизни у нас не было, построить квартиру так и не смогли.

70 кв. м крайне неудобного для двух семей жилья не позволили нам приобщиться и к МЖК. Эта аббревиатура, расшифровывающаяся как «молодежный жилищный комплекс», появилась в советском быту людей в самом начале перестройки. Но не следует ставить появление этой формы жилищного строительства в заслугу реформаторам второй половины 1980-х — Горбачеву и компании. Впервые предоставили возможность молодым людям самим решить «квартирный вопрос» в начале 1980-х, в Свердловске. А в 1985–1986 годах сложилась и законодательная база МЖК. Совет министров СССР принял постановления «О дополнительных мерах по строительству молодежных жилых комплексов и кооперативных жилых домов для молодежи» (5 июля 1985 года) и «О некоторых вопросах, связанных с проектированием и строительством молодежных жилых комплексов» (12 июня 1986 года). Создание МЖК власти постарались обставить и с идеологической стороны, считая, что это будет иметь воспитательное значение.

Работа в молодежном жилищном комплексе рассматривалась как новый вид социалистического соревнования, а сами добровольные каменщики, маляры и штукатуры — как члены одного производственного коллектива, где они проходят «школу ударного труда»²⁶.

Как конкретно участвовали в МЖК? Молодого человека на время возведения дома переводили на работу в строительную организацию. Трудовой стаж по основному месту не прерывался. Но шанс построить самому себе квартиру предоставлялся далеко не каждому. Надо было иметь постоянную прописку в городе, проживать в общежитии, считаться «передовиком» в труде и общественной работе, но главное, состоять на учете в комиссии по улучшению жилищных условий. Судя по личному опыту, МЖК были распространенным явлением. Двое моих коллег по работе в Ленинградском отделении Института истории СССР (ведомство Академии наук) построили себе квартиры собственными руками. Это ныне доктора исторических наук Александр Чистиков и Владимир Носков. Существовали МЖК и в системе среднего машиностроения, где работал мой муж. Самое удивительное, что власть совершенно спокойно смотрела на то, как молодые специалисты, «засекреченные» физики высокой квалификации, три года трудились на подсобных строительных работах, теряя уже приобретенный опыт исследовательского труда. Мой муж, не принятый в систему МЖК, защитил кандидатскую, потом докторскую и стал заместителем генерального директора по науке в своем «ящике». Далеко не так успешно сложилась профессиональная судьба многих его коллег, улучшивших свой быт посредством МЖК.

Еще одним способом решения жилищного вопроса в Советской России стало строительство дач. Об этой стороне городского быта отечественные историки пишут немного, хотя именно в пространстве советской жизни дача из престижного места отдыха, предмета роскоши превратилась в часть стратегии выживания. Ко времени прихода большевиков к власти



Жизнь на даче. 1930-е годы. Личный архив Н. Б. Лебиной

выезд летом за город для относительно продолжительного проживания был устойчивым элементом обыденной жизни крупных промышленных городов России, в первую очередь двух столиц. Средний слой горожан, не имевший собственной недвижимости, брал дом для летнего отдыха на природе внаем. Смена социального строя в 1917 году не уничтожила традиционную бытовую практику горожан. Приостановившаяся в годы Гражданской войны, дачная жизнь стала возрождаться с переходом к нэпу. Вадим Шефнер вспоминал: «Хоть жили мы бедновато, но все же почти каждое лето мать вывозила сестру мою Галю и меня куда-нибудь на дачу <...> Лучшее всего мне запомнилось лето 1927 года, проведенное нами в Горелове. Поселок этот считался самым недорогим дачным местом и в то же время славился своей картошкой <...> Мы сняли две комнаты в одной большой избе. <...> Спали все на полу. Точнее сказать — на сенниках. Это большие холщовые мешки мы привезли из города, и здесь хозяйка дала нам сена,

чтобы набить их»²⁷. Дачу в подмосковном Пушкине в начале 1920-х годов снимали супруги Брик и Владимир Маяковский²⁸.

Привычка выезжать летом на дачи осталась нормой жизни интеллигенции и служащих и в 1930-е годы. Родственники моей бабушки вместе жили летом в Петергофе. Обстановка была бедненькой и ничем не напоминала роскошный дом в Тайцах, где до революции каждое лето проводила вся семья моего прадеда Ивана Павловича Николаева, крупного торговца фуражом, питерского домовладельца. Дачная жизнь тогда — это чинные обеды с соседями, это ботвинья, жареные белые грибы со сметаной и гречневой кашей, черничный пирог с остуженным в леднике молоком. Все подается горничной в строгом порядке. И беседы, беседы, беседы. В общем, как у Максима Горького — настоящие «русские дачники». В советском бытовом пространстве горожане, отдохавшие летом вне города, тоже вели вполне праздный образ жизни, но на нищенской основе.

Рабочих среди дачников не было ни в годы нэпа, ни в период первых пятилеток. Они предпочитали на время отпусков выезжать в деревню к родственникам или пользовались домами отдыха, хотя в новом обществе не возбранялось строить дачи. В 1927 году появилось постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О дачных поселках»²⁹. Так стали именовать населенные пункты, предназначенные для летнего отдыха. Сельским хозяйством на постоянной основе в таких местах имело право заниматься не более четверти всего взрослого населения. Одновременно с жилищной кооперацией появилась и дачно-строительная. Оформление участков для кооперативных дач производилось в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1932 года «О предоставлении учреждений, предприятиям и организациям обобщественного сектора земельных участков для строительства на праве бессрочного пользования»³⁰. Но основная масса горожан была не способна строить что-то на собственные средства. Одновременно во второй половине 1930-х годов в традиционной практике

дачной жизни проявились элементы роскоши сталинского большого стиля. Власть предоставляла определенным категориям граждан возможность пользоваться казенными, то есть государственными, дачами на правах аренды. На бюджетные деньги велось и строительство загородных домов, которые передавались в бессрочное пользование «социально ценным» людям. В первую очередь это были представители номенклатуры. Дачи для них возводились по их собственным проектам. Лишь в феврале 1938 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О дачах ответственных работников», где был установлен максимальный размер строений для руководящих лиц — 7–8 комнат для семейных, 4–5 — для несемейных³¹. В бессрочное пользование во второй половине 1930-х власти начали предоставлять загородные дома знаменитым советским писателям в подмосковном поселке Переделкино.

Во второй половине 1940-х сталинское руководство облагодетельствовало правом бессрочного пользования дачами высшие слои научной интеллигенции. 14 октября 1945 года вышло постановление СНК СССР «О постройке дач для действительных членов Академии Наук СССР». Оно предписывало построить на земельных участках размером от 0,5 до 1 га индивидуальные дома и передать их безвозмездно в собственность ученых. Так образовались дачные поселки Мозжинка, Абрамцево и Биостанция (Луцино) под Москвой и Келломяки («Коломяки») под Ленинградом. Примерно в это же время в Комарове (и соседнем Репине) появились дачи Литфонда и Театрального общества. Не слишком обласканные властью интеллигенты пытались получить на лето казенные домишки. Широко известна история ахматовской «будки», которую не без борьбы поэтессе удавалось получать на лето от Союза писателей. Дачная жизнь по-прежнему носила характер некоего вольного отдыха, иногда с элементами роскоши. К этому стилю загородной жизни в конце 1950-х приобщилась и моя семья: дедушка с бабушкой решили снимать дачу в поселке Сосново.

Тогда же там начал строить загородный дом Юрий Герман. Сын писателя режиссер Алексей Герман вспоминал: «В один прекрасный день мой отец как-то странно переменялся. Он обрезал очень дорогое пальто <...> надел валенки, шапку-ушанку и сказал, что его собратья-писатели действительно ничего не знают, как живет русский народ, и он уезжает из Ленинграда, будет жить в деревне. Относительно была деревня — Сосново, сейчас это курорт, но тогда туда четыре часа шла электричка. И он будет общаться с настоящим народом, так должен жить писатель. С чем и удалился строить дом в Сосново <...> Он в своем бешеном обожании русского народа, которое поостыло к этому времени, построил очень высокий правительственный забор, завел двух кобелей, двустволку»³². Забор помню хорошо, кобелей — нет. А еще помню маленький, в одну комнату, уютный домик, где Юрий Павлович действительно «бешено» работал, хотя это не мешало ему устраивать радушные приемы, на которых почти всегда мои бабушка с дедушкой были в числе гостей. Общество, которое мне в детстве удалось наблюдать, было изысканное: физиолог Георгий Павлович Конради с женой Адой, женщиной удивительного обаяния; писатель Израиль Моисеевич Меттер с супругой, балериной Мариинки Ксенией Михайловной Златковской; актриса БДТ Нина Алексеевна Ольхина, режиссер Иосиф Ефимович Хейфиц. И среди них местная сосновская знать — представитель поселкового совета Ивонинский, партийный босс Алексеев (имен не помню) и, конечно, начальник сосновской милиции Павел Иванович Ракитин, у которого мы и снимали дачу. Юрий Павлович не чурался этих обыкновенных представителей «русского народа», о котором с явной неприязнью писал его сын. Мои родственники занимали среднее положение «старых друзей». Я последний раз была на германовской даче зимой 1964 года. Хозяин был, как всегда, радушен и даже принудил свою супругу — красавицу Татьяну Александровну — перепечатать на машинке мои юношеские вирши.

«Светское» времяпрепровождение «дачников» для нас закончилось со смертью Юрия Павловича. И не только потому, что мы, конечно же, были неинтересны его наследникам. Это вполне нормально. Главное, произошла смена «дачной идеи». Одновременно с жилищно-строительной кооперацией возродилось и дачно-кооперативное строительство. Власть порождала множество законодательных актов, не в силах определиться, что следует иметь советскому человеку — садово-огороднический или дачный участок. Это казалось важным: ведь садоводам разрешалось строить лишь «павильоны летнего типа примерно около 10 квадратных метров, без отопительных установок»³³.

В 1960–1961 годах правительство Хрущева вообще приняло несколько постановлений, ограничивавших индивидуальное строительство граждан. В середине 1960-х на волне смены постулатов советской социальной политики, которая теперь опиралась на идеалы удовлетворения «растущих потребностей населения», власть изменила свое отношение к дачам. В советской действительности сосуществовали и садоводства, и ДСК (дачно-строительные кооперативы). Типовые уставы последних строго соблюдали величину хозяйственных участков — 6 соток — и на первых порах определяли размер строений: не более 60 кв. м. Личная инициатива, таким образом, могла проявляться в достаточно ограниченном пространстве. Но это уже мало кого останавливало.

В конце 1960-х годов через кооператив Ленинградского дома ученых участок приобрел и мой отец. Цель постройки дома была проста: квартиру ни обменять, ни приобрести не получалось, а жить постоянно в малоудобной планировке становилось невозможным. Загородный домик позволял каждому в семье иметь свою дверь! Это была уже серьезная интимизация пространства, а не выгородки с помощью книжных стеллажей. Строили быстро и смешно. «Академстрой» — хозяйственная структура в системе Академии наук — разобрал

на слом во дворе одного из академических институтов старый деревянный жилой дом. Просмоленные бревна чуть не начала XIX века отцу как сотруднику аппарата управления Ленинградского филиала АН СССР разрешили взять на строительство по цене дров. Так в 1971 году появилась наша неказистая, но на удивление крепкая избушка. И поставлена она была по строго определенным правилам «привязки на участкѐ». Возведение дома в условиях хронического отсутствия в продаже стройматериалов — экстремальное удовольствие. Мне хорошо запомнилась покупка вагонки для обшивки дома дождливой осенью 1976 года. Это «мокрое дело» родители поручили нам с мужем: целое воскресенье, с шести часов утра, мы мокли в ожидании привоза досок на склад. Когда вагонка была приобретена, ее погрузили на телегу. Задумчивая кобыла дошла до небольшой горки, на которой располагался наш домик, и встала, понуриив голову. Доски пришлось выгружать прямо на дорогу. На счастье, мимо проезжал самосвал, правда, с очень коротким кузовом — шестиметровая вагонка торчала из него почти наполовину. По совету шофера, обещавшего ехать небыстро, мы бежали за самосвалом, придерживая вожделенную покупку. В общем, довели.

Небольшие домики к моменту заката советской власти были у большинства жителей крупных городов. На новые дачи, если они были с отоплением, поселяли на постоянное жительство старшее поколение, пенсионеров-родителей, как это делали наши соседи по поселку. Ведь иного пути решения жилищного вопроса у многих не было. Старики якобы с удовольствием копались на выселках, чего-то мастерили, то есть были при деле, а дети относительно спокойно жили в городской квартире.

Специфика загородной жизни, когда практически все надо было делать своими руками, в последние десятилетия существования Советского государства изменила даже смысл слова «дачники». Это были уже не праздно отдыхающие горожане,

а активные труженики, что-то выращивающие, что-то строящие, а главное, как-то улучшающие свои бытовые условия. Действительно, в пространстве советского быта существовали определенные способы решения жилищной проблемы за счет собственных средств и инициативы. Но и исторический материал, и мои личные житейские наблюдения приводят к мысли о том, что запрет на наличие частной собственности серьезно ограничивал созидательную бытовую активность обычных людей.

ЗАГС

Брачные институции и обряды: «советскость» и традиционность

Аббревиатура «ЗАГС» — несомненное порождение советского времени¹. В этой лексической единице есть некая филологическая загадка, а именно превращение акронима, означающего действие (запись актов гражданского состояния), в понятие институционального смысла («пойти в ЗАГС»). Существительное «ЗАГС», таким образом, соединяет в себе документально-правовую и пространственно-ритуалистическую стороны оформления брачных отношений. У ЗАГСов существует фиксированная «дата рождения»: 18 декабря 1917 года. В этот день был издан декрет ВЦИК и СНК РСФСР декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». С этого времени при земских управах, находившихся в ведении НКВД, появились отделы записей актов гражданского состояния (ЗАГСы). Они заменили обряд церковного бракосочетания на светскую церемонию, правила которой были максимально упрощены. Ни кольца, ни подвенечное платье, ни фата, ни особый наряд жениха, ни тем более свадебное застолье не были обязательны для официального заключения брака.

Вопрос о ритуале свадьбы стал актуальным после перехода к нэпу. Изменился статус ЗАГСов, они вышли из подчинения НКВД. Но советский брачный канон был крайне «постным». Не случайно Илья Ильф и Евгений Петров сочли возможным сделать важного персонажа романа «Двенадцать

стульев», занудного и жадноватого Ипполита Матвеевича Воробьянинова, служащим ЗАГСа. Обстановка в учреждении по регистрации одновременно и браков и смертей в середине 1920-х годов была удручающей: «Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями»². Такой же безрадостной выглядела и процедура «совершения таинства» советского брака: «Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, встав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: „За совершение таинства“, — и поднялся во весь свой прекрасный рост»³.

Неудивительно, что люди по-прежнему стремились венчаться в церкви. По данным уральских промышленных центров, в 1917–1921 годах 90% всех браков заключалось по религиозному обряду⁴. Профессор политологии Мюнхенского университета Вера Пирожкова, родившаяся в России и попавшая на Запад в годы Великой Отечественной войны, вспоминала, что ее старшая сестра, вышедшая замуж в 1919 году, настаивала на венчании в церкви и принудила будущего супруга, солидного сорокалетнего еврея, спешно принять православие. Брак, впрочем, оказался непрочным. Оставив мужу двухлетнего сына, молодая женщина сбежала с неким «красавцем-мужчиной». Размышляя о перипетиях семейной жизни сестры, Пирожкова писала: «Отчего Таня хотела венчаться... в церкви? Оттого, что это красиво?... В таинство брака она, очевидно, не верила, так как легкомысленно разрушила свою семью и хотела разрушить еще чужую»⁵. Похожая ситуация описана в романе Юрия Германа «Наши знакомые». Один из главных



Свадьба. 1927. Личный архив Н. Б. Лебиной

героев книги, моряк Леонид Скворцов, намеревается венчаться в церкви, мотивируя это не религиозными убеждениями, а тем, что венчание «красиво и торжественно»⁶. В моей семье самая младшая из бабушкиных сестер — Антонина Ивановна (подробнее см. «Уплотнение») — умудрилась даже в 1927 году обвенчаться со своим женихом и в то же время зарегистрироваться в ЗАГСе. Дома был довольно пышный по тем временам ужин. На чудом сохранившейся в семейном архиве фотографии — свадьба Антонины в 1927 году. Привлекает внимание наряд невесты: белое шерстяное платье и небольшое украшение из искусственных цветов на волосах.

ЗАГСы и церкви в середине 1920-х мирно делили между собой право фиксировать брак. Одни имели на это юридические полномочия, но совершали обряд перехода формально. Другие, не наделенные государством официальными правами, опирались на традицию пышных народных свадебных празднований. Лев Троцкий, лидер борьбы за новый быт, вынужден

был признать: «Не хочет мириться быт с „голым“ браком, не украшенным театральностью»⁷. Идеологическим структурам показалось возможным создать некий коммунистический ритуал, который мог бы соперничать с церковным бракосочетанием. Так появились «красные свадьбы». Они составляли важную часть формирующихся коммунистических обрядов перехода. (Подробнее см. «Смерть».)

«Красные свадьбы», судя по материалам комсомольской печати, были сугубо политизированным действием: «После избрания президиума, в который вошли и новобрачные, секретарь ячейки РКП <...> делает доклад о значении красной свадьбы в новом быту. После доклада новобрачные, взявшись за руки, выходят вперед — на край сцены, за ними развевается комсомольское знамя. Читают договор, из которого видно, что она — беспартийная работница <...> и он — технический секретарь ячейки РПК, коммунист <...> вступают в союз по взаимному согласию и обязуются жить честно, воспитывая детей честными гражданами СССР. Последнее слово покрывается рокотом аплодисментов. Здесь же подарки: от женотдела — одеяло, от заводоуправления — отрез сукна, от культкомиссии — три книжечки — „Азбука коммунизма“, „Дочь революции“, „Вопросы быта“»⁸. В довольно четком ритуале «красной свадьбы» не было предпочтений относительно одежды новобрачных или последующей праздничной трапезы. Лишь в отдельных случаях гости и новобрачные пили вместе чай. В художественной литературе 1920-х годов, правда, существуют упоминания об особых нарядах «красных» женихов и невест. В рассказе Николая Брыкина «Собачья свадьба» (1926) можно прочитать следующее: «Молодые со значками, шарфами красными опоясаны, цветы в красном, гости с черемухой, перевязанной красными ленточками»⁹. Но такая детализация носит метафорический характер. Двойной метафорой выглядит и сатирическая картинка якобы «красной свадьбы» в фэрической комедии Владимира Маяковского «Клоп»:

Присыпкин. Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?

Баян. Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылезает из кареты — красная невеста... вся красная, — упарилась, значит; ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов, — он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический... весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками¹⁰.

Одновременно ряд фольклорных источников зафиксировал отрицательное отношение сторонников и организаторов «красных свадеб» и к традиционной одежде новобрачных, и к прочим атрибутам венчания:

Мать венчать меня хотела
По старинке с кольцами.
По-другому вышло дело:
В клубе с комсомольцами.

Платья белого не надо,
И фата мне не нужна.
И в платочке я нарядна,
Комсомольская жена¹¹.

Параллельно с внедрением «красных свадеб» комсомольская печать развернула борьбу с религиозными обрядами бракосочетания. В 1922 году газета «Смена» организовала специальную рубрику «За жабры». Здесь печатались сатирические заметки, бичующие прежде всего «пережитки прошлого». К их числу был отнесен брак, освященный церковью. Характерный пример лексики таких заметок можно обнаружить в письме работника завода «Полиграф», напечатанном «Сменой» в сентябре 1923 года: «В коллективе завода комсомолец Степан Григорьев отличился. Зная, что комсомол ведет борьбу с религиозным

дурманом, женился церковным браком. За такую любовь возьми, „Смена“, этих набожных комсомольцев за жабры»¹². Примерно к этому же времени относится и публикация в московской газете «Молодой ленинец» о товарищеском суде над молодым рабочим Первой московской образцовой типографии. Комсомолец обвинялся в тяжком преступлении — венчании в церкви. Главный вопрос, который стремились выяснить в ходе импровизированного судебного разбирательства: «Что дороже: жена (настаивавшая на венчании. — *Н. Л.*) или коммунистическая партия?»¹³ Неудивительно, что под влиянием антицерковной пропаганды, а главное, в ситуации нелегитимности актов «обычного права церкви» количество венчаний стало сокращаться. В Череповце в 1924 год венчались чуть больше половины всех новобрачных, в Москве в 1925 году — всего 21%¹⁴.

В 1926 году был принят новый советский брачно-семейный кодекс, приравнявший фактические браки к зарегистрированным. Частным делом стал не только вопрос о юридическом закреплении брака, но и сам брачный ритуал, выведенный из сферы публичности. Пыльные помещения ЗАГСов, где за одним столом регистрировали и браки, и факты смерти, не порождали необходимости в особых ритуалах. На рубеже 1920–1930-х годов из повседневной жизни горожан исчезли обручальные кольца. Их не надевали не только молодожены, но и старались не носить супруги со стажем. В начале 1930-х годов у большинства семей возникла необходимость сдавать оставшиеся золотые и серебряные ювелирные изделия в систему магазинов Торгсина для покупки продуктов питания.

Казенность свадебных обрядов в годы предвоенного сталинизма усугубилась изменением ведомственного подчинения ЗАГСов. В июле 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР», в состав которого вошел и Отдел актов гражданского состояния, а в октябре 1934 года появился

законодательный акт «Об установлении штатов органов ЗАГС НКВД и о порядке функционирования этих органов». Размещение ЗАГСов в местных отделениях милиции не придавало советскому бракосочетанию торжественности.

Во второй половине 1930-х в условиях большого стиля начала формироваться новая модель советского брачно-семейного союза. Законодательно она была оформлена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Юридически действительным признавался лишь зарегистрированный брак. Здесь сталинская позиция совпадала с религиозно-патриархальной, что породило надежды на либерализацию отношения власти к традиционной брачной обрядности. Но чаще свадьбы не выходили за пределы частного пространства. Мои родители поженились в июне 1947 года. Несмотря на карточную систему, событие решено было отметить. Торжество состоялось сразу после регистрации в районном ЗАГСе на квартире у родителей мамы. На невесте было белое платье из искусственного шелка. Из свадебных подарков самым дорогим оказались пирожные буше из коммерческого магазина.

На рубеже 1940–1950-х годов свадебные торжества появились на советских киноэкранах. Самое яркое впечатление производил фильм режиссеров Татьяны Лукашевич и Бориса Ровенских «Свадьба с приданым» (1953), в названии которого закодирована инверсия старого традиционного атрибута брака в новую социалистическую форму. В фильме-спектакле невеста появляется в специальном белом платье и в накинутом на голову тонком шелковом шарфе — аналоге фаты, а жених — в черном костюме, в белой рубашке с галстуком. Но никаких решений, касающихся брачных церемоний, власть не принимала. Свадьба по-прежнему существовала в частной сфере.

И все же смена политического курса после смерти Сталина позволила откорректировать и правовую сторону брачно-семейных отношений. В октябре 1953-го были наконец

разрешены браки между иностранцами и советскими гражданами; с 1954 года такие семейные союзы регистрировались на общих основаниях¹⁵. «Человеческое лицо» обрели и сами ЗАГСы. В июне 1957 года Совет министров РСФСР принял постановление «Об организации руководства ЗАГСами». С этого времени они полностью подчинялись местным Советам. С 1958 года изменился распорядок работы органов регистрации актов гражданского состояния. В утреннее время они фиксировали и выдавали соответствующие документы по поводу разводов и смертей, а в вечернее — браков и рождений: налицо была своеобразная гуманизация советских обрядов перехода. Располагавшиеся ранее в одних помещениях с районными отделами милиции, ЗАГСы стали переезжать на новые места. Одновременно власть сочла необходимым структурировать по-новому и саму процедуру заключения брака, что во многом объяснялось обострением государственных отношений с церковью после XX съезда КПСС. Как всегда, в первую очередь искоренялись обыденная религиозность населения, стремление к исполнению обрядов. Не желая усиления позиций церкви, властные и идеологические структуры инспирировали в конце 1950-х годов процесс ритуалотворчества. Как и 1920-е годы, особую активность проявлял комсомол. Уже в феврале 1957 года пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об улучшении идейно-воспитательной работы комсомольских организаций среди комсомольцев и молодежи». В документе отмечалась необходимость «всячески поощрять <...> значительные события в жизни юношей и девушек (окончание школы, получение специальности, поступление на работу, свадьба, рождение ребенка (курсив мой. — Н. Л.), учитывая при этом хорошие народные традиции»¹⁶. А в отчетном докладе ЦК ВЛКСМ XIII съезду в апреле 1958 года отмечалось: «Сейчас все упрощено. Надо завести нам свои хорошие свадебные обряды. Свадьба должна навсегда оставаться в памяти молодых. Может, стоит, чтобы молодожены давали торжественное

обязательство честно нести супружеские обязанности. Может, стоит носить обручальные кольца, ибо в этом нет ничего религиозного, а это память и знак для других: человек женат»¹⁷.

Пышные свадьбы замелькали на киноэкранах. В фильме «Летят журавли» (1957) по пьесе Виктора Розова «Вечно живые» главная героиня Вероника (актриса Татьяна Самойлова) мечтает о будущей свадьбе, о белом платье, фате и черном стро-гом костюме жениха. Любопытно, что этот сюжет отсутствует в первоначальном тексте пьесы, написанной в 1943 году. Уже в начале оттепели материалы о свадебных нарядах стали помещать на своих страницах модные издания, риторика которых была направлена на создание новых советских обрядов перехода. Московский «Журнал мод» в одном из номеров за 1956 год предлагал следующие практики: «Если весь уклад прежней жизни, влияние религии делали бракосочетание обремененным массой ненужных обычаев, то в наши дни все больше и больше завоевывает право на существование празднования свадьбы по-новому»¹⁸. И все же в середине 1950-х горожане праздновали свадьбы пока еще в домашней обстановке. О сдержанности таких застолий свидетельствует свадебное меню — своеобразная семейная реликвия работника Средмаша Олега Куратова. Речь идет о его собственной свадьбе в 1958 году в городе Шуя. Предполагалось, что гостей будет не более 26 человек. На каждого приходилось примерно по пол-литра спиртного!¹⁹

Переломным моментом в процессе изменения свадебного обряда в советском обществе стало появление Дворцов бракосочетаний. Первый из них открылся в Ленинграде 1 ноября 1959 года. Новое учреждение, как указывалось в официальных документах, создавалось «для того, чтобы факт регистрации брака был праздничным днем для новой советской семьи»²⁰. Одновременно незадолго до первых торжественных свадеб в комсомольской прессе писали следующее: «Борясь за новые семейно-бытовые праздники и обряды, мы наносим удар по религии, но в этой борьбе нужно помнить о главном содержании.

Основа наших обычаев, традиций и обрядов — марксистско-ленинская идеология, коммунистическая мораль и этика. Этому и должна быть подчинена вся обрядовая сторона наших семейно-бытовых праздников <...> Наши свадьбы <...> праздники, связанные с рождением, должны быть красивыми. Только тогда они привлекут людей, оставят в их сердцах, в их сознании след, а значит, будут иметь воспитательное значение. В наших семейно-бытовых праздниках во весь голос должно звучать присущее советским людям чувство коллективизма»²¹. Ритуалотворчество конца 1950-х было отчетливо политизированным. Не случайно первой парой, зарегистрировавшей брак в ленинградском Дворце бракосочетаний, стали, по сведениям «Ленинградской правды», инженер-технолог завода подъемно-транспортного оборудования имени Кирова Михаил Назаров и фрезеровщица, член бригады коммунистического труда Любовь Федорова²². В Москве первый Дворец бракосочетания появился в декабре 1960 года. До этого в столице практиковались так называемые «выездные регистрации брака». В 1959 году в Доме культуры имени Горбунова в один день торжественно оформили образование нового семейного союза сразу 80 пар. В Самаре (Куйбышеве) в это же время, как отмечалось в документах городских властей, лучшие учреждения культуры города «в точно определенные дни превращаются в Дворцы Счастья».

В ноябре 1963 года в одном из московских Дворцов бракосочетания зарегистрировалась первая «космическая пара» — космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев. Их свадьба стала публичной презентацией новой советской обрядности, задуманной как антипод религиозным традициям. Невеста была в пышном белом платье и фате, с букетом белоснежных хризантем, жених — в черном костюме. В ходе регистрации, сопровождавшейся подписанием брачных свидетельств, обменом кольцами, ритуальными поцелуями, молодых поздравили председатель Моссовета, представители ЦК ВЛКСМ и Министерства обороны, родственники, друзья. Затем свадебный кортеж,

состоявший из самых роскошных автомобилей того времени — двух «Чаяк» и нескольких черных «Волг», отправился на праздничный ужин во Дворец приемов правительства.

В начале 1960-х «дворцы счастья» появились во многих крупных городах СССР. Их пышные интерьеры предопределяли праздничную парадность бракосочетания. Летом 1960 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление «О работе органов ЗАГС в РСФСР». В документе подчеркивалась необходимость «практиковать регистрацию браков и рождений в присутствии депутатов, представителей профсоюзных и комсомольских организаций и общественности, создавая при этом праздничную, торжественную обстановку»²³. Это означало официальное введение торжественной церемонии бракосочетания: обязательными становились особые наряды невесты и жениха и обмен кольцами.

Новый ритуал детализировался. В 1960-х годах во Дворцах бракосочетаний не разрешали регистрировать второй брак, не говоря уже о последующих. В советском городском культурно-бытовом пространстве шло, по сути дела, восстановление патриархально-православных традиций. Однако властные и идеологические структуры, как и в 1920-е, стремились наполнить старые формы новым содержанием: молодоженов часто напутствовали не только работники системы ЗАГСов, но секретари районных партийных организаций²⁴. Помещения ЗАГСов обязательно украшали портреты и скульптурные изображения советских политических лидеров. Разбирая семейный архив, я нашла и фотоальбом своей собственной свадьбы в 1971 году. Невольно вспомнила весь ритуал бракосочетания свидетелей, кольца, мендельсоновский марш. Разглядела и всю нелепость происходившего. Над моей головой, увенчанной фатою, возвышался бюст Ленина!

Выходя замуж во второй раз, я настояла на том, чтобы просто расписаться в ЗАГСе без свидетелей и прочей кутерьмы. Нашу пару назвали «неритуальной».



Свадьба. 1971. Личный архив Н. Б. Лебиной

Новая парадность бракосочетания, необходимость подготовки специальных нарядов и покупки колец вынуждали госструктуры, перед которыми встала задача формирования новой обрядности, налаживать централизованную торговлю «свадебными» товарами. В конце февраля 1961 года решение об открытии салона для новобрачных приняли власти Ленинграда. Летом новый магазин с поэтическим названием «Весна» уже обслуживал посетителей. Но попасть сюда можно было только по талонам, которые выдавали в районных ЗАГСсах и Дворцах бракосочетания при подаче заявления о желании вступить в брак. Будущим молодоженам предоставлялась возможность купить не только свадебные наряды и обручальные кольца, но и многие вещи, отсутствующие в свободной продаже. Одновременно возникла и мошенническая бытовая практика. Люди подавали заявление на регистрацию лишь для того, чтобы получить талоны в «Весну» и приобрести какой-нибудь «дефицит». До свадьбы дело не доходило. Первые салоны для новобрачных в Москве открылись лишь в 1962 году в рамках реализации постановления ЦК КПСС и Совета министров

СССР от 10 августа 1962 года «О дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения». В нем говорилось о том, что необходимо включить помощь в организации свадеб в систему хозяйственных услуг. В середине 1960-х годов появились и специализированные отделы для обслуживания молодоженов в продуктовых магазинах, где можно было приобрести алкоголь и закуски для свадебного стола по тем же талонам ЗАГСов. Первый такой отдел открылся в 1963 году в ленинградском магазине «Стрела». В 1970–1980-х годах товары и продукты для новобрачных в Москве стала предоставлять специальная фирма «Весна», а фирма «Заря» оказывала услуги по организации залов для свадеб, проката посуды и т. д.²⁵

Свадьба выходила из сферы сугубо приватного, как это было в период большевистского эксперимента 1920-х годов и, как ни парадоксально, в 1930-х — начале 1950-х годов. Однако нарочитая публичность обрядов перехода не вызывала отторжения у населения. Лояльное отношение большинства к явно навязываемым сверху практикам быта объяснялось желанием внести изменения в закостенелую советскую ритуалистику. Формализованная пышность свадебных хлопот становилась традиционной практикой городских жителей. Спровоцированный властью перенос свадьбы в публичное пространство города породил заботу о приобретении обручальных колец, так как в риторике брачного ритуала в ЗАГСах и в первую очередь во Дворцах бракосочетания обязательно присутствовала фраза: «А теперь в знак любви и верности обменяйтесь кольцами». Сначала обряд с кольцами казался странным. Меуаристка Эрлена Лурье писала о событиях 1959 года: «Устраивать свадьбу нам не хотелось, тем более что самые близкие друзья отсутствовали, а свадебная атрибутика меня абсолютно не интересовала — я отказалась даже от обручального кольца: „Кольцо не ношу“»²⁶. Но уже в середине 1960-х многие воспринимали обручальные кольца почти как данность, не приписывая им связи с религиозными обрядами, но все же

на подсознательном уровне ощущая некую магию, скрытую в этих ювелирных изделиях. Андрей Битов посвятил обручальному кольцу своей возлюбленной целую историю в романе «Пушкинский дом», полагая, что «как символ она чрезвычайно характерна». «История эта, — писал автор, — действительно о кольце, о самом *обыкновенном* (курсив мой. — Н. Л.) обручальном кольце, о круглом дутом колечке»²⁷.

Обязательными стали и специальные наряды жениха и невесты. Их либо шили, либо покупали в специализированных салонах. Девушки, как правило, одевались в белые платья. Сегодняшний россиянин может увидеть костюмы новобрачных в нескольких художественных фильмах 1960-х. Кинематограф этого времени запечатлевал типичные явления городской повседневности. В белом платье с цветами в волосах предстанет невеста физика Дмитрия Гусева в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Довольно пышный наряд с фатой и у юной новобрачной Светы из комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963). Униформой жениха стал черный костюм с белой рубашкой и галстуком, вещь нарочито парадная. Покупка такого костюма — одна из важных сцен в «Я шагаю по Москве». Выбрав костюм, герои острят, как употребить его в обыденной жизни: «На работу ходить... и в театр прилично. И в гроб можно»²⁸. Бывали, конечно, ситуации, когда люди считали белое платье новобрачной вещью не только непрактичной, но выпендренно официозной. Поэт Евгений Рейн запомнил совсем нетрадиционный свадебный наряд своей первой жены — «тесно облегающая абрикосовая кофточка из нежнейшего джерси на мелких пуговках и суперширокая стеганая юбка цвета темного кагора... парижский туалет»²⁹.

Публичная презентация брачной церемонии в городских условиях породила на рубеже 1950–1960-х годов непривычную ранее для советских людей практику: свадебное застолье начали проводить в кафе и ресторанах. Вера Панова в «Конспекте романа» (1965) так описала оформление семейного союза³⁰.

ставшее нормой к середине 1960-х: «Подали в загс заявку, купили разных вещей в магазине для новобрачных, зарегистрировались во Дворце бракосочетания, справили свадьбу в ресторане»³⁰. Новая традиция оказалась дорогой, и поэтому большинство горожан при организации свадеб в ресторанах договаривались о возможности принести спиртное, купленное в магазинах. На уровне бытовой памяти советских граждан практика отчетливо зафиксирована. Конечно, как и в ситуации с обязательным, поощряемым властью дресс-кодом невесты и жениха, у людей, не склонных к слепому следованию предписаниям, будь то религиозные обряды или новые модные ритуалы, ресторанный свадебный пир вызывал иронию и раздражение. Ромм в «Девяти днях одного года» не случайно вложил в уста свободолюбивой Лели реплику: «Нет ничего более глупого, чем сидеть невестой на собственной свадьбе» — и затем шутку: «Товарищи, мы вас разыграли. Мы вовсе не женимся. А стоимость ужина будет удержана из зарплаты»³¹. Поэт Дмитрий Бобышев свою регистрацию во Дворце бракосочетаний и всю последующую свадебную процедуру называл «испытанием пышной пошлостью»³². Торжественное вступление в семейную жизнь превращалось в затратное мероприятие. Тем не менее властные структуры всячески стремились укрепить в сознании советских людей, в особенности горожан, необходимость торжественной и пышной регистрации брака с обязательным дресс-кодом и богатым застольем. Эти изменения в брачных институтах и обрядах зафиксировал Кодекс о браке и семье 1969 года. В 14-й статье документа указывалось: «Заключение брака производится торжественно. Органы записи актов гражданского состояния обеспечивают торжественную обстановку регистрации брака при согласии на это лиц, вступающих в брак»³³.

С начала 1960-х новобрачным стали предоставлять кратковременные отпуска без сохранения содержания на проведение свадьбы, удлинился «испытательный срок», отделявший

дату подачи заявления от даты регистрации. Теперь он составлял один месяц. Правда, предполагались как сокращение, так и увеличение этого срока «при наличии уважительных причин». В чем-то это напоминало религиозный обряд оглашения и способствовало расширению гласности ритуала бракосочетания. В систему нормативных предписаний Кодекс 1969 года ввел и торжественность регистрации образования новой семьи, что в ситуации юридической неправомерности церковного брака заметно сужало степень личной свободы.

К середине 1970-х в СССР сложилась целая брачная индустрия с участием сети протоварных, продуктовых, цветочных, ювелирных магазинов. Параллельно стало иницироваться возрождение якобы народных свадебных традиций: выкуп невесты, надкусывание каравая, распиливание бревна, вставания на ковер и т. д. Считалось, что новобрачные должны таким образом продемонстрировать понимание специфики гендерных ролей в семье. Все это выглядело лубочно в условиях крупных городов и не всегда нравилось молодым людям. Помню, моя племянница из Кривого Рога с явным смущением рассказывала, как ее родным пришлось накрывать во дворе криворожских семиэтажек свадебный шатер — брезентовую палатку, так как ни дома, ни в ресторане посадить всех гостей было невозможно; как нелепо в этом шатре выглядела ее белая шляпа, заменявшая фату — символ невинности невесты, и как она стеснялась второго дня свадебного пира. И все это происходило в 1982 году.

Одновременно с «фольклоризацией» брачных церемоний в конце 1970-х в городском бытовом пространстве появились так называемые «комсомольские свадьбы». К сожалению, в справочной литературе можно встретить заявления о том, что «комсомольская свадьба» — это «политизированное торжество по поводу заключения брака комсомольцами», без датировки указанного явления³⁴. На самом деле комсомол появился в 1918 году, а так называемые «комсомольские свадьбы» — на рубеже 1970–1980-х. Но возникновение новых форм

брачных торжеств вполне объяснимо. Пополнение городского населения за счет «лимитчиков» означало, что все больше людей жило в общежитиях. Среди них были и студенты, и строительные рабочие, и представители других профессий, связанных с фабрично-заводским производством. В этой ситуации и помогали так называемые «комсомольские свадьбы». На крупных предприятиях (в Москве — на «ЗИЛе», на фабриках «Трехгорная мануфактура», «Парижская коммуна» и др.) общественные организации, в первую очередь профсоюзы, располагавшие возможностью оказывать материальную помощь, а также комсомол как единственное в то время молодежное объединение проводили торжественные регистрации брака на правах выездного заседания органов ЗАГС. После регистрации было застолье, которое готовили фабрично-заводские столовые в собственных помещениях. В какой-то мере эти торжества напоминали «красные свадьбы» первой половины 1920-х годов, однако политизация обряда явно уходила на дальний план. Прообраз «комсомольской свадьбы 1970-х» показан в романе Александра Андреева «Рассудите нас, люди» (1962) в сцене праздника по поводу брака строителей Ани и Трифона. «Банкет» организован в красном уголке барачного общежития. Свадьба празднуется в складчину. Представитель администрации строительного треста дарит молодым приемник и обещает квартиру в новом доме. Это происходило в начале 1960-х, а в середине 1970-х иногда на таких свадьбах молодоженам действительно вручали и ключи от нового жилья³⁵. Но главное, свадебное торжество с участием профсоюзов и комсомола было относительно дешевым.

Последний эксперимент по политизации свадеб зафиксирован в период горбачевской антиалкогольной кампании (1985–1987). Именно тогда появился следующий анекдот: «Новый лозунг к XXVII съезду КПСС*: „Ответим на безалкогольные

* Прошел в 1986 году.

свадьбы беспорочным зачатием»³⁶. Действительно, по инициативе Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ) в стране проводились показательные свадебные торжества, во время которых на столах вместо спиртного стояли соки и минеральные воды. И на эту ситуацию мгновенно отреагировал фольклор: «Новое постановление ЦК КПСС и СМ СССР на безалкогольных свадьбах: вместо „Горько!“ кричать „Сочно!“»³⁷. Результаты этой «показухи» оказывались нередко трагическими: свадьба заканчивалась похоронами. Собравшиеся гости втайне от представителей общественности наливали друг другу одеколон, самогонку, а иногда политуру и растворители³⁸. Но это были последние несуразные попытки примирить народные обряды и новые идеологические метафоры времени перестройки. Скрыть «советскость» обрядов бракосочетания в СССР, их подчиненность господствующей в стране идеологии власти так и не удалось.

ИНТИМ

Сексуальные практики эпохи социализма: регламентация сферы приватности

Для размышлений о специфике сексуальной жизни советских горожан можно выбрать в качестве опорного вербального знака понятие «интим». Под ним понимается нечто сокрытое от внешнего мира, сокровенное, сугубо частное. Филологи относят «интим» к новообразованиям, вошедшим в литературную и обиходную речь в 1960-х годах¹. Это утверждение не совсем корректно. По данным «Исторического словаря галлицизмов русского языка», Иван Тургенев «интимом» именовал «закадычного друга»². Но позднее слово почти исчезло из подцензурного русского языка. Именно поэтому любопытным кажется возрождение «интима» в годы хрущевской оттепели и насыщение его новыми смыслами. Произошло это одновременно с появлением до начала 1960-х годов не использовавшегося в обыденной речи слова «секс»³.

Уже в начале XX века в России ощущалось стремление к свободе в интимной сфере⁴. А после событий 1917 года «половой вопрос» на целое десятилетие стал предметом публичных дискуссий. При всей хаотичности и противоречивости взглядов на взаимоотношения мужчин и женщин можно выделить три основных типа суждений: традиционный, либертарианский и революционно-аскетический. Сторонники первого считали идеальной моделью моногамный брак, осуждали до- и внебрачные половые отношения, гомосексуальные контакты,

отрицали аборты и игнорировали контрацепцию, рассматривали сексуальность как чисто мужскую привилегию. В либертарианском контексте эротические устремления признавались и за женщиной и за мужчиной, популярны были идеи модифицирования брачных союзов и семьи, особое значение придавалось эволюции любви и превращению ее в свободный инстинкт (Эрос), не мешающий социальному общению. Скандальной известностью пользовались взгляды Александры Коллонтай, которая считала, что «для классовых задач пролетариата совершенно безразлично, принимает ли любовь формы длительного оформленного союза или выражается в виде переходящей связи»⁵. Скептически расценивала известная большевичка и традиционные семейные ценности. В 1919 году она писала: «На месте эгоистической замкнутой семейной ячейки вырастает большая всемирная, трудовая семья»⁶. Критиковал исключительную легитимность зарегистрированных браков и Лев Троцкий. В высших партийных кругах в начале 1920-х годов допускалась даже возможность полигамии, если подобная организация семьи коммуниста не противоречила интересам Советского государства⁷.

Революционно-аскетическое понимание телесного заключалось в жестком контроле общества над сексуальными практиками. В наиболее яркой форме эта точка зрения была выражена в трудах психоаналитика Арона Залкинда, разработавшего «12 половых заповедей революционного пролетариата». В их контексте все личное, и прежде всего сексуальное, рассматривалось как мешающее коллективистскому и революционному. Одна из заповедей гласила: «Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности», а другая утверждала: «Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих членов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая»⁸. У Залкинда нашлось немало сторонников. Известный

врач Лев Василевский в 1924 году писал: «Молодому рабочему не мешают жить мысли (об интимных сторонах жизни. — Н. Л.), они его посещают редко, да и он может справиться с ними усилием воли»⁹. Большевистский лидер, создатель Общества воинствующих безбожников Емельян Ярославский в публичных выступлениях в декабре 1925 года активно проповедовал половое воздержание, которое сводится к «социальной сдержке»¹⁰.

Разногласица властных суждений о семейной жизни и взаимоотношениях полов не могла не породить сумятицу в поведении обывателей. В реальных сексуальных практиках городского населения соседствовали революционная свобода и революционное ханжество. Позиция партийных лидеров для многих явилась оправданием внебрачных связей. Идеи «свободной любви» в первой половине 1920-х годов пропагандировали публицисты, печатавшиеся в журнале «Молодая гвардия»¹¹. На страницах этого комсомольского журнала в 1923 году можно было прочесть следующее: «У каждого рабочего парня всегда есть своя девушка <...> он ее, может быть, и любит, но, главное, они из одного социального камня <...> взаимоотношения у них простые и без всяких мудрствований — биологическое удовлетворение ему дает та же самая девушка»¹². Социологические исследования, популярные в 1920-х, выявили «высокий уровень сексуальной активности» молодежи. В 1922 году опрос московского студенчества показал, что 80,8% мужчин и более 50% женщин имели кратковременные половые связи; при этом лишь 4% молодых людей объясняли свое сближение с женщиной любовью к ней¹³. В 1923 году медики Петрограда установили, что в рабочей среде 63% юношей и 47% девушек, не достигших 18 лет, вступали в добрачные сексуальные контакты¹⁴. Эти данные во многом совпали с материалами всесоюзного обследования 1927 года: согласно ему, две трети представителей пролетариата начали половую жизнь до совершеннолетия, а почти 15% — до 14 лет¹⁵. В 1929 году до 18 лет сексуальные контакты имели 77,5% юношей и 68% девушек.

Многие молодые люди общались одновременно с двумя-тремя интимными партнерами, причем это становилось почти нормой для комсомольских активистов¹⁶.

Но в молодежной среде были и сторонники аскетических взглядов на проблему сексуальности. В 1925 году комсомольцы Ярославского автомобильного завода приняли решение подходить к вопросам любви только с позиции «укрепления <...> комсомольской организации»¹⁷. Любопытной с точки зрения демонстрации сосуществования разнообразных норм сексуального поведения является и ситуация, возникшая на комсомольском собрании завода «Красный путиловец» в 1926 году. На вопрос, как молодому человеку удовлетворять свои естественные физиологические потребности в новом обществе, представитель одного из ленинградских райкомов ВЛКСМ дал безапелляционный и твердый ответ: «Нельзя себе позволять такие мысли. Эти чувства и времена, бывшие до Октябрьской революции, давно отошли»¹⁸.

Разнообразие сексуальных практик нового поколения горожан зафиксировано в художественной литературе¹⁹. Развернутую картину интимной жизни молодежи дает роман Викентия Вересаева «Сестры». В нем описано отношение к проблемам интимности не только вузовской молодежи, но и молодых пролетариев и даже крупных партийных активистов. В уста работницы Баси писатель вложил следующие слова: «Мальчишки — мало ли их! Потеряла одного, найду другого. Вот только обидно для самолюбия, что не я его бросила, а он меня»²⁰. Взгляды Баси вполне разделяет героиня романа Марк Чугунов, крупный партийный работник, герой Гражданской войны, которому в области чувств «интересны были только губы и грудь восемнадцатилетней девчонки, интересно <...> „сорвать цветок“»²¹. Но в вересаевском романе наряду с «большевистским Казановой» — Марком Чугуновым — фигурирует и рабочий парень Афанасий Ведерников, аскет. Во имя служения идеям социализма он доводит себя

до полного физического и нервного истощения и готов вообще отказаться от нормальных контактов с женщинами. Для Ведерникова важным в любви является выбор социально значимого полового партнера: «Ваша какая-то, интеллигентская любовь. Для самоуслаждения. Я понимаю любовь к девушке по-нашему, по-пролетарскому: чтобы быть хорошими товарищами и без всяких вывертов иметь детей»²².

Несомненно и то, что основная часть горожан в 1920-е годы жили в духе традиционалистских представлений об интимном. Однако истинная свобода частной жизни в первое послереволюционное десятилетие обеспечивалась лояльным отношением новой власти к проблеме выбора интенсивности и форм сексуальных контактов. Достаточно здраво относилась большевистская элита к проявлению сексуальных отклонений. Согласно патриархально-православному характеру дореволюционного российского законодательства, уголовным преступлением считалось лишь мужеложство. Существование лесбийских отношений власти в царской России игнорировали. В 1920-х в советском уголовно-правовом поле вопрос гомосексуальности не поднимался вообще, что свидетельствовало о либеральном характере гендерного порядка в новой России. Современники писали, что «этот шаг советского правительства придавал колоссальный импульс сексуально-политическому движению Западной Европы и Америки»²³. Ведь в большинстве западных стран в то время гомосексуальность рассматривалась как преступление. В большевистских уголовных кодексах 1922 и 1926 годов отсутствовали статьи, квалифицировавшие любые однополые отношения как некую аномалию. Они не считались препятствием для занятия высших партийно-государственных постов — взять хотя бы наркома иностранных дел Георгия Чичерина, который был гомосексуалом. Правда, на бытовом уровне и в практике местных органов власти люди, заподозренные в мужеложстве, подвергались осуждению и даже преследованию²⁴.

Однако с изменением общей парадигмы социально-бытового развития СССР на рубеже 1920–1930-х годов прекратились как дискуссии о сути и формах взаимоотношений полов, так и социологические исследования, связанные с этой темой. Модифицировалась и законодательная база, касавшаяся частных вопросов. В контексте большого стиля резко изменилось отношение власти к гомосексуальности. При этом основной удар был направлен на искоренение мужской однополый любви. Она расценивалась как нечто подрывающее привычную иерархию сексуальности с присущей ей агрессивной мужского начала²⁵. Наступление на гомосексуалов вели органы политического контроля. Во второй половине 1933 года во время паспортизации городского населения ОГПУ спровоцировало и аресты представителей сексуального меньшинства за «притоносодержательство»²⁶. В декабре 1933 года глава НКВД Генрих Ягода обратился к Сталину со следующей запиской: «Ликвидируя за последние годы объединения педерастов в Москве и Ленинграде, ОГПУ установило: 1. Существование салонов и притонов, где устраивались оргии; 2. Педерасты занимались вербовкой и развращением совершенно здоровой молодежи, красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев. Закона, по которому можно было бы преследовать педерастов в уголовном порядке, у нас нет. Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовном наказании за педерастию»²⁷. Мужская гомосексуальность стала аномалией. Согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 7 марта 1934 года началось уголовное преследование представителей сексуальных меньшинств — в УК РСФСР появилась статья 154а²⁸.

В документах общественных организаций контрреволюционность и сексуальность в 1930-х годах позиционировались как тесно связанные явления. «Быт неотделим от политики. Моральная чистота комсомольца — надежная гарантия от политического разложения», — гласили призывы, публиковавшиеся

в «Комсомольской правде» в 1937 году в честь Международного юношеского дня. Возврат к патриархальным взглядам на интимную жизнь явился почвой для развития двоемыслия и двойных поведенческих стандартов. О сексе не говорили прямо и горячо, как в 1920-е годы, но его подразумевали и им, конечно же, занимались. Известный немецкий психолог Вильгейм Райх писал о ситуации конца 1930-х годов: «Советская идеология гордится „освобождением жизни и людей от эротики“. Но это „освобождение от эротики“ представляет собой фантастическую картину. Ввиду отсутствия ясных идей половая жизнь продолжается в болезненных, искаженных и вредных формах»²⁹.

В качестве инструмента государственного контроля над частной жизнью выступил закон 1936 года о запрете аборт, которые были разрешены через три года после прихода большевиков к власти. Советская республика в 1920-е годы, таким образом, стала первой в мире страной, узаконившей искусственный выкидыш. Желающим предоставлялась возможность сделать бесплатную операцию по прерыванию беременности в специальном медицинском учреждении. Брачно-семейный кодекс в 1926 году утвердил право женщины на прерывание беременности по собственному желанию. Но при всем этом власть находила способы дисциплинировать женскую сексуальность. В советском здравоохранении как норма рассматривался аборт без наркоза. Многие врачи вообще считали, что страдания, причиняемые во время операции, — необходимая расплата за избавление от плода. Но это не останавливало женщин, ведь они получили право сами решать вопрос о своей репродуктивности.

Формирующаяся система сталинизма уже на рубеже 1920–1930-х годов начала возвращаться к патриархальной модели материнства и запретительным мерам в отношении абортов. С 1930 года они стали платными. Государство забирало «абортные деньги» в бюджет. В первом квартале 1935 года

в Ленинграде, например, «доход от производства аборт» (так в источнике. — Н. Л.) составил 3 615 444 рублей!³⁰ Изменение принципов социальной политики заставило многих женщин прибегнуть к испытанным средствам самоабортов и помощи частных врачей. Отреагировал на введение платы за аборт советский фольклор 1930-х годов. Популярным стал анекдот о пациентке, которой сердобольный врач для «бесплатного аборта» посоветовал пойти в лес и по возможности встретить волка. Медик считал, что в результате испуга неминуемо произойдет выкидыш. Однако у вернувшейся из леса женщины при очередном обследовании из живота явно слышалось пение: «Нам не страшен серый волк»³¹.

Идеологическую систему сталинизма явно не устраивала степень свободы частной жизни женщины, предоставленная декретом 1920 года о легализации искусственных выкидышей, и летом 1936 года, незадолго до принятия «сталинской» Конституции, аборт в СССР запретили. Властная инициатива породила немало семейных проблем. Иногда они разрешались относительно благополучно. Режиссер Алексей Герман вспоминал: «Мама забеременела, был 1937 год. Всех вокруг сажали <...> Только не хватает в 1937 году родить ребеночка! Мама пытается от меня избавиться — ведь аборт запрещены... Она прыгает с высокого шкафа, поднимает тяжести, тащит ведро с водой, падает на живот <...> Но маме позвонил папа и сказал: „Знаешь, если мы от него избавимся, ничего у нас вообще не получится. Давай его оставим“»³². Но чаще женщины доводили дело до конца, обращаясь к подпольным абортмахерам, нередко не имевшим никакого отношения к медицине. В 1936 году в числе лиц, привлеченных в Ленинграде к уголовной ответственности за производство искусственных выкидышей, врачи и медсестры составляли 23%, рабочие 21%, служащие и домохозяйки по 16%, прочие — 24%!³³ После запрета абортов количество случаев гибели женщин от заражения крови возросло в четыре раза. В 1935 году факты смерти

в результате прерывания беременности составляли 31% случаев материнской смертности, а в 1940 году — уже 51%³⁴. Одновременно в конце 1930-х был зафиксирован рост детоубийств. Они составляли более 25% всех убийств. Младенцев убивали штопальными иглами, топили в уборных и просто выбрасывали на помойку³⁵. Детское население сокращалось. Запрет на искусственное прерывание беременности по сути дела стал звеном Большого террора. Закон об абортах 1936 года дал в распоряжение властных структур мощный инструмент регулирования сексуального поведения. Любопытно, что и эта ситуация нашла отражение в фольклоре. Анекдот 1936 года: «„Гулять холодно вато, давайте зайдём ко мне попить чайку“: — „Какой теперь чаек, вы же знаете, аборт запретили“»³⁶.

И все же тайная, осуждаемая официальной моралью сексуальность существовала в советском обществе и в эпоху сталинизма. Внебрачные связи получили широкое распространение во время Великой Отечественной войны. Для сохранения устойчивой модели советской семьи 8 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, который признавал правомочным лишь зарегистрированный брак. Юридически не оформленные отношения мужчины и женщины, независимо от продолжительности, расценивались как аномалия. В советской послевоенной действительности провозглашались принципы целомудрия. Немаловажную роль здесь должно было сыграть введение в 1943 году раздельного обучения девочек и мальчиков в средней школе. Известный педагог Валентин Бейлинсон писал позднее: «Раздельное обучение противоестественно. Не могут целые поколения возвращаться в искусственной среде <...> В мужских школах господствовал культ физической силы, со всеми его повадками и скотскими нравами. А в женских — лицемерие, групповщина и склочничество с болезненно повышенной сексуальной озабоченностью и среди учителей»³⁷.

После Великой Отечественной войны внутри сконструированных властью моделей сексуального поведения вызревало

конфликтное напряжение, усугублявшееся запретом на аборты. Этот сталинский закон напрямую коснулся жизни второго поколения петербуржцев-ленинградцев в нашей семье. Моя мама родилась в 1920 году и находилась в конце 1940-х — начале 1950-х годов, так сказать, «на пике фертильности». Многие молодые семьи не могли позволить себе иметь больше одного ребенка из-за отсутствия жилья и малых заработков. Невольно приходилось прибегать к криминальным способам прерывания беременности. Я родилась в августе 1948 года, и меньше чем через год после моего появления на свет выяснилось, что наше семейство может увеличиться. Положение было, мягко говоря, тяжелое. Существовать приходилось на пенсию отца по инвалидности. Мама находилась в отпуске по уходу за ребенком. Чтобы как-то решить проблему, помощник районного прокурора в декрете — таковым был в то время статус моей мамы — обратилась к своей соседке по коммуналке, врачу-гинекологу, с просьбой об аборте. Та, жалея моих родителей, согласилась. Однако производить незаконную операцию в коммуналке не решилась. В результате аборт маме сделали в квартире ее родителей. В момент «незаконных медицинских манипуляций» мой дед — работник уголовного розыска — сидел во дворе и тщательно следил за «оперативной обстановкой». В результате все обошлось — и мама осталась здорова, и врача не посадили. Почти каждая женщина, фертильный возраст которой пришелся на середину 1930-х — середину 1950-х годов, имела в своей биографии историю, связанную с нелегальным абортом. В начале 1950-х годов гибель от криминального прерывания беременности составила 70% от всех случаев материнской смерти³⁸. Лишь осенью 1955 года был легализован искусственный выкидыш, производимый в больничных условиях по просьбе самой женщины. Демократизация политики в сфере сексуальности и репродуктивности выразилась и в постепенном переходе с января 1962 года к бесплатным абортам³⁹. Тогда же в этой области внедрили обезболивание⁴⁰. Но нормализация

женской интимной жизни после двадцати лет террора происходила медленно. Аборт в СССР был по-прежнему основным способом контроля репродуктивности; так называемых «абортных коек» в больницах хронически не хватало. В Ленинграде в 1960–1980-х годах женские консультации, как правило, отправляли женщин для прерывания беременности в «главный городской абортарий» — гинекологическую больницу на улице Комсомола. Царившую там обстановку отразила в своем «жестокое» романе «Плач по красной суке» (1972–1982) питерская писательница Инга Петкевич: «Владик весной ушел в армию, а Варька осталась беременной. В массовом абортарии, куда ее направила женская консультация на первый аборт, не делали даже обезболивания. Она кричала, и пьяный хирург заткнул ей рот ее трусиками. Она не жаловалась, жаловаться уже было некому. Этот абортарий она обозначила для себя „вторым курсом своих университетов“»⁴¹. Таких воспоминаний у женщин моего поколения предостаточно, хотя основная масса знакомых дам старалась попасть в специализированные клиники Ленинграда, типа больницы имени Д. О. Отта или роддома имени В. Ф. Снегирева. Там было почище, даже давали легкий наркоз: закись азота (веселящий газ). Правда, в городском абортарии и особенно в ведомственных больницах при фабриках и заводах, где основную массу работников составляли женщины, малоприятную операцию делали очень квалифицированно: у гинекологов рука, что называется, была набита.

И все же отмена запрета абортотворения расширила сферу приватности. Репродуктивное поведение зависело от общей культуры, внутрисемейной морали, этики, гигиены, но не политики, как в годы сталинизма. На рубеже 1950–1960-х на уровне нормативных суждений власти произошло отделение сексуально-эротических практик от деторождения. Но очевидно и другое обстоятельство: в начале XXI века в моменты «закручивания гаек» с неприятной регулярностью всплывает вопрос о запрете на аборты.

Свободомыслие послесталинской коммунистической власти в сфере сексуальности все же оказалось ограниченным. Закон 1934 года о тюремном наказании однополых интимных отношений действовал в России до апреля 1993 года. Подозрения в гомосексуальности также становились предлогом для преследования за инакомыслие. Именно так произошло со Львом Клейном, блестящим историком, с которым мне удалось встретиться в студенческие годы в стенах тогда еще Ленинградского университета.

Долгое время советской медицине не удавалось преодолеть и социально-политический подход к вопросам контрацепции. Это, с одной стороны, препятствовало половому просвещению, с другой — искусственно регламентировало сексуальную жизнь. Еще в ходе дискуссий эпохи нэпа высказывались мысли о том, что средства предохранения от беременности — это элементы буржуазного разложения. Фармацевтическая промышленность СССР в 1920-х годах не уделяла должного внимания производству контрацептивов, а в 1930-х они стали острейшим дефицитом. В западной исследовательской литературе иногда даже приводятся факты умышленного изъятия из продажи противозачаточных средств⁴². В конце 1930-х годов на выпуске презервативов стал специализироваться Баковский завод резиновых изделий. Одновременно в советской прессе начали рекламировать «Контрацептин», «Преконсол» и «Вагилен»⁴³.

Но принципиальное отношение власти к контрацепции не изменилось. В доказательство достаточно привести текст плаката 1939 года «Противозачаточные средства», где указывалось, что «применение противозачаточных средств рекомендуется исключительно как одна из мер борьбы с остатками подпольных абортотворцев <...> а не как мера регулирования деторождения»⁴⁴.

Во второй половине 1950-х о культуре интимной жизни стали писать в популярной литературе. В 1959 году в статье об абортах в «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства»

отмечалось: «Если беременность противопоказана по состоянию здоровья или нежелательна по тем или иным причинам, то, чтобы не прибегать к абортам, следует предупреждать зачатие. Для выбора противозачаточного средства следует обратиться к врачу»⁴⁵. В женских консультациях уже в конце 1950-х медики пытались ввести карточки по учету эффективности противозачаточных средств. Женщинам, пользующимся контрацептивами, настойчиво рекомендовали находиться под наблюдением специалистов⁴⁶.

Даже по разрозненным данным, почерпнутым из специальной медицинской и научно-популярной литературы, можно сделать вывод, что арсенал средств предохранения в 1950–1960-х годах заметно расширился. Но медики отдавали предпочтение презервативам и диафрагмам, эффективность которых колебалась в диапазоне от 65 до 99%⁴⁷. Одновременно фармацевтическая промышленность предлагала довольно эффективные, как тогда считали, средства регулирования рождаемости. Результативность новых контрацептивов (грамицидиновой пасты, метаксилогидрохинона, алкацептина и т. д.), по данным медиков, колебалась от 50 до 80%. В Советском Союзе велись и разработки гормональных препаратов против беременности. В медицинской литературе начала 1960-х годов упоминается «оновлар», аналог первого западного контрацептива ановлара⁴⁸. Однако контуры советского быта по-прежнему определялись коммунистической идеологией. На ее позициях стояла и официальная медицина. В СССР с предубеждением относились к новым методам предохранения, тем более западным. Вероятно, поэтому советские гинекологи в 1960-х годах утверждали, что гормональные средства хотя и эффективны, но далеко не безвредны⁴⁹. Академик Борис Петровский, министр здравоохранения СССР в 1965–1980 годах, был уверен в пагубном влиянии на женский организм гормональных контрацептивов⁵⁰. Их применение в сугубо лечебных целях Министерством здравоохранения СССР разрешило в августе 1971-го.

До начала перестроечных процессов в СССР подбор, а нередко и приобретение эффективных противозачаточных средств оставались проблемой. Из своей первой зарубежной поездки за границу — в Болгарию в 1976 году — я привезла себе оправу для очков, маме — очень модный тогда черный кримплен, отцу — натуральную (из хлопка) сорочку, а мужу — несколько пачек индийских презервативов. Их, очень гордясь своей раскованностью, я купила в первом попавшемся павильончике в аэропорту Софии.

Но, несмотря на курьезы снабжения медицинскими товарами в СССР даже в эпоху застоя, официальная риторика в отношении эротики начала меняться уже в конце 1950-х годов, и это зафиксировало оттепельное искусство. В кино смелее презентовали вопросы интимной жизни, в частности внебрачные связи героев. Особенно ярко это проявилось в знаковом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» (1961). Картина рассказывала о молодых ученых-физиках, в то время самой прогрессивной части советского общества, и добрачные сексуальные контакты героев выступали как норма частной жизни интеллигенции. Конечно, одновременно с подобными фильмами в советской кинематографии 1960-х были и произведения, как прежде, проповедовавшие патриархальный миф о девичьей чести как главном достоинстве женщины. Пример — вышедшая почти одновременно с роммовскими «Девятью днями одного года» кинокомедия режиссера Юрия Чулюкина «Девчата» (1961).

На излете демократических реформ 1960-х годов в советском кинематографе стали появляться фильмы, героини которых испытывали муки выбора сексуальной стратегии. Это «Журналист» (1967) Сергея Герасимова по его же сценарию и «Еще раз про любовь» (1968) Георгия Натансона по пьесе Эдварда Радзинского, написанной в 1964 году. В обоих случаях «незаконная» любовь подвергалась публичному осуждению со стороны некой части общественности, будь

то комсомольское собрание или семья. Но авторская симпатия была явно на стороне девушек. Любопытно, что границы и формы мужского сексуального поведения оставались вне обсуждения.

О «грехопадении» до вступления в брак спокойно писали и литераторы второй половины 1950–1960-х годов. Такое поведение казалось естественным Саше Зеленину, главному герою первой повести Василия Аксенова «Коллеги». Допускал внебрачные отношения своих героев и своеобразный антипод Аксенова, сугубо «советский писатель» Всеволод Кочетов, которого большинство культурных людей не без основания считали мракобесным моралистом. В его романе «Братья Ершовы» (1957) без записи в ЗАГСе живут вместе двое искалеченных войной людей — сталевар Дмитрий Ершов и рыбачка Деля Величкина. Вне брака развивались отношения у физика Сергея Крылова, безусловно положительного героя произведения Даниила Гранина «Иду на грозу» (1962).

В начале 1960-х уже позволяла себе подшучивать над ханжескими взглядами на отношения мужчин и женщин советская сатира. Особенно доставалось учителям, в среде которых традиционно много консерваторов. В журнале «Крокодил» в 1962 году, например, была размещена изюшутка Льва Самойлова. На первом рисунке изображалось заседание педсовета. Директор сообщал коллегам: «Завтра десятиклассники идут в театр. Примем меры предосторожности!» На втором рисунке учителя в афишах спешно меняли слово «любовь» на слово «дружба», «уважение»: «Коварство и любовь» — на «Коварство и уважение», «Любовь Яровая» — на «Друг Яровая», «Любовь к трем апельсинам» — на «Уважение к трем апельсинам», «Любовь с первого взгляда» — на «Дружба с первого взгляда»⁵¹. Законодательные инициативы власти, западный и отечественный кинематограф, советская и зарубежная художественная литература повлияли на интимное поведение людей 1960-х годов, что выразилось, в частности, в стремлении открыто обсуждать

«запретные» темы, как это было в 1920-х годах. На рубеже 1950–1960-х годов молодежная редакция Ленинградского радио провела серию передач под общим названием «Береги честь смолоду». Слушатели стали активно делиться своими представлениями о степени свободы в интимной сфере, о чем свидетельствуют письма в редакцию⁵².

Желание вербализировать вопросы сексуальности и получать информацию, которая могла бы помочь выработать линию интимного поведения, зафиксировали социологические опросы начала 1960-х. Социологи столкнулись с критикой замалчивания проблем приватности⁵³. В контексте демократизации общественного уклада горожане стремились приобщиться к цивилизованным каналам знаний об интимной жизни. Опросы начала 1960-х годов подтверждают это⁵⁴. Активно обсуждалась необходимость издания научно-популярной литературы по физиологии и гигиене интимной жизни⁵⁵, ведь книг по сексологии не было. Неудивительно, что информацию о взаимоотношениях полов культурная часть молодежи предпочитала черпать из художественной литературы⁵⁶. В 1950–1960-х годах стали доступны произведения античных и средневековых классиков, годившиеся в качестве руководства по проблемам куртуазности. Исходя из личного опыта, могу вполне подтвердить точность строк Пушкина: «Читал охотно Апулея, / А Цицерона не читал». Но в 1960–1970-х в СССР появилась и специальная литература по проблемам интимной жизни. Настоящей сенсацией стали переводы трудов немецкого медика Рудольфа Нойберта. В 1960 году в СССР вышла его работа «Вопросы пола (Книга для молодежи)», а с 1967 года систематически переиздавалась «Новая книга о супружестве».

Опросы, возобновившиеся в СССР в годы оттепели, зафиксировали, что представления о сексуальной морали становились свободнее: в конце 1960-х годов добрачные половые контакты одобряли не только 62% молодых мужчин, но и 55% молодых женщин. До совершеннолетия сексуальная

жизнь начиналась у 14,5% девушек и у 52,5% юношей. Представители нового поколения горожан высоко оценивали значимость физической близости как фактора крепкой семьи или устойчивых отношений мужчины и женщины⁵⁷. Однако серьезным сдерживающим фактором здесь становились жилищные условия. В условиях коммуналок и бараков представления о границах общего и частного были размыты. Личный, сокровенный мир в 1930–1950-х годах невольно становился достоянием окружающих. Иосиф Бродский отмечал: «У нас не было своих комнат, чтобы заманивать туда девушку, и у девушек не было комнат. Романы наши были по преимуществу романы пешеходные и романы бесед»⁵⁸. Сексолог Игорь Кон, живший в молодости в коммуналке, вспоминал: «Когда <...> я писал, что самым страшным фактором советской сексуальности было отсутствие места, я знал это не понаслышке»⁵⁹. Неудивительно, что параллельно с государственной программой по предоставлению гражданам отдельных квартир — хрущевок — на бытовом уровне формировалось стремление к обособлению, к сокрытию личной жизни. Тогда и распространилось в языковом поле понятие «интим». Его использование для обозначения ситуаций повседневности — явное свидетельство изменения представлений советских людей о соотношении публичного и приватного пространства. Это выражалось не только в появлении новой сексуальной идентичности, но и в стилистике быта. Люди старались создавать обстановку интимности. В отдельных новых квартирах, где существовали маленькие, но изолированные комнаты, этот вопрос решался по совету дизайнеров тех лет с помощью «бокового» света — настенных бра, а также вошедших в моду торшеров. Но тягу к «интиму», обособленному индивидуальному пространству стали настойчиво проявлять и жители пока еще многочисленных коммуналок. Михаил Герман вспоминал, как в 1955 году им с матерью удалось перестроить 20-метровую комнату с помощью не доходившей

до потолка перегородки: тем самым у него появилось подобие кабинета. Его младший современник Бродский сделал то же самое, но с помощью книжных полок и шкафов, «когда и количество книг, и потребность в уединении драматически возросли». В закутке, куда можно было проходить, не беспокоя родителей, часто заводили проигрыватель. По традициям интима 1960-х годов звучала музыка Баха⁶⁰.

Стремление к интимизации пространства во многом было связано с сексуальными практиками. Их внешней стилистике начитанная публика под влиянием западной литературы, в первую очередь романов Эриха Марии Ремарка, стала уделять особое внимание. Андрей Битов отмечал: «Мы (после прочтения «Трех товарищей». — *Н. Л.*) стремительно обучались, мы были молоды. Походка наша изменилась, взгляд, мы обнаружили паузы в речи, учились значительно молчать... И вот мы уже все чопорные джентльмены, подносим розу, целуем руку»⁶¹. В целом палитра реальной сексуальности в советском обществе 1960–1980-х годов была достаточно разнообразной⁶². Олег Куратов, представитель технической интеллигенции 1960–1980-х, удивительно точно назвал раздел своих мемуаров, посвященный интимной жизни советских людей, «Так было, так будет». Частная жизнь была значительно разнообразнее, чем ее модели, конструируемые властью.

К началу 1970-х годов в советском языковом пространстве наряду со словом «интим» уже существовали производные от понятия «секс». Это «секс-бомба» и «секс-фильм», связанные с индустрией западного эротического искусства, а также «сексолог», «сексологический», «сексология», «сексопатолог», «сексопатология». Они отражали уровень развития в СССР научных, и в частности медицинских, знаний об интимной жизни. Вербализация явлений, связанных с половыми отношениями, свидетельствовала о наличии в советской действительности признаков «великой сексуальной революции», развернувшейся в мире на рубеже 1950–1960-х годов.

КРАСНАЯ КОСЫНКА

*Головные уборы:
мода или социальная мимикрия?*

Словосочетание «красная косынка» в большинстве справочных изданий представлено как некое лингвистическое образование советского периода. Оно истолковывается как «головной убор комсомолки (в первые годы советской власти)»¹. Такое утверждение невольно наводит на мысль о том, что в начале 1920-х годов существовала официальная комсомольская униформа, хотя это, конечно, абсурд (подробнее см. «Юнгштурмовка»). Возможно, здесь возникает путница с символикой детской коммунистической (пионерской) организации, которая появилась весной 1922 года. Мальчики и девочки носили треугольный тканый лоскут на шее — знак членства в пионерии². Пионерский галстук — вещь, заимствованная у скаутов, которые носили на шее косынки разных цветов. Установить же относительно точную дату рождения моды на ношение на голове некоего «революционного» символа нереально. Ведь традиционная деталь женского русского костюма — это именно платок. Разрезанный пополам, он на рубеже XIX–XX веков к тому же превратился в своеобразную «профодежду» для работниц, которая обеспечивала и безопасность, и гигиеничность производственного процесса. Шляпы же у представительниц разных слоев городского населения считались деталью партикулярной, представительской одежды. Но мода на женские головные уборы быстро менялась.

В годы Первой мировой войны объемные шляпы с перьями и длинными булавками оказались неактуальными, их заменили на «клош» — головной убор с очень маленькими полями, а частую и без них, кубанки, дамские версии шлема летчика из шелка и кружев, и шапочки, стилизующие монашеский капор. Последний вариант был очень близок к традиционным платкам. В это же время в стилистике повседневности появились сестринские косынки. Их носили женщины из самых разных социальных слоев. На этот убор в случае холода накидывали теплую шаль. Героини трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» сестры Даша и Катя после начала Первой мировой войны меняют изящные шляпки с ромашками и вуалетками, «большую шляпу из белого газа с черной лентой», даже меховой капор с лиловыми лентами на пуховые платки и косыночки³ Таким образом, еще до событий 1917 года носить нечто напоминающее платок горожанки считали комфортным, уместным и даже в какой-то степени модным.

Яркий цвет платков тоже пользовался популярностью долго до революционных перемен в российском быту. Женщины могли появляться даже в храмах в дни пасхального богослужения в пунцовой или алой косынке, так как эти оттенки символизировали кровь Христа и одновременно божественную любовь к роду человеческому. Неудивительно, что в русской живописи начала XX века часто встречается изображение Богоматери именно в красном покрове. В качестве примера можно назвать картину Кузьмы Петрова-Водкина «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914–1915). Красные головные уборы, чаще всего широкие повязки и платки, отображены на плакатах и лубочных картинках 1910–1917 годов⁴. Механизм превращения головного убора Богоматери или обычной русской женщины в маркер революционного протеста, несомненно, заслуживает исследовательского внимания, как, впрочем, и социальный смысл головных уборов в советском обществе⁵ В российских условиях покрывать чем-то голову, особенно

зимой, — насущная необходимость. Это обстоятельство следует учитывать, исследуя перемены в социальных, функциональных и эстетических функциях шапок, шляп, кепок, платков и т. д. в советском быту.

Писательница и мемуаристка Нина Берберова, описывая вид столицы бывшей Российской империи в начале 1918 года, отмечала: «Женщины теперь все носили платки, мужчины — фуражки и кепки, шляпы исчезли: они всегда были общепринятым российским символом барства и праздности и, значит, теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера»⁶. Действительно, приоритеты в этой области после 1917 года менялись. Но у женщин еще при царизме вошло в моду ношение комфортных косынок. Не совсем понятно лишь, когда именно этот головной убор окрасился в красный цвет. На этот вопрос не могут ответить ни фотографии, ни материалы зарождающегося советского кинематографа, запечатлевшие события эпохи революции, Гражданской войны и даже начала 1920-х. Агитационная графика этого периода использовала изображения женщин в красных платках, но не слишком часто. Так, художник Игнатий Нивинский в центре плаката «Женщины, идите в кооперацию» (1918) поместил фигуру в белой косынке. Неизвестный автор популярного агитматериала «Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке» (1920) вообще изобразил женщину с непокрытой головой, что было настоящим вызовом прошлому и патриархальным представлениям о женском костюме. Лишь со второй половины 1920-х в художественной агитации и пропаганде полностью утвердился образ передовой женщины, важным атрибутом внешности которой стала именно красная косынка, повязанная концами назад⁷. Но плакаты отражали не столько реальность, сколько идею гендерной эмансипации посредством специфических форм одежды. Новый женский канон в 1920-х годах активно формировался усилиями литературной и художественной интеллигенции. Передовой пролетарке был предписан особый

головной убор. Его некая надуманность достаточно очевидна. Ведь в российском климате косынка не могла уберечь ни от дождя, ни от холода. Значительно функциональнее выглядела буденовка. Она, как известно, считалась всесезонным головным убором в Красной армии. Покрой буденовки позволял опустить при необходимости часть колпака и даже застегнуть его, закрыв уши и шею. В художественной литературе 1920-х можно найти упоминания о «новых женщинах», предпочитавших носить именно буденовку. В повести Николая Богданова «Первая девушка» главный герой так описывает метаморфозы внешнего облика своей подруги: «Остригла вдруг косы, на головку буденовку, под мышку портфель, комиссар да и только»⁸. Но все же истинная муза советских писателей — девушка в красном головном уборе. Одним из первых этот вариант советского женского канона увековечил Федор Гладков в романе «Цемент» (1922–1924). Герой книги, рабочий Глеб Чумалов, по возвращении из Красной армии, был поражен тем, как изменилась его жена Даша. Она стала «партийкой», активисткой женотдела, самостоятельной, независимой. И все эти новые черты для Чумалова сконцентрировались «в красной повязке» на голове жены: «Нет, не та Даша, не прежняя, — та Даша умерла. Эта — иная, с загоревшим лицом, с упрямым подбородком. От красной повязки голова — большая и огнистая»⁹. Новой детали внешнего облика своей героини Гладков посвящает отдельную главу под названием «Красная повязка». Не совсем понятно, намеренно ли писатель именно так называет головной убор Даши. Но в целом в художественном дискурсе с середины 1920-х в качестве знака женской эмансипации утверждается именно косынка, повязанная узлом сзади. Символику революционизированного с помощью цвета традиционного русского головного убора советские литераторы активно эксплуатировали и на рубеже 1920–1930-х. Так, в романе «Сестры» Викентия Вересаева социальный смысл одежды юной работницы резинового завода «Красный витязь» — кожанки — намеренно усилен

красным платком. Этот головной убор писатель связывал со знаковой деталью одежды эпохи Великой французской революции: «Бася после работы поспала и сейчас одевалась. Не повседневному одевалась, а очень старательно, внимательно гляделась в зеркало. Черные кудри красиво выбивались из-под алой косынки, повязанной на голове, как фригийский колпак»¹⁰.

Красный цвет, выступавший в народном, прежде всего прикладном, искусстве как нечто стихийно-родовое, а в иконописи выражающий высшие, философско-религиозные ценности, нарочито политизировался и советскими художниками. В 1920 году в картине «1918 год в Петрограде» Петров-Водкин изобразил молодую работницу, «петроградскую мадонну», пока еще в белом платке. Но с 1925 года косынка цвета крови приобрела особый смысл в творчестве художника. Смесь революционной и христианско-религиозной символики он использовал в знаменитом портрете «Девушка в красном платке (Работница)» (1925). Во второй половине 1920-х женщина в красной косынке становится очень популярной моделью советских живописцев: Георгия Ряжского («Делегатка», 1927; «За книгой», 1927; «Колхозница-бригадир», 1932), Ивана Куликова («Физкультурница», 1929) и др. Портреты и плакаты второй половины 1920-х годов позволяют понять, что в советском городском пространстве красные платочки были достаточно популярным, а главное, признанным властью головным убором. Он превращался в модный тренд. Не случайно в 1925 году Лиля Брик на знаменитом плакате Александра Родченко для Лениздата (Ленгиз) сфотографирована в косынке. Создается впечатление, что новый женский облик сначала подавался через плакаты и художественные образы, а уже под их влиянием внедрялся в практики быта.

Однако выраженная «социальность» платков привлекала далеко не всех горожанок. Здесь сказывалось влияние тенденций западной моды, сведения о которой при нэпе проникали в крупные города Советской России. В Европе и США в это



Шляпка «клош». 1925.
Личный архив Н. Б. Лебиной



Шляпка-тюрбан. 1927.
Личный архив Н. Б. Лебиной

время доминировал стиль а-ля гарсон. Модными стали брюки гольф, жилеты с мужскими галстуками. Женщины надевали даже смокинги. Мальчишеский вид подчеркивали короткая стрижка, шляпка «клош» с маленькими полями и даже псевдошлемы. Именно в таком головном уборе приходит в милицию с заявлением о своем преступлении — убийстве соседки по коммуналке — Ольга Зотова, героиня рассказа Алексея Толстого «Гадюка» (1928)¹¹. Кроме того, интеллигенция и «бывшие» в мирных условиях все же предпочитали шляпки, на которые в случае холода можно было надеть сверху тонкий пуховый платок. В архиве нашей семьи сохранились две фотографии моих бабушек по маминной и папиной линии. Одна в шляпке в стиле клош, связанной из ниток кроше, другая — в псевдо-тюрбане, тоже модном. Оба головных убора явно самодельные.

Судя по всему, обе бабушки были женщинами до мозга костей и могли из ничего сделать салат, скандал и, конечно, шляпку.

Трудно сказать, как сосуществовали в реальной жизни на рубеже 1920–1930-х годов красные косынки и шляпки. Но, судя по материалам художественной литературы, их обладательницы нередко конфликтовали между собой. В романе Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков», посвященном судьбам старой интеллигенции в советском обществе, показателен разговор жены главного героя и молочниц с бидонами, оказавшихся в одном трамвае:

- Ишь, толстая! Загородила дорогу, а из-за нее еще останешься.
- Не смей так оскорблять!
- Ну, чего там! Тебя никто и не оскорбляет, тебе словами говорят.
- Надела шляпу, и уже не тронь ее. В автомобиле бы ездил!¹²

Вестиментарный конфликт на рубеже 1920–1930-х переносится и в мужское пространство. Однако здесь шли гонения не столько на шляпы, сколько на старую форменную одежду инженеров (подробнее см. «Юнгштурмовка»).

Но уже в начале 1930-х приемы репрезентации советского внешнего канона начали активно меняться. И в первую очередь это отразилось на женщинах. Исследовательница Татьяна Дашкова, проанализировав фотоматериалы из женских журналов того времени, заметила, что косынки вернулись к своему привычному статусу. Они рассматривались в городской среде как головной убор, задача которого сводилась к обеспечению безопасности трудового процесса¹³. Иногда, правда, детали революционной стилистики во внешнем виде можно было увидеть в одежде молодых интеллигентов, уже советских, все еще продолжавших бороться с мещанством в быту. Красный платочек любила носить, судя по мемуаристике, поэтесса Ольга Берггольц. По словам современника, «эта девочка в красной косынке была уже дважды матерью, но твердо

решила оставаться комсомолкой из-за Нарвской заставы»¹⁴. Однако основная масса горожанок в годы первых пятилеток предпочитала иные головные уборы. Роль маркера особой социальной активности женщины теперь стали выполнять кепки. Их можно увидеть на картине Рязжского «Рабфаковка» (1926), а главное, в предвоенном кинематографе, прежде всего в «Трактористах» (1939) Ивана Пырьева.

Мягкий головной убор с козырьком с первых дней революции считался в противовес шляпе признаком демократизма и в мужском облике. Стереотип возник под влиянием широко растиражированного образа вождя революции Ленина, предпочитавшего носить кепку. В 1920-е годы этот головной убор был знаковой деталью облика Сергея Кирова, противопоставлявшего себя даже внешне прежнему ленинградскому руководству, в частности Григорию Зиновьеву. По воспоминаниям очевидцев, прибывший в конце 1925 года в Ленинград Киров «был одет в осеннем пальто, в теплой черной кепке и выглядел настолько заурядно и просто, что <...> многие рабочие [были] представительнее его по внешности»¹⁵. Впрочем, наряду с простецкими головными уборами вождей существовали в 1920-х и остромодные кепки. По данным опроса 1928 года, молодежь, ориентированная на западную или, как ее тогда называли, «нэпманскую» моду, стремилась приобрести среди прочего и «клетчатую английскую кепи с огромным прямоугольным козырьком»¹⁶. Но девушки, позиционировавшие себя как активные участницы процесса строительства новой жизни, надевали, конечно, самые традиционные кепчонки. Они выглядели не только подчеркнута демократично, но и унисексуально. Мужской головной убор на женщине, в отличие от красной косынки, можно рассматривать как демонстрацию гендерного равноправия в СССР в начале 1930-х годов.

И все же фаворитами деполитизированной моды в условиях зарождающегося сталинского «большого стиля» следует назвать

береты. Они примирили антагонизм шляп, пока еще считавшихся признаком барства и нэпманской буржуазности, и красных косынок, маркеров пролетарской сознательности. В 1930-х — начале 1940-х годов береты надели почти все горожанки. Журналисты Юрий Жуков и Михаил Черненко в 1934 году писали, что «берет — предел мечтаний фабричной девчонки с Уралвагон-строя»¹⁷. Популярность этих головных уборов у советских женщин заметила приехавшая в середине 1930-х годов в Ленинград англичанка Доротея Элтон. Она вспоминала: «Я тоже носила берет, только набекрень, что привлекало большое внимание»¹⁸. Популярность этого сравнительно нового для России головного убора запечатлена и на любительских и на профессиональных репортерских снимках. При этом, в отличие от косынки, для которой доказательством сознательности ее хозяйки был цвет, в случае с беретом актуальность определялась формой. Плоский и небольшой головной убор не обошли вниманием живописцы. Александр Самохвалов в 1939 году завершил картину под названием «Делегатки», в которой на переднем плане изображена девушка в белом берете. Валентин Катаев вспоминал заполнивших в начале 1930-х московские улицы «молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса — продавщиц, вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик». «Они, — писал Катаев, — были большие модницы, хотя и одевались стандартно: *лихо надетые набекрень белые суконные беретки* (курсив мой. — Н. Л.), аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав, на плотных ножках туфельки-танкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка... [Это] были маленькие московские парижанки, столичные штучки»¹⁹. Любопытно, что писатель уловил «западный дух» новой формы головных уборов. Не случайно в конце 1950-х, после московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов, береты осмелились наконец надеть и мужчины, подражая западной, в первую очередь французской, моде.

Накануне войны в рамках сталинского гламура советские модельеры начали уделять женским головным уборам особое внимание. Так, например, журнал «Ударница Урала» с зимы 1937 года начал размещать на своих страницах рисунки моделей женской одежды: пальто обязательно дополнялись шляпами с полями²⁰. В роскошные и кокетливые женские канотье, «таблетки», украшенные вуалетками, токи и т. д. одевал своих героинь, жительниц городов, советский кинематограф конца 1930-х — начала 1940-х годов. Особенно впечатляющими выглядят женские головные уборы в фильмах «Сердца четырех» (режиссер Константин Юдин) и «Антон Иванович сердится» (режиссер Александр Ивановский). Обе кинокомедии были сняты в 1941 году.

Сталинский гламур в «шляпной сфере» ярко проявился и после Великой Отечественной войны. Знаменитую фразу «Красота — это страшная сила» в фильме Григория Александрова «Весна» (1947) домработница Маргарита Львовна в исполнении Фаины Раневской произносит, увидев в зеркале свое отражение в модной шляпке с вуалью²¹. Следует заметить, что этот предмет одежды прислали главной героине кинокартины — Ирине Никитиной, крупному ученому, руководительнице Института солнца — из Общесоюзного дома моделей. Действительно, советские модельеры разрабатывали и модели шляп. Уже на весну 1945 года московские художники по костюмам предложили советским женщинам 18 моделей шляп²². Их изображения часто встречались на страницах таких изданий, как «Модели сезона» и «Журнал мод».

Примерами для подражания в глазах советских модников и модниц становились герои и героини трофейных кинофильмов. Особенно любопытна здесь метаморфоза мужской шляпы. В канонах элегантности сталинского стиля солидный мужской костюм, непременно из бостона, имел важное дополнение — головной убор. По словам Иосифа Бродского, советских людей за границей сразу опознавали по обязательной

шляпе²³, которая на многих советских и партийных лидерах действительно выглядела комично. Западный кинематограф предоставлял другие стандарты мужской элегантности. Образцом для интеллектуалов послевоенного поколения стали герои фильма «Мальтийский сокол», носившие щегольские головные уборы. Евгений Рейн вспоминал, что в 1956 году у него была «роскошная черная шляпа типа „барсалино“* из тонкого фетра с широкими полями и высокой тульей, на которой ребром ладони делался глубокий пролом»²⁴.

На рубеже 1940–1950-х годов у горожанок под влиянием трофейных фильмов стали популярны береты из твердого фетра, высоко поднимающиеся надо лбом. Об этом свидетельствуют любительские фотографии этого времени. Вычурные модели привлекали советских модниц послевоенной поры и одновременно вызывали скептические оценки. Михаил Герман вспоминал, что вздыбленные береты острословы начала 1950-х годов прозвали фасоном «я дура»²⁵. Женщины нашей семьи тоже пытались следовать моде. Правда, от этих экспериментов осталась одна очень плохого качества фотография, где запечатлена моя беременная мама весной 1948 года в весеннем пальто и в «я дура». Значительно лучше сохранилось фотоизображение бабушки по маминой линии, приобщившейся в середине 1950-х годов к моде на «менингитки». Так иронически называли шапочки, ставшие популярными после демонстрации на советских киноэкранах американского фильма «Римские каникулы» (1953). Его героиня, юная принцесса маленького европейского государства, роль которой исполнила Одри Хепберн, появляется на светском приеме в головном уборе из лебединых перьев. Он закрывал лишь самую макушку головы. Советские женщины стали вязать такие же шапочки и носить их зимой, в морозы. Подобная мода вполне могла

* Правильно — «борсалино», по названию итальянской шляпной фирмы. — Примеч. ред.

спровоцировать менингит, что и породило новое название кокетливой шляпки, подвергшейся советизации.

Судя и по фотоматериалам, и по моим личным воспоминаниям, меховые головные уборы в первое послевоенное десятилетие были большой редкостью. В контексте сталинского гламура горожанки и зимой «фасонили» в шляпках. В 1956 году в СССР с визитом приехал последний шах Ирана со своей второй женой, красавицей Сорайей. Она мелькала на страницах советской печати в элегантных нарядах, всегда дополненных головным убором. Один из них приглянулся советским шляпницам-надомницам, и с их помощью многие москвички и ленинградки приоделись в шапочки «шахиня». Они были небольшими, облегаящими голову, имели маленький мыс на лбу и увенчивались вуалеткой. Не могу ручаться, что «шахиня» — официальное название фасона, который достойно могла носить далеко не каждая женщина. Соблазна одеться по моде не избежала и моя мама. Ее «шахиня» темно-зеленого велюра дополняла зимнее пальто!

В официальной советской высокой моде и на рубеже 1950–1960-х годов почти всегда присутствовали шляпы не только как часть гардероба, необходимая в не слишком жарком климате основных регионов СССР, но и как важное дополнение женского костюма вообще. Журнал «Работница» в разделе «Последите, пожалуйста, за собой» часто помещал заметки с «дисциплинирующими» наставлениями по поводу головных уборов. Показательным представляется материал из 12-го номера журнала за 1957 год под названием «Идет ли вам эта шляпа?» со следующими советами: «Женщина с удлинённым лицом ни в коем случае не должна носить шляпы узкие и высокие. Ей рекомендуется носить головные уборы с широкими отогнутыми вниз полями. Это делает линию лица гораздо привлекательнее. Молоденькие девушки <...> выбирайте простые и веселые модели <...> Мы рекомендуем вам простые формы и цвета. Лоб должен быть открытым»²⁶.

Но в целом хрущевская оттепель постепенно демократизировала и головные уборы. В «Работнице» на рубеже 1950–1960-х годов стали появляться статьи с критикой помпезных шляп, которые предлагала советская легкая промышленность. «Вот передо мной ярко-рыжая шляпа „амазонка“ с черной вуалеткой, усеянная бархатными бантиками. В довершение всего к „амазонке“ пришта серая подкладка», — писала автор материала «В царстве „амазонок“ и „морских узлов“» Мария Ангарская. Критике журналистки подвергся и «бархатный капор времен пушкинской Татьяны». Ангарская отмечала: «Не сомненно, он хорошо бы гармонировал с кринолином, но уж никак не с нашей одеждой, отличающейся простотой линий, мягкостью складок, удобством»²⁷. В 1957 году авторы «Работницы» многие головные уборы сравнивали с марципаном «со сливками, шоколадом и изюмом» и призывали женщин «не украшать себя шляпой, напоминающей изделие кондитера»²⁸. А в 1960 году помпезные головные уборы были и вовсе приравнены к формам «для желе или мусса»²⁹. В этой риторике явно просматриваются элементы «приземления» стилистики сталинского гламура. Невольно вспоминается выражение «сталинский торт», которым острословы 1940–1950-х годов характеризовали знаменитые советские высотные здания. Но это был последний идеологический натиск на дамские шляпки, спровоцированный властью.

Переориентировать предприятия легкой промышленности на производство головных уборов в контексте новых демократических тенденций в моде оказалось делом непростым. Шляпные ателье даже в крупных городах были редкостью. В Ленинграде в 1960-х годах славилось ателье на улице Рубинштейна, но женщинам нашей семьи так и не удалось туда попасть. Изготавливали помпезные и довольно дорогие головные уборы и в ленинградском «Пассаже». В сложной ситуации все же нашелся выход: востребованными оказались вязаные — как правило, самодельные — шапочки. Тому, как их делать, учили уже

первые издания книги «Домоводство». В начале 1960-х журнал «Работница» активно пропагандировал головные уборы из пряжи, называя их модными³⁰. И такое начинание было созвучно времени оттепели. Бурное строительство хрущевок на окраинах больших городов актуализировало передвижение на транспорте с двумя-тремя пересадками. Ездить в переполненном трамвае, троллейбусе или вагоне метро в кокетливых шляпках с декоративными деталями или полями оказалось довольно сложно. Бесславно закончила свою жизнь и мамина «зеленая» шахиня после переезда школы милиции — учреждения, где мама работала, — в пригород. Хрущевская оттепель вернула моду на платки и косынки. Они были популярны на Западе как тренд демократического характера. Недавно я с удивлением прочла в повести Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде» (1969) следующие строки: «...он встречал ее на их любимом Юго-Западном вокзале. На перроне их обгоняла <...> веселая толпа дам-провинциалок, одетых так же, как Натали: все в юбках чуть длиннее, чем требовала мода, в шелковых платочках на голове»³¹

В 1960–1980-х годах как головной убор, вполне приемлемый для женщины в любой обстановке, вновь стала популярной кепка. Знаковое содержание кепок с конца 1930-х претерпело серьезные изменения даже в мужской среде. В первые послевоенные годы кепки распространились в криминальной среде. Головной убор под названием «лондонка», по воспоминаниям современников, носила ленинградская шпана³². Поэт Евгений Рейн писал об этой публике на улицах Ленинграда:

В глубокой лондонке буклевой,
в пальто двубортном нараспашку
с такой улыбкой чепуховой —
они всегда готовы пряжку,
кастет и финку бросить в дело...

Но к началу 1960-х годов криминальный аспект кепки уже не выступал на первый план. Более того, советские модельеры³³ советовали этот головной убор в первую очередь молодым

мужчинам. В альбоме «Одежда молодежи», подготовленном в 1959 году к печати редакцией «Журнала мод», можно прочесть: «Не советуем увлекаться шляпами: они идут людям более солидного возраста; молодому человеку лучше — кепи»³⁴. В 1970-х плоская и очень широкая кепка — «аэродром» — превратилась в отличительную деталь жителей закавказских республик, торговавших на рынках крупных городов. Женщины в эпоху застоя, конечно, не носили «аэродромы» или ленинские кепки и не стремились с помощью головных уборов маркировать свою социально-профессиональную позицию. Кепка в это время была всего лишь удобным и оригинальным предметом туалета с элементами унисекса. В молодости я тоже приобщилась к этой моде. Носила разные кепки: и кокетливую рыжую фетровую, и черную из вельвета, и шитую из коричневого драпа, и даже кроликовую меховую.

Хрущевская оттепель породила неофициальную моду на отсутствие головных уборов. Это, несомненно, знаковое явление, подчеркивающее перемены в советском обществе после смерти Сталина. Известно, что в демократических социумах, как правило, формам шапок и шляп не придается особого значения³⁵. Антропологи обычно апеллируют к внешнему облику древних греков, которые лишь в особых обстоятельствах чем-то покрывали голову. Современники же десталинизации вспоминают, что хождение с обнаженной головой в холодную погоду многие рассматривали как форму противопоставления себя «кондовым сталинистам» в теплых меховых шапках. Неудивительно, что в знаменитой статье «Окололитературный трутень», опубликованной поздней осенью 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» и обвинявшей во всех возможных грехах поэта Бродского, подчеркивалось, что «зимой он ходил без головного убора»³⁶. И как будто в противовес оттепельной свободе в последние два десятилетия советской истории появились новые социальные маркеры — головные уборы из дорогостоящего меха.

В разрозненных и немногочисленных источниках эта проблема подается как специфически мужская и связывается в первую очередь с шапкой-ушанкой, чья форма восходит к традиционному русскому меховому малахаю. Ушанка удобна в суровом российском климате. Не случайно ее использовали в советской армии для зимнего обмундирования. В СССР в городских условиях, особенно после войны, мужчины зимой носили ушастые шапки из меха кролика, овчины, иногда комбинированные с кожей и тканью. На короткое время — в период хрущевских реформ — под влиянием номенклатурной моды многие оделись зимой в меховые «пирожки» или стилизованные папахи. Так, в частности, любил одеваться сам Хрущев. У моего отца в это время был «пирожок» из серой мерлушки — вещь при морозах совершенно бесполезная. Но затем во властных структурах возобновилась традиция носить ушанки. В 1970-х — начале 1980-х годов пыжиковая (из меха теленка северного оленя) шапка-ушанка, темно-серое ратиновое пальто и мохеровый шарф составили своеобразную номенклатурную форму. В конце 1960-х годов мой папа занял должность учебного секретаря всех академических учреждений Ленинграда. Непосредственный начальник отца академик Владимир Максимович Тучкевич посоветовал ему сменить зимний гардероб и, в частности, головной убор. В закрытом обкомовском ателье было сшито зимнее пальто с воротником из щипаного бобра и сделана из того же меха по специальной мерке солидная шапка-ушанка. Правда, у отца хватило вкуса выбрать не серый, а болотного цвета ратин и коричнево-седого бобра, что выгодно отличало его от номенклатурной массы. Ведь, как говорил Сергей Довлатов: «Продублированная изысканность куда безвкуснее униформы»³⁷. Однако пыжика на всех не хватало. Многим по-прежнему приходилось довольствоваться кроликовыми ушанками. Счастливы, все же приобретшие по благу головной убор из приличного меха, рисковали расстаться с ним очень скоро. В 1970–1980-х годах процветала особая

форма грабежа — срывание шапок с прохожих и даже с пассажиров метро. К счастью, никто из моих родных не сталкивался с таким нападением, но в семейной истории все же сохранилось свидетельство ее существования. В январе 1973 года квартиру, которую мы с мужем временно снимали, вскрыли взломщики. Ущерб был, конечно, невелик — мы только начали совместную жизнь, но все же определенное потрясение мы испытали и даже потеряли некоторые вещи: мой модный по тому времени нейлоновый стеганный халат, складной театральный бинокль, мое свадебное платье. Кое-что нам в судебном порядке возместили, когда наших горе-воров поймали. Попались они, как тогда говорили, «на шапке»: пытались сорвать с прохожего его «пыжика». Срыванием шапок промышляли в застойные времена не только в Москве и Ленинграде. Коллега моего мужа во время командировки в Нижний Новгород, тогда еще Горький, не только лишился дорогой ушанки, но и получил серьезную травму. В общем, в хороших шапках надо было ездить в автомобилях. Но это, как я понимаю сейчас, будучи не только пассажиром, но и водителем, не очень удобно. Неудивительно, что в 1980-е годы мужчины с радостью приобщились к демократичной моде вязаных шапочек.

Короткий экскурс в историю женских и мужских головных уборов советского времени — дополнительное свидетельство того, что предметы одежды в СССР маркировали положение человека в обществе.

ЛОТЕРЕЯ

*Соблазны азарта:
формы государственного регулирования*

И в русской речи, и в пространстве городской повседневности, если судить хотя бы по словарю Даля, понятие «лотерея» существовало уже в середине XIX века. Это слово, ведущее свое происхождение от французского *lot* (выигрыш), употребляется в прямом смысле — для описания розыгрыша вещей, реже денежных средств по предварительно приобретенным билетам, а также и в переносном — для характеристики ситуации, в которой можно рассчитывать на успех как на случайность. Но, как правило, реальность и иносказание лингвисты не соединяют, а главное, не заостряют внимание на ощущении азарта, которое свойственно участникам лотереи¹. Более глубоким представляется определение, приведенное в словаре французского философа Андре Конт-Спонвиля. Лотерею он прямо называет азартной игрой или азартом, реализованным в форме игры. Ученый полагает, что государственные органы далеко не глупы, поддерживая лотереи. Ведь власть выигрывает в любом случае, и «азарт можно поставить на службу государственной бухгалтерии»². Такое толкование понятия «лотерея» дает возможность в рамках этюдов о советском быте наметить контуры политики большевиков по отношению к риску, авантюризму и азарту, всегда имеющему место в пространстве повседневности.

Распространенной формой городского досуга накануне событий 1917 года была игра в карты, которую большевики, придя

к власти, объявили социальной патологией. Они даже учредили должность комиссара «по борьбе с алкоголизмом и азартом»³. Однако в период военного коммунизма карты, производство которых было прекращено, преследовались прежде всего как элемент публичной жизни: закрывались официальные игорные клубы, не говоря уже о полулегальных, а любители «перекинуться в картишки» вне дома нередко оказывались в числе уголовных преступников.

Бытовые практики нэпа вернули азартные игры в сферу и публичного, и частного городского досуга — в ноябре 1921 года большевики официально разрешили продажу игральных карт. Прибыль от реализации этого ходового товара использовалась для нужд государства. Инициативу не замедлили проявить местные власти. В крупных городах Советской России появились игорные дома и клубы. Средства от их коммерческой деятельности шли в городской бюджет. В Петрограде уже в мае 1922 года начало функционировать казино «Сплэндид-Палас», которое только за два летних месяца посетило более 20 000 человек. В 1924 году в городе насчитывалось семь игорных домов. Особой популярностью у питерцев пользовался возобновивший свою деятельность осенью 1922 года знаменитый Владимирский клуб. Он, как и до революции, располагался на Владимирском проспекте в доме № 12. С 1945 года и по сегодняшний день здесь помещается знаменитый питерский Театр имени Ленсовета, которым долго руководил Игорь Владимиров, где блистала Алиса Фрейндлих, где и ныне играют Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Расцвет этого творческого коллектива пришелся на конец 1960-х — начало 1970-х годов. Именно в это время и я, и, главное, бабушка с дедушкой частенько там бывали. Дед в антрактах с удовольствием бродил по фойе и, хитро улыбаясь, вспоминал, как в 1920-х он, тогда молодой милиционер, дежурил в клубе. Действительно, в разгар нэпа жизнь в доме на Владимирском проспекте была ключом,

о чем писал сатирический ленинградский журнал «Пушка» весной 1926 года:

Сдаются карты в сотни рук,
Спешите в доску проиграться!
Бюро растратческих наук:
Проспект Владимирский, 12⁴.

Размах азарта, царившего здесь, поразил даже эмигранта Василия Шульгина. Позднее он вспоминал:

Пройдя несколько улиц, мы попали на бывший Владимирский проспект. Вошли в освещенный подъезд, где обширная вешалка ломилась от платья. Взяли какие-то билеты и затем прошли в залу <...>

— Что это? — сказал я. — Игорный дом?

— Да. Это то учреждение, которое в пролетарской республике не закрывается ни днем, ни ночью!

— Как? Никогда? Даже для уборки?

— Никогда. Республика не может терять золотого времени⁵.

К рулеткам и ломберным столам стекалась разношерстная публика. Валентин Катаев вспоминал, как в середине 1920-х «два советских гражданина» — он и Михаил Булгаков — отправлялись играть в рулетку с благородной целью подкормить друзей. В Москве в то время, по словам писателя, было два игорных дома с рулеткой, где вокруг столов «сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями — „частники“, „нэпманы“ или даже „совбуры“, советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом. Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки <...> Перстни блистали на их коротких пальцах»⁶. В игорных клубах часто разворачивались

целые драмы, становившиеся сюжетами для статей в периодической печати. Весной 1925 года вечерняя «Красная газета» сообщала, что за вечер инкассатор первого агентства Государственного банка проиграл 7000 рублей, а еще два посетителя из числа советских чиновников — по 5000. В игорных заведениях растрачивались и собственные, и казенные, и общественные деньги. Та же «Красная газета» рассказывала о секретаре общества «культсмычки» города с деревней при заводе «Красный выборжец», который проиграл членские взносы рабочих⁷. Две трагические истории запечатлел в своих воспоминаниях журналист Владимир Поссе: «Один из моих сыновей <...> попавший в студенты <...> пошел с товарищем во Владимирский клуб из любопытства, потом также из любопытства поставил какую-то мелочь, выиграл — поставил больше, снова выиграл, затем проиграл, ушел, но азартная зараза делала свое дело. Пришел снова — и в конце концов сделался игроком, перестал заниматься, был уволен из института, и я не знаю, как его спасти. В том же Ленинграде я знал одного комсомольца, которого игорный вертеп довел до бандитизма. Он принял участие в налете на ювелирный магазин и был при этом тяжело ранен»⁸.

Не меньший соблазн, чем игорные клубы, для наивных любителей легкой наживы представляли и открывшиеся на рубеже 1921–1922 годов сначала в Москве, а затем в Петрограде государственные ипподромы. Питерские поклонники скачек собирались на Семеновском плацу. Три раза в неделю на нем проводились так называемые «рысистые испытания». Правда, сначала это действо можно было наблюдать исключительно в дневное время: электрическое освещение бегового круга удалось восстановить только поздней осенью. Разруха еще не покинула город, а азарт уже кипел. О большом интересе горожан к бегам свидетельствуют цифры. За полгода — с 1 октября 1924 года по 1 апреля 1925 года — выставки посетило немногим более 5000 человек, вечера с танцами — 14 000, а ипподром — почти 58 000 человек⁹.

О бегах как азартной игре, продолжавшей существовать легально и в условиях социализма, я впервые услышала от отца. Как все питерцы, он обожал Таллин, куда впервые попал в 1940 году, в возрасте 20 лет. Да-да, как «оккупант». От времени, когда папа устанавливал советскую власть в Эстонии, у нас осталась фотография хорошенькой эстонки, родители которой мечтали выдать дочь замуж за юного советского офицера, и забавная статуэтка «Девушка в купальнике», а у отца еще и тайная мечта побывать на ипподроме. Потом была спешная эвакуация наших войск из Эстонии в начале сентября 1941 года. Один из драматических эпизодов Таллинского перехода отец в 1956 году описал в рассказе «Любовь Николаевна». Двое людей держатся за одну доску — единственное спасение в бушующем холодном море. Оба они плыли в Ленинград, но транспорт попал под обстрел немецкой авиации, и люди оказались в воде, температура которой не превышала 10 градусов. Доска явно не выдержит двоих. И тогда жизнь молоденькому красноармейцу спасает женщина-санинструктор Любовь Николаевна. Она заставляет его пристегнуться к доске ремнем, а сама направляется вплавь к берегу, ведь в молодости была спортсменкой¹⁰. Наивный, неумелый, но трогательный и правдивый рассказ. Мой отец сам проплавал среди обломков судов около трех часов — застудил почки, выжил, но стал инвалидом в 21 год. Однако, несмотря на прибавившееся ранение на Невской Дубровке — в 1942 году крохотный осколок снаряда застрял в кости черепа над бровью и остался там на всю жизнь, — воевал до конца войны. В 1944 году вновь оказался в Эстонии. А в 1962 году он повез меня и маму в Таллин. Много и живо рассказывал, а потом повел на ипподром. Я, тогда 14-летняя, по-советски вполне начитанная девочка, была потрясена: вокруг царила атмосфера азарта и соблазна. Все напоминало одновременно «Анну Каренину» (сцену скачек), детектив Дика Фрэнсиса «Фаворит» и, конечно, уже прочтенный мною «Звездный билет» Аксенова. Один из героев

второго плана в этой книге, личность, тем не менее, знаковая для 1960-х годов, фарцовщик Фрам, говорит: «Помчались на ипподром? Там сегодня отличный дерби <...> бригада отправилась играть на тотализаторе. Вы никогда не играли, мальчишки? Тогда пойдите обязательно. Новичкам везет, это закон»¹¹.

Не знаю, насколько доходными были посещения ипподромов в 1960-х годах, но в условиях нэпа азартные игры многим казались реальной возможностью преодолеть материальные трудности. Не случайно в сатирическом журнале тех лет было опубликовано такое шуточное объявление: «Утерян выход из затруднительного финансового положения. Прошу возвратить, ценен как память»¹². Многообразию бытовых норм нэпа предоставляло широкие возможности иногда сомнительных выходов из затруднений даже тем горожанам, которые не могли позволить себе посещение казино, ипподрома, электролото. В городах, особенно в районах рынков, появилось немало аферистов и шулеров, которые могли предложить свои услуги истосковавшемуся по азартной игре обывателю. Почти такую же ситуацию можно было наблюдать и на советских рынках незадолго до развала СССР. Многие помнят знаменитых «наперсточников» конца 1980-х годов. В годы нэпа среди публики пользовалась популярностью «игра в палочку». Она напоминает рулетку, но вытаскивались в ней не номера, а палочки с зарубками. Распространены были и забавы под интригующим названием «головка и юбочка», мошенническая карточная игра «марафет» и «наперстки»¹³. Власть, не только ликвидировавшая запрет на всякого рода азартные развлечения, но и в определенной степени спровоцировавшая обывателя, не могла себе представить, насколько он будет падок на поиск легкой наживы. Еще в самом начале нэпа в прессе появлялись тревожные статьи о растущей популярности игорных заведений. Автор одной из таких публикаций прямо писал летом 1922 года: «Сегодня играют нэпманы, а завтра пойдет тот, у кого на руках казенные деньги, кооператор, казначей, артельщик и т. д.»¹⁴

И он был прав. Завсегдатаями советских казино стали и представители класса-гегемона — рабочие. Многие из них полагали, что таким образом они приобщаются к нормам досуга, ранее доступным лишь привилегированным слоям общества. Уже упоминавшийся выше Поссе писал: «Неправда, что в игорных домах гибнут преимущественно старые и новые буржуи, нет. Там больше гибнет советских работников и фабрично-заводских рабочих»¹⁵. Власти попытались отвлечь представителей рабочего класса, социальной опоры нового общества, от «азарта» испытанным образом — созданием неких советских игр. Известный педагог и психолог Сергей Рубинштейн весной 1925 года получил заказ от нескольких издательств на составление подвижных, а главное, настольных игр для рабочих и комсомольских клубов¹⁶. Стремясь как-то приструнить аферистов и шулеров, увлекавших и обманывавших горожан прямо на улицах, местные органы власти начиная с 1926 года издавали постановления, согласно которым «в открытых публичных местах (улицах, рынках, скверах, садах) игры в карты, кости, наперсток, орлянку и т. п.» строго запрещались¹⁷. И все же до официальной смены политического и экономического курсов государство не решалось лишиться стабильного дохода от азартных игр. Лишь в мае 1928 года, когда начался переход к системе жесткого централизованного планирования народного хозяйства и нормирования сферы повседневности, СНК СССР принял постановление, предписывавшее «принять надлежащие меры к немедленному закрытию всех заведений для игр в карты, рулетку, лото и другие азартные игры»¹⁸.

Карточные игры как форма азарта и наживы какое-то время нелегально процветали в приватном пространстве. Известный сыщик Иван Бодунов вспоминал о подпольном игорном бизнесе эпохи нэпа: «Показываться в публичных местах ответственному работнику было опасно — приметят, и начнутся неприятности, — а в уютных частных квартирах все шито-крыто, никто не узнает. Торговцу выгодно быть хорошо знакомым

с ответственным работником и даже проиграть ему в покер сотню-другую. Придешь потом в трест — знакомы, отказать неудобно. Он и контракт подпишет и авансирует. Словом, пойдет навстречу. Тут уж выигрыш не на сотни считается, а на тысячи. <...> В игорной комнате стояли два ломберных стола. За одним сидели винтёры, люди все пожилые, серьезные, молчаливые. У них на столе лежали щеточки и мелки, и игра шла на умении, на расчете, на опыте. За вторым столом играли в покер, в игру азартную, дерзкую, построенную на обмане, который входит в ее правила и культурно называется „блеф“¹⁹. Но в 1929 году НКВД издал специальный циркуляр, после которого органы милиции развернули работу по обнаружению и ликвидации тайных игорных притонов в городах²⁰.

В качестве сугубо домашнего, почти семейного развлечения игра в карты, конечно, продолжала существовать. У людей старшего поколения, особенно у интеллигенции, она ассоциировалась с бытовыми практиками прошлого, некой мини-салонной жизнью, которая протекала до революции практически во всех домах среднего слоя горожан. Художник Владимир Курдов, сын земского врача из Перми, приехав в Ленинград в середине 1920-х, какое-то время снимал комнату. Хозяева, принадлежавшие к старой петербургской интеллигенции, явно не хотели менять устоявшихся привычек. «Мои немолдые и бездетные хозяева-супруги оказались добрыми людьми, — вспоминал Курдов. — Мужа можно было видеть только по утрам, ежедневно он играл в карты в компании нейрохирурга Поленова, где, кроме того, по субботам танцевали. Его жена, полуфранцуженка, была также пристрастна к преферансу, и в нашей квартире играли каждую неделю»²¹. Менее светская семья поэта Вадима Шефнера даже на рубеже 1920–1930-х годов также собиралась за картами. Мать и тетка писателя любили «расписать пулечку», когда к ним приходили нечастые гости. Игры на деньги никогда не было, основное за карточным столом — это беседа, воспоминания о прошлом²². Карты

сопровождали и досуг родителей учительницы Софьи Цендровской, отец которой был мелким служащим, а мать — домохозяйкой. Старая петербурженка вспоминала: «У наших родителей были три хорошо знакомых семьи, которые иногда приходили к нам в гости, и мы ходили к ним в гости. Когда все встречались у кого-нибудь дома, всегда пели русские народные песни <...> И обязательно играли в карты, в „девятку“»²³. И в среде пролетариев в годы нэпа, как зафиксировали социологи, были распространены карточные игры. В 1923 году они занимали в досуге рабочих столько же времени, сколько вместе взятые танцы, охота, катание на лыжах и коньках, игра на музыкальных инструментах, в шахматы и шашки.

Возобладавшая в начале 1930-х политика наступления на частное пространство отразилась и на отношении к картам в быту горожан. Эта форма досуга стала рассматриваться как времяпрепровождение, граничащее с криминалом. Бюро ЦК ВЛКСМ в августе 1934 года приняло специальное постановление «О борьбе с хулиганской романтикой в рядах комсомола», где «картеж», стоящий в одном ряду с пьянством и хулиганством, характеризовался как пережиток прошлого в социалистическом обществе²⁴. Это решение не нашло ответной реакции на бытовом уровне. Карты перешли в ту сферу культурно-бытовых практик, где в период большого стиля успешно действовала система двойных стандартов. Ничего не изменилось и позднее: и в годы десталинизации, и в период застоя обыватель с удовольствием перекидывался в «картишки» на пляжах, в поездах, а иногда играл и по-крупному на частных квартирах.

Для обычных людей власть оставила лишь официальную азартную игру — денежно-вещевые лотереи. Они начали регулярно проводиться в СССР с середины 1920-х и стали источником получения доходов от населения. Первый розыгрыш разнообразных предметов на всесоюзном уровне был организован в 1925 году по инициативе детской комиссии при

ВЦИК СССР. С 1926 года инициаторами разнообразных лотерей выступали добровольные общества: «Долой неграмотность», «Друг детей», Автодор и чаще всего Осоавиахим. Эта организация с 1926 по 1940 год инициировала 14 вещевых лотерей. Разыгрывались в них глissеры, тракторы «Холт», легкие автомобили «Форд», а также велосипеды и фотоаппараты. Лотерейные билеты распространялись в добровольно-принудительном порядке. С этим приходилось мириться. Но в годы войны народ принимал участие в четырех лотереях с большим подъемом, ведь деньги шли на оборону. Разыгрывались вещи скромные: кровати, платяные шкафы, пальто.

С 1945 по 1956 год лотереи не проводились и возобновились лишь в связи с Фестивалем молодежи и студентов в Москве. С этого времени государственные вещевые розыгрыши стали нормой в советском быту. Участвуя в лотерее, теоретически можно было при должном стечении обстоятельств за ничтожную цену билета получить дефицитные в 1950–1980-х годах вещи: машины «Волга», «Запорожец», «Москвич», пианино, холодильники, стиральные машины. Но лотерейное счастье мало кому улыбалось. Это понимали многие советские люди, а главное, сами организаторы розыгрышей, внедрявшие в быт практики принудительного распространения билетов. Многим памятна реплика управдома в исполнении Нонны Мордюковой из фильма Гайдая «Бриллиантовая рука» (1969): «Распространите (билеты. — Н. Л.) среди жильцов нашего жэка. А если не будут брать, отключим газ». Не менее выразительным был и ее диалог с продавцом билетов: «Кто возьмет билетов пачку, тот получит...» — «Водокачку!», свидетельствовавший о шансах на успех в лотереях. Превратив вещевые розыгрыши в бытовую норму жизни в СССР, власти все же периодически делали попытки «сохранить лицо» и приостановить разрастающуюся систему государственно разрешенного азарта и выкачивания денег из населения. В начале 1960-х годов они всячески старались затормозить появление «Спортлото», чистый доход

от которого за два-три года по прогнозам должен был достигнуть 60 000 000 рублей в ценах 1961 года. ЦК КПСС в 1963 году в ответ на настойчивые просьбы Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР заявил, что «предполагаемые денежные доходы <...> не смогут оправдать морального ущерба, который был бы нанесен воспитанию молодежи и других слоев населения нашей страны»²⁵. «Спортлото» все же начало действовать в 1970 году. В 1974 году ЦК КПСС вернулся к рассмотрению вопроса о пользе и вреде спортивных лотерей. Выявлены были и недостатки и злоупотребления — хищения в размере 100 000 рублей, но «Спортлото» продолжало существовать, на что в скорости откликнулся советский кинематограф: ироничный Гайдай снял комедию «Спортлото-82».

Парадоксальной формой реализации соблазна и азарта в условиях советской действительности явились государственные выигрышные займы. Авторы «Толкового словаря языка Совдепии» почему-то относят самое слово «заем» к неологизмам советского времени²⁶, хотя получение государством денег от населения «в долг» на определенных условиях достаточно распространенная практика. «Советскость» займов в России 1917–1991 годов выражалась в их добровольно-принудительном характере. Но эта черта появилась не сразу. Государственные выигрышные займы впервые провели в новой России в 1922 году. К этому времени большевистское правительство вынуждено было отказаться от идеи уничтожения денег. Но для восстановления народного хозяйства оказались необходимы дополнительные средства. Источником их получения могли стать сбережения граждан. Вначале займы носили натуральную форму. Облигации продавались за деньги, а их владельцам государство гарантировало получение определенного количества сахара или ржи. Во времена нэпа все это совершалось на добровольной основе. Но в конце 1920-х годов ситуация переменялась. Выпуск каждого очередного выигрышного займа становился способом выкачивания средств

у населения. Покупка облигаций, или, как это обычно называли, «подписка на заем», была принудительной. Повсеместно на предприятиях люди брали на себя своеобразные обязательства приобретать ценные бумаги на сумму, составляющую их месячный или даже двухмесячный заработок. Сразу такие деньги заплатить было непросто, и поэтому администрация высчитывала их из зарплаты в течение года. Затраты на займы, таким образом, превратились с конца 1920-х годов в постоянную статью расходов советских людей. Неудивительно, что и фольклор, и художественная литература на рубеже 1920–1930-х годов отразили эту бытовую практику. Подцензурный литературный нарратив в большей степени сосредоточился на проблеме розыгрышей и выигрышей. В романе Ильфа и Петрова репортер Персицкий уверенно предлагает своим сослуживцам маленькую аферу — образование некоего клуба для приобретения автомобилей за счет реализации облигаций займа 1927 года. Эту смелую идею он мог предложить, потому что знал, что у всех коллег есть приобретенные в принудительном порядке ценные бумаги, а также понимал психологию их владельцев: «Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба»²⁷. Рассказано в знаменитом романе и о том, как организовывались розыгрыши займов в конце 1920-х годов: «Пароход „Скрябин“, заарендованный Народным комиссариатом финансов, должен был совершить рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение — тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, виртуоз-балалаечник, радиоинженер, кинооператор, корреспонденты центральных газет

и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов»²⁸. Сочинители же анекдотов времени предвоенных займов сконцентрировали свое внимание на системе принудительной покупки облигаций: «„Товарищ начальник, подпишитесь на заем“. — „Обратитесь к заместителю, я сегодня в отпуск ухожу и никаких бумаг не подписываю“» (1929)²⁹. Еще любопытнее с точки зрения реконструкции бытовых реалий рубежа 1920–1930-х являются фольклорные шутки на тему больших очередей в СССР за хлебом, которые иностранцам власти якобы презентовали как очереди желающих подписаться на заем³⁰. Острили и о перспективах возврата денег по облигациям: «„В чем разница между охотничьим ружьем и займом?“ — „Охотничье ружье с отдачей, а заем — без“» (1929)³¹.

В 1927–1929 годах государство трижды занимало у трудящихся деньги на «Индустриализации», в 1930 году — на программу под лозунгом «Пятилетка — в четыре года», в 1931–1935 годах и вообще осуществило пять займов. Для успеха всех этих мероприятий в 1930-х годах на предприятиях и в учреждениях создавались «комсоды» — комитеты содействия госкредиту и сберегательному делу. Через них оказывалось давление на несознательных граждан, которые не хотели приобретать советские ценные бумаги. Члены комсодов контролировали даже процесс реализации облигаций, продажа которых составляла 10% всех доходов бюджета СССР в первой половине 1930-х годов. В 1936 году государство провело принудительную конверсию всех ранее выпущенных займов. Облигации обменивались на новые, срок погашения по которым составлял 20 лет. Полученные в результате случайного выигрыша деньги власть настоятельно советовала хранить в советских сберегательных кассах, на сберкнижках. Здесь отмечались размеры взносов и выплат, а также записывались процентные начисления. В 1923–1924 годах нередко использовались сберкнижки дореволюционного образца с двуглавым орлом на обложке,



Сберкнижка.
Личный архив Н. Б. Лебиной

перечеркнутым красными чернилами. Но уже в середине 1920-х годов появились книжки с советской символикой.

Улицы советских городов в конце 1920-х годов пестрели рекламными плакатами, агитирующими хранить деньги только в сберегательных кассах. Особенно популярен был плакат с изображением целеустремленно бегущего человека и подписью «Кто куда, а я в сберкассу». Существовал даже «Сберегательный марш» со следующим припевом:

Для трудового класса
Поддержкою в труде
Является сберкасса,
Запасный фонд в нужде.

Выпуск займов продолжался и в годы Великой Отечественной войны. В это время многие люди покупали облигации, уже не думая о выгоде: здесь в силу вступал патриотизм. В чудом сохранившихся письмах 1942 года бабушки моего мужа — Ольги Захаровны Годисовой — к своему сыну, тогда курсанту артиллерийской спецшколы в Ленинске-Кузнецком, есть такие строки: «Сейчас по всей стране прокатилась волна патриотизма,

вызванная выпуском военного займа. Я подписалась на 800 р. двухмесяч[ную пенсию] с обязательством выплаты в 4 месяца. <...> А ты, Никленчик? (об имени Никлен и трагедии Ольги Захаровны см. «Смерть». — Н. Л.). Думаю, что ты должен был бы подписаться на 100–150 рублей и внести их наличными. Пусть наши скромные средства ускорят военную машину и дадут больше „подарков“ гитлеровцам»³².

Политику пополнения бюджета за счет займов советское правительство продолжало и после войны. Петербургский астрофизик Татьяна Дервиз вспоминала об этом времени: «Таким способом наше государство, выдав сначала всем зарплату, потом часть отбирало обратно, называя это займом, то есть средствами, которые граждане добровольно дают взаймы государству. Взамен выдавали облигации, похожие на деньги, но довольно большие, иногда с тетрадный лист, разного достоинства. Сами займы назывались громко: „Восстановление и развитие народного хозяйства“, „Государственный заем четвертой пятилетки“ и прочее в том же роде. Считалось, что государство отдаст людям долги постепенно, разыгрывая номера и серии в специальных лотереях. Списки выигравших номеров печатали в газетах. Надо ли говорить, что лишь ничтожная доля средств возвращалась обратно. Относительная справедливость состояла в том, что чем больше у человека была зарплата, тем больше он вынужден был отдавать на заем. Сравнительно недавно я нашла дома среди книг пачку с этими бумажками. Храню как исторический документ»³³. Действительно, население от займов доходы получало мизерные, тем более что продажа облигаций строго контролировалась. Одновременно власть поддерживала у обывателей инстинкт азарта периодическими розыгрышами облигаций. Деньги, особенно крупные суммы, нечасто доставались владельцам советских ценных бумаг, но официальная пропаганда старалась по возможности обращать внимание именно на факты выигрыша. Так, в романе Веры Пановой «Времена года» (1954) есть сюжет, связанный с выигрышной облигацией:

Среди вещей, которые Саша хранил в коробке с жар-птицей, была пачка облигаций государственных займов... Уходя на войну, отец сказал матери:

— Это мое наследство. Тебе и Сашке пополам. <...>

Выигрыши доставляли им большое удовольствие, хоть были невелики, сто, двести рублей.

Однажды, когда Саша пришел с работы и сел ужинать, мать сказала ему:

— Там на комодe газета с таблицей, я принесла, а проверить не успела, — проверишь, Сашок. <...>

Это был двухпроцентный заем, голубые, чистые, хрусткие бумажки, тесные столбики цифр в таблице... Завтра во всех сберегательных кассах будет толпиться народ, получая выигрыши...

Не может быть! Как это — такая вдруг удача... Не на ту строчку, наверно, глянул... Сличил тщательно, — нет, все верно, одинаковые цифры на облигации и в таблице <...>

Густо покраснев, держал он в руках голубую бумажку, которая, оказывается, так дорого стоит <...> Десять тысяч — сумма громадная, астрономическая <...> А забавно, когда случаются такие вещи.

Крутилось колесо, выскакивали цифры — вслепую, никто не знал, какая цифра выскочит. И одна за другой стали в ряд — 024183 и 48. Когда выигрыш маленький, не думаешь о том, что это, в сущности, чудо³⁴.

В реальности это было действительно чудо. Та же Панова, скорее всего, ненамеренно отразила и последствия официально поощряемого советской властью азарта — выигрыша по бумагам государственных займов. Речь идет о практиках скупки облигаций, на которые выпал денежный приз, с целью сокрытия криминальных доходов. Оценить размах подобных операций трудно, но их существование не вызывает сомнений.

Разочарование обладателей советских ценных бумаг в послевоенное время зафиксировано в фольклоре начального

периода оттепели. В апреле 1957 года ЦК КПСС и Совет министров СССР издали постановление «О государственных займах, размещаемых по подписке среди трудящихся Советского Союза». Суть мероприятий, которые предполагалось проводить согласно этому документу, состояла «в прекращении, начиная с 1958 года, выпуска новых займов, в предоставлении государству на 20–25 лет отсрочки выплат по старым займам, а также в выпуске в текущем году займа, но на значительно меньшую сумму, чем в 1956 году». Конечно, решение было обставлено демагогическими рассуждениями о «полном понимании» и «единодушной поддержке» трудящимися начинаний власти, «о высокой политической сознательности советских людей, о нерушимом единстве Коммунистической партии, Правительства и народа нашей страны»³⁵. Действительно, предложения о «замораживании» займов предварительно обсуждались на собраниях трудовых коллективов, в частности на заводе «Красное Сормово». Молчаливое «одобрение» властных инициатив сормовскими рабочими сделало их героями анекдотов: «Гражданин пришел в сберкассу и сдает ворох облигаций. „Зачем вы это? Ведь скоро очередной тираж?“ — „Я больше не доверяю“. — „Кому? Госбанку?“ — „Нет, сормовским рабочим“» (1957)³⁶. В фольклоре конца 1950-х зафиксированы не только горькая ирония советского обывателя, но и бытовые реалии времени. Шутники предлагали самому сделать холодильник — дефицитный предмет обихода (подробнее см. «Электроприборы»): «Взять любой ящик и оклеить его изнутри облигациями старых займов. Они ж заморожены»³⁷. Люди не простили Хрущеву очередного обмана. Их не впечатлило даже то, что, согласно постановлению 1957 года, обязательная подписка на заем производилась лишь на сумму, равную двухнедельному заработку, а пенсионеров и студентов вообще освободили от этих затрат. Позднее принудительная покупка облигаций прекратилась вовсе. Последний раз проявление обывательского азарта

в официальной форме было санкционировано государственным займом в 1982 году.

Наши семейные воспоминания по поводу соблазнов азарта в условиях советского быта немногочисленны. В 1930–1950-х годах мои бабушка и дедушка, папа и мама как сознательные граждане, конечно же, подписывались на государственные займы, но выиграть ничего не удавалось. То же самое происходило и с денежно-вещевыми лотереями 1960–1980-х годов, которые папа называл в семейном кругу «официальным обманом трудящихся». Ну а в карты отец играл обычно в Kislovodске, в санатории Академии наук, для поддержания общения. В целом, признав азартные игры асоциальным явлением, власть поспособствовала перемещению проявлений чувства риска и авантюризма в пространство криминала.

МАКУЛАТУРА

*Художественная литература:
характеристики культурно-бытового маркера*

Слово «макулатурный» в русском языке появилось до прихода к власти большевиков. Даже в словаре Даля встречается существительное «макулатура». С определенной долей уверенности можно предположить и наличие во второй половине XIX века в лексике горожан однокоренного прилагательного. Пока трудно сказать, когда оно обрело переносный смысл и такие устойчивые коннотации, как «книга», «чтиво», «произведения». Но уже в 1920-х в словарях «макулатурой» называют «испорченные при печатании листы бумаги; испорченные, негодные для обращения денежные знаки; документ, не имеющий доказательной силы», а главное, «никуда не годное письменное произведение»¹. В словаре Дмитрия Ушакова (вторая половина 1930-х) подчеркнут переносный смысл слова «макулатурный» — «являющийся макулатурой <...> бездарный. Макулатурный роман»². Подобная интерпретация встречается позднее в справочниках разного рода. Таким образом, в советском языковом пространстве присутствовал факт маркирования некоего сорта художественной литературы как макулатуры — ничемного с эстетической и познавательной, а иногда и с политической точек зрения чтива. Определение степени «макулатурности» книги обычно возлагалось на органы цензуры. Но нередко государственная система называет те или иные произведения «низкопробными», уже когда они

вращаются в бытовом поле. Именно эта практика получила особое распространение в советских условиях.

Накануне событий 1917 года чтение в среде интеллигенции, городских обывателей и даже пролетариата было привычным видом досуга³, который большевики, конечно, не собирались запрещать. Однако новая государственность рассматривала книги прежде всего как инструмент социального воспитания. Новый человек должен был читать «новую литературу». Но в начале 1920-х годов, по данным Главполитпросвета, в библиотеках мужчины брали в основном старые авантюрные романы, а женщины — книги популярной дореволюционной беллетристики Лидии Чарской⁴. Эту «ненормальную» с позиций власти ситуацию усугубляли огромные книжные «развалы», частные книжные магазины и издательства, появившиеся уже в первые годы нэпа. Чуковский записал в своем дневнике в марте 1922 года: «Книжных магазинов открывается все больше и больше»⁵. Правда, писатель не преминул посетовать на отсутствие покупателей, которые приобретали бы, в частности, его «Слоненка» (перевод сказки Редьярда Киплинга) и исследование «Некрасов как художник»⁶. И это вполне объяснимо, так как настоящей популярностью пользовалась «бульварная литература». Но приобретать даже развлекательные книги могли немногие. Работницы петроградской фабрики «Красное знамя» на комсомольском собрании в феврале 1923 года прямо говорили, что многие из них хотели бы читать, но «получаемый первый разряд не может удовлетворить их самые необходимые потребности, а не то что покупку литературы»⁷.

В этой ситуации круг чтения среднего обывателя и прежде всего молодых людей, не обладавших достаточным уровнем культуры, легче всего формировался в заводских, клубных, школьных библиотеках, которые находились под строгим государственным контролем. Посетителям предлагали здесь в основном книги политического характера: речь Ленина на III съезде комсомола, «Очерки по истории юношеского

движения» Георгия Чичерина, «Штурм отжившего мира» — сокращенный вариант книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», «Азбуку коммунизма» Николая Бухарина и Евгения Преображенского⁸. Выбор был невелик, однако некоторым читателям он казался вполне достаточным. Слушатель одной из политшкол Петрограда в 1921 году вполне серьезно полагал, что он знаком со многими книгами по истории и теории юношеского движения, так как «интирисуетса политикой, а не билитристикой» (так в источнике. — *Н. Л.*)⁹. В начале 1920-х годов библиотеки хорошо снабжались антирелигиозной литературой, привлекавшей легкостью изложения и грубоватым юмором. Газета питерских комсомольцев «Смена» писала в 1923 году: «Книжки против попов ребята берут нарасхват»¹⁰. Правда, относительно серьезная атеистическая литература, как, например, «Библия для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского, оставалась невостребованной. К ее прочтению, как показал опрос 1924 года, оказался подготовленным лишь один молодой человек, выходец из семьи священнослужителя¹¹. Ему была понятна терминология книги, ее полемический строй.

Одновременно с навязыванием политической литературы власть стремилась отвлечь население от так называемых безыдейных и вредных книг, написанных в детективно-авантюрном жанре. Возрастание их «разлагающего мелкобуржуазного влияния» на подрастающее поколение уже весной 1922 года отметил XI съезд РКП(б)¹². По сути дела, большевики отнесли весь пласт романтически-приключенческого чтения к разряду макулатуры. Одновременно съезд партии большевиков поставил задачу создать литературу, «которая могла бы быть противопоставлена влиянию <...> со стороны нарождающейся бульварной литературы и содействовать коммунистическому воспитанию юношеских масс»¹³. Бухарин вообще предложил создать книги о «красных пинкертонах». Идея была поддержана комсомолом. V съезд РКСМ в 1922 году принял решение о подготовке изданий, где будет отражен «весь

романтическо-революционный путь — подполье, Гражданская война, ВЧК, подвиги и революционные приключения рабочих, Красной армии, изобретения, научные экспедиции»¹⁴. Через несколько месяцев о новом жанре советской литературы говорили уже в местных партийных организациях. В 1923 году петроградские большевики решили «выпустить в свет хотя бы несколько коммунистических пинкертонов, взяв героические моменты из работы хотя бы нашей ЧК или из жизни тех или иных отрядов Красной Армии и в легкой форме преподнести молодежи»¹⁵. Поддержала «старших товарищей» и молодежь. Собрание комсомольского коллектива завода «Красный выборжец» в августе 1923 года постановило: «При НЭПе поднимает голову новая и старая буржуазия. Стараясь использовать все возможности, она захватывает в свои руки издания книг и через книги развращает умы молодежи и взрослых. В противовес необходимо создать революционных пинкертонов»¹⁶.

Одним из первых попытку осуществить эту идею принял бакинский большевик Павел Бляхин. Он написал в 1923 году повесть со знаковым названием «Красные дьяволята». Как утверждал журнал «Красные всходы», орган Закавказского крайкома РКСМ, книга являлась «вкладом, безусловно, ценным, в ту область литературы, о которой наш союз так много говорит, в область так называемой красной романтики»¹⁷. Другие попытки оказались менее удачными. Ленинградский писатель и лингвист Лев Успенский с большой иронией вспоминал свою детективную повесть «Запах лимона», написанную совместно со Львом Рубиновичем с намерением «разбогатеть». Неудачными оказались и наспех подготовленные повести Павла Тупикова «Комсомольцы в джунглях Африки», Марка Протусевича и Игоря Саблина «Дело Эрье и К^о» и т. п. Даже не слишком искушенные в литературе молодые люди после публикации в журнале «Смена» книги Протусевича и Саблина писали с возмущением: «Романы печатаются такие, от которых у рабочей молодежи только туман в голове»¹⁸.

В целом идея «красных пинкертонов» провалилась, а классическая приключенческая литература перешла в разряд «макулатуры»: в 1923–1924 годах по распоряжению библиотечного отдела Главполитпросвета в крупных городах прошла кампания по изъятию целого ряда книг из библиотек для массового читателя. По словам Надежды Крупской, «это была простая охрана его (читателя. — Н. Л.) интересов»¹⁹. По решению Ленинградского губернского отдела народного образования в 1924 году рекомендовалась «к уничтожению сыщицкая и литература приключения: Жюль Верн. Все произведения кроме: „80 000 верст под водой“, „В стране мехов“, „Дети капитана Гранта“, „Путешествие капитана Гаттераса“, „Путешествие к центру Земли“, „15-летний капитан“, „В 80-ть дней вокруг света“. Книги грубые „кровожадные“, пробуждающие жестокость: Буссенар „Капитан Сорви-голова“, Буссенар „Похитители бриллиантов“»²⁰. Параллельно издательство «Молодая гвардия» в конце 1923 года выпустило первые книги из серии «Библиотека комсомольской молодежи» и «Комсомольские писатели». За 1923–1925 годы «Молодая гвардия» издала почти тысячу книг и брошюр тиражом около 13 000 000 экземпляров²¹. Молодежи предлагалось читать Александра Безыменского, Александра Жарова, Михаила Светлова, Ивана Рахилло и др.²² Во второй половине 1920-х годов появилось немало талантливых произведений новой волны советских литераторов: Федора Гладкова, Всеволода Иванова, Юрия Либединского, Александра Малышкина, Лидии Сейфуллиной, Александра Серафимовича и др. Но даже у молодых людей современная литература не всегда пользовалась успехом. По данным социологического опроса конца 1920-х годов, она составляла около 40% всех прочитанных книг²³. Писательница Мариэтта Шагинян, изучавшая быт ленинградских фабрик в начале 1925 года, записала в дневнике просьбу работницы к библиотекарю: «Дай ты мне такую книгу, чтоб я поплакать могла». Предложенную же повесть Сейфуллиной «Виринея» о судьбе женщины-крестьянки

в первые годы революции работницы называли «бесстыдной книгой», прибавляя: «Этой грязи мы и в жизни довольно видим, ты нам дай что-нибудь почище»²⁴.

В конце 1920-х годов молодежь проявляла все меньше интереса к общественно-политической литературе. В Москве, например, по данным опроса 1929 года, почти 60% посетителей библиотек за год не прочли ни одной политической книги, а в Ленинграде этот показатель составлял почти 80% всех читателей²⁵. И в целом молодые люди в 1920-х годах не стали самыми активными «пользователями» книжных собраний. Даже в таком крупном культурном центре, как Ленинград, в 1926 году они составляли всего 12% от числа всех посетителей книгохранилищ. Не слишком часто приобретали книги в личную собственность, особенно пролетарская молодежь. При этом с ростом заработной платы затраты на книги уменьшались, а на табак и алкоголь — увеличивались²⁶. По данным опроса 1928 года, всего 9% молодых людей предпочитали чтение иным видам досуга²⁷. Для приобщения широких масс к «правильной» книге начиная со второй половины 1920-х организовывались шумные «суды» над литературными произведениями и вечера «рабочей критики». Однако эффект оказался обратный: у многих возникало пренебрежительное отношение к писательскому труду, а главное, к книге и чтению как структурному элементу досуга. В 1930-х ситуация усугубилась. Партия большевиков уже не ставила перед комсомолом цель приобщить молодежь к книге. Выступая на IX съезде ВЛКСМ в 1931 году, Лазарь Каганович подчеркнул, что комсомол «вырос» из задач прививания интереса к чтению. Он настоятельно советовал: «Призыв к пинкертоновской литературе должен быть заменен призывом к изучению контрольных цифр пятилетки»²⁸. Это происходило на фоне новых большевистских экспериментов с календарем. (Подробнее см. «Елка»). Менялись объем и структура свободного времени, из него явно вытеснялось чтение как индивидуализированная форма отдыха.

Пространство частной жизни в условиях пятидневной рабочей недели сужалось и активно политизировалось. В начале 1930-х власть вновь предприняла атаку на русскую и зарубежную классику, активизировались чистки массовых книгохранилищ. В 1932 году Научно-исследовательский институт детской литературы Народного комиссариата просвещения РСФСР издал специальную инструкцию по отбору книг в библиотеки. Изъятию подлежала вся литература, вышедшая в свет до 1926 года и по каким-либо причинам не переизданная в 1927–1932 годах²⁹ Уничтожению подверглись не только книги оппозиционеров и эмигрантов, но и произведения классической русской и иностранной литературы. Однако из домашнего быта изъять подобную «макулатуру» было сложно.

Во многих семьях интеллигенции и служащих все же уцелели собственные библиотеки. Вадим Шефнер вспоминал: «Личные книги мать берегла не столь рачительно; они постоянно кочевали по родственникам и порой исчезали безвозвратно; зато и у нас все время сменялись, а порой навеки оседали чьи-то чужие, не библиотечные книги»³⁰. Примерно об этом писал и Пантелеймон Романов в романе «Товарищ Кисляков»: «Так как, по-видимому, не было средств покупать (книги. — Н. Л.), то брали у соседей, которые получали в свою очередь от знакомых. Эти книги, преимущественно иностранных авторов (своим не доверяли), скоро превращались в рыхлые замусоленные лепешки»³¹. И конечно же, в такой ситуации круг чтения не мог попасть под властный контроль. Моя мама начала приобщаться к литературе на рубеже 1920–1930-х годов. Сама в 11 лет прочла гоголевского «Вия». Книжка была советского издания, и купила ее бабушка, имевшая представление о русской классике благодаря урокам литературы в гимназии. Знакомство с «Виём» маме запомнилось надолго. Был мрачный ноябрьский вечер, родители ушли в гости. Чтобы не скучать, решила почитать... Сидела, поджав ноги на кровати, со страхом время от времени вглядываясь в темные углы комнаты, но оторваться от книги

не могла. А потом были дивные сказки братьев Grimm, Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена, принадлежавшие маминной школьной подруге Наташе Вейнберг. Память о семье этой девочки мама пронесла через всю жизнь. В глубокой старости рассказывала мне об удивительном дедушке Наташи Григории Яковлевиче, ученом-металлурге, о доброй, трогательной бабушке Марии Марковне, которая вела всё хозяйство в доме, о веселом папе Владимире Григорьевиче, тоже крупном инженере, который потом куда-то исчез в декабре 1933 года, о красавице маме — Нине Викторовне, иногда надолго уезжавшей из Ленинграда от своих троих детей. Позднее выяснилось, что Владимир Григорьевич по доносу был арестован, сначала послан в лагерь, куда и ездила жена, а потом, в 1938 году, там же под Читой расстрелян... Довольно типичная история питерских интеллигентов в 1930-х годах. Удивительно другое — атмосфера любви и праздника, которую, несмотря ни на что, поддерживали взрослые в доме Вейнбергов.

В публичном пространстве досуга в 1930-е годы власть предприняла попытку заменить «коммунистических пинкетонов» (не справившихся с задачей формирования нового человека) литературой о героической жизни советской молодежи. При этом многие действительно талантливые произведения на эту тему, написанные в 1920-х, подверглись жестоким нападкам. Идеейно вредными были названы книги Малышкина, Льва Гумилевского, Романова, а чуть позднее — Леонида Леонова, Вересаева. Их «порочность» состояла в попытке показать жизнь в советском обществе во всем ее многообразии. Это считалось ненужным для литературы, призванной воспитывать в коммунистическом духе. Ценности, на которых базировались произведения русской и зарубежной классики, предполагалось заменить идеями классово-борьбы и социальной непримиримости. Представитель издательства «Молодая гвардия» писал в «Комсомольской правде» в декабре 1934 года, что их приоритет — выпуск «комсомольской публицистики»

под общим заголовком «В помощь комсомольскому организатору». Из старой же художественной литературы считалось необходимым переиздавать «прежде всего книги, отражающие детство разных классовых групп». Так квалифицировались «Детство» Льва Толстого, «Детство» Горького, «Детство Темы» Гарина-Михайловского³².

Читательские интересы, в первую очередь молодежи, все больше и больше политизировались. Опрос, проведенный представителями ЦК ВЛКСМ в 1934 году в Ленинграде, показал, что наибольшей популярностью пользовались «Чапаев» Дмитрия Фурманова, «Мать» Горького, «Железный поток» Серафимовича³³. Такую же картину дал и опрос, проведенный через год в Москве, Горьком, Челябинске. Первое место в числе книг, прочитанных в 1935 году, занимала горьковская «Мать». Ей немного уступали по популярности «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Железный поток» Серафимовича, «Как закалялась сталь» Николая Островского. Из числа произведений русской классики были лишь «Евгений Онегин» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Анна Каренина» Толстого, «Отцы и дети» Тургенева. Зарубежную литературу представлял Ромен Роллан³⁴.

Читательские вкусы молодежи формировались, конечно, «сверху». Периодическая печать и библиотечные работники настойчиво рекомендовали читать произведения с выраженной социальной ценностью. В систему пролетарской культуры художественная литература входила не как инструмент интеллектуального и нравственного развития личности, а как проводник идей классовой борьбы. В октябре 1935 года «Комсомольская правда» призывала обязательно прочесть пьесу Горького «Враги» и роман Этель Лилиан Войнич «Овод», аттестуя их как «книги любви и ненависти»³⁵. Примерно в этом же духе пропагандировались и сочинения Роллана. Внимание к его произведениям, в частности к роману «Жан-Кристоф», было продиктовано вовсе не желанием познакомиться с процессом духовного становления музыканта,

а симпатией к политической позиции автора. Роллан с восторгом воспринимал все происходившее в СССР в 1930-е годы. За это его книги автоматически включались в список обязательного чтения советской молодежи. Однако отзывы большинства читателей свидетельствовали о полном непонимании не только сути, но и фабулы «Жана-Кристофа», «Очарованной души», «Кола Брюньона». Фрезеровщик Кировского завода писал в газету «Смена»: «Прочел роман „Очарованная душа“. Здорово показано прозрение буржуазки Аннеты»³⁶. Глубокие психологические проблемы, связанные с переживаниями человека и не зависящие от его социального происхождения, обычно оставались вне внимания. Неудивительно, что в кругу чтения молодых людей в середине 1930-х практически отсутствовали произведения Чехова. Самым популярным произведением сделался роман Островского «Как закалялась сталь», герой которого на долгие годы был назначен эталоном советского молодого человека³⁷. Однако не хочу кривить душой и считаю необходимым рассказать о впечатлении моей мамы от произведения Островского. Книжку она получила в подарок на день 17-летия — в ноябре 1937 года. Юную девушку поразили подарки ее одноклассников. Один из них, влюбленный в маму Юра Иванов — ортодоксальный комсомолец, каких было не так уж мало в конце 1930-х годов, — поступил в летное училище накануне войны и погиб в первом же боевом вылете. Судьба оказалась более милостива к другому маминому соученику Володе Прокофьеву, который «пошел в летчики» вслед за Юрой, просто за компанию. Володя выжил и стал Героем Советского Союза. О Владимире Павловиче Прокофьеве можно сегодня прочесть в «Википедии». Получив книгу, мама сначала решила, что это какая-то научно-популярная литература о металлургии. А потом прочла запоем, плакала и жалела Павку Корчагина. Книжка «жила» у нас в доме долго: в блокаду ее не сожгли, но потом, к сожалению, она потерялась при многочисленных сменах жилья в постперестроечное время.

Даже самые талантливые книги, появившиеся в 1930-х годах, были резко политизированы, часто в ущерб эстетике. Кроме того, молодому поколению явно не хватало легкого чтива, в первую очередь приключенческой литературы. Лишенная доступных книг этого жанра, признанного вредным, «макулатурным», молодежь не усваивала привычки элементарного развлекательного чтения — начальной ступени интеллектуального становления. Правда, незадолго до Великой Отечественной войны появились полудетективные произведения, написанные на советском материале. Это проза Льва Овалова, главным героем которой был некий майор Пронин. Книги отражали массовый психоз шпиономании, охватившей страну в конце 1930-х годов. По мнению некоторых исследователей, фиксируя «движение законодательства от уголовных преступлений к политическим», произведения Овалова появились «в абсолютно точно рассчитанный момент», когда необходимо было констатировать, что «общество и государство в целом здорово и процветает, а инциденты, ставшие причиной громких судебных процессов, по сути, маргинальны и не затронули основ советского миропорядка и благополучия граждан страны»³⁸. И все же общая легковесность детективного жанра явно не соответствовала канонам большого стиля в литературе. Овалова в 1941 году арестовали. В лагерях он находился до 1956 года.

В конце 1930-х и особенно в конце 1940-х — начале 1950-х годов властные структуры увеличивали темпы выпуска в первую очередь книг политического характера, русской и зарубежной классики и художественной литературы социалистического реализма. В стране целенаправленно формировалась интеллектуально-бытовая составляющая витрины эпохи большого стиля. Одновременно часть книг отечественных авторов, согласно властному дискурсу, следовало отнести к разряду «макулатуры» — пошлого, безыдейного чтива. Это касалось, согласно постановлению ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 года, поэзии Анны Ахматовой и прозы



Н. Э. Радлов. Обложка книги
М. Зощенко «Рассказы».
М.: Издательство детской
литературы ЦК ВЛКСМ, 1938.
Личный архив Н. Б. Лебиной

Михаила Зощенко. В моем дошкольном детстве даже в нашей много чего повидавшей семье об этих писателях говорили, но вполголоса. Правда, бабушка по маминой линии, женщина пылкая, нет-нет да и называла каких-то несимпатичных ей женщин «аристократками по Зощенко». Смысла этого определения я по малолетству, конечно, не понимала и называла этих же теток «аристократками пожестче», что вызывало у взрослых смех. Мелькали в бытовой речи моих родственников и упоминания о практиках «банной жизни», особенно советы привязать номер к ноге. Правда, в баню мы ходили не часто — в квартире была в то время дровяная колонка и прямоугольная медная ванна. Остроумие Зощенко я осознала лет в 12, когда откопала на стеллажах его книгу «Рассказы», изданную в 1938 году, до разгромных постановлений 1946 года. Текст проиллюстрирован Николаем Радловым. Храню ее как настоящий раритет, хотя внешний вид у нее явно макулатурный.



Н. Э. Радлов. Форзац книги М. Зощенко «Рассказы». М.: Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ, 1938. Личный архив Н. Б. Лебиной

Хрущевская оттепель реабилитировала многие литературные произведения. У книг как у культурно-бытового маркера появились новые характеристики, которые я уже воспринимала почти сознательно. Но это была не моя личная заслуга. Просто я выросла в сугубо книжной атмосфере. В общем, по Высоцкому:

Жили книжные дети,
Не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.

Мой отец больше всего на свете любил книги. Но это было не утонченное чувство интеллектуала-эстета и не фанатическая страсть коллекционера-библиофила. Отцовское отношение к книге носило скорее потребительско-прагматический характер. Он искренне следовал горьковскому призыву: «Любите книгу — источник знаний», до последних минут жизни не сомневаясь в его правильности. Отец не был человеком



«Жили книжные дети...». 1968. Личный архив Н. Б. Лебиной

«высокой культуры». Высшее образование он получил поздно, лишь в середине 1950-х. Сначала долго воевал. Потом тяжело болел. А потом шла обыкновенная жизнь — семья, работа. Недостаток систематических знаний казалось возможным возместить за счет книг. Не буду отрицать, что книгомания была следствием атмосферы места работы папы. В 1949 году он, инвалид, фронтовик, член ВКП(б) с 1940 года (вступил во время советско-финского конфликта), стал инспектором-консультантом по кадрам ленинградских учреждений Академии наук СССР³⁹. Окружение обязывало. Отец считал необходимым покупать книги, нередко в ущерб семейному бюджету. Как я сейчас понимаю, жили мы в 1950-х годах не просто

скромно, а бедно. Как-то знакомый отца, москвич из номенклатуры Президиума Академии наук, посетив нас, предложил: «Борис, проблему обстановки можно решить очень просто. Вот шкаф, — сказал он, ткнув пальцем в собрания сочинений Пушкина, Достоевского и Толстого. «Вот сервант», — добавил, указав на томики Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера. И таким образом доброжелательный в общем-то товарищ «обставил» нам всю квартиру.

Папа приобретал книги целенаправленно. Он считал, что в доме должны быть издания, которые создают некую общую культурную базу, — русская и зарубежная классика, а главное, энциклопедии и словари. Я отчетливо помню лукаво-виноватое выражение отцовских глаз после очередного визита в знаменитый в советское время магазин «Академкнига». Деньги потрачены, но книги в доме. Их можно читать лежа в кровати. Можно отметить карандашом понравившуюся мысль. И сегодня я, уже старый человек, с удовольствием рассматриваю отцовские маргиналии на полях книг. Иногда думаю, что подвигло его отметить именно эту строчку или строфу.

В общем, по моему представлению, составить приличную домашнюю библиотеку в годы оттепели было не слишком сложно при наличии должного интеллекта. Да, конечно, антиутопии Джорджа Оруэлла и Евгения Замятина я в юности не читала, но о существовании такого жанра представление имела. Это позволило мне в самом начале 1970-х годов, в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР, одной из немногих адекватно отреагировать на шутку блестящего ученого Валентина Семеновича Дякина. Он проводил у нас в учреждении ежемесячные философские семинары и частенько упоминал об «укоризне», которую воздавали в некоторых племенах молодым нарушителям нравственных правил. Мое знакомство с романом Герберта Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь» явно вызвало у Дякина одобрение и некий интерес ко мне, чем я и по сей день горжусь.

Почти невидимая паутинка связала нас потому, что мы оба читали вполне подцензурную литературу, но могли увидеть ее скрытый смысл, что важно для историка.

Книг в нашем доме «было и есть» много. Не могу не вспомнить в этой ситуации забавную историю, произошедшую с моей мамой в конце 1960-х годов. У соседки умер супруг. Она прибежала к нам и стала эмоционально рассуждать о том, как следует разделить наследство со взрослой дочерью от первого брака мужа. «Ну, дачу я перепишу на себя, — рассуждала соседка, — обстановку в квартире тоже оставлю себе. А вот книжки придется делить». «Ну что вы, — сказала моя наивная светлая мама, — библиотеку отдайте дочке. Ведь это такая память об отце». Соседка захохотала: «Катенька, какая библиотека? Я говорю о сберегательных книжках!» Их, по-видимому, у соседа было немало, наверное, целая полка.

Знакомство моей семьи с литературой не ограничивалось, как принято думать о среднестатистическом советском обывателе, только изданиями сугубо официальными. И мне, и моим родителям был известен самиздат. Для характеристики этого явления в культуре и быту разумнее всего привести мнение академика Лихачева. Он писал: «Самиздат имеет в общественной жизни большое значение — особенно в пору неправильных ужесточений: цензурных, редакторских. Самиздат существовал всегда. Взять, к примеру, дореволюционный — вещи, направленные против Распутина, они не могли быть выпущены официально, ходили в списках. 20-е годы. Многие стихи того же Есенина распространялись неофициальными путями... Но в самиздате всегда было разное. И прогрессивное, острое. И вещи реакционные, антисемитские, грубо-анархические. Каждый волен выбирать что нравится. <...> Чем меньше будет давления на официальную печать, тем меньше будет самиздата»⁴⁰. Конечно, в условиях советской действительности самиздат приобрел особый социокультурный смысл. Для многих он стал не только символом, не только средством

сопротивления системе, но и особой сферой быта. Среди людей, связанных с самиздатом, были кланы издателей-распространителей и читателей-потребителей. Самиздатовская литература, в свою очередь, разделялась на малотиражные литературно-философские, религиозные, политические журналы, где чаще всего печатались начинающие поэты, будущие диссиденты, нестандартно мыслящие молодые ученые, и книги из сокровищницы мировой литературы, не публикуемые в СССР по цензурным соображениям. Последние распространялись чаще всего «в списках», иногда просто перепечатанными на машинке. Повседневность творцов самиздата, безусловно, заслуживает внимания, но для характеристики специфики досуга среднего советского человека более важны «списочные» произведения. Питерский прозаик Валерий Попов писал: «В основном в самиздате мы прочли все самое лучшее»⁴¹. Думаю, что все-таки это преувеличение. Среди официально публикуемых в СССР книг было достаточно вполне достойных литературных произведений и отечественных, и зарубежных авторов. Но перед соблазном прочитать нечто запрещенное мало кто из интеллигенции мог устоять. Помню анекдот конца 1960-х — начала 1970-х годов, который, к сожалению, не вошел в антологию, созданную Михаилом Мельниченко: «Женщина просит машинистку из издательства перепечатать на отдельных страницах формата А4 повесть Пушкина „Капитанская дочка“. „Зачем?“ — удивляется машинистка. Женщина отвечает: „Он верит только самиздату, а там ведь все на машинке. Может, хоть в списках прочтет Пушкина“». В таком виде в юности я прочла стихи из романа Бориса Пастернака — «самиздат в самопереплете», конечно же, принес отец. В 1970-х — начале 1980-х годов благодаря новой технике копирования, а главное, доставки запрещенных произведений из-за рубежа значительная часть советских людей познакомилась с «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург, «Раковым корпусом» Солженицына, «Доктором Живаго» Пастернака, «Реквиемом» Ахматовой и др. У нас в доме появились

«Двадцать писем к другу» Светланы Аллилуевой, изданные в Нью-Йорке в 1967 году. Мемуары опальной дочери Сталина привез папин школьный друг Владимир Александрович Сажин. Он долгое время работал в посольстве СССР в США, а затем в советской дипмиссии в Пакистане. Выносить книжку из дома отец мне не разрешал.

И все же, несмотря на явное присутствие самиздата в быту советских людей 1960–1980-х годов, не он сыграл определяющую роль в нравственном становлении многих советских обывателей, к которым, безусловно, относится и моя семья. Важнее стала доступность книг для юношества, так называемого легкого чтения, выходявшего в серии «Библиотека приключений» издательства «Детская литература». Конечно, именно в юности следует узнать и Джека Лондона, и Шарлотту и Эмили Бронте, и Томаса Майна Рида, и многое другое сентиментально-романтическое. Думаю, именно об этом строчка Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в детстве читал» (курсив мой. — Н. Л.).

Но уже к началу 1970-х советская система, буквально погрязшая в хроническом дефиците, не могла обеспечить людей нужным количеством достойного подцензурного чтения. Современники отмечали, что в это время «люди, занимавшиеся <...> подпиской, продажей в книжных магазинах, в ларьках, — сидели на денежных мешках»⁴². Книги становились предметом спекуляции не просто по вине государства, но даже по его инициативе. На предприятиях подписку на хорошую литературу осуществляли с «нагрузкой». Чтобы получить, предположим, собрание сочинений Чехова, надо было одновременно подписаться и на издание одного из многочисленных членов Союза советских писателей. В 1974 году, прикрываясь нехваткой бумаги в стране, власти наладили выпуск и продажу так называемых «макулатурных книг». Это выражение в условиях развитого социализма в СССР совместило в себе и прямой и переносный смысл одновременно. Человек сдавал в пункт приема вторичного сырья 20 кг бумажной макулатуры.

За это ему давали талончик на приобретение в ряде крупных магазинов книг из особого перечня. Талончики сразу стали предметом спекуляции. А в макулатуру понесли литературу политического жанра, например собрания сочинений Ленина. К этому времени он уже претерпел пять изданий, и в домах очень многих людей накопились бесчисленные тома классика марксизма-ленинизма, на произведения которого членов КПСС подписываться обязывали. Эти неприятные для власти казусы иногда проскальзывали в советских газетах, а от пунктов вторсырья требовали внимательного отношения к содержанию сдаваемой гражданами макулатуры. За 6 лет, с 1974 по 1980 год, было выпущено 24 000 000 экземпляров «макулатурных книг»⁴³. К их числу относились в первую очередь произведения приключенческого жанра, принадлежавшие перу Луи Буссенара, Александра Дюма, Мориса Дрюона, Жорж Санд, Фенимора Купера, Рафаэля Сабатини, Гилберта Честертона и др. К таким книгам всегда стремится душа юного читателя, но именно они осуждались в эпоху сталинизма и получили клеймо литературной макулатуры.

НАРКОМАНИЯ

Ретретизм в пространстве советской жизни

Понятие «наркомания» появилось, скорее всего, в языке российского горожанина в 1920-х годах, то есть после смены политического строя в 1917 году. Действительно, оно отсутствует в 27-м томе «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Однако там можно обнаружить слова «наркотин», «наркотические вещества», а главное, термин «морфинизм». Последний расшифровывается как «пристрастие к употреблению морфия», которое «возникает первоначально случайно, при ощущении боли». Важно, что кроме медицинского толкования термина издатели словаря считали необходимым подчеркнуть «особое расположение» некоторых людей к наркотическим веществам. Морфинисты — это обязательно «неврастеники, истеричные, меланхолики»¹. Констатация подобных фактов означает, что в досоветской России существовали люди, склонные к разрешению жизненных ситуаций посредством ретретизма — намеренного ухода от действительности, от социального неравенства, от ощущения собственной неустроенности². Самый простой и доступный способ «закрыться» от бытовых и политических неурядиц — это, конечно, алкоголь, позволяющий снять напряжение, обрести, возможно, на короткое время чувство уверенности. Однако спиртное в России всегда имело множественные бытовые и ритуальные функции, а государство проявляло вполне объяснимую заинтересованность в регулировании производства и продажи водки, вина, пива и т. д. Более жестким вариантом ретретизма девиантологи считают

наркотики. В отличие от алкоголиков наркоманы демонстрируют и некий протест против принятых бытовых стандартов, в число которых может входить потребление спиртного. Кроме того, внедрение наркотических средств в пространство повседневности связано с развитием медицины и фармацевтики.

Несмотря на отсутствие в русском языке слова «наркомания», население крупных российских городов познакомилось с наркотиками уже в конце XVIII века. Одурманивающий эффект носило внешне безобидное довольно распространенное в России нюханье табака. В XIX веке появились морфинисты, эфироманы, курильщики гашиша. Влияние медицины на быт росло, и с неизбежностью появлялись люди, зависимые от лекарственных средств. Уже в конце XIX века были констатированы случаи привыкания к опию — морфину. Русская классическая литература не прошла мимо этого явления. Толстовская Анна Каренина легко втягивается в постоянное потребление настойки опия после тяжелых родов. Позднее наркотик становится для нее средством выхода из ситуации нервного напряжения. Толстой отслеживает процесс превращения морфина в жизненно необходимый для своей героини препарат: «Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто... <...> она <...> вернулась к себе и после второго приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном»³ В романе Толстого толчком к потреблению опия был недуг, требовавший использования болеутоляющего средства. Герой же рассказа Александра Куприна «Мелюзга» (1907), фельдшер Смирнов и учитель Астреин из заброшенной деревеньки Большая Курша, ищут в одурманивающих веществах развлечение:

Как-то фельдшер предложил Астреину попробовать вдыхание эфира. — Это очень приятно, — говорил он, — только надо преодолеть усилием воли тот момент, когда тебе захочется сбросить повязку. Хочешь, я помогу тебе?

Он уложил учителя на кровать, облепил ему рот и нос, как маской, гигроскопической ватой и стал напивать ее эфиром. Сладкий, приторный запах сразу наполнил горло и легкие учителя. Ему представилось, что он сию же минуту задохнется, если не скинет со своего лица мокрой ваты, и он уже ухватился за нее руками, но фельдшер только еще крепче зажал ему рот и нос и быстро вылил в маску остатки эфира. <...>

Была одна страшная секунда, когда Астреин почувствовал, что он умирает от удушья, но всего только одна секунда, не более. Тотчас же ему стало удивительно покойно и просторно. Что-то радостно задрожало у него внутри, какая-то светящаяся и поющая точка, и от нее, точно круги от камня, брошенного в воду, побежали во все стороны веселые трепещущие струйки. <...>

Фельдшер попросил Астреина оказать ему такую же услугу — подержать над лицом ватную маску, и учитель подчинился. Они проделали этот опыт несколько раз, но не успели сделаться эфироманами, потому что весь запас волшебной жидкости вышел, а нового им не присылали⁴.

В начале XX века наркотики стали показателями принадлежности личности к новым эстетическим субкультурам. Появляющиеся духовно-идеологические течения обставлялись новыми бытовыми практиками, часто носившими более эпатажный и раздражающий обывателя характер, чем сами течения. Эти практики противопоставлялись официальным и господствующим нормам поведения. Неудивительно, что наркотики стали элементом культуры декаданса в России. Столичная богема в начале века увлекалась курением опиума и гашиша. Георгий Иванов — поэт Серебряного века — вспоминал, как ему из вежливости пришлось выкурить с известным в предреволюционное время питерским журналистом Владимиром Бонди толстую папиросу, набитую гашишем. Бонди, почему-то разглядывший в Иванове прирожденного курильщика гашиша, клятвенно обещал поэту «красочные грезы, озера, пирамиды,

пальмы... Эффект оказался обратным — вместо грез тошнота и неприятное головокружение»⁵. Наркотики — морфий в смеси с алкоголем — сыграли роковую роль в жизни Нины Петровской, судьба которой связана с именами известных поэтов: Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Андрея Белого. Последний писал о ней: «Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастной жизнью, с отчетливым психопатизмом, она была — грустная, нежная, добрая, способная отдаваться словам, которые вокруг ее раздавались, почти до безумия; она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и абракадабру»⁶.

Накануне Первой мировой войны в России появился и уже очень модный в Европе кокаин. Первоначально этот довольно дорогой наркотик употребляли шикарные дамы полусвета, иногда высшее офицерство, обеспеченные представители богемы. Моя бабушка вспоминала, что ее несостоявшийся жених, некий офицер по фамилии Оранский, неоднократно появлявшийся в новом доме прадеда на Балтийской улице накануне событий 1917 года, носил очень любопытный перстень. Он был украшен черепом и перекрещенными костями и имел крышечку, которая открывалась нажатием небольшой потайной кнопки. Что хранил там Оранский, ушедший воевать под началом Юденича и исчезнувший из бабушкиной жизни, — загадка. Бабушка туманно намекала и на яд, и на кокаин. И одно и другое казалось таинственным и романтичным, хотя о страшной специфике именно кокаина медики были хорошо осведомлены. Не случайно Булгаков вводит в дневниковые записи врача Полякова — героя рассказа «Морфий» (1927) — следующую фразу: «Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин — сквернейший и коварнейший яд»⁷.

Серьезным фактором наркотизации и в первую очередь морфинизации российского населения стала Первая мировая война. Чаще всего приобщение к наркотику было следствием тяжелых ранений, излечение которых требовало хирургического вмешательства и обезболивания. Однако в медицинской среде опиаты употребляли не только больные, но и сами медики. Данные 1919–1922 годов свидетельствуют, что в Петрограде почти 60% морфинистов были врачами, медсестрами, санитарями. Медикалистский аспект наркотической зависимости ярко описан все в том же «Морфии» Булгакова: «Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли. Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Со всем иным у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо — без мыслей о моей, обманувшей меня»⁸.

Социальные катаклизмы 1917 года оказали влияние на проникновение наркотиков в жизнь российских горожан. Заметно ослабился медико-полицейский надзор за расходом наркотических препаратов, они стали продаваться относительно свободно. Героиня романа Алексея Толстого «Сестры» (1922) Катя после трагической гибели в общем-то не слишком любимого мужа, комиссара Временного правительства Николая Ивановича Смоковникова, пытается забыться с помощью морфия, вероятно доступного:

Проснулась Катя, когда было совсем темно, — мучительно сжалось сердце. «Что, что?» — испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и с минутку надеялась, что, быть может, все

это страшное ей только приснилось... Потом, тоже с минутку, чувствовала обиду и несправедливость, — зачем меня мучают? И, уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на босу ногу и ясно и покойно подумала: «Больше не хочу».

Не торопясь, Катя открыла дверцу висящего на стене кустарного шкафчика-аптечки и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и зажала в кулачке и пошла в столовую за рюмочкой...⁹

Приобретение наркотиков не вызвало большого затруднения и у героя булгаковского «Морфия». Сразу после февральских событий 1917 года он пополняет «страшнейшую убыль морфия» в уездной аптеке, хотя и без некоторых «неприятных» минут:

Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас сколько угодно), и говорит:

— Сорок грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею.

Он говорит:

— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам¹⁰.

После Октябрьского переворота наркомания заметно демократизировалась. Четко прослеживалось стремление к смене иерархии стандартов поведения. Петроградская милиция в 1918 году раскрыла действовавший на одном из кораблей Балтийского флота «клуб морфинистов». Его членами были вполне «революционные» матросы. Они не только организовано приобретали наркотик, но даже вербовали новых членов в свой клуб. В новых социальных условиях не был забыт и эфир. Его сильный галлюциногенный эффект привлекал к себе представителей новой большевистской элиты. Художник Юрий Анненков вспоминал, как в 1919 году в Петрограде

он вместе с Николаем Гумилевым получил приглашение от Бориса Каплуна, тогда управлявшего делами комиссариата Петросовета, понюхать конфискованного эфира. Сам Каплун только изображал себя эфироманом, но слабостям других по-такал с явным удовольствием, рассматривая наркоманию как код богемной личности. Анненков вспоминал: «Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром... Все поднесли флакончик к носу. Я — тоже, но „уход в сновидения“ меня не привлекал: мне хотелось только видеть, как это произойдет с другими. <...> Гумилев не дви-гался. Каплун закрыл свой флакончик, сказав, что хочет „за-снуть нормальным образом“, и, пристально взглянув на Гу-милева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем оставаться в нем до утра»¹¹.

Продолжали существовать в Советской России и подполь-ные опиумокурильни. Но все же особой популярностью после революции пользовался кокаин. Буквально через три месяца после прихода к власти большевиков Народный комиссариа-т внутренних дел вынужден был констатировать: «Появи-лись целые шайки спекулянтов, распространяющих кокаин, и сейчас редкая проститутка не отравляет себя им. Кокаин распространился в последнее время и среди слоев городского пролетариата»¹². «Серебряную пыль» кокаина с наслаждением вдыхали не только лица, связанные с криминальным миром, но и рабочие, мелкие совслужащие, красноармейцы, револю-ционные матросы. Кокаин был значительно доступнее водки: многие частные аптеки закрылись, и их владельцы старались сбыть с рук имевшиеся медикаменты, в том числе наркотиче-ские вещества. Это подтверждает и булгаковская проза:

Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с пере-воротом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине пятнадцать грамм однопроцент-ного раствора — вещь для меня бесполезная и нудная (девять

шприцов придется впрыскивать!). И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке двадцать граммов в кристаллах — написал рецепт для больницы (попутно, конечно, написал кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело, в конце концов?¹³

И морфий, и в особенности кокаин немецкого производства ввозились контрабандным путем из оккупированных немцами Пскова, Риги, Орши. Под влиянием революционных событий появились и новые места торговли наркотиками. В годы Гражданской войны их можно было купить в обычных чайных. Кокаин, в частности, там продавался в кулечках-фунтиках. В народе эти чайные быстро окрестили «чумовыми». В таких заведениях часто разворачивались сцены, подобные той, которую описал в своем исследовании Гедалий Аронович — известный российский врач-нарколог: «В майский вечер (1919 г.) у входа в чайную ко мне подошла девушка 17–18 лет, с усталым безжизненным лицом, в платке и просила на хлеб. Я не знал, что она собирает на „понюшку“, то есть кокаин, но скоро увидел ее среди посетителей, она почти силой вырвала из рук подошедшего к ней подростка пакетик кокаина, и когда тот потребовал от нее денег, она сняла сапоги, отдала их продавцу за 2–3 грамма кокаина и осталась в рваных чулках»¹⁴. Медики отмечали, что в 1919–1920 годах кокаиновые психозы были довольно заурядным явлением. При этом 60% наркоманов составляли люди моложе 25 лет.

Кокаин, прозванный в народе «марафетом», особое распространение получил в годы нэпа в условиях свободы торговли. Для его употребления не нужны были шприцы и умение «ставить уколы». До 1924 года Уголовный кодекс РСФСР не определял каких-либо четких санкций в отношении

распространителей и потребителей наркотиков. В 1920-х годах кокаином торговали на рынках в основном мальчишки с папиросными лотками. Правда, продавцы нередко жульничали и добавляли в наркотик аспирин, мел, соду. Это, конечно, снижало действие кокаина, но вряд ли могло спасти от пристрастия к нему. Ведь заядлые кокаинисты потребляли иногда до 30–40 граммов порошка в день, стремясь добиться желаемого эффекта.

Марафет, как демонстрируют исследования медиков, в 1920-е годы употребляли беспризорники. Обследование задержанных за бродяжничество в 1923–1924 годах подростков показало, что 80% из них приобщилось к наркотику в 9–11 лет и имело стойкое пристрастие к нему. Действительно, «нюхнуть марафету» можно было прямо на улице с бумажки, ладони, ногтя. Лишь в отдельных случаях, когда в результате длительного потребления наркотика происходила атрофия тканей носового канала, приходилось пользоваться гусиным пером. Оно вставлялось глубоко в нос и позволяло ускорить втягивание порошка.

Конечно, часто к кокаину прибегали и другие асоциальные фигуры городского социума, в первую очередь проститутки. В 1924 году социологический опрос выявил, что более 70% особ, задержанных органами милиции за торговлю телом, систематически потребляли наркотики. При этом почти половина из них предпочитала именно кокаин. В тайных борделях 1920-х годов, как правило, кроме сексуальных услуг, можно было получить и марафет. В конце 1922 — начале 1923 года в Петрограде, например, органы милиции раскрыли целую сеть квартир, хозяйки которых не только занимались проституцией, но и, как было сказано в протоколе, почти круглые сутки продавали кокаин. Один из исследователей проблем проституции писал в середине 1920-х годов в журнале «Рабочий суд»: «Торговля марафетом <...> и иными средствами самозабвения почти целиком находится в руках проституток»¹⁵. По данным 1924 года,

ДЕЛО № 1507 ^а

рожд-на Александрович Александрович
рожив в Володарском Райисполкоме 8 мая 1923 г.

причина возникновения дела: за умышленный
убийство с отягчающими обстоятельствами

протокол заседания от _____
№ _____ пункт № _____

СВЯЩЕНИЕ ДЕЛА.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ.	ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЛА.
Буде направлено:	1) _____	192 г
2) _____	№ _____	
3) _____		
4) _____		
5) _____		
6) _____		
7) _____		
8) _____		
9) _____		
10) _____		
11) _____		
12) _____		
13) _____		
14) _____		
15) _____		
16) _____		

ВЛОЖЕНИЙ.

- 1) Регистр, карточка № 14262
- 2) Указание № 881
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____
- 12) _____
- 13) _____
- 14) _____
- 15) _____
- 16) _____

Протокол административной комиссии Володарского райисполкома о задержании проститутки, распространяющей наркотики. 1923. ЦГА СПб

из 548 опрошенных проституток Москвы 410 употребляли наркотики, пристрастившись к ним после начала торговли телом¹⁶. Часто к марафету прибегали мелкие карманные воришки. Крупные воровские авторитеты довольно презрительно относились к «нюхарям», считая, что кокаин притупляет реакцию, столь необходимую в их деле. И все же беспризорники, проститутки, преступники разных мастей были городскими маргиналами. Потреблением в частности и «марафета» они маркировали свою асоциальность. Одновременно наркотики начали проникать в стабильные социальные слои, что означало развитие в среде горожан элементов ретретизма.

Довольно широко в 1920-е годы распространилась подростковая наркомания. Дети из нормальных семей в поисках романтики нередко посещали притоны беспризорников и традиционные места их скопления. Криминальный мир для части

подростков оказывался привлекательнее, чем действительность советской трудовой школы, пионерских сборов и комсомольских собраний. Известный врач-нарколог Александр Шоломович описал в своей книге, вышедшей в свет в 1926 году, следующий случай: «У одной матери сын-подросток, которого все звали „толстячком“, три дня пропадал в каком-то притоне, где его выучили нюхать кокаин. Когда мать нашла его в притоне, она едва узнала своего толстячка: перед ней был оборванный, худой, истощенный человек, весь синий, с провалившимися щеками и глазами, весь разбитый настолько, что у него не хватало сил выйти из притона»¹⁷. В годы нэпа к марафету стала приобщаться и рабочая молодежь, которая, по мнению партии большевиков, играла решающую роль в социалистическом образовании общества. Пролетаризация кокаинистов, в частности, была следствием контактов рабочих с проститутками, которые не только сами нюхали кокаин, но и торговали им.

Представители правящего класса социалистического общества составляли, по данным 1927 года, почти 70% постоянных потребителей услуг проституток, которые активно торговали марафетом. Ситуация становилась критической: сухой закон способствовал развитию наркомании. Ее всплеск в 1920-е годы объяснялся не только ретретистскими настроениями, но и тем, что традиционные формы досуга не уживались с запретом на свободную продажу спиртного.

Бороться с наркоманией советская власть начала раньше, чем с пьянством, хотя в Уголовном кодексе 1922 года не было нормативных предписаний по этому поводу. Преступлением, согласно 215-й статье, считалось «приготовление ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то права», что каралось «штрафом до 300 рублей золотом или принудительными работами»¹⁸. В ноябре 1924 года появилось постановление СНК РСФСР «О мерах регулирования торговли наркотическими веществами». Оно запрещало обращение в быту сильнодействующих веществ, в частности кокаина,

морфия, героина. Уголовный кодекс РСФСР пополнился статьей, предусматривавшей наказание за изготовление, хранение, сбыт наркотиков — например, лишение свободы сроком до трех лет. Наркоманы в 1920-х не подвергались в СССР уголовному преследованию. Это было время своеобразной советской филантропии по отношению к так называемым социальным болезням. К их числу в первую очередь относились, конечно, туберкулез и венерические заболевания. Неудивительно, что в 1928 году в СССР действовало 308 туберкулезных и 165 венерологических диспансеров¹⁹. Одновременно в стране появились и учреждения для лечения наркозависимых на сугубо добровольной основе. В 1927 году наркодиспансеры работали в Ленинграде, Воронеже, Казани, Саратове и некоторых других городах. Более того, в Москве в 1925 году открылось специальное первое клиническое отделение, пациентами которого стали дети-наркоманы²⁰. К 1928 году работники ряда диспансеров зафиксировали заметное снижение употребления кокаина в Советской России²¹. Этому отчасти способствовал и налаженный контроль над оборотом наркотиков. В 1929 году в ходе претворения в жизнь постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах по борьбе с проституцией» наркоманы были прикреплены к определенной аптеке. Они могли получить и морфий, и кокаин в необходимых для лечения дозах, но только по рецепту наркодиспансеров²². Именно в конце 1920-х годов в языковом пространстве СССР и появилось понятие «наркомания», которое в «Малой советской энциклопедии» толковалось как «непреодолимое влечение к употреблению различного рода наркотиков». «Борьба с Н<аркоманией>, — подчеркивалось в справочном издании начала 1930-х годов, — как с социальной болезнью успешно ведется специальными диспансерами»²³

Свертывание нэпа повлекло за собой ужесточение таможенных барьеров. Приток кокаина из-за границы резко сократился, уменьшилось и потребление морфия. Однако лица, склонные к ретретизму, начали употреблять произрастающие

в СССР опийный мак и индийскую коноплю. В 1930-х годах эти наркотики стали самыми распространенными в СССР. Осенью 1934 года появляется нормативный документ — постановление ЦИК и СНК СССР о запрещении посевов опийного мака и индийской конопли²⁴. Уголовный кодекс РСФСР был дополнен статьей 179а «Незаконный посев опийного мака». В ней указывалось, что выращивание этих культур без соответствующего разрешения наказывается «лишением свободы на срок до двух лет или исправительно-трудовыми работами на срок до одного года с обязательной конфискацией посевов»²⁵. Трудно сказать, остановило ли это наркоманов. Дело в том, что в 1930-х советские властные и идеологические структуры перестали следить за развитием наркомании в обществе. Не изучались причины, побуждавшие людей искать забвение в наркотических грезах. Не исследовались и социально-психологические характеристики лиц, наиболее склонных к потреблению одурманивающих средств. Не менялась и нормативная база, необходимая для эффективной борьбы с наркоманией. Людей, пораженных этим недугом, как и алкоголиков, стремились обвинить прежде всего во враждебной настроенности по отношению к социалистическому обществу. Об этом, например, свидетельствует следующий случай. В августе 1935 года Ленинградский городской отдел здравоохранения обнаружил пропажу из аптеки Ленметалл-строая «ряда ядовитых веществ»: атропина, кокаина, морфия, героина. Очевидно, что это было дело рук наркоманов, однако задержанных обвинили в покушении на диверсию: якобы они собирались отравить пищу в городской столовой²⁶. Система медико-психологической помощи наркоманам в СССР в 1930-е годы была почти уничтожена. Однако в подцензурной лексике понятия, связанные с явлением наркомании, укоренились довольно прочно. В первом издании словаря Ушакова (1935–1940) удалось обнаружить десять слов, однокоренных с «наркотиком».

В годы Великой Отечественной войны обострилась ситуация привыкания к наркотическим веществам после тяжелых ранений. Это была общемировая тенденция, но в СССР она активно замалчивалась. Отец, несколько раз лежавший в госпиталях во время войны с последствиями контузии и тяжелейшего почечного недуга, наблюдал тяжелые ломки людей с ампутированными конечностями. Особенно ему запомнился инвалид без обеих ног и его жуткий крик: «Один, всего один!» — мольбу об уколе морфия. Это так напугало отца, что он уже в мирное время терпел тяжелейшие почечные колики, отказываясь от наркотических обезболиваний до последнего предела. К пантопону — аналогу морфия — почти не прибегал, но ранний инфаркт как результат сильнейших болей себе обеспечил. Александр Галич, напротив, приобщился к наркотикам после инфарктов. Юрий Нагибин вспоминал:

Не помню, в каком году Саша начал колотиться. Знаю, что это случилось после тяжелейшего инфаркта, когда не было уверенности, что он выкарабкается. Или же после второго инфаркта, последовавшего вскоре за первым. И тогда Саша подсчитал, что ему осталось жить самое большее семь лет. А потом инфаркты зачастили воистину с пулеметной быстротой. Будь это действительно инфаркты, Саша получил бы почетное место в книге Гиннеса как мировой рекордсмен. На моей памяти их было не меньше двух десятков.

Но близкий Саше человек сказал (я уже понял это без него), что жестокие сердечные инциденты, кидавшие Сашу в постель и щедро выдаваемые за инфаркты, случались от резкого повышения дозы морфия. А он делал это всякий раз, когда привычная доза переставала действовать. К морфию же он пристрастился во время своих настоящих инфарктов, сопровождавшихся ужасными болями, которые иначе невозможно было снять²⁷.

В начале 1960-х, в период разрушения канонов повседневности большого стиля, появилась надежда на возрождение

филантропической линии по отношению к наркозависимым. Самостоятельное название — «наркологи́я» — получило направление медицины, представители которого пытались изучать последствия бесконтрольного приема наркотиков и осуществлять лечение людей, ими злоупотребляющих. Слово «нарколог» тоже новообразование 1960-х годов. Образуется и новое прилагательное «наркологический», в первую очередь употребляющееся со словами «диспансер» и «кабинет»²⁸. Так в СССР возрождались принципы отношения к проблеме наркотиков, существовавшие в годы нэпа и утраченные в эпоху большого стиля. Однако в 1970–1980-х годах власть вновь перешла к репрессивным мерам искоренения наркомании, полагая, что в обществе «развитого социализма» не существует обстоятельств, способствующих развитию ретретизма. В апреле 1974 года на правительственном уровне был принят указ «Об усилении борьбы с наркоманией». В этом документе, помимо ряда мер, направленных на пресечение распространения наркосодержащих веществ, устанавливалась строгая ответственность за их потребление «без назначения врача». «Наркоманов» наказывали не только штрафами и административным арестом. Вполне реальным было и «лишение свободы на срок до двух лет», и исправительные работы. Кроме того, наркозависимых обязывали проходить принудительное лечение в особых учреждениях. Уклонявшихся от такого явно недобровольного оздоровления отправляли в «трудовые профилактории или лечебно-воспитательные профилактории <...> на срок от шести месяцев до двух лет»²⁹. Однако эти жесткие меры не смогли остановить процесс наркотизации населения в годы брежневского застоя. В стране дорожало спиртное, в быт советских людей проникали элементы субкультур, в основе которых лежало свободное употребление легких одурманивающих веществ. В мире бурно развивались химия и фармакология, разрабатывались новые лекарственные средства, прежде всего сильные транквилизаторы.

Самое название этого рода медицинских препаратов лингвисты относят к новым словам, появившимся в советском лексиконе в 1960-х годах. Газета «Неделя» писала в 1964 году: «За последние годы все большую популярность приобретают транквилизаторы. Эти препараты <...> назначают врачи, исходя из точного понимания нарушений в нервно-психологической сфере больного»³⁰. У людей, склонных к ретретизму, появлялись возможности для почти наркотического забвения благодаря официально разрешенным нейролептикам. В 1970-х годах многие, как теперь говорят, «подсели» на элениум и седуксен — вызывающие привыкание успокаивающие средства³¹. Но не забыт был и традиционный морфий. Мари-на Влади вспоминала:

Очевидно, после очередного срыва ты (Высоцкий. — *Н. Л.*) по преступному совету одного приятеля впервые вкатываешь себе морфий: физическая боль после самой жуткой пьянки — это ничто в сравнении с психическими мучениями. Чувство провала, угрызания совести, стыд передо мной исчезают как по волшебству: морфий все стирает из памяти. Во всяком случае, в первый раз ты думал именно так. Ты даже говоришь мне по телефону с мальчишеской гордостью:

— Я больше не пью. Видишь, какой я сильный?

Я еще не знаю цены этой твоей «силе». Несколько месяцев ты будешь обманывать себя. Ты прямо переходишь к морфию, чтобы не поддаваться искушению выпить. В течение некоторого времени тебе кажется, что ты нашел магическое решение. Но дозы увеличиваются, и, сам того не чувствуя, ты попадаешь в еще более чудовищное рабство. С виду это почти незаметно: ты продолжаешь более или менее нормальную жизнь. Потом становится все тяжелее, потому что сознание уже не отключается. Потом все это превращается в кошмар — жизнь уходит шаг за шагом, ампула за ампулой, без страданий, потихоньку — и тем страшнее. А главное — я бессильна перед этим новым врагом³².

Сведения о пристрастии к морфию многих представителей советской «творческой интеллигенции» ныне зафиксированы документально в огромном количестве воспоминаний. Но официальные источники замалчивали проблемы наркотизации населения. В обыденной жизни советский человек, не склонный к потреблению наркотиков, начал ощущать присутствие наркоманов в городском социуме после ужесточения с 1983 года режима продажи наркосодержащих лекарств в аптеках. Прежде всего выросло количество потребителей эфедрона. Он входил в капли от насморка под названием «эфедрин». Лекарство это стали отпускать лишь по рецептам, а в нашу квартиру на Невском проспекте, находившуюся на первом этаже, начали наведываться «эфедринщики». Они выдавали себя за «новых соседей», ребенку которых якобы срочно требуется «эфедрин» от насморка. Звонили к нам в двери и юные токсикоманы, нюхавшие «Момент». Мальчишки просили дать этот резко пахнущий клей, якобы чтобы заклеить шину велосипеда или мяч. «Момент» мы им, конечно, не давали, и это была единственная форма проявления нашего протеста против «опиума» для народа. Подобные сугубо обывательские наблюдения входили в конфликт с полным нежеланием власти констатировать факты распространения наркотиков среди горожан. Крупнейший российский девиантолог Яков Гишинский лишь в годы перестройки сумел легализовать свои многочисленные наработки, касающиеся, в частности, и проблем наркомании в СССР³³. Также складывалась и судьба исследований грузинского социолога Анзора Габиаши. Его труды, посвященные наркотизму, впервые были изданы в 1977 году, но в качестве литературы для «служебного пользования». В 1988 году изыскания ученого стали наконец доступны и широкой общественности³⁴. Первые публикации вызвали шок. Но на самом деле цифры, свидетельствующие о потреблении наркотиков советскими обывателями, не были столь угрожающими. В 1980 году общая

численность лиц, состоящих на специальном учете с диагнозом «наркомания» и «токсикомания», составляла примерно 36 000, а в 1989-м — 73 500³⁵. Важнее было объяснить обществу необходимость профилактики наркомании. Но на это у представителей власти не хватало времени, средств, а главное, не было желания признать, что в любом обществе могут существовать люди, склонные к ретретизму, и зачастую они вовсе не злобные преступники.

ОБЩЕЖИТИЕ

Коммунитаризм в СССР: границы тела

Слово «общежитие» есть даже в словаре Даля. Истолковано оно как некая «общественная, обиходная, гражданская жизнь»¹. Определенную нравственно-поведенческую составляющую смысла этого термина можно обнаружить в строке Пушкина из «Евгения Онегина»: «Их разговор благоразумный / О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родне, / Конечно, не блистал ни чувством, / Ни поэтическим огнем, / Ни острою, ни умом, / Ни *общежития* искусством» (курсив мой. — Н. Л.). Очевидно, что горожане и до событий 1917 года могли употреблять в своей речи это слово. И тем не менее авторы «Толкового словаря языка Совдепии» включили «общежитие» в разряд советизмов семантического характера. Так в лингвистике называют выражения, изначально нейтральные, не идеологизированные, но приобретшие в советском языковом и бытовом пространствах «новые общественно-политические значения и оттенки значений»². В СССР слово «общежитие» стало обозначать не только форму взаимоотношений, но и помещение, предназначенное для совместного проживания. Несомненный интерес представляет датировка появления этого второго толкования. Думается, произошло это где-то на рубеже 1920–1930-х годов. В доказательство приведу данные из советских словарей и энциклопедий. В первой «Малой советской энциклопедии» слово «общежитие» отсутствует вообще. Но в первом издании словаря Ушакова оно есть, и уже в двух значениях: «помещение

с общими спальнями или отдельными комнатами для временного проживания лиц обычно одной общественной группы, профессии» и «общественная среда, нормы общественной жизни, общественно-бытового уклада». В течение некоторого времени эти два смысла сосуществовали в определенном единстве.

В 1920–1930-х годах большевики попытались осуществить эксперимент по формированию личности, наделенной особым чувством коллективизма, с помощью не только вербальных и визуальных, но и конкретных пространственных инструментов. В первую очередь это касалось жилья. Сконструированное особым образом, оно влияет на человеческую телесность, на процесс ее самовыражения и самоидентификации. Российский философ Валерий Подорога отмечает: «Ваша комната — продолжение вашего телесного образа и от него неотделима»³. Уже французские социалисты-утописты предлагали новые виды зданий — «фаланстеры». В них люди должны были приучаться к коллективизму, освобождаться от всего мелкого и частного, затормозившего процесс формирования «нового человека». «Фаланстеры» задумывались как специально построенные дома-города в 3–5 этажей, с общими помещениями для отдыха, образования, детских игр, но с отдельными апартаментами для каждого члена фаланги. Границы конкретного физического тела здесь защищались индивидуализированным пространством.

Несмотря на неудачный российский опыт 60-х годов XIX века⁴, большевики на первых порах попытались возродить русский «фаланстер». Накануне революционных событий 1917 года в Петрограде и ряде других городов существовали формы жилья, которые с определенной долей натяжки можно рассматривать как дома-коммуны. Это рабочие казармы. Личное имущество здесь носило примитивный характер, был лишен элементов приватности, а границы индивидуальной телесности размыты.

После 1917 года самая обездоленная часть горожан, жившая в рабочих казармах, ожидала улучшения своего положения.

Предложить пролетариям переместиться из одной казармы в другую, пусть и называющуюся «фаланстер», означало бы для большевистской власти с первых же дней утратить часть социальной опоры революции. Победивший класс решено было наделить существенным знаком господства — квартирой. Жителей рабочих казарм начали переселять в квартиры буржуазии и интеллигенции (подробнее см. «Уплотнение»). Первые мероприятия жилищной политики большевиков, таким образом, не соответствовали теории социализма. Но именно в это время, а точнее в 1919 году, в Советской России возникает понятие жилищно-санитарной нормы. Рассчитывалась она на основании минимальной кубатуры воздуха, необходимой человеку в жилом помещении. Народный комиссариат здравоохранения полагал, что эта кубатура равна примерно 25–30 куб. м. Соответственно, на одного человека должно было приходиться не менее 8 кв. м жилой площади. Но в условиях «квартирного передела» жилищная норма использовалась как основание для вселения на «излишки» — площадь, превышающую 8 кв. м на человека, — новых жильцов (см. «Уплотнение»).

И все же «квартирный передел» 1918–1920 годов не означал, что идея «фаланстеров» была забыта российскими коммунистами. Для себя большевистская верхушка уже в это время, по меткому выражению американского историка Ричарда Стайтса, создала «социализм в одном здании». Действительно, сначала в Петрограде, а затем и в Москве появились новые коллективные формы жилья, напоминающие коммуны. Здесь уже действовала витальная, охранительная функция жилищной нормы, которая могла стать государственным гарантом границ телесности в жилом пространстве.

С октября 1917 года видные питерские большевики совместно проживали в здании Смольного института, где помимо административных служб размещались библиотека-читальня, музыкальная школа, Смольный детский дом (ясли), баня, столовая. Здесь обитали примерно 600 человек, которых

обслуживало более 1000 рабочих и служащих: медики, повара, истопники и т. д. Безопасность жителей Смольного обеспечивали красноармейцы, матросы, а с марта 1918 года — латышские стрелки, численность которых достигла 500 человек. В «штабе революции» ревностно заботились о питании постояльцев советского фаланстера. Современники вспоминали, что в Смольном давали «так называемые комиссарские обеды, которые не только на фоне революционного всеобщего недостатка, но и в мирное время могли бы считаться лукулловскими»⁵. Но штаб революции был не единственным фаланстером для большевистской верхушки. Значительно лучше и комфортнее жилось постояльцам в так называемых Домах Советов. Эти учреждения появились не только в Петрограде, но и в Москве. После переезда туда правительства в своеобразное общежитие-коммуна была преобразована шикарная московская гостиница «Националь». Глава Советского государства Ленин вместе с женой и сестрой занимали двухкомнатный номер⁶. В Питере же большевистская элита сосредоточилась в знаменитой «Астории», образовав там 1-й Дом Советов.

К весне 1918 года статус «фаланстеров» для партийной знати определился. Как подчеркивалось в одном из регламентировавших их деятельность документов, Дома Советов «имеют структуру общежитий с отдельными комнатами, общей столовой и общими кухнями и предназначены исключительно для постоянного проживания советских служащих по ордерам, выдаваемым из отдела Управления Домами и Отелями»⁷. Администрация Дома Советов брала на себя заботу о питании, бытовом обслуживании и даже о досуге жильцов, социально значимых для новой власти. Желających приобщиться к благам, которые предоставлялись в импровизированной коммуналке «Астории» — 1-м Доме Советов, — было немало. Уже в июне 1918 года представители властных структур Петрограда вынуждены были поставить вопрос о выселении из бывшей гостиницы лиц, чей статус не соответствовал правилам заселения

Домов Советов. Затем чистки стали проводиться периодически. При этом каждый раз составлялся список «бесспорно оставляемых жильцов», первых лиц города. Правда, и здесь границы тела были в определенной степени ранжированными. Наиболее крупные партийные и советские работники занимали обширные апартаменты с явным превышением санитарно-жилищной нормы. Григорий Зиновьев, окончательно поселившийся в «Астории» в сентябре 1920 года, имел сразу пять комнат на втором этаже. Здесь же в двух номерах разместилась его бывшая жена Злата Лилина с десятилетним сыном. Выше этажом в трех номерах жили дочери Троцкого Зинаида и Нина Бронштейн. Тем, кто занимал более низкие ступени советской номенклатурной лестницы, полагались и более скромные жилищные условия. Так, помощник Зиновьева по Петросовету имел три комнаты, а секретарь Петросовета Николай Комаров — одну⁸. Очевидцы вспоминали, что «пайки, выдаваемые жильцам 1-го Дома Советов <...> были намного лучше пайков, получаемых рабочими на заводах. Конечно, их было недостаточно, чтобы поддержать жизнь, но никто в „Астории“ не жил лишь на эти пайки»⁹. В «Астории», как ранее в Смольном, в самый разгар голода в Питере готовили роскошные «комиссарские обеды». Неудивительно, что Зиновьев, по воспоминаниям современников, «приехавший из эмиграции худым как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван Ромовой бабкой»¹⁰.

Первые советские коммуны, организованные по инициативе власти, имели четкую иерархическую структуру. На ее верхней ступени находились Дома Советов. Советским и партийным активистам, не обладавшим длительным партстажем и не занимавшим большие должности, а также некоторым представителям интеллигенции удавалось расположиться в более скромных коллективных жилищах. Их называли «отели Советов». Это были общежития комнатной системы с общими кухнями. Здесь личные границы соблюдались не с такой

тщательностью, как в Домах Советов. В Петрограде отели Советов размещались в многочисленных бывших второсортных гостиницах, так называемых «номерах».

Некое подобие коллективного жилья являли собой в 1918–1922 годах петроградский Дом литераторов на Бассейной улице, а также знаменитый ДИСК — Дом искусств. Он расположился в особняке банкира Степана Елисеева на углу Невского проспекта и набережной Мойки. ДИСК занял огромную квартиру, размещавшуюся на двух верхних этажах здания. «Сюда-то, — писал еще один современник и жилец ДИСКа поэт Всеволод Рождественский, — и перебрались все бездомные литераторы. Они без сожаления покинули свои нетопленые жилища. Петрокоммуна снабдила елисеевский дом всем необходимым для жизни»¹¹. В ДИСКе можно было отогреться, получить хотя и скудный, но горячий обед, пообщаться с людьми как приятными, так и полезными, принадлежащими к «сильным мира сего».

Немногочисленные и сугубо элитарные советские «фаланстеры» не имели никакого отношения к идее формирования новой коммунальной телесности. Они помогали советской бюрократии и приближенной к ним части интеллигенции выжить в экстремальных условиях. Всего летом 1921 года в домах и отелях Петросовета постоянно проживало 800 человек. Даже в начале 1920-х годов после перехода к нэпу со свойственными ему плюрализмом и идеей самообеспечения в советских номенклатурных коммунах обслуживали бесплатно. Неудивительно, что многие не спешили отказываться от преимуществ жизни в этих заведениях.

В 1923 году ВЦИК и СНК РСФСР специальным декретом от 12 сентября остановили разрастание числа желающих пожить в элитарных советских «фаланстерах» — Домах Советов. В документе, называвшемся «Об освобождении 36 (! — Н. Л.) гостиниц города Москвы от постоянных жильцов», указывалось на необходимость возвращения гостиницам традиционных

функций — предоставления временного жилья приезжим¹². В отдельных случаях даже в разгар нэпа партийные функционеры среднего уровня, особенно не имевшие семей, пытались остаться жить в Домах Советов. Об этом свидетельствует, в частности, дневник немецкого философа Вальтера Беньямина, посетившего Москву в конце 1926 — начале 1927 года. Он рассказывает о некоем доме на Страстной площади в Москве и называет его своего рода огромным *boarding house**.¹³ Но в большинстве случаев к середине 1920-х коллективное жилье оказалось ненужным номенклатуре, уже вполне справившейся с военно-коммунистическими трудностями быта. Сама же идея «коммунитаризма», который должен был сформировать идеальные «коммунальные тела», продолжала развиваться.

В первой половине 1920-х годов приживить «фаланстеры» на российской почве попытались комсомольцы. Проблемы физического комфорта, подразумевающего определенную сегрегацию физических тел, не обсуждались членами первых молодежных коммун. Одновременно коллективизация быта там была доведена до крайности. Молодые люди организовывали общее жилье в старых фабричных казармах, объединяясь вместе для преодоления материальных трудностей. Именно так поступили в 1923 году 10 девушек-текстильщиц из Иваново-Вознесенска. Они создали в одной из комнат фабричного барака коммуну «Ленинский закал». Посуды у коммунарок практически не было: ели из общей миски. Одежду обобществили — одни выходные туфли носили по очереди. Коммунистическим в этом нищенском существовании был лишь портрет Троцкого — поборника борьбы за новый быт. В небольшие коммуны по собственной инициативе объединялись студенты и рабфаковцы. Один из бывших коммунаров Петроградского политехнического института вспоминал: «Коммуна в три раза сокращала время пребывания у плиты, позволяла

* Пансион (англ.).

разнообразить стол, вносила веселое оживление»¹⁴. Почти всегда первым шагом объединения становились покупка кастрюль и распределение обязанностей дежурных по кухне. Позднее коммунары начинали выписывать общую газету и создавать маленькую библиотечку для занятий.

Несмотря на наличие определенных правил жизни в советских псевдофаланстерах, вопрос о защите в них приватности и соблюдении индивидуальных границ не обсуждался. Это особенно ярко видно на примере небольших коммун, члены которых объединялись иногда и без видимых материальных причин. Известная писательница Вера Панова вспоминала, что ее ростовские друзья, объявив себя коммунарами, «поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна»¹⁵. Подобные объединения — следствие буквального восприятия идей обобществления быта, которые подбрасывали в массы партийные и комсомольские активисты. Одна из молодежных газет писала в начале 1924 года: «Лучшим проводником <...> коллективизма могут явиться общежития-коммуны рабочей молодежи. Общая коммунальная столовая, общность условий жизни — вот то, что необходимо прежде всего для воспитания нового человека»¹⁶. В заявлениях такого типа можно заметить элементы принудительной десоматизации коммунаров. Некоторые из них заявляли: «Половой вопрос просто разрешить в коммунах молодежи. О женитьбе мы не думаем, потому что слишком заняты и к тому же совместная жизнь с нашими девушками ослабляет наши половые желания. Мы не чувствуем половых различий <...> Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти удовлетворительное решение вопроса о взаимоотношении полов — стройте коммуны рабочей молодежи»¹⁷.

И все же воплощение в жизнь идей коммунизма на государственном уровне произошло лишь в конце 1920-х годов. В это время в стране развернулась политико-архитектурная

дискуссия о типах рабочих жилищ, главным из которых признавался дом-коммуна. Первой и главенствующей стала мысль о том, что нового человека невозможно сформировать в условиях старых архитектурных пространств, то есть в зданиях привычной планировки. Уже в 1926 году организаторы всесоюзного конкурса архитектурных проектов сформулировали лозунг «Новая жизнь требует новых форм» и поставили задачу: «Проникнуться новыми запросами к жилищу и возможно скорее дать проект такого дома с общественным хозяйством, который превратил бы так называемый жилищный очаг из тесной, скучной, а подчас и тяжелой колеи для женщины в место приятного отдыха»¹⁸. В 1928 году появилось официальное «Типовое положение о доме-коммуне». Согласно документу, коммунары-новоселы отказывались от мебели и предметов быта, накопленных предыдущими поколениями. Такие правила свидетельствовали о попытке разрушения привычных границ телесности, которые формируются часто с помощью наполнения пространства специфическими предметами. Само понятие «дом-коммуна» толковалось по-разному. Часть архитекторов-конструктивистов считала, что это единый архитектурный объем, объединяющий индивидуальные квартиры и коммунальные учреждения. По такому принципу в Ленинграде строились Бабуринский, Батенский и Кондратьевский жилмассивы. В некоторых случаях предпочитали иной тип коллективного жилья, существовавший в двух формах. Первая — 2–4-комнатные семейно-индивидуальные квартиры с умывальником, подобием кухни и персональным ватерклозетом. Но уже ванно-душевой комплекс предполагался один на несколько квартир. Вторая форма жилья включала отдельные комнаты, соединенные с небольшим помещением для разогревания пищи. Остальные удобства были общими и располагались в коридорах. При этом нигде не оговаривалось, на сколько человек должна была приходиться душевая точка, раковина или туалет. Здесь столь почитаемая советской

системой санитарная норма (8 кв. м на человека) переставала действовать. Более того, считалось, что такое жилище, а по сути дела совместное использование обязательных гигиенических атрибутов нормальной жизни, позволит быстрее осуществить переход к коллективному быту! Именно этим руководствовались создатели проекта студенческого дома-коммуны, разработанного в Бюро научно-технических кружков Ленинградского института коммунального строительства. Проект назывался «Октябрь в быту». Предполагалось, что в здании будет проживать «одинаковое количество мужчин и женщин», «в одинаковых условиях, не выделяясь в особые этажи или корпуса». Дом должен был состоять из 2-кочных спален для супружеских пар и 4-кочных «холостых кабин». Пищу предполагалось доставлять в термосах из ближайших фабрик-кухонь, а одежду коммунаров хранить в «туалетно-вещевых комнатах»¹⁹. Еще в более жесткой форме идею коллективизации быта презентовал архитектор Николай Кузьмин. Он планировал, например, сделать в доме-коммуне общие спальни на шесть человек. Муж и жена на законном основании могли в соответствии с особым расписанием уединяться в «двуспальню» или «кабину для ночлега»²⁰. Проект Кузьмина пытались реализовать на стройке Сталинградского тракторного завода. Это было почти прямое, хотя и ненамеренное, воплощение в жизнь социальной антиутопии «Мы» Евгения Замятина, написанной в 1921 году и опубликованной в Англии в 1924 году. До перестройки книга на родине писателя не печаталась. Героям романа предлагалось заниматься сексом в специально обозначенное время по предъявлению розовых билетиков. И все же в реальных архитектурных проектах домов-коммун ощущалось стремление в условиях коллективного быта сохранить личные границы хотя бы путем соблюдения санитарной жилищной нормы.

В годы первой пятилетки на улицах российских городов появились конструктивистские постройки. Некоторые из них были предназначены для жилья и официально назывались

домами-коммунами. Так в официальных документах именовалось здание, возведенное в 1929–1930 годах в самом центре Ленинграда, на улице Рубинштейна, по проекту архитектора Андрея Оля. Дом-коммуна гостиничного типа, по выражению проживавшей в нем поэтессы Ольги Берггольц, имел «архине-привлекательный внешний вид»²¹, но должен был выполнить серьезную задачу борьбы со «старым бытом».

Именно поэтому в квартирах нового строения на улице Рубинштейна не были запланированы кухни. Все жильцы сдавали свои продовольственные карточки в общую столовую, находившуюся на первом этаже здания. Такая практика соответствовала ситуации нормированного снабжения, но оказалась обременительной уже в 1935 году — после отмены карточек на продукты питания. У «слезы социализма», так прозвали новый дом на улице Рубинштейна его жители, было множество недостатков. Их существование признавала позднее даже такая убежденная комсомолка 1930-х годов, как Берггольц: «Звукопроницаемость же в доме была такой идеальной, что если внизу, на третьем этаже <...> играли в блочки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно вплоть до плохих рифм. Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом в невероятно маленьких комнатках-конурках очень раздражало и утомляло». В общем, «фаланстера на Рубинштейна, 7, не состоялось»²².

Значительно более продуманным с архитектурно-планировочной точки зрения выглядел дом-коммуна, построенный в 1929 году в Москве по проекту Моисея Гинзбурга на Новинском бульваре. Проблема индивидуальных границ в этом случае решалась за счет разнообразия планировок квартир: трехкомнатных, рассчитанных на семью с детьми, и двухкомнатных — на семейную бездетную пару. Санитарные нормы на этапе проектирования и строительства дома-коммуны строго учитывались. Большинство квартир были двухъярусными, правда кухня предполагалась лишь в относительно больших апартаментах. В помещениях на одного–двоих человек место

для приготовления пищи не отводилось, но существовал так называемый «кухонный элемент» — ниша площадью 1,4 кв. м. Аскетизмом отличались и гигиенические удобства дома-коммуны: в основном это были душевые кабины, часто на две квартиры. Любопытным с точки зрения формирования границ телесности было наличие в доме Гинзбурга элитных апартаментов. В них поселились два советских наркома — Николай Семашко и Николай Милютин. Последний, будучи наркомом финансов, считался еще и крупным советским теоретиком градостроения²³. Но в целом из-за недостатка средств настоящего дома-коммуны не получилось и в Москве. Более того, в начале 1930-х годов это направление в архитектуре стали активно критиковать властные структуры. В мае 1930 года появилось постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта». В документе подчеркивалось: «Проведение (в дальнейшем. — Н. Л.) этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств и дискредитировало бы саму идею социалистического переустройства быта»²⁴. Однако власть не спешила отказываться полностью от проекта формирования коммунальных тел с помощью особого жилья и после неудачных, в основном из-за дороговизны, проектов возведения специализированных советских «фаланстеров». Конструирование нового человека было возложено на бытовые коммуны, где обязательным условием считалось совместное проживание. Коллективизация быта, как и в начале 1920-х годов, вновь осуществлялась подсобными средствами, но уже с государственного благословения.

Перспектива жизни в бытовых коммунах, или, как их называли в документах, «бытовых коллективах», в первую очередь стала реальностью для рабочей молодежи. Число горожан увеличивалось прежде всего за счет разбухания пролетарской прослойки. Жилищное строительство перестало поспевать за бурным ростом населения. Чтобы как-то помочь молодым

людям справиться с трудностями материального порядка, профсоюзы и ВЛКСМ вновь вернулись к идеям коммун. В 1928 году комсомольская организация Балтийского завода в Ленинграде предложила создать коммуны для молодых рабочих, которые из-за нехватки жилья «живут в подвалах, на чердаках, ходят по ночлежкам»²⁵. Такую же благородную цель преследовал и ЦК ВЛКСМ, принимая в июне 1929 года постановление «Об использовании фонда улучшения быта рабочих на бытовые нужды рабочей молодежи». В документе обращалось особое внимание на тяжелые бытовые условия молодых людей, «живущих вне семей». Для разрешения ситуации предлагалось, «опираясь на финансовую помощь фонда», создавать коммуны на основе ударных производственных бригад при заводах и фабриках²⁶.

Селили коммунаров, как и в самом начале 1920-х годов, в совершенно не приспособленные для общего проживания помещения: в старые казармы, красные уголки при клубах, нередко в комнаты коммунальных квартир. Соблюдения жилищно-санитарных норм в данном случае властные структуры не требовали. Моя бабушка рассказывала, что ее знакомая портниха Любовь Николаевна в молодости жила в такой коммуне, находившейся в коммуналке дома 148 по Невскому проспекту. Это было в самом начале 1930-х. Позднее, в конце 1930-х, моему дедушке за успешную службу в милиции дали в квартиру в доме 150, как раз напротив бывшей коммуны. И это, пожалуй, единственный эпизод, связывающий мою семью с советскими фаланстерами и общежитиями.

Правда, все мы прошли школу выживания в пионерских лагерях. Первой в коммунальную жизнь окунулась моя мама. В Ленобласти, под Тайцами, сравнительно недалеко от тех мест, где до событий 1917 года мой прадед регулярно нанимал на лето большой дом для своей семьи, в бараках, на нарах с матрасами, набитыми сеном, мама провела лето 1933 года. Кормили пшеном и треской.



Пионерский лагерь. Поселок Тайцы под Ленинградом. 1933.
Личный архив Н. Б. Лебиной

Дисциплинированная от природы, юная Катя Чиркова «вписалась» в систему сборов и линейек, но домой постоянно отправляла записки с просьбой забрать ее из лагеря. Такая же история приключилась и со мной. В 1961 году я поехала в пионерский лагерь «Северная зорька» от Академии наук СССР. Жили мы в Рошине, в каменных двухэтажных домах. И кормили вполне прилично, и развлекали. Но письма, которые я отправляла родителям, моей маме напоминали ее собственные послания. «Здравствуйте, дорогие мамочка и папочка! Я очень, очень скучаю и все время плачу. Записалась я в три кружка: плавание, фотокружок и кружок танцев. Вчера у нас был концерт... Концерт был большой и интересный. Я участвовала в нем»²⁷, — писала тринадцатилетняя дурочка (я!), в то время как некоторые ее сверстницы уже вполне осваивали практики куртуазности. Хорошо запомнила одетую в вызывающие по тому времени бордовые шортики Дашу Александрову (дочь

академика Александра Александрова). Мы с ней были ровесницы, но я гадкий воробышек, а она рано созревшая прелестная девушка. Мне кажется, она легко вписывалась в любую обстановку и в ранней юности, и позднее.

Скучал в пионерском лагере и мой муж. По иронии судьбы он тоже отдыхал в «Северной зорьке», но двумя годами позже меня. А через четверть века, в конце 1980-х, трогательно-забавные письма писал мой сын (Леонид Олегович Годисов, 1977 г.р.) из спортивного лагеря: «В лагере много интересного. Но дома гораздо лучше. Скучаю. Очень жду вас. Обязательно пишите»²⁸. В той же переписке 1988 года я обнаружила непроверяемые подтверждения наличия «колбасных поездов» в СССР. Сынишка просил привести сладкого, хотя мы ему, конечно, каких-то конфет дали с собой. В ответ на его просьбу в письме от 28 июля 1988 года я пишу: «Припасы уничтожай постепенно. Дело в том, что в Ленинграде нет вообще никаких конфет, будут только в сентябре». А через несколько дней, 3 августа, спешу радостно сообщить: «Папа привез тебе из Москвы шоколадного зайца, шоколадку, две „Сластены“». Все доставим в родительский день»²⁹.

Возвращаясь к семейным практикам «общезития», я невольно вспоминаю слова Иосифа Бродского из беседы с Соломоном Волковым: «Мы там, в Питере, все выросли убежденными индивидуалистами — и потому, может быть, большими американцами, чем многие настоящие американцы»³⁰. И я, и мои родные, тоже питерцы, к тому же разных поколений, оказались людьми малокоммуникабельными, хотя вполне адекватными, а главное, законопослушными — и в дни нашего пионерского вынужденного коммунизма, и позднее. Однако внутренняя дисциплина не мешала и не мешает нам быть индивидуалистами, которые всегда предпочитают находиться в одиночестве, нежели в толпе, пусть даже веселой и интеллектуальной.

В конце 1920-х годов во многих коммунах обобществлялось 40–60, а иногда и 100% заработка. Журнал «Смена» писал

о жизни в бытовых коллективах: «Всем распоряжается безликий и многоликий товарищ-коллектив. Он выдает деньги на обеды (дома только чай и ужин) <...> закупает трамвайные билеты, табак, выписывает газеты, отчисляет суммы на баню и кино»³¹. Кое-где из общей казны даже оплачивались алименты за разведенных коммунаров. Как и в начале 1920-х годов, в большинстве коммун доминировал аскетизм. Запрещалось, например, по собственному желанию на дополнительно заработанные деньги покупать себе вещи без санкции коллектива. Кроме того, деятельность коммун носила политизированный характер. При приеме новых членов спрашивали, «хочет ли вновь вступающий строить новую жизнь или он просто заинтересован в жилой площади»³². Покинуть бытовой коллектив можно было, только положив на стол комсомольский билет, что влекло за собой неприятности. По воспоминаниям одного из первых строителей Сталинградского тракторного завода Якова Липкина, там тоже спешно создавались коммуны. Он сам был записан в коллектив заочно. Не участвовать в этом мероприятии было невозможно, отказ рассматривался как проявление ярого индивидуализма³³. В 1930 году в стране насчитывалось около 50 000 участников бытовых коллективов³⁴. Однако, кроме наивного желания «перескочить к коммунистическим отношениям», ни у руководящих работников, ни у рядовых коммунаров не было ни материальных условий, ни элементарных знаний психологии. Не случайно сами коммунары писали: «Позднее, когда мы лучше познакомились друг с другом, пожили буднями, мы увидели, какие мы разные люди и как калечилась инициатива ребят из-за скороспелого желания быть стопроцентными коммунарами»³⁵.

Официально коммуны существовали до 1934 года, а точнее, до XVII съезда ВКП(б), характеризовавшего движение по их созданию «как уравниловско-мальчишеские упражнения „левых головоотяпов“»³⁶. К этому времени в советском обществе уже сформировались устойчивые элитные слои, которым

требовались достойные условия жизни. Любопытно отметить, что люди, приближенные к власти, по-прежнему пытались воспользоваться коллективным жильем, чтобы вновь устроить себе социализм в отдельно взятом доме. В 1929–1933 годах в Ленинграде на Петроградской стороне развернулось строительство дома-коммуны Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев по проектам архитекторов Григория Симонова, Павла Абросимова и Александра Хрякова. Построенный в конструктивистском стиле, дом включал в себя не только жилые помещения (145 квартир по две–пять комнат) с горячим водоснабжением и ванными, но и столовую-ресторан, амбулаторию, продуктовый спецраспределитель, необходимый в условиях карточной системы, механическую прачечную. Непривычными в советской действительности были и индивидуальные границы, жилищно-санитарные нормы в элитном доме-коммуне: «Емкость каждой квартиры устанавливается по тому же принципу заселения, что и ныне существующие дома, то есть из расчета 1 чел. на комнату»³⁷. Однако роскошь бытовых условий не принесла счастья первым жителям Дома-коммуны для бывших политкаторжан. Многие из них в годы Большого террора оказались узниками сталинских лагерей. К идее же советских «фаланстеров» как средству конструирования коммунальных тел власть уже не возвращалась.

Со второй половины 1930-х архитекторы сталинского «большого стиля» стали уделять внимание интимизации жилого пространства. В передовой статье номера журнала «Архитектура СССР», вышедшего в мае 1936 года, отмечалось: «В трактовке жилья должен сказаться элемент известной интимности»³⁸. В определенном смысле это была констатация изменений представления властей о границах тела, определяемых жильем. Сталинская градостроительная политика внешне базировалась на индивидуализации жилищного пространства, но коснулось это в первую очередь и главным образом привилегированных слоев советского общества. В остальных же

случаях вопросы предоставления жилья решались путем покомнатного расселения, а границы тела определялись официальными жилищно-санитарными нормами. Их реальные размеры постоянно уменьшались. Формирование коммунальных тел оказалось значительно проще осуществлять насильственными методами без соблюдения цивилизованных границ телесности. А бывшие коммуны превратились в «общаги», где уже отсутствовало наивное, но искреннее стремление членов коллектива заботиться друг о друге, где исчезло единство пространства и «общежития искусства».

Однако идеи «коммунитаризма», который должен уравновесить эгоцентрическую обособленность и нивелирующий коллективизм, личные права и социальную ответственность, не умерли вместе с СССР. Они популярны и сегодня у части молодежи на Западе. В условиях же социалистической действительности 1920–1930-х годов попытки создания коллективного жилья натолкнулись на сложные социально-экономические и культурно-политические реалии, в которых не удалось сконструировать оптимальные границы коллективного тела.

ПРОСТИТУЦИЯ

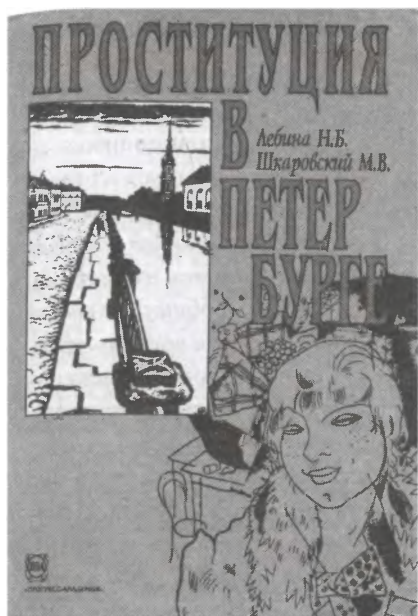
*Классика сексуальной коммерции
в новых социальных условиях*

Слово «проституция», конечно же, не является советизмом. Однако те изменения, которые претерпела эта форма сексуальной коммерции в советский период российской истории, заслуживают внимания и оправдывают сюжет о проституции в книге о городском быте. Одновременно личные воспоминания в данном случае будут иметь несколько непривычную форму. Ведь соприкосновение с вопросами «купли-продажи» интимных услуг носили, во всяком случае у меня, прежде всего научный характер.

В конце 1960-х годов, в пору моего студенчества, в родительском доме несколько раз бывал известный ученый, уже тогда самый крупный специалист в области социологии семьи и брака, Анатолий Георгиевич Харчев. Отец любил подбирать интересные компании и всегда думал о том, будет ли комфортно людям вместе за одним столом. В запомнившийся мне вечер у родителей встретились социологи и юристы. Последних представляли моя мама и ее подруга по учебе в университете Лидия Александровна Николаева, в то время заместитель декана юрфака ЛГУ. Не помню, в связи с чем, речь зашла о проституции в СССР. Лидия Александровна, в целом признававшая факты «приставания к мужчинам» на улицах социалистического Ленинграда, все-таки с жаром уверяла, что никакой коммерции в ситуации контакта с иностранцами не

существует. Ведь девушки, как правило, вполне довольствуются небольшим подарком: французскими духами, западными колготками, бижутерией. Эта «наивность» правоведа была не так проста. Якобы отсутствие денег в случае интимного общения не слишком близко до этого знакомых мужчины и женщины являлось доказательством отсутствия и самого факта проституции. Ведь ее важнейший признак — это превращение женщиной собственного тела в некий товар, реализуемый по вполне конкретной цене, и признание торговли собой профессиональным ремеслом. По сути дела, Лидия Александровна настаивала на позиции полного отрицания даже элементов скрытой сексуальной коммерции в советском обществе. Анатолий Георгиевич придерживался иного мнения. По воспоминаниям Игоря Кона, «Харчев еще в 1960-х гг. вынашивал идею изучения проституции методом включенного наблюдения <...> Но, разумеется, ничего из этого не вышло, ведь официально считалось, что с этим позорным явлением в нашей стране давно покончено. А потому нет необходимости обращаться к пережитку прошлого»¹. За столом у моих родителей Анатолий Георгиевич тоже намекнул на возможные варианты социологического анализа латентной проституции. Но осуществить эти планы ему не удалось. Вскоре Харчев уехал в Москву. В столице его карьера развивалась блестяще. Он создал журнал «Социологические исследования», глубоко интеллектуальное и продвинутое издание. Правда, умер бывший фронтовик Анатолий Георгиевич Харчев не слишком старым человеком, в 1987 году ему исполнилось 66 лет. А через семь лет, в 1994 году, вышла моя книга «Проституция в Петербурге»².

Эта была, по сути дела, первая историческая монография о торговле любовью в России, написанная отечественными историками. Соавтором текста выступил тогда еще начинающий, а ныне крупнейший исследователь проблем истории церкви Михаил Витальевич Шкаровский. У него к этому времени образовались наработки по истории проституции



Обложка книги Н. Б. Лебиной и М. В. Шкаровского «Проституция в Петербурге». М.: Прогресс-академия, 1994

в советском обществе 1920–1930-х годов, в первую очередь материалы Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. У меня тоже набралось достаточно много документов из только что рассекреченных фондов Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (бывшего Ленинградского партийного архива при Областном комитете КПСС). Кроме того, осенью 1992 года я была вынуждена покинуть Санкт-Петербургский институт истории РАН и начала работать в музее-квартире Сергея Кирова. Свои впечатления от службы в этом учреждении, из которого в начале 1990-х годов еще не выветрился партийно-номенклатурный дух, я описала в очерке «Ищите женщину, или Размышления в пустой спальне»³. Конечно, должность экскурсовода была серьезным понижением социального статуса. Но за несвойственную мне кротость, выразившуюся в чтении рекомендуемой начальством литературы,

в частности повести Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума», написанной в 1936 году, пришло и вознаграждение. В фондах Музея Кирова мне удалось найти хранившиеся там с 1965 года и ни разу не публиковавшиеся ни полностью, ни частично документы — воспоминания дезинфектора врачебно-трудового профилактория для проституток, который почти год возглавляла жена Кирова. Находка убедила меня, что написать книгу о сексуальной коммерции в советском обществе не только необходимо, но и возможно. Однако я сочла важным начать свое повествование не с 1917 года, а с 40-х годов XIX века. Михаил Витальевич поддержал эту идею, и в результате появилась книга о российской проституции почти за сто лет.

Начальной точкой нашего исследования стала дата образования в 1843 году Врачебно-полицейского комитета. С этого момента началась история легальной и регламентированной «торговли любовью» в России. К 40-м годам XX века, как свидетельствовали советские энциклопедические издания, сексуальная коммерция в СССР была полностью ликвидирована. Это утверждение, конечно же, далеко от истины. Скорее желаемое выдавалось за действительное. О проституции не писали ни публицисты, ни практики — медики и юристы, — ни социологи и историки. После 1985 года ситуация резко изменилась. На советского обывателя обрушилась огромная масса самой разнообразной информации о «путанах, «интердевочках», «ночных феях». Одновременно появились и серьезные исследования юристов, социологов, психологов⁴. Однако историки по-прежнему не уделяли проблемам проституции должного внимания, хотя именно их вклад в рассмотрение вопроса был важен. Отсутствие ретроспективной картины российской сексуальной коммерции порождало массу легенд и вымыслов. К их числу относятся искаженные представления о «небывалом росте» и размахе торговли любовью в постперестроечные времена. Не знакомый с историей вопроса обыватель переложил вину за оживление института продажной любви

на российскую демократию. На самом же деле именно в перестроечное время советские правоохранительные органы наконец ввели хотя бы административную ответственность за проституцию. Уже в мае 1987 года появился указ Президиума Верховного Совета РСФСР. Согласно этому документу, «лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они занимаются проституцией, вызываются в милицию для официального предостережения о недопустимости антиобщественного поведения. К таким лицам в порядке, предусмотренном законодательством Союза ССР и РСФСР, могут быть применены уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних дел (милиции) административное задержание, личный досмотр, досмотр и изъятие вещей»⁵. И все же, судя по довольно странным для правового документа формулировкам, должных способов взаимоотношений с институтом проституции найдено не было. Причиной, как мне представляется, было, в частности, пренебрежение опытом прошлого.

В дореволюционной России даже после образования Врачебно-полицейского комитета занятия проституцией карались как уголовное преступление, наряду со сводничеством и использованием услуг проституток. В эпоху реформ 1860-х годов уголовное преследование женщин, торгующих своим телом, прекратилось. Проституция стала квалифицироваться как своеобразная профессия, требующая специальной регистрации. Так было законодательно закреплено «терпимое» отношение государства к ремеслу «падших особ».

Рост общедемократических тенденций в стране в начале XX века повлек некоторую трансформацию юридических норм, связанных с проституцией. В марте 1903 года был принят закон о мерах к пресечению торгова женщинами. В конце 1909 года Государственный совет и Государственная дума одобрили новый закон, касавшийся проституции. В нем появились положения, заметно расширявшие права публичных женщин, но, конечно,

не в общегражданском, а в специфическом, в определенной степени профессиональном смысле. В целом же законы 1903 и 1909 годов рассматривали проблемы проституции в контексте государственного надзора над ней, а следовательно, активной деятельности Врачебно-полицейского комитета. В конце 1913 года либерально настроенная общественность подняла вопрос о необходимости нового закона о борьбе с проституцией. Разработчики правовых положений придерживались аболиционистских воззрений, согласно которым надо было жестоко карать содержателей притонов и тех, кто способствовал вовлечению женщин в проституцию. Сама же проститутка объявлялась полностью невинной жертвой. Предполагалось также уничтожить врачебно-полицейский надзор над проституцией и, следовательно, комитет, его осуществлявший. Однако начавшаяся Первая мировая война и активное сопротивление Министерства внутренних дел затормозили ликвидацию сексуальной коммерции в Российской империи.

События февраля 1917 года оправдали надежды либералов — система регламентации была уничтожена. Прекратила свое существование и легальная проституция. Профессия публичной женщины как специфическая форма трудовой деятельности формально перестала существовать. Однако никуда не исчезли ни женщины, вступавшие в половые связи за вознаграждение, ни потребители их услуг, ни венерические болезни — обязательные спутники проституции. Временное правительство попыталось пройти уже известный путь: в марте 1917 года по аналогии с Врачебно-полицейским комитетом было создано Совецание по борьбе с распространением венерических болезней. Однако Октябрьский переворот прекратил деятельность и этого учреждения.

В советском обществе «торговля любовью» была объявлена порождением предыдущего строя. В новом государстве проблемами проституции стали по отдельности заниматься два ведомства — Комиссариат здравоохранения и Комиссариат

внутренних дел. В период Гражданской войны и военного коммунизма со свойственными тому времени «чрезвычайными» бытовыми практиками и нормами большевики придерживались принципов прогибиционизма, в контексте которого уничтожению подлежало не только явление проституции, но и сами проститутки. В августе 1918 года в письме к председателю Нижегородского губернского совета Ленин настоятельно советовал «навести тотчас же массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток»⁶. Отсутствие четких правовых положений осложняло работу правоохранительных органов. Часто во время облав арестовывали женщин, случайно оказавшихся в это время на улице и не имевших никакого отношения к сексуальной коммерции. Для оправдания правового хаоса местные органы власти составляли собственные предписания, регламентирующие отношения с проститутками. Так, в 1919 году один из руководителей Петроградского совета Борис Каплун написал специальные тезисы «К вопросу о борьбе с проституцией». В них, в частности, утверждалось: «С коммунистической точки зрения проституция как профессия не может существовать. Это не есть профессия в государстве труда. Торговля своим телом есть дело человеческой совести <...> Нет борьбы с проституцией, а есть борьба с женщинами, у которых нет определенных занятий»⁷. Такие женщины, независимо от того, торговали они собой или нет, должны были явиться в органы власти для получения работы. За уклонение от явки они подлежали аресту и отправке в женские трудовые лагеря строгого режима.

Идея борьбы с проституцией посредством принудительного труда была довольно популярна в 1918–1920 годах. В мае 1919 года в Петрограде начал функционировать первый в стране своеобразный концентрационный лагерь для женщин. В конце 1919 года появилась и женская трудовая колония со строгим режимом, которую даже в официальных документах называли «учреждением для злостных проституток».

Трудотерапия по-пролетарски имела мало общего с существовавшей в Царской России системой социальной реабилитации женщин, желавших порвать с сексуальной коммерцией. Но, несмотря на протесты аболиционистов, такое отношение к проституции возобладало в условиях военного коммунизма и всеобщей трудовой повинности. Проститутка рассматривалась прежде всего как «дезертир труда». Моральные и филантропические соображения оттеснялись на второй план. В контексте солидарности трудового коллектива и его интересов расценивалось и потребление услуг проституток. «Мужчина, купивший ласки женщины, — заявляла Александра Коллонтай, — уже перестает в ней видеть равноправного товарища»⁸. Позиция власти закрепляла существовавшее на ментальном уровне смешение понятий проституции как профессионального занятия, сексуальной свободы и супружеской неверности.

Переход к нэпу, возвращение денежного обращения и нормализация быта реанимировали институт коммерции в традиционном виде. Купля-продажа любви вновь стала элементом городской повседневности. Большевики вынуждены были реагировать на реалии жизни. Покончить с проституцией предполагалось после устранения голода, безработицы, детской беспризорности и т. д. Считая проституцию пережитком прошлого, власти не учитывали, что поведение «падших женщин» во многих случаях проявление особых свойств человеческой психики. Большевики не собирались признавать сексуальную коммерцию видом трудовой деятельности.

Позиция власти нашла подтверждение в правовых документах. В принятом в 1922 году Уголовном кодексе РСФСР появились статьи, определяющие наказание за содержание притонов, принуждение к занятиям проституцией, а также вовлечение в сексуальную коммерцию несовершеннолетних. Одновременно с проститутки снималась не только уголовная, но и морально-нравственная ответственность за ее поступки. Неудивительно, что в этой ситуации на улицах городов

появилось довольно много женщин, предлагавших секс за деньги. «На панель» вышли и малолетние «жрицы любви». В январе 1924 года «Рабочая газета» писала об обстановке в Ленинграде: «По Невскому гуляет полурбенок. Шляпа, пальто, высокие ботинки — всё как у „настоящей девицы“. И даже пудра, размокшая на дожде, так же жалко сползает на подбородок... „Сколько тебе лет? Двенадцать? А не врешь?.. Идем“. Покупается просто как коробка папирос. На одном углу Пушкинской — папиросы, на другом — „они“. Это их биржа. Здесь котируются их детские души и покупаются их детские тела»⁹. Жизнь женщин, зарабатывающих торговлей собственным телом, как и до революции, была связана с пьянством, наркоманией, криминальным миром¹⁰.

Социалистическое государство, вынужденное соприкоснуться с сексуальной коммерцией, заняло непримиримую позицию по отношению к потенциальным ее потребителям. В дореволюционной России законодатель тоже, конечно, не поощрял развитие проституции, но относился к ней «терпимо». Действовавшая система социальной реабилитации «падших женщин» гарантировала некие права проституток при условии легализации их занятий. Одновременно потребитель сексуальных услуг имел медицинские гарантии при контактах с женщинами, состоявшими на врачебно-полицейском учете.

Логично предположить, что в советской действительности, когда потребителям проституции юридически отказывали в каких-либо правах, женщина, вовлеченная в сексуальную коммерцию, могла рассчитывать на некие привилегии, позволявшие вернуться к нормальной жизни. Действительно, в годы военного коммунизма ряд врачей-венерологов по примеру Врачебно-полицейского комитета попытались развернуть реабилитационные мероприятия, направленные на социальную адаптацию проституток, желающих порвать со своими занятиями. В конце 1919 года появился центральный орган, занявшийся медико-социальными проблемами «продажной

любви», — межведомственная комиссия по борьбе с проституцией. В декабре 1922 года был опубликован циркуляр ВЦИК, положивший начало государственной благотворительной помощи проституткам во всероссийском масштабе. В Москве появился Центральный совет по борьбе с проституцией во главе с народным комиссаром здравоохранения Николаем Семашко.

Самой ощутимой благотворительной инициативой стало налаживание медицинской помощи женщинам, страдавшим венерическими заболеваниями. Первые бесплатные вендиспансеры появились в 1923–1925 годах. Особой известностью пользовалось учреждение, открытое в Ленинграде на базе знаменитой Калинкинской больницы. В 1927 году повсеместно стал претворяться в жизнь циркуляр Центрального совета об организации трудовых профилакториев при вендиспансерах. Первое такое учреждение появилось в Москве в конце 1924 года. Женщины приходили сюда добровольно. Их обеспечивали бесплатным жильем, питанием, предоставляли возможность вылечиться от сифилиса, гонореи и других болезней. Решившая порвать со своим ремеслом проститутка могла находиться в профилактории полгода, затем ее трудоустроивали — в основном на фабрики и заводы. С 1927 года лечебно-трудовые профилактории начали возникать повсеместно. Однако благотворительная деятельность при отсутствии законодательства, квалифицировавшего признаки поведения женщины как проститутки, привела к тому, что в погоне за льготами некоторые безработные или просто малообеспеченные особы выдавали себя за «жриц любви». В Ленинграде весной 1929 года из 15 заявлений с просьбой о размещении в лечебно-трудовом профилактории 7 были отклонены ввиду того, что у их подательниц «признаков проституции нет»¹¹.

Деятельность профилакториев расширялась. Но статус таких лечебно-воспитательных учреждений на рубеже 1920–1930-х годов начал меняться: медиков в их руководстве постепенно вытесняли партийные функционеры. Самый яркий

пример этого процесса — история, которую мне удалось реконструировать на основе находок в фондах Музея Кирова. С весны 1929 года лечебно-воспитательным заведением для проституток в Ленинграде стала заведовать жена главы городских коммунистов Кирова — Мария Маркус. Ранее нигде не работавшая и, судя по всему, психически нездоровая женщина проявляла завидное рвение. Она задерживалась в профилактории до глубокой ночи, и Киров часто заезжал за ней на машине. Он явно потворствовал занятиям жены. Под непосредственным контролем Кирова в октябре 1929 года Ленинградский обком ВКП(б) принял специальное решение «О борьбе с проституцией», на основании которого контингент профилактория был расширен до 300 человек. Впоследствии предполагалось довести число пациенток до 1000! Такая гигантомания, вполне созвучная с «громадьем» общего плана построения социализма, полностью исключала сугубо индивидуальный подход к женщинам, решившим стать на путь исправления и желавшим излечиться от венерических заболеваний. Наилучшим приемом работы с контингентом профилактория, судя по воспоминаниям бывшего дезинфектора учреждения Дмитрия Шамко, Маркус считала «большевистское слово и примеры из жизни революционеров». Она старалась вовлечь подопечных в активную политическую жизнь: демонстрации, митинги, собрания. 1 мая 1929 года она даже вышла во главе колонны профилактория на манифестацию. Однако эти приемы воспитания, не содержавшие никаких медико-реабилитационных элементов, не принесли плодов. Бывших проституток явно раздражали увещевания Маркус, особы немолодой, кроме того принадлежавшей к элитарным слоям большевистского общества. Это приводило к эксцессам, пациентки профилактория скандалили, вели себя вызывающе, нередко пьянствовали¹². Маркус, конечно, не была готова к подобным ситуациям ни эмоционально, ни профессионально. Летом 1930 года в Ленинград приехал Григорий Орджоникидзе. Под его давлением супруга Кирова

покинула профилакторий, работа в котором сильно расшатала ее психическое здоровье.

В 1920-х годах, которые можно назвать своеобразной «советской эрой милосердия», были и попытки возродить некоторые формы общественной благотворительности. В сентябре 1929 года один из постоянных авторов журнала «Вестник современной медицины» заявил: «Мы в конце концов приходим к единственному выходу — необходимости создания общества, имеющего целью борьбу с проституцией»¹³. В некоторых городах при фабрично-заводских профсоюзных и комсомольских организациях появились ячейки по борьбе с проституцией. В них записывали всех подряд на основе так называемого коллективного членства. В Ленинграде, согласно постановлению бюро секретариата обкома ВКП(б) от 7 октября 1929 года, было решено «привлечь к борьбе с проституцией широкую пролетарскую общественность и, главное, рабочую молодежь»¹⁴. На молодых людей возлагалась обязанность выслеживать женщин, торговавших собой, и направлять их в трудовые профилактории. Попытки мобилизовать обычных людей на борьбу с проституцией оказались неэффективными. Работа государственной благотворительности — лечебно-трудовых профилакториев для проституток — оказалась более действенной. В Москве в 1926 году после пребывания в профилакториях города к прежнему ремеслу вернулось всего 35% женщин. В дореволюционной России эта цифра была вдвое больше¹⁵. В 1929 году лечебно-трудовые профилактории имелись уже в 15 городах страны. Но к этому времени советское милосердие начало претерпевать серьезные изменения. Филантропия уступила место репрессивной политике.

Летом 1929 года, после принятия постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах по борьбе с проституцией», начался явный переход к насильственному уничтожению института «продажной любви». В документе, конечно, перечислялись и социально-реабилитационные мероприятия, направленные

на «усиление охраны труда женщин, создание условий для получения ими квалификации, обеспечения работой» и т. д. Но важнее была идея постановления о необходимости «приступить в 1929–1930 году к организации учреждения трудового перевоспитания для здоровых женщин, вовлеченных в проституцию или стоящих на грани таковой (трудовые колонии, мастерские, производственные мастерские и пр.)»¹⁶. Подозреваемых в занятиях проституцией женщин отправляли в подобные заведения принудительно, во внесудебном порядке. Это был мощный и, что самое важное, законодательно закрепленный удар по советскому милосердию.

Распоряжения центральных властей стали рьяно исполняться на местах. В Ленинграде, например, уже в начале октября 1929 года секретариат обкома ВКП(б) постановил создать в городе казармы для безработных женщин и мастерские с особым режимом¹⁷. При этом сами проститутки маркировались не как жертвы, а как носители девиантного начала. В стране развернулось плановое уничтожение «продажной любви» — явления, несовместимого с социалистическим образом жизни. В то же время государство преследовало и другую цель. Собирая проституток в спецучреждениях и насильно заставляя их работать, оно покрывало потребность в дешевой, почти даровой рабочей силе. Доказательством этому служат «Директивы по контрольным цифрам на 1930–1931 года в части борьбы с социальными аномалиями». Этот документ предусматривал ряд мер по борьбе с беспризорностью, алкоголизмом, профессиональным нищенством и проституцией. Но прежде всего представители всех перечисленных социальных слоев, и в первую очередь проститутки, должны были организованно вовлекаться в производство¹⁸. Таким образом, «гулящие женщины» рассматривались как составная часть трудовых ресурсов. На рубеже 1920–1930-х годов советская эра милосердия по сути закончилась. За короткий срок была сломана прежняя разветвленная устоявшаяся структура организаций,

боровшихся с проституцией. Вместо лечебно-трудовых профилакториев появились трудовые колонии. Крупнейшие из них располагались в Загорске (ныне Сергиев Посад) под Москвой (на 1000 человек) и в Ленинградской области, на Свири, близ Лодейного Поля (на 1500 профессиональных нищих и проституток). В учреждениях действовала жесткая система наказаний: лишение обеденного пайка на несколько дней и права прогулок. В колонии существовал карцер, а воспитатели не брезговали применять к своим подопечным и физическую силу. Ужасающими были бытовые условия: в одном помещении, рассчитанном на 15 человек, ютилось по 40–50 женщин, спали они по двое на кровати, а нередко и на полу. Эффективность работы колоний оказалась очень низкой. Уже в январе 1933 года власти вынуждены были отметить, что освобожденные отсюда проститутки в городах «встречаются со своими подругами, и моментально те затягивают их обратно <...> несмотря на то, что за ними ведется патронаж, как они работают и как держат себя в быту»¹⁹.

Долгосрочная программа борьбы с проституцией к середине 1930-х годов была практически повсеместно свернута. В то же время государство продолжало использовать «соцаномаликов», в том числе и проституток, как источник дешевой трудовой силы: колонии все отчетливее становились не воспитательными, а принудительно-трудовыми учреждениями. После принятия «сталинской» Конституции в 1936 году работа с «соцаномаличками» — так в официальных советских документах стали называть проституток — была полностью передана в ведение НКВД. Примерно в это время появился анекдот: «На конференции по <...> проблеме (проституции. — Н. Л.) поставили вопрос о том, какой комиссариат должен взять на себя ответственность за борьбу с ней. Кто-то предложил Наркомат здравоохранения, кто-то Комиссариат просвещения. Наконец один делегат прощелбетал: „Почему бы не поручить борьбу с проституцией Комиссариату торговли? Тогда она наверняка

мгновенно исчезнет. Ведь так произошло с хлебом, чаем, маслом, сахаром»²⁰. Социальная помощь проституткам, по сути дела, прекратилась. Слабые попытки медиков и социальных работников в 1937–1938 годах возобновить работу по реабилитации проституток были прерваны усиленно раздувавшимся психозом погони за «врагами народа», к которым относили и «падших женщин».

Существование проституции с конца 1930-х тщательно замалчивалось. При отсутствии регламентации было совершенно не ясно, кого и за что нужно называть проституткой и что такое проституция, если купля-продажа — основной признак сексуальной коммерции — нигде не регистрировалась. В советском законодательстве не существовало норм, объявлявших торгующую собой женщину уголовной преступницей. Но в арсенале правоохранительных органов имелись способы привлечь ее к ответственности за другие проступки. Это позволяло создать иллюзию, что в советском обществе сексуальной коммерцией занимаются лишь криминальные элементы или те, кого к этому принудили. Путаница проникла и в уголовную и гражданскую статистику. Проводившийся органами внутренних дел учет не давал реального представления о размахе проституции, но создавал видимость того, что сексуальная коммерция в советском обществе — явление вымирающее. На самом деле это лишало государство возможности контролировать развитие проституции и, главное, оказывать посильную помощь женщинам, желающим порвать с прошлым. После заявлений конца 1930-х годов об отсутствии проституции в СССР в российском обществе ничего не менялось до сих пор.

РУКОДЕЛИЕ

*Хенд-мейд и семейные архивы —
источники по истории повседневности*

Конечно, «рукоделие» — не советизм. Это старинное слово с русскими корнями. Словарь Даля трактует «рукоделие» как ручную, в первую очередь женскую работу: шитье, вязание и т. д.¹ И все же я рискну использовать термин «рукоделие» в качестве словесного знака, который аккумулирует явления, связанные с огосударствлением традиционных женских занятий и выведением их из сферы приватности. Кроме того, я хочу попытаться использовать предметы хенд-мейда в качестве исторических источников для историко-антропологического исследования. Историк Лев Карсавин отмечал: «Материальное само по себе в своей оторванности не важно. Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для историка <...> Оно всегда выражает, индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные и эстетические взгляды, и его социально-экономический строй»².

Действительно, вещи, внешне не обладающие явным социальным смыслом, иногда могут поведать о своих хозяевах не меньше, чем вербальные источники — письменные документы. Впервые я это осознала в короткий период работы в Музее-квартире Кирова. На рабочем столе Сергея Мироновича Кирова — в экспозиционной части музея воссоздана обстановка кировского кабинета в Смольном — стоит чернильный прибор из мрамора, украшенный резной скульптуркой белого медведя

на льдине. На приборе имеется металлическая накладка с гравировкой: из нее следует, что прибор — подарок первому секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от членов Общества землеустройства еврейских трудящихся (ОЗЕТ). Рассматривая презент, я первоначально никак не могла установить связь между ОЗЕТОм и арктическим зверем. Но здесь оказалась важна не сама вещь, а скрытый в ней социальный подтекст. С вехи Кирова в конце 1920-х годов в Ленинграде стали закрываться добровольные объединения ученых, писателей, просто любителей словесности, русской старины, древних языков. Одновременно при полной поддержке лидера ленинградских большевиков разворачивали деятельность довольно странные организации, которые вряд ли можно отнести к числу добровольных. Это, в частности, ОЗЕТ. В его задачи входило выселение 100 000 евреев из крупных промышленных и культурных центров. Повсеместно распространились слухи о превращении Украины и Крыма в еврейские области, что незамедлительно вызвало вспышку антисемитизма. На самом же деле переселенцев вывезли в Бийско-Биджанский район и частично в европейское Заполярье — в места, мало напоминавшие климатические условия «земли обетованной». За это, вероятно, члены ОЗЕТа и отблагодарили Кирова настольным белым медведем.

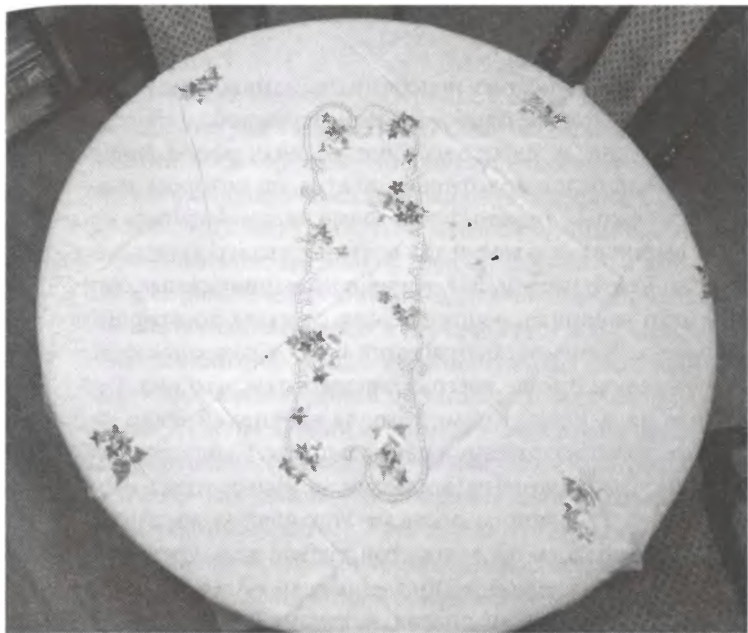
Исторически значимыми могут быть и вещи, принадлежащие обыкновенным людям и хранящиеся у многих в домах. Написал же блестящую книгу челябинский историк Игорь Нарский, используя фотоархив своих родственников³. К вещам, особенно личным, бытовым, как к источникам сведений о прошлом, исследователи российской истории XX века обращаются нечасто. Я, имея опыт работы в музее, к вещам отношусь трепетно. И не зря. Помню, какое сильное впечатление произвел на аудиторию лектор «Теория моды» в МАММ (Мультимедиа-арт-музей, Москва) лоскуток советского капрона персикового цвета, отрез которого в 1956 году мои родители подарили бабушке. От блузочки, которую по причине прозрачности носили



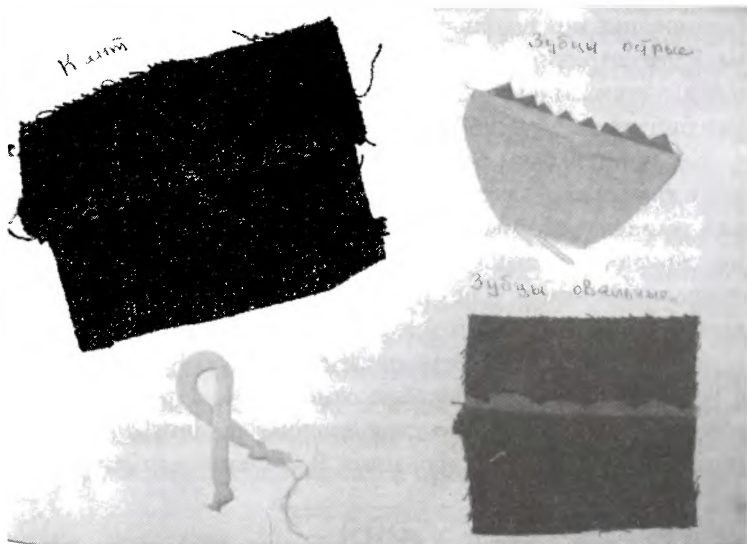
Салфетки в виде кленовых листьев. Конец 1950-х годов.
Личный архив Н. Б. Лебиной

только под жакет, остался шарфик. Его легкая приятная шершавость поразила молодых дизайнеров. Они думали, что советские женщины на рубеже 1950–1960-х годов надевали на себя нечто колючее и трещащее. Ничего подобного: первый капрон был довольно мягким, напоминал на ощупь шифон, но не мялся. В общем, историки, не выкидывайте старые вещи. При должной изворотливости ума все пойдет в дело.

Я бережно храню вышивки, сделанные моей бабушкой Екатериной Ивановной Чирковой, урожденной Николаевой. Это трогательные салфетки в форме кленовых листьев, столовые дорожки, украшенные гроздьями черной и красной смородины,



Вышитая гладью скатерть. Конец 1950-х годов.
Личный архив Н. Б. Лебиной



Образцы швов и отделок. Конец 1950-х — начало 1960-х годов.
Личный архив Н. Б. Лебиной

подушка с декором из подсолнухов и, наконец, расшитая букетами фиалок скатерть с ручной мережкой.

Было еще и изготовленное ко дню моего десятилетия в 1958 году белое полотняное платье, на котором тоже красовались нежные лилово-фиолетовые цветы. Бабушка предпочитала вышивать гладью, и так искусно, что на обратной стороне трудно найти узелки. Все эти изящные, винтажные, как теперь принято говорить, вещицы были сделаны во второй половине 1950-х. Конечно, бабушкино вдруг возникшее стремление к рукоделию проще всего объяснить тем, что она в 1955 году вышла на пенсию. Кроме того, за вышивкой было легче скротать ночные ожидания деда с работы. Сыщик с довоенным стажем, подполковник милиции, в 1950-х годах он возглавлял отдел Уголовного розыска Управления милиции Ленинградской области. О непростой судьбе деда Израиль Меттер в конце 1950-х годов написал повесть «Алексей Иванович»⁴ Служба деда была «и опасна, и трудна». Вышивка — занятие, требующее сосредоточенности, — успокаивала бабушку, а салфеточки становились украшением дома.

Не менее ценную коллекцию отдала мне в безвозмездное пользование моя школьная подруга Елена Павловна Охинченко. У нее сохранились альбомы с так называемыми образцами швов, а также многочисленные книги по рукоделию, ставшие уже библиографической редкостью.

Как историк быта с большим стажем, я прекрасно понимаю, что в каждом предмете, будь то вещь или текст, скрыт глубокий социальный смысл. Он связан не только с традициями и спецификой частной жизни, но и во многом определяется суждениями власти. Ощутимо это и в руководствах по рукоделию, и в самом хенд-мейде советской эпохи.

В 1920–1930-х годах государственные структуры, строившие в России новый быт, спокойно относились к традиционным женским занятиям — самостоятельному пошиву платья, его ремонту, а также декорированию. В условиях перманентного

товарного голода женщины Страны Советов шили, вязали и вышивали «по умолчанию». Это касается не только сельского населения, но и горожан. По данным известного социолога и статистика академика Станислава Густавовича Струмилина, в декабре 1923 года по будним дням служащие занимались починкой и шитьем одежды в течение 0,9 часа, а рабочие — 0,7 часа⁵. На развлечения они отводили значительно меньше времени. Много сил отнимала и переделка одежды. Именно эту стратегию выживания в годы нэпа вынуждена была использовать Антонина, юная героиня написанного в начале 1930-х годов романа Германа «Наши знакомые»: «Ей долго не спалось. Стараясь надышать под одеяло, чтобы скорей согреться, она думала о том, как привести в порядок свое выцветшее, короткое и вытертое пальто... Вата в пальто сбилась, подкладка протерлась, какие-то дрянные лошадиные волосы то и дело вылезали наружу. „Если кожей обшить по краям, — думала Антонина, — такой не очень толстой или даже тоненькой кожей... А что, если не кожей? — внезапно подумала она. — А что, если воротник сделать ну хоть бы из барашка, тогда ту материя, что на воротнике, можно на обшлага пустить и так придумать обшлага, чтобы они клапанами заходили на локти, получится красиво, пожалуй...“⁶ Характерной чертой внешнего облика горожан были перешитые вещи, чаще всего дореволюционная одежда. Даниил Гранин писал о временах своего детства: «Вещи в ту пору жили долго, многие дремали в сундуках, пересыпанные нафталином. В начале лета их вынимали, вывешивали во двор проветриваться. Мы, дети, сидели возле них, стерегли. Чего там только не висело: тулупы, шали, шелковые платья, френчи, будто мода ничего не могла сделать с этими прочными сукнами, бостонами, плюшами, чесучовыми пиджаками, габардиновыми плащами»⁷. В первоначальном виде носить эти вещи было уже невозможно, они не соответствовали новому жизненному темпу города. Конечно, перешивкой и «перелицовкой» занимались и профессиональные портные,

но, как правило, за хорошее вознаграждение. Выгоднее было переделать нечто старенькое самим. К тому же «профессионалы» не любили возиться со старьем и предпочитали шить из новых полноценных тканей, достать которые было не так просто. Для решения проблемы элегантности советские женщины нередко использовали экзотические вещи. Лиля Брик в 1920 году сшила себе пальто из «портьеры с бахромой», а в 1925 году с удовольствием мастерила платья из ситцевых русских платков. Изделия она украшала экзотическими самодельными пуговицами из ракушек⁸. Обшивала свое семейство и мать будущей эмигрантки, позднее профессора русского языка и литературы в Университете штата Айова Елены Скрябиной. В 1920-х годах семья члена царской Государственной думы пыталась как-то приспособиться к условиям советской жизни. Именно тогда знакомые и посоветовали заняться шитьем на заказ. «До сего времени мама, — вспоминала Скрябина, — шила только на меня, но мои туалеты в детстве славились своим изяществом. Теперь был большой недостаток в хороших портнихах. Женщины опять начали хорошо одеваться». Первой клиенткой новоявленной портнихи была «каменная баба», женщина квадратная, толстая и некрасивая. «Но что делать? — писала мемуаристка. — Нельзя было сразу отказать, когда еще другой клиентуры не было. Мать взялась за работу, и, ко всеобщему удивлению, на толстой Агафье платье выглядело даже довольно прилично»⁹.

Большинство горожанок, в особенности из числа так называемых «бывших», обучались шитью в институтах благородных девиц, в пансионах и гимназиях. Евгения Александровна Свинына, вдова члена Государственного совета, генерала от артиллерии Андрея Дмитриевича Свинына, прекрасно вышивала шелковой гладью и до революции. В начале 1920-х годов стала делать вышивки на продажу. Сначала это были церковные принадлежности. «Рукоделие, — писала она своим близким в Париж, — все время меня выручает, я вышиваю

по заказу <...> орари для диаконов, ленты, пелены, воздуха и т. д.». В годы нэпа Свиньина начала делать и вполне светские вещи: вышивки на платьях, шапочках, блузках¹⁰. Моя бабушка, родившаяся в 1900 году, все же успела до революции окончить гимназию и там научилась приемам вышивки, но никогда этим не зарабатывала, а служила по бухгалтерской части в разных конторах. Новое же поколение горожанок в советских школах 1920–1940 годов не было приобщено к шитью, вязанию, вышиванию. Власть не считала нужным осуждать женское рукоделие, но и мало что делала для его поддержки. Конечно, в советских женских журналах, которых было всего два — «Работница» и «Крестьянка», — изредка публиковали небольшие заметки о шитье, но этого было явно недостаточно.

Все изменилось в середине 1950-х. Литература, обучающая несложным приемам женского рукоделия, стала печататься массовыми тиражами. Одной из первых таких книг можно считать «Рукоделие», выпущенное в 1955 году «Учпедгизом» тиражом 350 000 экземпляров¹¹. Конечно, в издании еще встречались ссылки на труды Сталина, указывавшего, что строительство нового общества мало похоже на «райскую идиллию» и потому труд является обязанностью граждан. Но сами авторы смело утверждали, что «уже в наши дни он (труд. — Н. Л.) должен становиться все более бодрым, радостным, творческим»¹². Рукоделие и в первую очередь шитье, вязание и художественная вышивка рассматривались как часть трудового воспитания. Так власть нашла наконец пути примирения публичности — участия в строительстве коммунистического общества — и приватности — привычных женских занятий¹³. И это можно расценивать как проявление демократизма. В 1957 году вышла в свет книга «Домоводство», целью которой была «помощь женщинам в ведении домашнего хозяйства»¹⁴. Она включала главы «Кройка и шитье», «Вязание», «Ручная вышивка» — их объем составлял почти половину текста, значительно превышая размер материалов о готовке,

гигиене, воспитании детей и т. д. Тираж «Домоводства» составлял 600 000 экземпляров. Книга оказалась очень востребованной: в 1960 году появилось ее третье издание, тираж которого достиг 1 500 000 экземпляров. Всяческому рукоделию и в «Домоводстве» 1960 года отводилось много места. В это же время можно было купить и такие книги, как «Кройка и шитье» и «Кройка и шитье дома»¹⁵. Эти довольно объемные фолианты — 412 и 640 страниц — включали разделы о том, как шить платья, мужские и мальчиковые брюки, верхнюю одежду, а также белье для детей, женщин и мужчин. Изданные тиражами 200 000 и 400 000 экземпляров, книги о шитье пользовались большой популярностью. Исследуя домашний архив моей школьной подруги, я с интересом обнаружила немало литературы о женском рукоделии. В семейной библиотеке советской технической интеллигенции 1960-х годов эти книги соседствовали с классикой, фантастикой, модной поэзией.

Постепенное огосударствление женского рукоделия на начальном этапе оттепели не обошлось без идеологического прессинга. Официальная советская пропаганда в середине 1950-х еще пыталась внушить населению, что не нужно постоянно менять одежду под влиянием моды. Неудивительно, что журнал «Работница» с удовольствием опубликовал в 1955 году на своих страницах статью «Моды Чехословакии» со следующим текстом: «Наши модели не должны подчиняться капризам буржуазных модельеров, создающих модели для горстки богачей и только на один сезон. Наша мода должна быть свежей, но ее новые элементы не должны слишком резко отличаться от прежних, потому что наши женщины не будут, да и не хотят ежегодно менять свой гардероб»¹⁶. Подобное отношение к вещам оказалось вполне приемлемым для еще не очень богато живущих советских людей, которые, тем не менее, пытались как-то следовать моде. Москвичка Ирина Б. рассказывала: «Мама в шестидесятые годы покупала себе ткани в кусках. Это было дешевле. Мама шила себе сама. И под эти

костюмчики она делала себе не блузочки, а вставочки. Она покупала кусок красивого крепдешина, очень узенький, и та часть, которая была видна, была оформлена как кофточка, под брошечку какую-нибудь или с бантиком. А то, что было под костюмом, шилось из папиных старых рубашек»¹⁷. Так поступала и моя мама. Она носила на работу строгие костюмы — таков был дресс-код для преподавателей школы милиции. «Вставочки» — кружевные, клетчатые с бантом или однотонные со скромной брошью — оживляли мамины наряды.

В начале оттепели советским людям активно предлагалась идея бережливости в одежде, пропагандировались способы переделки и перекройки, приемы, известные и в 1920–1940-х годах. Но тогда роль государственных, а тем более идеологических структур в процессе самостоятельного обновления одежды была минимальной. В советском десталинизирующемся обществе дисциплинирующему воздействию в определенной мере подвергались и традиционные женские занятия. Воспитательная риторика внешне не была нарочито политизированной. Так, например, в 1958 году журнал «Работница» опубликовал статью «Как обновить платье». Автор во вполне доверительной манере писала: «Случается, что платье, которое вам особенно идет, совсем еще хорошее на вид, изнашивается на локтях, под мышками или у воротника. Часто наши дочери вырастают из платьев, не успев их износить. Перешитые платья могут выглядеть вполне модными и нарядными. Особенно важно реставрировать платья из хорошей ткани, прежде всего шерстяной. Проще всего сделать из такого платья сарафан. Если платье коротко, то юбка может быть удлинена за счет кокетки, которую рекомендуем выкроить из рукавов. Из отрезанных кусков длинных рукавов выкройте карманы, которые прикроют изношенную часть лифа. Очень жаль лишиться длинного рукава у шерстяного платья, а локти проносились. Сохранить длинный рукав в этом случае трудно, но можно сделать модный рукав три четверти. Большие возможности

для переделки платья дает комбинация с тканями других тонов. В этом случае платье может выглядеть очень нарядным. У многих женщин найдется юбка или кофта другого тона, из которой можно выкроить недостающие части модели. Можно и подкупить небольшое количество материала. Из костюмов лучше всего шить платье, так как сохранить костюм полностью, если он изношен, трудно. Если юбка у вашего костюма была в складку, то можно переделать ее в узкую, с одной складкой, а из оставшегося материала выкроить верхние половинки рукава»¹⁸. Политизацию советов по рукоделию можно усмотреть, пожалуй, лишь в том, что приемы переделки старых платьев «Работница» с удовольствием заимствовала в западной коммунистической прессе. В 1957 году в журнале появились советы, опубликованные в газете английских коммунистов *Daily Worker*. Это лишний раз должно было подчеркнуть скудность жизни простого человека в капиталистическом мире.

С развертыванием так называемого «коммунистического строительства», подразумевавшего рост благосостояния населения, идея переделки старых вещей слегка поблекла. Властные структуры стали задумываться о своеобразном «огосударствлении» и такой традиционной женской бытовой практики, как самостоятельный пошив необходимой и по возможности модной одежды. Потребность в ней советская легкая промышленность не могла удовлетворить. Медленно расширялась и сеть доступных ателье. В этой ситуации неизбежно увеличивалась значимость частных портных. Культурологи не без основания полагают, что женщины часто обращались к частным портным «не столько из-за материальной нужды, сколько из желания обрести свой индивидуальный стиль, чтобы противостоять безличности униформы»¹⁹. Ольга Вайнштейн в 1997 году провела интервью с российскими женщинами разных поколений. Темой было любимое платье и способ его обретения. Действительно, респондентки с большой теплотой отзывались о мастерах, шивших на дому. Сотрудница журнала

«Иностранная литература» Татьяна Казавчинская рассказывала о портнихе с дореволюционным стажем (в 1960-е годы очень пожилой женщине), которая являлась к клиенту на дом со своей собственной машинкой «Зингер», кроила прямо на человеке, не делая бумажных выкроек. Особенно запомнилось респондентке платье, сшитое к окончанию университета: «Был выбран плотный черный шелк в белый горошек, а с изнанки он был белый в черный горошек, я на всю жизнь это запомнила. И сшила она мне очень простое и строгое платье, как я думаю, по моде, которую носили тогда Джина Лоллобриджида, Брижит Бардо. <...> Она мне сшила платье совершенно без рукавов, с узкой проймой под самое горло, с отрезной расширенной юбкой <...> такой узенький поясик, который завязывался спереди»²⁰. Вайнштейн утверждает, что «деятельность частных портних оставалась *уникальной гендерной сферой женского самодектирования*. Относительная свобода от политического надзора, невысокие цены и ярко выраженный женский акцент в общении превратили шитье платья у портнихи в процесс привилегированного самовыражения. Многие мастерские домашних портних функционировали как неофициальные женские клубы»²¹. Я хорошо помню «тайных портних-надомниц», у которых мы с мамой заказывали вещи в 1960–1970-х годах. Своя «придворная портниха» имела в Доме академиков, где прошли мои детство и юность. Это была некая Соня, жена разнорабочего из Ленинградского административно-хозяйственного управления АН СССР и мать нашего приятеля по дворовым играм. Работая в ателье, она подхалтуривала на дому, не платя, конечно, налога. Никому из соседей «придворной портнихи» и в голову не приходило устыдить ее за это. Кому-то из моих подружек шили хозяйственные и умелые бабушки. Долго шила наряды моей лучшей подружке Ане — дочке детского писателя Бориса Марковича Раевского — ее бабушка, тишайшая и милейшая Паша Евсеевна. Позднее мы с мамой стали «одеваться» у латышки

Аусмы. Она сидела дома с ребенком и с удовольствием шила своим знакомым. Могла с легкостью, я бы сказала с «рижским шиком», скопировать любую модель.

Обувь в 1950-х годах тоже можно было заказать у частных, которые в это время начали тачать для дам так называемые румынки — «ботиночки на небольшом каблуке, со шнуровкой и отороченные мехом»²². У моей мамы были такие, сшитые на заказ. Использование услуг внесударственных мастеров описано даже в одиозном романе Всеволода Кочетова «Секретарь обкома» (1961). У родственницы главного героя Денисова — партийного босса областного масштаба — был «сапожник, тачающий ей туфли по самым модным парижским и римским моделям». Он же сшил жене секретаря обкома пригодные для загородных поездок сапожки за пять дней, мотивировав столь «долгий срок» тем, что товар должен «сесть на колодки»²³.

И все же идеологическое руководство страны упорно старалось уничтожить индивидуальную трудовую инициативу в сфере быта. В постановлении ЦК КПСС и Совета министров от 6 марта 1959 года прямо указывалось: «Отставание в деле организации бытового обслуживания населения вынуждает трудящихся прибегать к услугам частных лиц, переплачивать им, чем наносится большой ущерб интересам населения и государства»²⁴. Через три с небольшим года, в августе 1962 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР, рассматривая вопрос о дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения, вновь отмечали, что «неудовлетворительная организация обслуживания населения в существующей сети ателье, павильонов и мастерских вынуждает обращаться к услугам частных лиц»²⁵. Надомники — и портные, и сапожники — рассматривались как некий пережиток прошлого, тормозящий продвижение к коммунизму. Отчасти и для ликвидации этого слоя, занимавшего вполне определенную нишу в советском быту, власть решила способствовать развитию советского хенд-мейда.

С середины 1950-х годов широкое распространение приобрела продажа готовых выкроек, которые издавались домами моделей. Правда, на первых порах понравившиеся женщинам, особенно жительницам провинциальных городов СССР, чертежи для домашнего шитья достать было нелегко. В 1957 году журнал «Работница» опубликовал фельетон с забавным названием «Беспризорные выкройки». В нем рассказывалось о некой Анне Петровне, которая с удовольствием занимается в кружке кройки и шитья. Для нее готовые выкройки были выходом из положения — можно было без особого труда сшить обновку себе и детям. Однако на письменную просьбу женщины выслать ей по почте продукцию Московского дома моделей пришел довольно жесткий ответ: «Уважаемая Анна Петровна! Высылкой выкроек Дом моделей не занимается. Если будете в Москве, можете купить у нас, в Доме моделей». Явно сказывались ведомственные неувязки, неясно было, в чьем подчинении находится распространение выкроек: Министерства легкой промышленности или Министерства торговли²⁶. В Москве и Ленинграде все решалось проще. Специальную серию альбомов для самостоятельного шитья стала издавать в конце 1950-х годов опытно-техническая швейная лаборатория Управления швейной промышленности Мосгорисполкома. В семейном архиве моей приятельницы нашелся один такой альбом. В нем предлагались выкройки платьев для полных. В издании детально прописывались не только тонкости раскроя, но подробности обработки швов, пройм, поясов, карманов и т. д.²⁷ Женщины с большой охотой покупали и руководства по самостоятельному шитью, выпускаемые Ленинградским домом моделей (ЛДМ). В 1959 году ЛДМ опубликовал 14 альбомов выкроек тиражом 400 000 экземпляров, а в 1962 году уже вдвое больше²⁸. Семейный архив как источник для микроисследования рукоделия в советском городском социуме подтверждает востребованность такой литературы. Мама моей школьной подруги, успешный инженер-связист Специального

конструкторского бюро радиозавода имени Н. Г. Козицкого, училась на курсах кройки и шитья. Естественно, что она покупала эти альбомы с завидным постоянством. Сохранилось три таких издания, относящиеся к 1960-м, вышедшие в 1961, 1965 и 1968 годах. Тираж альбомов постоянно возрастал: в 1961 году он составлял 25 000 экземпляров, в 1965-м — 40 000, в 1968-м — 50 000²⁹.

С середины 1950-х стал систематически печатать различные материалы, помогавшие женщинам научиться шить самостоятельно, и журнал «Работница». Он публиковал множество выкроек модных по тому времени вещей. А с 1960 года в средних школах был введен для девочек специальный предмет «Домоводство»: обучение навыкам шитья занимало в нем важное место. Это обеспечивало выведение хенд-мейда из сферы приватности и изменение его определенного социального статуса. Одновременно власть пыталась обеспечить население швейными машинками, которые в СССР считались большим дефицитом. Доклады статистических управлений, поступавшие в ЦСУ СССР, фиксировали следующие случаи, относящиеся к самому началу оттепели: «С помощью милиции и все-таки буквально в драку производится продажа швейных машин, поступающих в ростовский универмаг в очень ограниченных количествах». Стремление приобрести машинку приводило к спекуляции. В Сталинграде, например, еще до его переименования в Волгоград, по данным ЦСУ СССР, ручные швейные машинки фирмы «Зингер» с большим процентом износа стоили на рынке 800–850 рублей. В государственной торговле их цена составляла 600–640 рублей (в ценах 1947 года). На рубеже 1950–1960-х годов в СССР было налажено производство первых советских электрических швейных машинок, но они поначалу казались очень дорогими — 120 рублей (в ценах 1961 года). Для сравнения — буханка черного хлеба стоила 12 копеек. С 1962 года по инициативе Министерства торговли РСФСР столь необходимые предметы быта стали продаваться

в кредит³⁰. Именно тогда в родительском доме появилась электрическая «Тула». Помню, как мы с мамой несли из магазина чемоданчик зеленого цвета, в который, как в коробку, складывалась машинка. Она «умела» множество операций, вплоть до вышивки. Но и мама, и я освоили только самое примитивное шитье. «Тула» помогла мне успешно пройти обучение домоводству, а кроме того, на ней ушивались юбки, прострачивались занавески и что-то еще простенькое. В общем, вещь оказалась нужная в хозяйстве. В доме моей подруги Лены машинка работала без устали: «самостроком» изготавливались и платья, и юбки, и, судя по сохранившимся выкройкам, даже пальто, правда без подкладки. Тканей в СССР выпускалось достаточно, и неудивительно, что к концу оттепели многие советские женщины шили самостоятельно с полного благословения властных структур.

Похожим образом развивалась и ситуация с вязанием. В середине 1950-х годов журнал «Работница» часто помещал материалы о штопке и надвязывании вещей. Пример — статья Марии Гай-Гулиной «Совсем как новая» в одном из номеров журнала за 1956 год. Автор предлагала целую систему работы с изношенными вязаными вещами: «После умелого и тщательного ремонта кофточка будет выглядеть как новая, а аккуратно надвязанные носки и перчатки смогут еще долго прослужить своей хозяйке. <...> Штопка иглой — довольно скучное и трудоемкое занятие. Немногим больше времени требуется для надвязывания, причем этот способ ремонта гораздо красивее и практичнее, чем штопка. <...> Никогда не нужно выбрасывать негодные для ремонта старые вязаные шерстяные вещи: даже от самых изношенных из них всегда останется часть шерсти, пригодная для перевязывания во что-нибудь меньшего размера или для создания новой вещи, скомбинированной с шерстью другого цвета. Почти в каждом доме найдутся хотя бы две разрозненные шерстяные перчатки, которые валяются без пользы и только занимают место, тогда как

из них легко можно собрать новую пару. <...> Очень красивые перчатки получаются из сочетаний синего и серого цвета, коричневого и зеленого, черного и серого и т. п. При этом можно сделать ладонь одного цвета, а верхнюю часть перчатки — другого»³¹. Уже в конце 1950-х появились специальные пособия для полноценного вязания. Их я тоже обнаружила в архиве семьи Охинченко. Это альбом «Вяжите сами», изданный в Москве в 1956 году тиражом 50 000 экземпляров, и пособие «Учись вязать», появившееся двумя годами позже и имевшее тираж 200 000 экземпляров³². К началу 1960-х в журнале «Работница» появилось много материалов по вязанию. Занятие стало вполне одобряемым и поддерживаемым властью, хотя купить достойную шерсть по-прежнему было нелегко. В нашей семье вязание не прижилось. Ни бабушка, ни мама, ни я не могли похвастаться тем, что сами смастерили при помощи спиц или крючка хотя бы шарфы для своих мужей. Нам, пожалуй, более близка была по духу практика, которую в начале 1960-х годов реализовал Анатолий Александрович Собчак. Тогда в относительно свободной продаже появились индийские мохеровые пледы. Преподавателям Ленинградской школы милиции, где трудилась моя мама, удалось купить несколько таких пледов очень благородной расцветки — белосерый фон пересекали редкие серо-черные полосы. Собчак, подрабатывавший в милицейской школе на полставки, читая гражданское право, тоже купил себе плед. А через несколько дней явился на занятия в шикарном мохеровом шарфе. Вскоро в таком же шарфе появилась преподавательница Лидия Борисовна Алексеева, мать известной писательницы Александры Марининой. Алексеева и Собчак были почти ровесниками и дружили. По-дружески они и разрезали плед на шарфы. Получилось очень элегантно.

Мода на вышивание оказалась недолговечной. В начале хрущевских реформ журнал «Работница» еще рьяно пропагандировал вещи и предметы домашнего обихода, украшенные

вышивкой. С особым рвением жителям огромной многонациональной страны предлагалось носить вышиванки, что было, по-видимому, созвучно эстетическим пристрастиям нового политического лидера страны Хрущева. Историки моды позднее писали, что сложный декор костюма напоминал «фасад зданий тех (сталинских. — Н. Л.) времен с характерной помпезностью и украшательством»³³. В строительстве и архитектуре «излишества» и чрезмерная пышность были быстро разрушены благодаря усилиям того же Хрущева. В одежде и в убранстве жилища «гламур», в частности вышивка, просуществовал до конца 1950-х годов. «Работница» печатала образцы вышивок, издавались и альбомы рисунков для вышивания тиражом не менее 50 000 экземпляров³⁴. В пособии, которое было у матери моей школьной подруги, предлагались образцы дорожек, салфеток, подушек, скатертей, летнего пальто, тюбетеек, штор. Особенно интересны рисунки для портьер пионерской комнаты и скатерти для торжественных заседаний. Много было и цветочных композиций. Возможно, и моя бабушка черпала свое рукодельное вдохновение из похожего издания, но я пока не нашла оригиналов рисунков ее вышивок.

В начале 1960-х годов в моде возобладал минимализм. Молодое поколение отождествляло тяжелые занавеси и портьеры, бархатные скатерти и всякого рода салфетки с наследием сталинского режима. Прошло и увлечение вышивкой как предметов быта, так и платьев, блузок, рубашек. Журнал «Работница» писал в 1961 году: «Ушли в прошлое рюши, оборки, цветные вышивки, фестоны и т. д. Сейчас модны простые, красиво сочетающиеся с платьем отделки»³⁵. Я быстро выросла из полотняного платья, искусно вышитого бабушкой. А она, не любившая, по ее выражению, «ездить в карете прошлого», утратила интерес к изящному рукоделию и даже убрала подальше салфеточки, скатерть, дорожки. Возможно, поэтому они сохранились и ныне стали вещественным источником — хенд-мейдом, свидетельствующим о переменах в советской повседневности.

СМЕРТЬ

Смена обрядов перехода: секуляризация бытовых норм

Слово «смерть» в 1917–1991 годах, конечно, не претерпело никаких изменений в сравнении с тем, как оно толковалось в лексике дореволюционной России. Именно поэтому вполне логично его отсутствие в «Толковом словаре языка Совдепии». Но картина быта советского города будет неполной без упоминания о церемониях, сопровождающих уход в «мир иной». Ведь они свидетельствуют об уровне развития цивилизации, об особенностях ее нравственно-политических ориентиров. То же можно сказать и о значимости обычаев, связанных с появлением человека на свет. Ритуалы, сопровождающие смерть и рождение, так называемые обряды перехода, претерпели изменения в новой социальной ситуации, порожденной приходом к власти партии большевиков.

В России задолго до событий 1917 года сложились представления о духовной значимости, биологической сущности и социальном статусе смерти. Похоронные церемониалы в подавляющем большинстве случаев регулировались положениями «обычного права» Русской православной церкви. Даже в крупных городах накануне 1917 года 90% умерших хоронили по религиозным обрядам, а могилы были персональными с обязательным крестом. Кладбище, таким образом, было практически единственным местом для упокоения останков человека. Вне кладбищенского пространства оказывались тела

самоубийц. Государственный и православно-религиозный подходы в нравственной оценке суицида и особенностях «обряда перехода» для самоубийц совпадали. Согласно действовавшему в начале XX столетия российскому законодательству, а именно статье 1472 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (1845), самоубийство влекло за собой недействительность завещания умершего и лишение его христианского погребения.

После прихода к власти партия большевиков стала контролировать те сферы жизни, которые ранее входили в «обычное право» церкви, — в том числе, конечно, обрядность смерти и рождения. Согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» регистрация случаев смерти в церкви прекращалась и передавалась местным органам власти — советам. Произшедшие изменения законодательства, в частности отмена всех правовых актов царской России, повлияли и на властные представления о суициде. С юридической точки зрения советский строй на первых порах был терпим к людям, добровольно ушедшим из жизни. Однако подобная терпимость носила антиклерикальный характер.

Отстранение духовенства от сопровождения смерти человека в результате болезней или несчастных случаев спровоцировало появление новых форм обрядов перехода. К началу XX века христианская ритуалистика похорон уже претерпела серьезные изменения в мире: в Европе и Северной Америке появились официальные крематории. Это рационализировало похоронный церемониал и меняло содержание символической значимости огня, который в христианских представлениях доиндустриального времени никогда не рассматривался как способ погребения.

В России модернизационные процессы шли медленно. Однако в среде интеллигенции идеи модернизации и секуляризации не только бракосочетания, развода и фиксации рождения, но и погребения были уже достаточно популярны. Не случайно

еще в 1909 году специально созданная при Святейшем синоде комиссия составила «Заметку о сожигании трупов с православной церковной точки зрения». В документе указывалось: «Самым естественным способом погребения признается предание трупов земле. <...> предание тела близкого не земле, а огню представляется по меньшей мере как своеволие, противное воле Божией, и дело кощунственное»¹. И все же накануне Первой мировой войны власти Петербурга, обеспокоенные бурным ростом населения города, попытались внедрить практику кремации. Комиссия народного здоровья при Государственной думе даже рассматривала законопроект постройки крематория. Идея была одобрена Министерством внутренних дел, но встретила сопротивление представителей Синода. Они не приняли во внимание даже сделанную в законопроекте оговорку о том, что сжиганию могли подвергаться лишь покойники тех вероисповеданий, где допускался подобный способ погребения, или при жизни выразившие желание быть кремированными.

Крематорий в России построен не был, хотя санитарно-гигиеническая потребность в нем ощущалась. Кроме того, война с ее неизбежными жертвами диктовала необходимость изменения отношения к смерти. Неудивительно, что сразу после Февральской революции деятели культуры и искусства, сотрудничавшие с Временным правительством, всячески настаивали на том, что похороны жертв революции «должны быть всенародные, общегражданские (без церковного обряда, каковой будет совершен родственниками убитых по их усмотрению)»². Писатель Федор Сологуб писал по этому поводу: «Конечно, похороны должны быть гражданскими, вне вероисповедания, так как хоронить придется людей разных исповеданий, людей верующих и <...> совершенно равнодушных к вопросам религии. И в этом единении святость, в нем высшая праведность человеческой души. <...> Мы, косневшие в оковах смрадного быта, их смертью искуплены для <...> светлого будущего»³. Таким образом, сразу после свержения царизма произошли первые

официальные гражданские похороны в России. Идею же кремации как знакового выражения новых обрядов перехода реализовали уже большевики. В системе ранних большевистских ценностей культы разрушения, огня и сжигания имели особое место, понятие же кладбища с его многовековой традиционностью рассматривалось как некая феодально-буржуазная архаика⁴. Крематорий и в символическом, и в практическом смысле стал большевистской мечтой. Неудивительно, что в декрете СНК РСФСР от 7 декабря 1918 года «О кладбищах и похоронах», зафиксировавшем акт передачи институций смерти в ведение местных «совдепов», упоминались не только кладбища и морги, но крематории⁵. На момент появления декрета их в России еще не существовало.

Внедрение трупосжигания в похоронную обрядность большевики рассматривали как часть антирелигиозной кампании. Журнал «Церковь и революция» в 1920 году объявил конкурс проектов первого в Советской России крематория, который большевистские лидеры именовали «кафедрой безбожия». В это же время Лев Троцкий выступил в прессе с серией статей, в которых призвал всех лидеров советского правительства завещать сжечь свои тела⁶. В архитектурной и культурологической литературе бытует представление о том, что в СССР первый крематорий появился в Москве в 1927 году. Однако на самом деле новые нормы погребения, как и сама советская власть, зародились в Петрограде. В феврале 1919 года местные петроградские власти создали Постоянную комиссию по постройке Первого Государственного крематория. В состав комиссии, которую возглавил большевик Борис Каплун, вошли Леонтий Бенуа, Давид Гримм, Лев Ильин и другие известные деятели петербургской/петроградской культуры. Был организован конкурс на лучший проект крематория. Участники соревновались по двум направлениям: «составление проекта печи для сжигания человеческих трупов» и «составление проекта крематориума»⁷. Архитектурная часть программы

конкурса давала подробное описание всех необходимых помещений. В их ряду упоминались «2–3 комнаты для священнослужителей (курсив мой. — Н. Л.), каждая по 5–6 кв. саж.» и «комната для певчих 10–12 кв. саж.»⁸. Для части интеллектуалов, таким образом, вопрос о форме «огненного» захоронения не нес уже никакого кощунственного контекста. Более того, они допускали слияние традиционной православной культуры похорон и новой, советской.

Постройка печи для кремации казалась интересным творческим проектом, участие в котором позволяло выдвинуть и реализовать новые способы сохранения памяти усопших. Казимир Малевич в статье, опубликованной в газете «Искусство коммуны» в начале 1919 года, писал: «Сжегши мертвеца, получаем 1 грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке могут поместиться тысячи кладбищ»⁹. Организаторы конкурса предусмотрели систему премирования участников, что было актуально в условиях военного коммунизма. Питерский художник Юрий Анненков получил заказ нарисовать обложку для «рекламной брошюры» будущего сооружения. Позднее он вспоминал: «В этом веселом „проспекте“ приводились временные правила о порядке сожжения трупов в „Петроградском городском крематориуме“ и торжественно объявлялось, что „сожженным имеет право быть каждый умерший гражданин“»¹⁰. В середине мая 1919 года Постоянная комиссия «по постройке крематориума» отмечала, что желание участвовать в конкурсе выразили более 200 человек и что «проявление столь большого интереса возможно объяснить лишь назревшей потребностью в осуществлении идеи кремации трупов»¹¹. Одновременно организаторы конкурса вынуждены были признать, что «сложившиеся обстоятельства поставили комиссию в весьма тяжелое положение: приближается срок представления конкурсных проектов, а комиссия не располагает средствами даже в размере, необходимом для выплаты назначенных премий и производства необходимых

работ, которые связаны вообще с детальной разработкой проектов»¹². Но первоначальные средства, по-видимому, нашлись, и состязания продолжились. Победителем вышел Иван Фомин — автор проекта «Неизбежный путь». Местом постройки крематория была выбрана территория Александро-Невской лавры, что возмутило верующих и представителей петроградской епархии. Лишь нехватка средств и рабочих рук помогла остановить этот акт вандализма.

И все же от идеи спешно ввести в традицию сожжение усопших власти не отказались. Первый советский крематорий начал действовать в наспех переоборудованном здании старой петербургской бани. Очевидцы рассказывали: «Баня кое-где облицована мрамором, но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того чтобы сделать потолки сводчатыми, устроены арки — из... дерева... Стоит перегореть проводам — и весь крематорий в пламени»¹³. Обновленные печи, пригодные для кремации, спроектировал профессор Горного института Вячеслав Липин. В 1921 году он издал брошюру под названием «Регенеративная кремационная печь „Металлург“ системы проф. В.Н. Липина в Петроградском Крематории». По данным автора брошюры, первое сжигание было проведено 14 декабря 1920 года.

Существуют сведения о том, что первого покойника, труп которого предстояло предать огню, торжественно выбрали в городском морге. В этом принял активное участие сам глава комиссии Каплун и приглашенные им Николай Гумилев, Анненков и некая юная особа, имя которой неизвестно. Возможно, это была балерина Ольга Спесивцева¹⁴. По свидетельствам очевидцев, обстановка в псевдокрематории была угнетающей. Корней Чуковский писал в своем дневнике 1 января 1921 года: «Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивают места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах»¹⁵. И все же

процедура сжигания, столь отличная от традиционного захоронения, влекла своей таинственностью, о чем, в частности, свидетельствуют визуальные материалы.

По данным профессора Липина, печь проработала примерно 2 месяца. За это время было кремировано около 400 усопших, в основном неопознанные трупы или тела умерших от тифа в больницах. В марте 1921 года крематорий прекратил работу. Каплун пытался как-то исправить положение, но средств явно не хватало, а с введением нэпа угас и интерес архитекторов и инженеров к идее создания в России системы кремации. Стремление разрушить привычный ритуал похорон следует рассматривать как выражение антирелигиозной политики большевиков в условиях экстраординарности военного коммунизма.

С переходом к нэпу население забыло о «всеобщем праве» быть сожженным. Кремация не стала распространенным ритуалом. Захоронения осуществлялись обычным путем, на кладбищах. Однако именно в первой половине 1920-х годов идеологические структуры предприняли попытки полностью секуляризировать то, что называлось обычным правом церкви, и ввести обряд «красных похорон».

О необходимости создания новых форм сопровождения человека в «иной мир» в 1920-х годах писали не только лидеры большевиков, но и литераторы-публицисты. Викентий Вересаев, выступая в ноябре 1925 года в Государственной академии художеств, заявил: «Нельзя новых людей хоронить по-старому»¹⁶. Чуть позже в брошюре «Об обрядах новых и старых» (1926), характеризуя новые похороны, он писал: «Похороны уже самых рядовых, простых граждан: какое тут непреходимое убожество, какая серость и трезвость обряда! И какая недоуменная растерянность присутствующих! Приходят люди — и решительно не знают, что им делать. Чувство, которое привело их к гробу, остается неоформленным, путей для его проявления не дается. В лучшем случае — плохенький,

полулюбительский оркестр и опять — речи. Но что же можно сказать такого, что действительно бы потрясло сердце, о рядовом враче, транспортнике или металлисте? Будет набор напыщенных и преувеличенных похвал, которые будут только резать ухо своей фальшивостью»¹⁷. Литератор считал необходимым создать для советских похорон «нечто разнообразное, сложное и величественное».

По сути своей эти высказывания носили антиклерикальный характер. Часть городского населения была готова к смене обрядов, связанных со смертью близких. В 1925 году без участия священников в Москве прошло 40% похорон¹⁸. Похороны моего деда, маминого родного отца, умершего от воспаления легких в 1928 году, проходили по церковному обычаю. Мама хорошо запомнила процедуру отпевания, во время которой она больше всего боялась, что священник ударит кадилом отца по лбу. Неприятное впечатление на нее произвели и поминки: все почему-то ели, хотя, по мнению ребенка, надо было горько плакать.

В годы нэпа, если судить по практикам нашей семьи, почитание могил внешне не было утрачено. Моя бабушка, пока не вышла замуж вторично, постоянно посещала могилу мужа на Новодевичьем кладбище, брала с собой маму. Но на советских погостах царил дух «нового коммунистического равенства» перед вечностью. Всюду появились специальные «коммунистические площадки», которые особенно тщательно убирались и охранялись. При этом власти нередко попирали народные представления о правилах захоронения. Прямо перед папертью Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, например, с середины 1920-х годов стали размещать могилы крупных партийных и советских работников. Здесь в 1929 году была похоронена Злата Лилина — жена Григория Зиновьева, одна из ярых гонительниц церкви. В то же время старые захоронения приходили в упадок. Это произошло и с могилой моего родного деда. Наверное, во искупление этого факта, во многом

порожденного новой обрядностью, мы с мужем ревностно ухаживаем за местом захоронения моего приемного деда Николая Ивановича Чиркова, умершего в 1977 году. Там, где покоятся его останки, на Охтинском кладбище Петербурга, в очень «ленинградском» месте, удалось предать земле и урны с прахом моих бабушки, отца и мамы, ушедших из жизни в 1984, 1985, 2013 годах. Их мы уже хоронили, используя услуги крематория. В Ленинграде он был построен в 1973 году, и к середине 1980-х годов многие горожане выбирали «обрядность красного огненного погребения».

В Москве после неудачного питерского эксперимента 1919–1921 годов идеи кремации возродились раньше, на рубеже 1920–1930-х. В то время было объявлено форсированное построение социализма, а антицерковная политика усилилась. В 1927 году в Москве, в здании Серафимовской церкви Донского монастыря, начал действовать крематорий, который долгое время считался первым в России. Одно из монастырских зданий, отведенное под новое погребальное учреждение, перестроили по проекту архитектора Дмитрия Осипова. Власти активно содействовали развитию кремации — было даже создано Общество развития и распространения идей кремации в РСФСР. Крематорий сразу превратился в московскую достопримечательность. О нем с охотой писали в советской прессе, расценивая новую погребальную технологию прежде всего как антирелигиозный элемент урбанистической культуры и способ рационального подхода к решению гигиенических проблем городов. «Крематорий — это конец мощам нетленным и прочим чудесам. Крематорий — это гигиена и упрощение захоронений, это отвоевание земли у мертвых для живых», — можно было прочесть в популярном журнале «Огонек» в 1927 году¹⁹ Филолог Юрий Щеглов, создавший уникальные комментарии к романам Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», очень точно заметил: «Кремация вливается <...> в ежедневный дискурс, к ней вырабатывается своего рода

черно-юмористический подход, и само слово „крематорий“ <...> начинает звучать шуткой»²⁰. На Западе кремация в 1920–1930-х годах рассматривалась как благопристойная норма похорон. В советском же быту трупосжигание было способом обезличивания человеческих останков, даже их возможной массовой утилизации в виде пепла. Действительно, внедрение кремации породило волну анекдотов. В 1927 году популярной была следующая шутка: «В Москве открылся крематорий. Похороны, муж несет урну. Гололед, дворники не посыпают улицы песком, очень скользко, трудно идти. Муж говорит: „Великое дело — крематорий. Теперь можно сыпать под ноги пепел. А вы представляете, от трупа не было бы никакого прока“»²¹. Смерть человека стала презентоваться в уничижительном контексте, в особенности если уход из жизни сопровождался старыми обрядами. Это невольно порождало пренебрежение к «отеческим гробам». А всероссийский фарс вскрытия мощей, проведенный на государственном уровне, повлек за собой волну актов надругательства над обычными людьми. К концу 1920-х в первую очередь в среде молодежи стала пользоваться поддержкой политика государства по уничтожению не только церквей, но и кладбищ. Опрос 1929 года зафиксировал множество предложений вообще сровнять с землей места захоронения предков, «а на месте кладбищ разбить парк... с театром, кино и культурными развлечениями»²². Настроения эти, несомненно, носили антиклерикальный характер, как и «красные крестины» или «звездины» — еще один советский обряд перехода.

Накануне революции даже в крупных городах 100% семей рабочих крестило свое потомство в церкви²³. Согласно декрету ВЦИК и СНК от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», фиксация рождений в церкви не имела юридической силы. Этими вопросами стали заниматься ЗАГСы. Так разрушался порядок религиозного освящения одного из важнейших обрядов перехода.

Документы о рождениях и смертях, выданные церковью после декабря 1917 года, новая власть считала неправомерными, но сам факт крещения оставался существовать в приватной сфере. Кстати сказать, именно поэтому моя мама считалась незаконнорожденной. Факт ее появления на свет в ноябре 1920 года был зафиксирован лишь при крещении в церкви. Кроме того, мамины родители были лишь венчаны, что в новой социальной действительности не порождало никаких прав супругов.

В период военного коммунизма даже городское население по инерции все же обращалось в церковь при появлении в семье детей, однако с переходом к нэпу крестить детей стали реже. В 1922–1924 годах в Москве, например, в церквях получили свои имена вместе с крестильными крестиками уже лишь 70% всех родившихся младенцев, а в 1928-м — уже всего 57,8%²⁴. Примерно такая же картина наблюдалась и в других промышленных центрах. Так, в Череповце в 1925 году было крещено в церкви менее половины новорожденных²⁵. Не отмененный нормативным путем акт крестин фактически превращался в асоциальное действие — благодаря внедрению сугубо гражданских документов, фиксировавших рождение в СССР. Одновременно пытались сконструировать новые обычаи — «красные крестины» или «звездины». Их обычно проводили в заводских клубах. Родителей с новорожденными встречали руководители партийных и комсомольских ячеек — члены так называемых крестильных комиссий. Нередко на «звездины», или «красные крестины», приезжали и видные государственные деятели. Существует фото, запечатлевшее Анатолия Луначарского в роли «красного крестного отца». В ходе новых обрядов по аналогии с крещением давали имена, или, используя новую лексику, «звездили» младенцев. На Лысьвенском заводе (Урал), в конце 1923 года, как сообщала газета «Юношеская правда», «комсомольцы „озвездили“ сразу одиннадцать человек. Все новорожденные в присутствии более 2000 зрителей <...> записаны кандидатами в комсомол сроком на 14 лет,

то есть до 1937 года»²⁶. Имена, получаемые при «звездах», были довольно необычными. В 1920-х годах появились дети, названные Революцией, Октябриной, Владленом, Никленом, Баррикадой, Рэмом («революция, электрификация, машиностроение»), Кларой, Розой, Маратом. На новые имена мгновенно отреагировал городской фольклор. В дневнике украинского общественного и культурного деятеля Сергея Ефремова (1876–1939), который он вел с 1923 по 1929 год, есть такой анекдот: «Справляют „звездины“ над девочкой. — Какое же имя дать? Предлагают „Ленинина“ — очень затаскано; „Звездина“ — что-то не нравится; „Октябрина“ — тоже много уже их развелось; „Жовтина“ — фе. „Ну, тогда пусть будет Трибуна“. — „Так тогда же на нее всякая сволочь будет лазать!“ — возмутилась мать»²⁷. Крестильные комиссии иногда «звездили» уже зарегистрированных в ЗАГСх младенцев. С 1925 года инициатива ответственности стала регламентироваться циркуляром НКВД. Родители должны были зафиксировать новое, революционное имя своего ребенка в государственных инстанциях, представив справку об акте «звездения»²⁸. Изменения в документы вносились лишь в том случае, если со времени регистрации в ЗАГСе прошло не более трех лет. Разновидностью красных крестин считались «октябрины» — так чаще всего называли обряд переименования взрослых людей, нередко проходивший в коммунах. Деятельность «октябринных» комиссий в данном случае, по мнению современников, «была продиктована фантазией и побуждением молодежи придумать в быту коммуны что-то новое. Комиссия подбирала и присуждала каждому члену коммуны новое короткое имя, отражающее совокупность индивидуальных черт и наклонностей вместо общепринятого обращения по имени и отчеству»²⁹.

Мой свекор, рожденный 6 ноября 1925 года, был назван Никленом. Расшифровку этого имени мы связываем с несколько вольным толкованием одного из многочисленных псевдонимов В. И. Ленина — Н. (возможно, Николай. — Н. Л.) Ленин.

Такое имя ребенку, по семейной легенде, дала мать Ольга Захаровна Годисова (1899–1944), член РСДРП(б) с апреля 1917 года. Не все детали трагической судьбы этой женщины мне ясны. Знаю, что она в детстве и юности жила в Тобольске. Большая еврейская семья не бедствовала. Все сестры учились в гимназии, но популярные тогда социал-демократические кружки явно вскружили им головы. Одна из сестер, большевичка Любовь (возможно, Хава. — *Н. Л.*) Захаровна полностью отдалась делу Революции. 2 июня 1919 года она была казнена в Омске колчаковской контрразведкой³⁰. Об Ольге официальных сведений обнаружить пока не удалось. Возможно, когда-нибудь найдется время и на этот сюжет из нашей семейной истории, тем более что в моем распоряжении оказались письма Ольги Захаровны к сыну Никлену, датированные 1942–1944 годами. Среди них есть информация и о дедушке моего мужа Петре Николаевиче Комиссарове (скорее всего, псевдоним. — *Н. Л.*), тоже большевике. Судя по письмам, он родился в 1890–1892 годах. Рано начал работать и «одновременно сдавал экстерном за отдельные классы гимназии (не сразу), потом поступил в Университет, закончил физико-математический факультет и не закончил историко-филологический (по случаю войны 1914 г.). В 1914 году направлен был в училище и воевал четыре года прапорщиком и подпоручиком»³¹. В партию большевиков Петр Николаевич вступил в 1920 году, а в 1923-м встретился с Ольгой Годисовой. Так начала скрещиваться русско-татарская кровь с еврейской, что очень типично для времени революции. Но в 1926 году дед и бабушка расстались, о чем Ольга Захаровна пишет своему 18-летнему сыну, решившему вступить в ряды ВКП(б): «У твоего отца было серьезное преступление перед Партией, перед страной. Он в свое время свернул с дороги <...> он был единомышленником троцкистов — это пятая колонна!»³² В 1934 году деда моего мужа, русского интеллигента, увлекшегося революцией так же страстно, как еврейская девушка из Тобольска, осудили и отправили в лагерь. Оттуда

он попросился на фронт и в марте 1942 года погиб. Ему было уже за пятьдесят...

Возможно, этот сюжет покажется чрезмерно длинным для этюда, посвященного новой советской обрядности. Я бы могла с этим согласиться, если бы не трагическая гибель бабушки моего мужа. В апреле 1944 года, почти сразу после своего дня рождения, Ольга Захаровна Годисова застрелилась. Из писем знаю, что в течение десяти лет она тяжело болела. Видимо, у нее были серьезные причины для добровольного ухода из жизни. Ведь ей, старой большевичке, было известно, как относились к самоубийцам во времена сталинского большого стиля.

Либеральное восприятие суицида, характерное для первых лет революции, завершилось при переходе к нэпу. С 1 января 1922 года по указанию Центрального статистического управления и Наркомата внутренних дел учреждения, регистрирующие случаи смерти, стали составлять специальный статистический листок на каждый случай суицида. Сектор социальных аномалий в Отделе моральной статистики ЦСУ особо отметил «важное значение постановки вопроса о самоубийствах в целях изучения этого ненормального явления личной и общественной жизни»³³. В 1923–1924 годах органами статистики был зафиксирован рост числа самоубийств среди членов РКП(б). По этому поводу видный партийный публицист Емельян Ярославский, по иронии судьбы близкий друг Ольги Захаровны, заявил в октябре 1924 года: «Кончают самоубийством люди усталые, ослабленные. Но нет общей причины для всех. Каждый отдельный случай приходится разбирать индивидуально»³⁴. В 1925 году среди умерших большевиков суициденты составили 14%, и это уже была тенденция³⁵. Ведь обычно самоубийства в городах составляли менее 1% всех случаев смерти. В декабре 1925 года Ярославский уже счел необходимым указать, что сами лишают себя жизни лишь «слабонервные, слабохарактерные, изверившиеся в мощь и силу партии»³⁶.

Летом 1926 года в Ленинграде прошло специальное обследование случаев самоубийств среди молодежи. Выяснилось, что молодые люди добровольно уходили из жизни «из-за любви», «из-за постыдной болезни», «ссоры с родителями» и т. д. Однако организаторы обследования сделали из этих фактов сугубо политизированный вывод: средний самоубийца является «законченным типом, интеллигентом-нытиком, склонным к самобичеванию»³⁷. С позиций власти главной причиной добровольного ухода из жизни в конце 1920-х годов считался «отрыв от коллектива»³⁸.

С начала 1930-х властные и идеологические структуры стали скрывать сведения о самоубийствах. Прекратил работу существовавший при ЦСУ СССР сектор социальных аномалий, где в 1920-е изучались причины добровольной смерти людей. А в эпоху большого стиля о суициде перестали писать не только в научно-публицистической, но и в художественной литературе. Резкой критике был, например, подвергнут вышедший в 1934 году роман Вересаева «Сестры» за то, что его главный герой, рабочий парень Юрка, повесился под впечатлением от методов раскулачивания. Отражением официального отношения к суициду стала книга Николая Островского «Как закалялась сталь», в которой добровольный уход из жизни расценивался как предательство революции. Партийные и советские органы внимательно следили за самоубийствами членов партии. В Ленинграде факты суицида, фиксируемые милицией, систематически рассматривались обкомом ВКП(б) и лично Андреем Ждановым. Суицид партийца в обстановке политического психоза, раздувавшегося в стране в 1930-х годах, рассматривался как дезертирство и даже как косвенное доказательство вины перед партией. Неудивительно, что самоубийцы, желая как-то оправдать свой поступок, оставляли странные с точки зрения современного человека предсмертные записки. Зимой 1937 года в одной из ленинградских больниц застрелился пациент, член ВКП(б) с 1905 года. Обращаясь к обкому партии большевиков,

он написал: «В моей смерти прошу никого не винить. Мучительные физические боли не дают мне возможности переносить их дальше. Политики в моей смерти не ищите, бесцельно. Был постоянно верен своей партии ВКП(Б) и остался верен. А Великому Сталину сейчас как никогда нужно провести твердый и решительный разгром всех остатков вражеских партий и классов. Никаких отступлений. Жалею, что меня покинули силы в этот момент. Поддержите все же, если сможете, товарищи, материально и морально семью мою. Прощайте. Счастливо и радостно стройте свою жизнь. Рот фронт»³⁹.

Властным и идеологическим структурам удалось внедрить в сознание советских людей суждение о самоубийстве как о предательстве дела социализма, почти как о преступлении. Этому отчасти способствовала «культурологическая подсказка» — наличие религиозного представления о греховности акта самостоятельного и добровольного ухода из жизни. Конечно, в семьях самоубийц тоже горевали о потере. Просто причину смерти в этом случае старались скрывать. Мой свекор Никлен Петрович Годисов получил, судя по сохранившимся письмам, известие о кончине матери от «сердечной недостаточности». О самоубийстве Ольги Захаровны он узнал лишь после похорон, которые прошли без него. Замалчивание суицида в советском обществе тоже превратилось в новый «обряд перехода» тоталитарно-религиозного характера.

ТАНЦЫ

Танцевальная культура в советском быту: политико-эротические характеристики

Слово «танцы», конечно же, отсутствует в «Толковом словаре языка Совдепии»: в России задолго до революции 1917 года сложились устойчивые светские и буржуазно-городские традиции танцевального досуга и в публичном, и в приватном пространстве. Конечно, в пролетарской среде до революции не существовало публичных танцевальных вечеров. Молодежь в праздничные дни довольствовалась уличными плясками, в которых были элементы и обрядности, и половозрастного символизма. И все же, несмотря на вполне определенное место танцев в структуре городского досуга, новая государственность сочла необходимым отслеживать и контролировать и эту сферу быта. Власть обращала особое внимание на коммуникативные функции и кинесику набора определенных движений, осуществляемых под музыку.

Почти сразу после прихода большевиков к власти по инициативе комсомола в российских городах появились молодежные клубы. Там нередко на праздничных вечерах, после официальной части с непременно докладом о текущем моменте, молодежь танцевала. У забытого ныне писателя Николая Богданова есть написанный в середине 1920-х годов рассказ «Последний вальс», где описаны эти вечеринки первых лет революции. В частности, дается текст пригласительной афиши:

«Всем! Всем! Всем!

В субботу

в здании пересыльного пункта

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

с танцами до утра

Плата за вход: с барышни кисет, вышитый в подарок
красноармейцам, с кавалера осьмушка махорки.

Докладчик из центра»¹.

В молодежном лексиконе начала 1920-х годов даже появилось выражение «пойти на балешник». «Балешник» (простонародное производное от слова «бал»), начинавшийся «докладом из центра», противопоставлялся прежним, буржуазным традициям досуга. Однако уже тогда идеологические структуры стали называть танцы «средством мелкобуржуазного, разлагающего влияния на молодежь». Об этом было прямо заявлено на II Всероссийской конференции комсомола в мае 1922 года². Неудивительно, что после таких решений в местных комсомольских организациях развернулась дискуссия на тему: «Может ли танцевать комсомолец?» При этом в основном обсуждался вопрос «Что можно танцевать?». Запрещены были танго и тустеп. В одном из официальных документов, принятых в июле 1924 года, указывалось: «Будучи порождением западноевропейского ресторана, танцы эти направлены на самые низменные инстинкты <...> В трудовой атмосфере советской России <...> танец должен быть бодрым и радостным»³. Одновременно молодежи предлагались новые, идеологически выдержанные танцевальные формы. Газета «Смена» в том же 1924 году опубликовала материал под устрашающим названием «Смерть тустепам». В нем рассказывалось, что в одном из ленинградских молодежных клубов комсомольцы под музыку песни «Смело, товарищи, в ногу» исполняют танец «За власть Советов», в процессе которого импровизированно изображают «все периоды борьбы рабочего класса»⁴.

Однако подобные развлечения носили искусственный характер и не получили должного распространения. Молодые люди, собиравшиеся в клубах на вечера, предпочитали вальсы, польки, танго и тустепы. Это зафиксировал опрос 1929 года. Танцы стояли на четвертом месте в ряду десяти самых распространенных видов молодежного досуга. 71% молодых рабочих, по данным опроса, очень любили танцевать. Из этой группы 46% систематически ходили на танцы в клубы, 29% — на платные танцплощадки, а 11% посещали даже частные танцклассы.

Об их существовании я узнала задолго до начала профессиональных занятий историей. Моя бабушка по папиной линии Антонина Станиславовна Комас (1900–1975), наполовину полька, выросла в городе Рославль. До революции он находился за чертой оседлости, на перекрестке трех культур: русской, еврейской и польской. Внешне совершенно невзрачная, в отличие от бабушки Кати (мамина линия), кустодиевской красавицы, бабушка Тоня, как большинство женщин с польской кровью, обладала такой «чертинкой», что мимо нее не мог пройти ни один мужчина. Правда, троих детей, старшим из которых был мой отец, она родила в законном браке с Дмитрием Ефремовичем Лебиным (1902–1990). С 1922 года он служил в системе ОГПУ и в Поволжье, и в Белоруссии, и в Самарканде, и в Ленобласти, и в Великом Новгороде. Где-то в начале 1930-х бабушка рассталась с дедом. А он сделал по тому времени блестящую карьеру — закончил свою службу в звании комиссара милиции третьего ранга (генерал-майор). Но это все было уже в Москве и без нас. После бабушки Дмитрий Ефремович женился на Елене Степановне Воробей, которая служила в Общесоюзном доме моделей. Для создателей фильма «Красная королева» (2015) Елена Степановна послужила прообразом мужеподобной тетки Калерии Кузьминичны — начальника отдела кадров. Один раз в детстве я видела и своего деда по отцовской линии, и его жену — маленькую,

хорошенькую, пухленькую хохотушку. Дед Лебин знал толк в женщинах. А мне даже перепали два платица из детской коллекции Дома моделей.

В последний раз бабушка по папиной линии вышла замуж в 57 лет, что в 1950-х было шоком. Думаю, не последнюю роль в успехе на личном фронте играло ее умение вести непринужденный диалог. Домашний язык Антонины Станиславовны, который она на публике скрывала под лаком образования, полученного в гимназии, был цветистым. Прощаясь, например, она всегда говорила: «Шрайбен зи битте открыткес, в крайнем случае телеграммс». От бабушки я услышала и выражение: «Там, где брошка, там перед». Позднее она с некоторыми купюрами исполнила для меня песенку:

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шага — налево, две шага — направо.
Шаг вперед и две назад.

Текст мне очень нравился. Смешной и насыщенный антропологическими деталями, как я теперь понимаю, он отражал специфику досуга эпохи нэпа. До сих пор, насколько я знаю, точно неизвестно, когда написал эту песню В. Руденков. Но бабушка говорила, что слышала ее в Рославле в 1920-х годах. Мурлыкал «Школу танцев» и мой дед, мамин отчим, Николай Иванович Чирков, в начале 1930-х годов работник Ленинградского УГРО. Говорил, что урки очень любили эту песню.

То, что «танцклассы» были в руках частных, объясняет, почему власть так нетерпимо к ним относилась. Глава ленинградских коммунистов Сергей Киров в 1929 году с возмущением говорил: «Я не понимаю того, чтобы заниматься в частном танцклассе. Это значит, человек вошел во вкус. У него комсомольский билет, а он мечтает о выкрутасах <...> такие явления свидетельствуют определенно как о каком-то обволакивании»⁵. Неудивительно, что войну с танцами постоянно вела комсомольская печать. Так, газета Ивановского обкома

ВЛКСМ «Ленинец» осенью 1929 года опубликовала материалы с критикой «увлекающихся танцульками» молодых ткачих⁶.

В первой половине 1930-х, несмотря на исчезновение не только частных танцклассов, но и самих нэпманов, так называемые «западные танцы» по-прежнему считались буржуазным развлечением с вредным эротическим душком. К числу уже привычно критикуемых тустепов и танго прибавился фокстрот. В 1932 году первый секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ Иосиф Вайшля на заседании комсомольской верхушки города с тревогой отмечал засилье в молодежных клубах «фокстротчиков»⁷. Раздраженную реакцию комсомольских активистов на фокстрот описал и Николай Островский в романе «Как закалялась сталь»: «После жирной певички <...> на эстраду выскочила пара <...> Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу»⁸. «Похабную парочку» прогоняет со сцены сознательный комсомолец. Сугубо эротические коннотации фокстрота зафиксировал советский фольклор. Приведу три анекдота — 1927, 1928 и 1929 годов: «Что такое фокстрот? — Трение двух полов о третий»; «Мужик о фокстроте: „Что ж, покрыть венцом, и все“»; «Муж — жене, о фокстроте: „Мы с тобой этим двадцать лет занимаемся, только в постели и лежа“»⁹.

И все же не заметить естественное стремление молодых людей проводить время на танцплощадках власть не могла. Уже весной 1934 года на конференции комсомольцев завода «Красный путиловец» звучали такие призывы: «Нам нужно организовать школу танцев с политической подкладкой»¹⁰. В публичных местах рекомендовались краковяк, падепань, кадрили, полька-тройка и т. д. Они в представлении власти носили народный, истинно демократический характер.

В действительности этими танцами необходимо было управлять, что обеспечивало общественный контроль над поведением танцующих. «Западные» танго и фокстроты, не требовавшие регулирования, распространялись в большей степени в приватной сфере.

В контексте сталинского гламура конца 1930-х в структуре молодежного досуга появились карнавалы и маскарады — некое подобие дореволюционных балов. В 1937 году Свердловский областной дом народного творчества издал «Методическое письмо по подготовке к празднованию XX годовщины Октябрьской революции». Авторы предлагали организовать бал-карнавал, считая, что такие формы досуга «призваны быть воплощением радости счастливой жизни в нашей стране». «Пропуск карнавальных костюмов и масок можно разрешить, — указывалось в брошюре, — только после предварительной проверки. Для этого приглашаются представители редакции газеты, райлита, НКВД или милиции. Для них отводится отдельная комната, где производится регистрация костюмов и масок». Строго регламентировались и танцы на карнавале: танго и фокстроты по-прежнему считались не совсем советскими¹¹. Конечно, в приватном пространстве, в том числе на домашних вечеринках, танцевали всё. Мама всегда вспоминала, что, кроме вальса бостон, старшекласники на днях рождения, особенно в семье Вейнберг (подробнее см. «Макулатура») с удовольствием приобщались к танго, фокстротам, пасадоблям. В домах часто были пластинки «Брызги шампанского», «Рио-Рита», «Черные глаза», «Утомленное солнце». Их крутили на патефонах и во время войны. Мою маму, до войны студентку Ленинградского юридического института (позднее юридического факультета ЛГУ) в феврале 1942 года «по благу» — благодаря бывшим сослуживцам ее отца — полуумирающую от голода взяли на должность освобожденного секретаря комитета комсомола Управления Ленинградской милиции. Работа спасла не только ее, но и бабушку — маму «поставили»

на котловое довольствие, но разрешили жить не в казарме, а дома, на Невском, в четырех километрах по прямой от здания Главного штаба, где долгое время находилось Управление милиции. Каждый вечер по темному, пустому и заваленному снегом Невскому молоденькая девушка с большим трудом, но завидным упорством шла домой — несла в котелке пшеничную кашу для матери... Много чего нагляделась моя мама во время этой «выгодной службы». Видела шатающихся от голода воришек — учащихся ремесленных училищ. До войны они в большом количестве наводнили Ленинград по системе Оргнабора рабочей силы и первыми умирали от голода. Видела женщину, засолившую целую кадушку человечины — свою соседку по коммуналке. Но трагическое уживалось с комическим даже в страшные дни блокады. Как-то перед оперативниками города поставили задачу выявления воровских притонов. На вопрос, по каким признакам определять бандитские «хазы», было дано четкое указание: «Где патефон, там и притон!»

В публичном пространстве в рамках большого стиля послевоенного времени еще популярнее стали чопорные коллективные танцевальные вечера. Астрофизик петербурженка Таисия Дервиз вспоминала: «Маскарады в Новый год в школах были не редкость»¹². На карнавалы приглашались ученики из мужских школ, иногда военных училищ. Обязательной частью таких вечеров были танцы, программа которых утверждалась заранее. В условиях далеко не сытых послевоенных годов копирование дореволюционных балов в институтах благородных девиц и женских гимназиях было явно пародийным. Школьные вечера, как писали современники, представляли собой странную «смесь концлагеря и первого бала Наташи Ростовской»¹³.

Напыщенные и излишне сложные балльные танцы превращали развлечение в фарс не только в школах, но и на публичных танцплощадках послевоенных городов. В Ленинграде, например, во Дворце культуры имени Кирова находилась самая крупная в городе крытая танцевальная площадка — знаменитый

Мраморный зал. Один из его завсегдатаев, литератор Олег Яцкевич, писал об этом зале: «Он состоял из трех частей, условно разделенных колоннами. В центральной части <...> сидел эстрадный оркестр, который мог исполнить, если бы разрешили, любой фокстрот или танго, но... Но па-де-катр, па-д-эспань, краковяк и полька главенствовали в программе»¹⁴. Власть активно навязывала нормы танцевальной культуры. Контроль над молодежными развлечениями развивался в конце 1940-х — начале 1950-х, в ходе кампании борьбы со «стилягами», которых власть порицала не только за особый стиль одежды, но также за манеру двигаться и прежде всего танцевать. Именно в это время появляется в советском лексиконе слово «стиляга», внедренное официальной периодикой и связанное на первых порах с танцевальными предпочтениями молодых людей.

После смерти Сталина, несмотря на явную демократизацию быта, отношение власти к танцам менялось медленно. На публичных танцевальных площадках до начала 1960-х царил довольно жесткий контроль. Он высмеян, в частности, в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Эта комедия вышла на экраны в 1956 году, вскоре после XX съезда КПСС. Как насмешка над танцевальными канонами большого стиля (и над старорежимным начальником Огурцовым) звучат строки из басни «Медведь на балу». Явившийся на лесной праздник Медведь возмущается: «И почему енот и крот / Танцуют танго и фокстрот?»

Одновременно в число «вредных» включались новые танцы. В середине 1950-х официальные инстанции нашли новый проводник «разлагающего влияния» на молодежь — буги-вуги. Импровизация, характерная для этого танца, особенно настаивала на власти. В официальной риторике первых оттепельных лет танцы буги-вуги имели устойчивую коннотацию «непристойные», изменявшуюся в зависимости от общего стиля текста то на «вульгарные», то на «похабные». В повести Марка

Ланского и Бориса Реста «Незримый фронт» (1955) есть такие строки: «Его партнерша танцевала совершенно непристойно. Время от времени она в такт музыке судорожно взбрыкивала и передергивалась. Это обезьянье „па“, завезенное из каких-то заморских кабаков, привлекало внимание окружающих и вызывало откровенные смешки»¹⁵. Власти считали, что увлечение западными танцами связано с бытовой, а в конечном итоге и сексуальной распущенностью. ЦК ВЛКСМ в 1957 году в разгар демократических преобразований все же призывал комсомольские организации «вести неустанную борьбу против попыток буржуазной пропаганды навязать советской молодежи низменные вкусы и взгляды»¹⁶. Как реакцию на указания сверху можно расценить напечатанную в одном из сентябрьских номеров многотиражной газеты «Кировский рабочий» статью о чрезмерном увлечении бути-вуги. Юноши и девушки, замеченные в пристрастии к этому танцу, были заклеены как люди, которые «не знают норм поведения в обществе»¹⁷.

Надо признать, что многолетняя борьба идеологических структур за «нравственную чистоту» танцев способствовала тому, что часть советских людей начала относиться к этому виду досуга негативно. Так, наиболее культурная часть ленинградцев настороженно относились к танцплощадке в уже упоминавшемся Мраморном зале Дворца культуры имени Кирова. Дервиз вспоминала: «В Мраморном зале мы, несколько студентов, побывали из любопытства. Честно скажу, нам там не понравилось <...> У зала была дурная слава <...> попадались и пьяные, и откровенно „плохие девочки“. Впечатление в целом от этих „мраморных“ танцев было такое, как будто сюда собрались не для веселья, а для важного дела <...> Что это дело серьезное, показала и такая деталь. В поисках уборной мы с подругой набрали на дверь с надписью „дамская комната“ Это оказалось просторное помещение, где не просто поправляли прическу и надевали подходящие туфли, а полностью переодевались в некое подобие вечерних туалетов. Стоял несвежий

запах. И уж совсем мы оробели, когда увидели, что тут же несколько девушек выпивают что-то „из горла“¹⁸. Я хорошо помню, какой дурной славой пользовался Мраморный зал и на рубеже 1950–1960-х годов. Туда обычно ходили на танцы молодые домработницы, недавно приехавшие из деревни. Моя мама и наша соседка, этнограф Берта Яковлевна Волчек (жена детского писателя Бориса Раевского), тогда еще довольно молодые дамы, в ужасе говорили друг другу на лестничной площадке: «Опять наши Вали (у обеих семей домработниц звали Валентинами. — Н. Л.) были в Мраморном. Надо написать их матерям. Свихнутся девчонки!» В нашей семье появляться на танцах, которые выглядели как «ярмарка невест», считалось пошловатым занятием. В студенческие годы почти все мои однокурсницы регулярно отправлялись на танцевальные вечера в военные училища. Но мне радость этих развлечений была недоступна, а методика выбора партнерши по сугубо внешним данным казалась унижительной. Как с таким снобизмом я умудрилась дважды выйти замуж, непонятно! Ведь, по данным советских социологов, именно на танцах в 1960-е годы происходили встречи, заканчивавшиеся свадьбой¹⁹. Это зафиксировала советская литература 1950–1960-х годов. Безупречно порядочный Саша Зеленин из первой повести Василия Аксенова «Коллеги» увидел свою будущую жену Инну именно на танцплощадке²⁰. Описаны такие случаи и в мемуаристике. Петербуржец Александр Павлов, известный ученый-эколог, доктор геолого-минералогических наук, вспоминал о годах своей молодости: «Иногда в жизни в жизни бывают муторные периоды <...> В один из таких дней я потащился в Адлер на танцплощадку. Ни до этого, ни после я никогда не бывал там. Вечер. Было как-то особенно одиноко. Пригласил девушку. Стройная высокая блондинка. Идеальный овал лица. Хорошие глаза. Это был вальс — единственное, что я более или менее умел танцевать. Круг, два, три. Музыка кончилась, Танцплощадка закрывалась. Пошел проводить мою партнершу к дому.

Немного поговорили <...> Расстались у калитки. Девушка не идет из головы. Ее черты околдовали меня. Стал искать <...> И вот скоро пятьдесят лет, как мы не расстаемся»²¹.

Благодаря бурному развитию в 1960-х годах социологических исследований становилась очевидной популярность танцевальных вечеров. По данным опроса 1961–1962 годов, проведенного Институтом общественного мнения при газете «Комсомольская правда», 21,4% опрошенных посещали танцплощадки несколько раз в месяц, а в группе лиц от 16 до 24 лет эти показатели достигали 51,5%²². Литературные произведения 1960-х годов — достоверный источник по истории быта — запечатлели превращение танцев в своеобразный способ поиска самоидентификации молодых людей. На танцплощадке поселкового клуба наносит судьбоносный удар в челюсть уголовнику Бугрову самый положительный герой ранней аксеновской прозы Саша Зеленин. Даниил Гранин в романе «Иду на грозу» пишет о своих главных героях-физиках 1960-х годов: «По субботам приглашали девушек в кафе „Север“ или Дом ученых, щеголяли узкими брюками, пестрыми рубашками: нравилось, когда их принимали за стилияг, — ворчите, негодуйте <...> Под мотив узаконенных фоксов сороковых годов выдавали такую „трясучку“, что старички только моргали»²³. Бесперывно танцуют герои «Звездного билета» Аксенова. Это происходит летом во дворике старого московского дома, который до революции назывался «Меблированные комнаты „Барселона“», под звуки выставленного в окно магнитофона, в таллинском ресторане при свечах, в клубе рыболовецкого колхоза после показа старых фильмов с субтитрами на эстонском языке. Танцы сопровождают почти все сюжеты «Апельсинов из Марокко»: сцены дома у главных героев, в столовой ресторанного типа «Маяк» в порту Талый, куда прибыл транспорт с апельсинами, а главное, в длинной очереди за этими, как тогда казалось, экзотическими и остродефицитными фруктами: «Танцы в стране Апельсинии, такими и должны быть танцы под луной, эх,

тальяночка моя, разудалые танцы на Апельсиновом плато, у подножия Апельсиновых гор, у края той самой Апельсиновой планеты, а спутнички-апельсинчики свистят над головами нашими садовыми»²⁴. Этот фантазмагорический пейзаж — своего рода протестная манифестация чего-то невозможного для пружней сталинской действительности.

Характерные для эпохи хрущевских реформ, демократизация и вестернизация канонов советского быта способствовали смене общественных представлений о мере «приличности» на танцах. Менялись и способы дисциплинирующего воздействия на танцевальную культуру. Власть предпочитала не запретительную тактику предыдущих лет, а скорее регламентирующую. В начале 1960-х годов для советских танцплощадок признанной нормой стали танго и фокстроты. Расширился список «идеологически выдержанных» и одобренных властью танцев. Финские «летка-енка» и «хоппель-поппель», болгарский «и-ха-ха», греческий сиртаки, американско-канадский «хали-гали», латиноамериканский «ча-ча-ча» были рекомендованы для исполнения в публичных местах. Их, как отмечалось в советской прессе, официально популяризировало Министерство культуры РСФСР²⁵. Одновременно создавались и специальные советские танцы, например «дружба». Он исполнялся парами, сопровождался стуком каблуков в пол, пробежками и поворотами. Кроме «дружбы» молодежи предлагались для публичных вечеринок «елочка», «инфиз», «казанова», «терри-кон». В реальной жизни, которой, в частности, жила и я, люди танцевали лишь «летку-енку»! Мои школьные друзья с удовольствием отплясывали ее в квартире моих родителей, в Доме академиков на углу 7-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта (Благовещенская). Делать это позволяла жилая площадь — огромная комната (30 кв. м) и прямо примыкающая к ней такая же огромная кухня, которую папа потом разделил на маленький, шестиметровый «хозблок» и темный проходной почти квадратный 14-метровый холл. В общем, места



Танцы на платформе. 1966. Личный архив Н. Б. Лебиной

внешне хватало, но для нормального жилья все было крайне неудобно. Зато в праздники в нашей квартире танцевали все. Это были родительские сорокалетние друзья, казавшиеся мне безумными стариками, которым явно, с моей точки зрения, не стоило прыгать под музыку. И конечно, мои одноклассники. Пляски начались еще в шестом классе. А в годы моей учебы в престижной ленинградской физико-математической школе полы старинного дома тряслись от «летки-енки» с завидной регулярностью. С удовольствием танцевали и на перронах пригородных вокзалов, например.

В самом начале 1960-х популярностью пользовался ныне забытый танец «липси», вывезенный из ГДР. Эта деталь времени оттепели сохранена в повести Аксенова «Звездный билет». Главные герои — столичные ребята Димка, Алик и Юрка — выясняют, что заводские парни из Таллина в клубе их предприятия вполне официально танцуют в модном стиле. Это вызывает восторг москвичей: «Вот это жизнь! Чарльстон и липси! Вот это да!»²⁶ Липси был танцем парным и, насколько я помню,

несколько манерным. Может быть, поэтому королем танцплощадок в начале 1960-х годов стал чарльстон. Он вошел в советскую повседневность с песней чешского композитора Людвиг Подешта в исполнении популярной тогда эстрадной певицы Тамары Миансаровой. Она пела о внучке, пристававшей к бабушке с просьбой научить танцевать вновь ставший модным танец 1920-х годов. Умение «чарльстонить» — этот глагол вошел в словари как неологизм 1960-х годов — входило тогда в набор обязательных навыков современного молодого человека и было не только модным трендом, но в определенной степени и маркером социальной позиции. Своеобразную «прописку чарльстоном» на новом рабочем месте проходит героиня забытой повести «Замужество Татьяны Беловой» (1963). Ее автор Николай Дементьев с 1961 по 1965 год был секретарем Союза писателей РСФСР. В 1950–1960-х годах он писал о том, что тогда волновало многих: о людях интеллектуального труда в поисках смысла жизни. Его герои, как и у более известного его коллеги Гранина, — ленинградские инженеры, ученые, «искатели». Но «Замужество Татьяны Беловой» отличается от гранинских произведений тем, что главная героиня здесь — женщина, тоже принадлежащая к «технарям»: она работает чертежницей в конструкторском бюро. Впрочем, основной прием ее приобщения к науке и технике — это выстраивание личных отношений с мужчинами из среды интеллектуалов и особая стратегия поведения, в которую вполне вписывалось умение «чарльстонить»: «Все они молча и спокойно разглядывали меня. Вдруг от верстака дернулся долговязый юноша <...> и, по-женски кокетливо подхватив полы халата, чарльстоном, трясаясь всем телом, пошел ко мне <...> И вдруг я поняла: единственное, что мне надо сейчас сделать, — это сразу поставить себя у них. И я тоже сорвалась с места <...> Танцевала я хорошо, опыт в этом деле у меня был <...> я выдавала настоящий чарльстон»²⁷.

«Западные» танцы в 1960-х полностью завоевали танцевальные площадки. Кое-где можно было увидеть вошедший в моду

на Западе рок-н-ролл. Таисия Дервиз пишет: «„В Мраморном разрешают рок!“ — донесся слух. Это был в те времена главный официальный танцевальный зал в Ленинграде»²⁸. Дозированную апологетику западных танцев можно было увидеть и в официальной советской публицистике периода поздней оттепели. Лев Кассиль в конце 1962 года опубликовал в журнале «Юность» очерк «Танцы под расписку». Писатель откровенно высмеивал попытки школьных учителей и культработников запретить молодежи танго, блюзы, фокстроты, румбу, самбу, пасадобль. Более того, Кассиль сумел похвалить даже рок-н-ролл. Вспоминая свою поездку на пароходе по Гудзону в США, он отмечал: «Едва мы отплыли, на средней палубе заиграл джаз. Заслышав музыку оркестра, туда посыпали и молодые и старые пассажиры всех оттенков кожи. <...> С какой веселой непосредственностью отплясывали они румбу и рок-н-ролл! Да, тот самый рок-н-ролл, к которому многие из нас относятся с таким привычным предубеждением!»²⁹ Однако исполнение того же танца в иной среде Кассиль осудил, подчиняясь негласным правилам советского этикета: «Но какое омерзительное чувство оставил тот же танец в одном из ночных клубов Чикаго! Все в танце пошло утрировалось, каждое движение <...> осквернялось нарочито и с изощренным бесстыдством»³⁰. Проникновение на советскую почву рок-н-ролла запечатлел и Аксенов в последней повести своего раннего цикла «Апельсины из Марокко». Для интеллектуалов Фосфаторска рок — уже устойчивый элемент повседневности, хотя и в приватном пространстве. Музыка Пола Анки сопровождает традиционные домашние посиделки, на которых Николай Калчанов «выкаблучивался, как безумный <...> крутил и подбрасывал Катю». Для этого требовались «хорошие мускулы, и чувство ритма <...> и злость»³¹. Так коротко и емко описал Аксенов атрибутику рока как маркера свободы, современности и сексуальности. Социальную значимость этого танца подчеркивает и то, что менее рафинированные молодые

герои «Апельсинов из Марокко» боятся быть наказанными за его публичное исполнение. Это ощущается в диалоге структура Нины и моряка Геры:

— Я все что угодно могу танцевать, — лепетала Нина, — вот увидите, все что угодно. И липси, и вальс-гавот и даже, — она шепнула мне на ухо, — рок-н-ролл...

— За рок-н-ролл дают по шее, — сказал я³².

И все же жизнь рока на советских танцевальных площадках была недолговечной: танец требовал хорошей физической подготовки, так как включал сложные, почти акробатические элементы. Рок-н-ролл быстро переместился в сферу профессионального, спортивного исполнения. Следующим фаворитом 1960-х годов стал твист, который, несмотря на свое американское происхождение, быстро вписался в советский культурный контекст. В стиле твиста были написаны произведения советских композиторов Андрея Петрова и Арно Бабаджаняна. О знаковости танца говорит и лингвистическая ситуация. Языковеды зафиксировали появление в языке хрущевского времени глагола «твистовать» и прилагательного «твистовый»³³. Властные и идеологические структуры СССР, наверное, устраивало то, что твист не предполагал парного исполнения, а следовательно, прямого телесного контакта партнеров, как, например, в танго. Во всяком случае, этот танец не запрещался на танцевальных площадках середины 1960-х годов. Иногда, правда, в публичном пространстве еще могли сделать замечание за «извращение рисунка танца». Эту ситуацию зафиксировал Аксенов в повести «Пора, мой друг, пора» (1963):

А администратор уже сделал «стойку». Он высмотрел несколько жертв в толпе танцующих, но больше всех его волновала белобрысая парочка молокососов... Одернув пиджак, он строго подошел к этой паре и произнес: <...>

— Подвергаетесь штрафу за извращение рисунка танца...

Зал «извращал рисунок танца» целиком и полностью. Мало кто обратил внимание на эту сцену: все привыкли к проделкам администратора, никогда нельзя было сказать, на кого падет его выбор³⁴.

Однако это была местная инициатива. Авторы очерков по истории ленинградской организации ВЛКСМ, написанных в 1968 году, констатировали новые тенденции контроля за танцами: «35–40 тысяч юношей и девушек Ленинграда (в середине 1960-х. — *Н. Л.*) посещали танцевальные площадки. Одно время довольно распространено было мнение, что здесь главное — не допускать исполнения „не наших танцев“. Но административные запреты приносили мало пользы. Комсомольцы решили, что, прежде чем осуждать часть молодежи за дурной вкус и плохую манеру исполнения, нужно помочь ей научиться красиво танцевать. Так возник молодежный совет по современному бальному танцу при горкоме ВЛКСМ как методический центр по воспитанию хорошего вкуса и пропаганде лучших танцев»³⁵.

Действительно, на рубеже 1960–1970-х годов в СССР «твистовали» все. В моем семейном архиве есть фотографии твиста на пляже во время путешествия на теплоходе по Волге и Дону летом 1965 года.

Да, как молоды мы были. Но одновременно стоит вспомнить строчки Андрея Вознесенского: «В твисте и в нервозности / Женщины — вне возраста». Стихотворение «Общество на ремонте» написано в 1967 году. Тогда казалось, что брежневский режим лишь «подремонтирует» раздражающие огрехи хрущевских реформ. Но выяснилось, что «ремонт» чреват неосталинизмом. А пока в 1967 году симпатичная тройка — Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов) — из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» предлагала рецепт



Твист на пляже. 1965. Личный архив Н. Б. Лебиной

обучения твисту: «Носком правой ноги вы давите окурочек вот так: оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурочек вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурочка вы давите вместе: оп-оп-оп»³⁶. Конечно, западное происхождение твиста раздражало власть. Исследователь Игорь Нарский отмечает, что критика «буржуазных танцев» и в позднем СССР «могла приобретать обертоны разоблачения внутренних врагов»³⁷. И все же к началу 1980-х — времени зарождения дискотек — нормализующие действия власти на советских танцполах сводились к пресечению хулиганства и драк. Танцы больше не преследовались за «эротику»: ее уже было немало и в кино, и в быту — в контексте общемировой сексуальной революции.

УПЛОТНЕНИЕ

Жилищный передел:

правовые и эмоциональные аспекты

В большинстве толковых словарей русского слово «уплотнение» трактуется примерно так: «Действие по значению глагола» «уплотнить» — «уплотнять» и состояние по значению глагола «уплотниться» — «уплотняться». Уплотнение рабочего дня. Уплотнение почвы»¹. В «Толковом словаре языка Совдепии» формулировка несколько расширена. Интересующее нас понятие рассматривается как «заселение (жилплощади) более плотно, бóльшим количеством жильцов»². Выраженной советскости в этой фразе узреть невозможно — а ведь слово «уплотнение» приводило в трепет городского обывателя, пожалуй, на протяжении всей истории Советского государства. Для понимания ситуации важна дефиниция из «Малой советской энциклопедии» конца 1920-х — начала 1930-х годов: «УПЛОТНЕНИЕ, право жилищных органов Союза ССР переселять граждан из одного помещения в другое в целях более равномерного распределения жилой площади, занимаемой жильцами, и доведения ее до жилищной санитарной нормы»³. Таким образом, уплотнение можно рассматривать как некий государственный инструмент, используемый для решения жилищных проблем властным путем.

Фетишем социальной политики советской власти была идея справедливого распределения материальных благ, в число которых входила и недвижимость. Большевики явно тяготели

к «жилищному переделу», применяя на деле тезис, выдвинутый Энгельсом еще в 1872 году. По мнению классика марксизма, «помочь устранению жилищной нужды можно немедленно путем экспроприации части роскошных квартир, принадлежащих имущим классам, и принудительным заселением остальной части»⁴. Весной 1917 года в «Письмах из далека» Ленин высказал мысль о необходимости использовать дворцы и квартиры, «оставленные царем и аристократией, чтобы не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим»⁵. Менее чем за месяц до захвата власти, в самом конце сентября 1917 года, в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» он описал процедуру раздела недвижимого имущества:

Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек <...> Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин.

— Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться⁶.

В самом начале ноября 1917 года появились первые характеристики жилья, которое могло подлежать разделу. В первую очередь речь шла о «богатых квартирах». Это понятие Ленин сформулировал в черновых набросках к декрету Петроградского совета «О реквизиции теплых вещей для солдат на фронте»: «Богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире. Владельцы богатых квартир обязаны немедленно <...> представить в те же учреждения и тоже в 2-х экземплярах заявление об освобождении

одной из двух богатых квартир на нужды бедного населения столицы (то есть две богатые семьи, имеющие две богатые квартиры, обязуются поселиться, в течение данной зимы, в одной из своих квартир, предоставляя другую, ввиду крайней нужды, созданной войной, в пользование бедного населения)»⁷.

В крупных городах зимой 1917–1918 годов оказалось много свободной жилплощади. Кто-то эмигрировал, кто-то предпочел остаться в деревне после летнего отдыха, кто-то просто находился в отъезде по делам. В Петрограде, в частности, уже в конце декабря 1917 года сведения о пустующих квартирах стали собирать домовые комитеты (подробнее см. «ЖАКТ»). Весной 1918 года появились и правовые документы, способствующие «жилищному переделу». К их числу в первую очередь следует отнести постановление Петроградского совета, принятое после обсуждения 1 марта 1918 года специального доклада «О вселении рабочих и их семей в квартиры буржуазии». Согласно документу, представителям «буржуазии» разрешалось иметь по одной комнате на взрослого человека и одну общую на всех детей⁸. Первоначально «переделу» подвергалась лишь формально свободная площадь. Трехмесячное отсутствие хозяев или бывших жильцов являлось оправданием для объявления квартиры «пустующей», а значит, пригодной для заселения. Захват квартир сопровождался составлением целого ряда документов, призванных узаконить действия властей⁹.

Первые переселения стали началом «жилищного передела», который проходил пока относительно спокойно. В конце августа 1918 года появился декрет ВЦИК и СНК «Об отмене прав частной собственности на недвижимое имущество». В России развернулась муниципализация жилья. Дома и строения передавались в ведение отделов коммунального (городского) хозяйства при Советах рабочих депутатов. Квартиры в этих зданиях по признаку ведомственной принадлежности стали называться «коммунальными», независимо от количества занимающих их жильцов и семей.

После отмены собственности на недвижимость на основе домовых комитетов появились комиссии по вселению. Они и занялись дележом квартир, из которых их собственники или законные наниматели пока еще не собирались выезжать. Основанием для этого стал декрет о муниципализации жилья. К первой годовщине Октября был снят художественный фильм по сценарию Анатолия Луначарского и Александра Пантелеева, подсказывавший, как вести себя обеим сторонам «жилищного передела». Фильм назывался «Уплотнение». Действие фильма разворачивается в Петрограде через несколько месяцев после прихода к власти большевиков. В профессорскую квартиру вселяется семья рабочих. Хозяин жилья — старый питерский интеллигент — с пониманием относится к ситуации, в отличие от жены и старшего сына, бывшего офицера. Сами вселяемые ведут себя деликатно, выбирая себе уютную, но далеко не самую большую комнату в квартире. Профессор осознает благородство, присущее нежданым соседям, он с удовольствием делится с ними своими знаниями, а младший сын и вообще женится на дочери рабочего. Фильм сохранился не полностью, кроме того, он лишен каких-либо титров, привычных для немого кино. Однако предлагаемая идея социального мира в разделенном «по справедливости» бытовом пространстве очевидна: от бывших владельцев требовалось согласие на раздел, а от вселяемых — якобы присущая всем пролетариям вежливость и деликатность. Любопытно, что власть в лице наркома просвещения Луначарского, появляющегося в начальных киносценах, впервые презентует здесь понятие «уплотнение».

Осенью 1918 года «квартирный передел» интенсифицировался в первую очередь благодаря декрету о муниципализации недвижимости в городах. Факт вселения в жилье теперь уже бывших собственников стал повсеместно называться «уплотнением». Пустующая площадь закончилась, и необходимо было потеснить семьи, обитавшие в привычных для них помещениях. Владельцам квартир предлагали покинуть их и передать

жилплощадь людям более ценным в социальном отношении. Именно под этим предлогом в Петрограде в декабре 1918 года из собственной квартиры на Каменноостровском проспекте подлежал выселению бывший служащий Первого Российского страхового общества с женой и двумя детьми. Их жилплощадь, как указывалось в письме районного жилищного отдела, предназначалась «для селения в нее служащей отдела местного совета <...> так как означенный дом предназначен Исполнительным комитетом и местным советом <...> для отделов Совета и служащих в нем»¹⁰. Законный владелец жилья попытался оказать сопротивление и не выехал по первому требованию. Незадолго до Нового 1919 года он был выдворен с помощью представителей военной комендатуры. Уплотнение становилось причиной конфликта власти и домовых комитетов. Их члены нередко отказывались пускать пролетариев в квартиры законных владельцев. Активно отстаивали права жильцов домкомовцы одного из бывших доходных домов, расположенного на Невском проспекте. В сентябре 1918 года комитет жильцов в этом здании возглавил известный фотограф Моисей Наппельбаум, пользовавшийся расположением новой власти¹¹. Случай сопротивления «жилищному переделу» заставили власть задуматься над созданием послушных органов самоуправления в домах. Осенью 1918 года началось преобразование домовых комитетов в домовые комитеты бедноты¹². А в середине 1919 года для прояснения механизма заселения квартир были разработаны специальные нормы. Наркомздрав РСФСР установил минимальную величину кубатуры воздуха, нужную человеку для полноценного функционирования. Из этой нормы родилась и норма жилой площади. Она составляла 8 кв. м на человека. Все, что превышало указанные метры, называлось излишками, которые заселялись теми, кто нуждался в жилье.

Появление жилищных норм, регулировавших «передел», не ослабило его эмоционального накала. Зинаида Гиппиус в своем

дневнике язвительно, но точно воссоздала психологическую атмосферу актов уплотнения. Запись относится к сентябрю 1919 года. Сосед поэтессы попытался отстоять права на собственный кабинет, в который въехала рабочая семья. «Бросился он, — писала Гиппиус, — в новую „комиссию по вселению“. Рассказывает: — Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде... „Мы шестерка!“, — а всех 12 сидит. <...> Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слышали. Книжки пишете? А в „Правде“ не пишете? Верно, с буржуями возитесь. Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой такой рентген, какой такой ученый“»¹³. По свидетельству той же Гиппиус, панически боялся уплотнения даже лояльный к новому режиму Александр Блок. В сентябре 1919 года угроза превращения в Ноев ковчег нависла над квартирой питерского писателя Алексея Ремизова. В его дневнике 7 сентября 1919 года появилась следующая запись: «Ходили осматривать квартиру от жил[ищной] комис[сии] к уплотнению»¹⁴. Чувства владельцев уплотняемых квартир описаны и в мемуаристике. Писательница Вера Панова, чье детство и юность прошли в Ростове, вспоминала о трудностях быта, выпавших на долю ее семьи в конце 1919-го — начале 1920 года: «Нас уплотнили... Мы познали все ужасы и безобразия совместного жилья»¹⁵.

Умерить рвение жилищных органов, осуществлявших уплотнение «буржуев», могли лишь высшие советские инстанции. Только в январе 1921 года, после принятия специального декрета СНК РСФСР «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика Ивана Павлова и его сотрудников», ученому с мировой известностью удалось отстоять постоянные нападки на его квартиру, где имелись некие излишки площади. Декрет предписывал: «Поручить Петросовету обеспечить профессора Павлова и его жену пожизненным пользованием

занимаемой ими квартирой и обставить ее и лабораторию академика Павлова максимальными удобствами»¹⁶.

Эмоциональная реакция на «уплотнение» у всех бывших владельцев недвижимости была одинаковой: они испытывали страх перед властными инициативами, а затем, конечно, и недовольство поведением «подселенцев». Ведь имущество, находившееся в квартире, описывалось и разделялось между въезжающими. «Жилищный передел» способствовал проявлению специфических черт революционной массы. В их числе немало важное место занимала алчность — неумная тяга к получению материальных благ. Слова «жадность» и «алчность» считаются синонимами в русском языке, однако второе из них, как представляется, имеет более агрессивный оттенок. Если жадность направлена скорее на сохранение собственного имущества, то алчность замешена на желании обладать тем, что принадлежит другим людям. Об этом свидетельствуют так называемые «мебельные дела», сохранившиеся, в частности, в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (подробнее см. «Историк и антропологический поворот: общее и сугубо частное»). Однако, судя по произведениям художественной литературы, подобные документы сопровождали «жилищный передел» повсеместно. Герой романа «Двенадцать стульев» архивариус Коробейников из Старгорода просто присвоил себе архив «мебельных дел», в которых, как правило, хранились и описи имевшегося в брошенных квартирах имущества, и копии ордеров на выдачу мебели при заселении разделяемой жилой площади. Именно поэтому Остапу Бендеру так легко было навести справки о стульях мадам Петуховой.

Основой «мебельного» дела был так называемый «опросный лист жилотдела», куда в процессе акта «уплотнения» комиссии по вселению заносили сведения о размерах площади, ее реальных владельцах, их местонахождении на момент появления в квартире новых жильцов и т. д. Как правило, люди, заполнявшие опросные листы, были до абсурда безграмотны.

В описях часто можно встретить с трудом поддающиеся расшифровке слова: «биджак мужской» (пиджак), «жулеп» (жилет), «кастум черный» (костюм) и уже совсем непонятное — «вязи дли звязу». Последний загадочный предмет удалось идентифицировать только после обнаружения списка вещей, перепечатанного машинисткой Откомхоза. Это оказались весы для взвешивания из ванной комнаты одной из квартир¹⁷. В другой квартире были, согласно «мебельному делу», изъяты: «бажественных картин — 4; большая вешолка — 1; постоновка зонтиков — 1; тилифон — 1; итожерка — 1»¹⁸.

Впечатляющее описание «экспроприации буржуйского имущества» в Крыму есть в романе Викентия Вересаева «В тупике»:

Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте. С револьвером сказал:

— Товарищ, что ж вы? — Он повел рукой вокруг. — Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот...

Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки. Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

— Товарищ, а зеркало можно взять?

— Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщины разгорались глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы <...> Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы¹⁹.

Власти все же пытались создать иллюзию справедливости при разделе и площади, и имущества. В Петрограде, например, вселившиеся в пустующие квартиры пролетарии в 1918–1919 годах

получали вещи по определенной норме. В декабре 1918 года въехавшая в квартиру на Каменноостровском проспекте служащая отдела народного образования Петроградского райсовета получила: два кресла, один письменный стол; один «гардероб» (шкаф для одежды. — *Н. Л.*); один книжный шкаф; один обеденный стол; один кухонный стол; десять стульев; одну вешалку; шесть мелких тарелок, шесть глубоких тарелок; шесть маленьких тарелок. Привлекает внимание, что в квартиру вселилось шесть человек. Мебели им было выдано довольно мало. Посудой также наделяли в соответствии с размером семьи: шестерым полагалось всего 18 тарелок²⁰. Сверхнормативное имущество комиссии по вселению передавали на специальные вещевые склады. Подразумевалось, что в дальнейшем власти будут выдавать имущество из складов по ордерам, а также возвращать часть вещей, жизненно необходимых их владельцам. Такие случаи были вполне реальными. Генерал Алексей Потапов, примкнувший к большевикам, в декабре 1917 года по командировке Наркомата иностранных дел выехал в Китай и США. После возвращения в Петроград он обнаружил в своей квартире жильцов, бесцеремонно пользовавшихся его вещами. После вмешательства представителя Наркоминдела, зафиксировавшего в своем письме, что «деятельность Потапова признана Советской властью крайне полезной», генералу удалось вернуть себе часть личного имущества, находившегося на складе «конфиската»²¹. В более сложном положении оказался бывший ректор Политехнического института, ученый-физик князь Андрей Гагарин. Его семья находилась в это время в родовом имении, сам он выехал ненадолго в Москву, куда была отправлена большая часть научно-исследовательского оборудования Научно-экспериментального физического института. Опустевшая на короткое время квартира мгновенно подверглась вскрытию. Оставшиеся после раздела по нормам, соответствующим представлениям военного коммунизма, вещи оказались на специальном складе. Гагарин, вполне лояльный

к советской власти, обратился в конфликтную комиссию при Жилищном отделе Петросовета с просьбой выдать ему и его семье (жене и пятерым детям) конфискованные при вскрытии квартиры одежду, обувь и белье, так как «без этих предметов нельзя обходиться». Но надежды ученого не оправдались. Из квартиры, занимаемой князем Гагариным, исчезли несколько набросков детских головок, написанных Карлом Брюлловым, «Портрет мальчика» кисти Константина Маковского, некая картина Рембрандта (в описи имущества она называется «Старик, беседующий с мальчиком»). «Кроме вещей, поименованных в моей описи, — писал в конфликтный отдел Гагарин, — взят весьма ценный редкий рукописный голландский молитвенник (Micel) с бесценными миниатюрными изображениями из Св. Евангелия и орнаментами на пергаменте»²². Упоминание об этих уникальных по стоимости предметах вызвало раздражение властных структур районного масштаба. Их эмоции вылились в гневное письмо, направленное в феврале 1919 года в Президиум ЦИК. Авторы послания называли имущество Гагарина «награбленным от рабочего класса» и, следовательно, не подлежащим возврату, самого же законного владельца окрестили «проходимцем»²³. Кроме того, составители письма с гордостью заявляли: «Да, мы грабители, ограбили буржуазию и заставили ее скитаться и приискивать себе работу, а не жить за счет народа»²⁴. Бытовая алчность люмпенизированных слоев городского населения, таким образом, в определенной мере регулировалась властными структурами с помощью норм раздела имущества в ходе уплотнения. Однако нередко к жадности конкретных новых жильцов присовокуплялась и классовая ненависть административных органов, руководивших «жилищным переделом» и экспроприацией имущества «экспроприаторов».

После перехода к нэпу власти пришлось отказаться от идеи тотальной муниципализации и ввести «новую жилищную политику». В стране возникла реальная перспектива

возвращения части зданий и квартир бывшим собственникам. А к лету 1922 года были разрешены и сделки с недвижимостью, что означало признание частной собственности на жилые строения. В городах уменьшалось количество так называемых коммунальных домов. В годы нэпа в городах возник институт квартирохозяев и даже домохозяев, имевших право сдавать или продавать жилую площадь. Это было признаком наличия в советской действительности элементов нормального общества либеральной модели. Известный историк-востоковед Игорь Дьяконов вспоминал, как его семья вернулась в Ленинград из служебной зарубежной командировки в разгар нэпа и озаботилась поиском жилья. Мемуарист писал: «Между тем наконец была снята квартира (тогда это еще было можно)»²⁵. Вновь появившиеся собственники недвижимости могли выбирать себе подходящих съемщиков. Приличная семья Дьяконовых, конечно, больше устраивала хозяев дома, чем прежние жильцы — «нечесаный пропойца, обихаживаемый отчаявшейся женой», расплодившие к тому же в квартире мириады блох²⁶. Жилье в 1920-х годах можно было купить или, в крайнем случае, обменять с доплатой. Квартиру приобрел в Ленинграде тесть поэта Даниила Хармса Александр Русаков. В начале нэпа он вернулся в Петроград из Франции, куда выехал еще до революции, и открыл в доме, где жил сам, общественную прачечную и детские ясли²⁷. Вновь появившиеся квартирохозяева возродили традиционную практику сдачи комнат. В эти отношения было вовлечено в 1926 году более половины населения Ленинграда²⁸. Художник Владимир Курдов вспоминал, как после демобилизации в 1927 году искал в Ленинграде комнату по объявлению. «Чтобы не пугать никого своим солдатским видом, переодеваюсь во все чарушинское (одежду художника Евгения Чарушина. — Н. Л.) — известно, что по одежке встречают, — и хожу по адресам, — писал Курдов. — <...> Попадаю в большую богатую квартиру, где сдается комната с мебелью... Разыгрываю из себя молодого человека

из „хорошего дома“. Все идет как нельзя лучше, цена божеская, и я, не раздумывая, соглашаюсь»²⁹.

Но бытовые практики нэпа постоянно корректировались идеологическими и властными структурами, которые не планировали полностью возродить каноны городской жизни, сложившиеся к началу XX века. В середине 1920-х все же действовал классовый принцип нормирования жилой площади. Это выражалось в системе оплаты жилья, размер которой определялся социальным происхождением и положением плательщиков. В короткий период военного коммунизма горожане вообще не платили за квартиры. В начале 1922 года, в условиях хозрасчета, была введена уравнительная система коммунальных платежей. Однако уже летом 1922 года рабочим предоставили скидку на электроэнергию и воду. За жилплощадь пролетарские семьи платили различные суммы, в зависимости от дохода главы семьи. Но в целом в бюджете рабочих затраты на жилье в первой половине 1920-х годов составляли всего 14%. Сложнее было представителям остальных социальных слоев городского населения. Повышенный тариф охватывал так называемые «нетрудовые элементы», а также лиц «свободных профессий». Система квартплаты с каждым годом становилась все более дифференцированной. В 1926 году существовало уже более 10 категорий плательщиков. Появились в период нэпа и льготники. В 1923 году в постановлении ВЦИК и СНК от 13 июня были определены дополнительные категории населения советского общества, имеющие жилищные привилегии. К ним относились больные, требующие изоляции, ответственные советские работники и ученые, состоящие на учете в КУБУЧ (Комиссия по улучшению быта ученых. — Н. Л.)³⁰. В 1925 году к льготникам прибавились бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы, а еще через два года привилегии получили и некоторые представители художественной интеллигенции³¹.

Разрастание к концу 1920-х слоя льготников происходило на фоне свертывания нэпа. Власти стали активно вмешиваться



Прадед И. П. Николаев.
Личный архив
Н. Б. Лебиной

в процессы на рынке жилья. К 1927 году объем жилищного строительства в стране перестал поспевать за бурным ростом городского населения, который во многом был спровоцирован форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. В городах назревал жилищный кризис. Самым простым выходом из него большевистским властям показалось возвращение к «квартирному переделу». Он, по сути дела, и возобновился в конце 1927 года. Это ощутила и моя семья.

Мой прадед по материнской линии Иван Павлович Николаев приехал в столицу Российской империи на рубеже XIX–XX веков.

В 1897 году он уже зарегистрирован в издании «Весь Петербург. Адресная и справочная книга г. Санкт-Петербурга» как житель столицы, занимающийся продажей сена. Правда, поселиться удалось в непрестижном районе столицы — «на Песках», между Староневским проспектом и Смольным собором. К 1910 году торговое дело прадеда пошло успешно, он занялся оптовыми поставками фуража. Накопления позволили ему возвести на тогда еще дешевой земле в районе Путиловского завода четырехэтажный дом с большим дворовым флигелем,



Дом 19 по Балтийской улице. Санкт-Петербург.
Личный архив Н. Б. Лебиной

квартиры в которых сдавались внаем инженерам, мастерам и рабочим-путимовцам. Здание, построенное в стиле модерн, на Балтийской улице существует и по сей день.

Этот район давно перестал быть окраиной Петербурга, но улица осталась относительно тихой и довольно зеленой. Квартира прадеда располагалась на третьем этаже. На крыше дома до 1990-х годов находился флюгер, на котором было выковано «И. Павлов-Николаев». До 1927 года новые власти Ивана Павловича не трогали. Он вполне вписался в обстановку нэпа и по-прежнему торговал фуражом, правда без бывшего размаха. Кроме того, как бывший заботливый домовладелец, прадед по желанию домового комитета, состоявшего из путимовцев, выполнял обязанности «завдома». Известно, что в августе 1921 года вышел декрет СНК РСФСР «Об управлении домами», согласно которому жильцы могли сами выбрать «заведующего домом»³². Но с 1926 года человек, находившийся на этой должности, стал называться «управдомом», и в его

компетенцию входило не только налаживание хозяйственной жизни в конкретном здании, но и учет военнообязанных, контакты с органами НКВД, наблюдение за настроениями жильцов. Для такой деятельности прадед с его дореволюционным прошлым явно не подходил. В 1927 году Ивана Павловича Николаева вместе с женой выселили из дома. В конце 1920-х годов власть даже не пыталась создать иллюзию эгалитарного подхода к разделу недвижимости и имущества. В архивах я не обнаружила ничего схожего с «мебельными делами» 1918–1920-х годов. Ивана Павловича и Евдокию Алексеевну (мою прабабушку) в кратчайшие сроки принудили освободить квартиру. Часть вещей все же удалось раздать дочерям, которые к тому времени уже повыходили замуж и жили отдельно. Моя бабушка сумела сохранить несколько картин, когда-то украшавших гостиную и кабинет прадеда. Особенно он любил маленький пейзаж кисти тонкого и рано умершего живописца Николая Фокина (1869–1908). Картина висит теперь у нас с мужем в кабинете. Ивану Павловичу Николаеву дали небольшую жилплощадь в дворницкой дома 32 на той же Балтийской улице. В 1931-м прадед умер. За четыре года он ни разу не прошел мимо построенного по его замыслу и желанию дома, обходил дворами, не желая тревожить прошлое... Прабабушка после смерти мужа вынуждена была выехать из дворницкой и переселиться к дочерям в порядке «самоуплотнения», которое стало правовым инструментом нового этапа передела жилья.

Понятие «самоуплотнение» употреблялось в советском правовом поле и раньше. Первоначально оно даже противопоставлялось «уплотнению», осуществляемому официальными органами. В 1924 году, например, научным работникам было предоставлено право самостоятельно занимать освободившиеся комнаты в квартирах, где они проживали наряду с другими жильцами³³. И в данном случае самоуплотнение, то есть заселение без участия властных инстанций, рассматривалось как некая социальная привилегия. Самоуплотнение как норма,

появившаяся в конце 1927 года в результате принятия целого ряда правовых документов³⁴, толковалось по-иному: владельцы или съемщики квартиры и комнаты могли вселять к себе на излишки площади любого человека, даже не родственника. Излишком считалось все, что превышало санитарную норму, — 8 кв. м. Право на самоуплотнение необходимо было реализовать в течение трех недель. Затем вопрос о вселении на излишки площади решал не ее съемщик, а домоуправление. За исполнением постановления о самоуплотнении следили домовые комитеты. Их председатели докладывали о жилищной ситуации в районные советы и отделения милиции. Излишки площади были формальным основанием для вторжения представителей домкома и районных властей в любое жилое помещение. Насильственная реализация права на самоуплотнение, таким образом, сопровождалась контролем над всеми сторонами повседневной жизни граждан, и в первую очередь «лишенцев», то есть лиц, лишенных избирательных прав в Советской России. К ним, без сомнения, принадлежал и мой прадед. Некоторые квартировладельцы, предвидя возвращение «жилищного передела», решали самоуплотниться добровольно. Опережая решение властей, они подселяли к себе родственников или приличных знакомых. Татьяна Аксакова, дочь известного нумизмата и генеалога Александра Сиверса, вспоминала, как ей удалось найти в 1928 году жилье в центре Ленинграда. Хозяевам квартиры грозило уплотнение. И тогда они решили «самоуплотниться»: по рекомендации общих знакомых вселили к себе молодую интеллигентную женщину. Сосуществовать с ней было намного приятнее, чем с жильцами, предлагаемыми домоуправлением³⁵. Но далеко не всегда ситуация разрешалась относительно безболезненно.

В апреле 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР издали постановление «Об ограничении проживания лиц нетрудовых категорий в муниципализированных и национализированных домах и о выселении бывших домовладельцев из

национализированных и муниципализированных домов»³⁶ Уже в июле 1929 года людям, подлежащим выселению, вручили извещения о необходимости освободить жилплощадь. В случае неподчинения выселение происходило административным путем — нередко здесь случались настоящие трагедии, что нередко приобретало трагический оттенок. Руководитель отдела коммунального хозяйства одного из районов Ленинграда, отчитываясь в Ленгорисполкоме в сентябре 1929 года, рассказывал: «Приходит участковый надзиратель выселять старика, а с ним паралич случился. Звонит мне: как быть. Говорю, конечно, не выселять. Через четыре дня старик умер. Сам очистил помещение, освободил»³⁷. Когда я увидела этот документ в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, наша семейная история стала для меня более понятной. В семьях моих двоюродных бабушек, в первую очередь Пелагеи Ивановны Евтишкиной (Николаевой), к началу 1930-х годов произошли печальные изменения. Ее муж Дмитрий Корнеевич Евтишкин, родители которого до революции имели некое обувное производство (пока мне не совсем ясно, какого уровня), в 1924 году возглавил кооперативное производственное товарищество «Быстроход». Но в 1927 году карьерный рост прекратился, а в 1930 году Коку Митю (так звала мама своего крестного) сослали на Соловки. Дальнейшая его судьба неизвестна, но вполне предсказуема. Пелагея Ивановна осталась с двумя дочками в квартире на 4-й Красноармейской улице. Площади было достаточно, чтобы реализовать право на самоуплотнение добровольно или насильственно. Предпочтение отдали первому варианту, и прабабушка переселилась к дочке в квартиру на 4-ю Красноармейскую. Там блокадной зимой 1942 года умерли и прабабушка Евдокия Алексеевна — бывшая домовладелица, и ее дочери — Пелагея Ивановна — когда-то обожаемая мужем, нэпманом-обувщиком Евтишкиным, сгинувшим в Соловках, и красавица Юлия Ивановна, в первом браке носившая известную в Петербурге фамилию Пурышева.

Не знаю, имел ли муж Юлии отношение к знаменитому монархисту и черносотенцу Аркадию Константиновичу Пурышеву, но бабушка упорно говорила, что только благодаря красоте сестры семья жениха смирилась с мезальянсом — женитьбой на дочери торговца фуражом.

Прабабушка и две мои двоюродные бабушки, как большинство умерших во время блокады, похоронены в братской могиле на Пискаревском кладбище. Примерно тогда же погибла от голода и генеральская вдова Евгения Александровна Свинына, не пожелавшая покинуть родину, могилы мужа и сына и выехать за границу к дочерям. В 1919 году в кампанию по «уплотнению» ее выселили из собственной квартиры на Большом проспекте Петроградской стороны (дом 80), а затем, через 10 лет, по праву на «самоуплотнение» загнали в крохотную, похожую на шкаф, комнату в большой коммуналке.

В целом в Ленинграде кампания по выселению лишенцев была завершена к октябрю 1929 года³⁸. Жилищные условия многих горожан значительно ухудшились. Обследование, проведенное, например, ленинградским областным статотделом, выявило, что в 1927 году «на жилой площади муниципальных владений Ленинграда проживало 26,5 тыс. лиц с нетрудовыми доходами. Занимали эти люди 223 000 кв. м (8,3 кв. м на душу). В 1929 году они уже занимают 160 000 кв. м»³⁹. В отношении этой части городского населения не соблюдались даже элементарные нормы расселения. Притеснения, разумеется, вызывали гнев у людей. В секретных сводках Ленинградского ОГПУ, поступивших в 1929 году в обком ВКП(б), была отмечена возросшая враждебность «самоуплотняемых лишенцев»⁴⁰. Но притеснения «бывших» не могли разрешить нараставший и в стране и в Ленинграде жилищный кризис, который стал перманентным явлением советской повседневности.

Уплотнения и его разновидность — «право на самоуплотнение» — властные структуры применяли и в 1940–1970-х годах. Но здесь я не могу выступить как историк-профессионал —

с документами этого периода, хранящимися в архивах, пока не работала. Не знакома я и с фундированными исследованиями о том, как обеспечивали жильем эвакуированных во время Великой Отечественной войны. Но, судя по художественной литературе, в частности по романам Веры Пановой, написанным в 1940-х — начале 1950-х годов, «уплотнение» периода Великой Отечественной войны — вселение эвакуированных — далеко не всегда воспринималось с пониманием: «В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин. До войны ему принадлежала вся квартира, теперь только две комнаты; в третьей жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней. Анна Ивановна приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми оставалась Ольга Матвеевна, Нюриня мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат — не помогло, везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к ним, не постучав, вошла на стул и стала снимать занавески с окон <...> Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью, но Ольга Матвеевна рассудила, что ни к чему им зеркало, обойдутся и так»⁴¹

Санитарные нормы, на которые опирались власти при осуществлении уплотнения, продолжали действовать и в мирной жизни. В повести Александра Житинского «Хеопс и Нефертити» (1973), действие которой происходит на рубеже 1960–1970-х, тоже упоминается «уплотнение»: «Мы занимаем две комнаты, а в остальных двух живут старый бухгалтер Иван Петрович Грач и молодая продавщица гастронома Лидия <...> Она появилась в квартире после того, как у Ивана Петровича умерла жена и его слегка уплотнили <...> После того как Грача уплотнили, комната стала напоминать мебельный антикварный

магазин. В центре стоял рояль, вокруг которого вилось небольшое ущелье, образованное стенками рояля и разной мебелью. От ущелья шли вбок тупички, оканчивающиеся телевизором, кроватью, на которой спал Грач, и настенной аптечкой»⁴². Автор не считает необходимым анализировать реакцию старого бухгалтера на насильственное уменьшение жилплощади. Но подробное описание мебели позволяет надеяться (с учетом всего, что мы знаем о «жилищном переделе» первого после революционного десятилетия), что вещи все-таки оставались в собственности «уплотняемого». Одновременно феномен самоуплотнения, существовавший в советском жилищном кодексе и в 1970–1980-х, иногда помогал разрешать жилищные проблемы. Этим странным правом воспользовалась моя бабушка. После смерти деда в 1977 году она «самоуплотнилась» и прописала к себе в квартиру меня, моего мужа и нашего маленького сына. Других способов улучшить наше жилищное положение при отсутствии частной собственности на недвижимость не было.

ФАБРИКА-КУХНЯ

*Общественное питание: городские традиции
и советские инновации*

Филологов, составивших перечень новых слов эпохи «Совдепии», по непонятным причинам не заинтересовало понятие «фабрика-кухня», характерное для языка горожан именно раннесоветского времени. К 1917 году в российской повседневности уже существовали институты городской культуры питания вне дома: рестораны, кухмистерские, столовые, трактиры. Однако предприятий для массового производства готовых блюд в России не было. Это тормозило развитие системы быстрого и механизированного снабжения серийно приготовленной пищей. В Европе и в Америке на рубеже XIX–XX веков стал формироваться рационалистический стиль еды, соответствующий общемировому процессу модернизации. На русской почве практику быстрого коллективного питания попытались взрастить большевики. Им казалось, что она созвучна программе социалистического преобразования общества. К числу институций питания, работавших по модернизационным принципам, можно отнести фабрики-кухни. В СССР они к тому же, по мнению первого поколения большевиков, помогали осуществлять революцию в быту. Приготовление пищи в домашних условиях рассматривалось как преграда на пути к построению нового общества. Преимущества социалистического общепита, как писали теоретики 1920-х годов, заключались в огромной экономии времени, топлива, продуктов

и даже в рациональном использовании пищевых отходов. Все это должно было помочь женщине-работнице освободиться «от цепей кухни» и тем самым сэкономить силы для труда на производстве. Общественная столовая представлялась «наковальной, где будет выковываться и создаваться новый быт и советская общественность»¹. Считалось также, что питание вне дома сможет нивелировать бытовые неудобства коммунальных квартир. С обескураживающей серьезностью теоретики общепита писали: «Рабочая семья принимает пищу там, где развешаны пеленки, где проплеван пол. Принимать пищу в непроветренной комнате, насквозь прокуренной, полной грязи, — значит, проглатывать вместе с пищей всякую пыль и вредные микробы и получать от пищи лишь ту малую долю пользы, которую она могла бы дать, если бы ее принимали в чистом хорошо проветренном помещении»². Вместо того чтобы рекомендовать проветривать и убирать помещения — или вместо того чтобы предоставить горожанам достаточное по площади жилье, — власть предлагала перенести прием пищи в общественные столовые. На них одновременно возлагались и культурно-просветительские функции: в случае необходимости рабочие и работницы могли здесь разумно и полезно провести досуг. Некоторые из этих теоретических посылок удалось внедрить в жизнь усилиями Нарпита — паевого кооперативного товарищества «Народное питание». Эта организация в годы нэпа должна была конкурировать с частниками. Нарпит, как подчеркивалось в его уставе, создавался с целью «предоставления городскому и промышленному населению улучшенного и удешевленного питания, на основах безубыточности и самокупаемости, путем создания сети доступных столовых, ресторанов, чайных и т. п. предприятий»³. В отличие от частных ресторанов и трактиров нарпитовские заведения не облагались налогами и получали льготы по аренде помещений. К марту 1924 года в Москве, Ленинграде, Туле, Калуге, Ярославле существовало 37 столовых Нарпита. Цены

в них были невысокими, но ассортимент и качество блюд, как и обслуживание, оставляли желать лучшего. Неудивительно, что в середине 1920-х появилась следующая шутка: «Я, брат, завидного здоровья человек. Я седьмой год в столовых обедаю»⁴ И все же при государственной поддержке заведения Нарпита стали вытеснять частные рестораны и кафе из городского пространства: в 1927 году в СССР было более 28 000 заведений общественного питания, принадлежавших частным владельцам, а в начале 1930-х — уже ни одного. Сменившее Нарпит в 1931 году Главное управление по народному питанию было институтом сугубо государственным.

Нэповской культуре питания вне дома противостояли и фабрики-кухни, первая из которых была открыта весной 1925 года в Иваново-Вознесенске. В непривычном для населения заведении многие процессы готовки, а также мытья посуды, нарезания овощей и хлеба выполнялись машинами. Но на первой фабрике-кухне не удалось реализовать то, что идеологические структуры считали наиболее важным, — культурно-воспитательный процесс. В дальнейшем архитекторы считали необходимым кроме помещений для приготовления и приема пищи проектировать и комнаты отдыха. Фабрики-кухни стали для архитекторов-конструктивистов поводом воплотить в жизнь принцип «функция плюс динамика». Один из теоретиков советского общепита 1920-х годов писал об иваново-вознесенской фабрике-кухне: «Она замечательна не только тем, что она является первой во всем Союзе, что она доказала свою жизнеспособность и необходимость, что она знаменует собой новый индустриальный этап в развитии дела общественного питания, что она создает в процессе механического приготовления обедов новые слои работников общественного питания. Она замечательна и не только тем, что согласно записи делегации в книге посетителей — эта фабрика „считается большим достижением по строительству социализма и нового быта“, — или что „фабрика-кухня действительно взрывает старый быт, дает

хорошее, вкусное и здоровое питание“. — Эта фабрика-кухня еще примечательна тем, что она явилась и еще поныне является *школой общественного питания*»⁵.

Индустриально-технологический характер фабрик-кухонь в целом соответствовал концепции обобществления быта. Вероятно, в иной социальной ситуации они могли превратиться в рестораны быстрого питания, столь популярные ныне во всем мире. Однако в советской действительности они скорее были «знаком беды» — грядущих трудностей с продовольствием, которые на рубеже 1920–1930-х годов, на исходе нэпа стали ощущать и жители крупных городов СССР. На подсознательном уровне агрессивный монополизм фабрик-кухонь почувствовал Юрий Олеша. Его роман «Зависть» (1927) отражает чувство страха перед уже развернувшейся переделкой индивидуальной личности в массового советского человека. И инструментом этого процесса становились, среди прочего, новые заведения общественного питания.

К началу 1930-х фабрики-кухни появились в Москве, Ленинграде, Баку, Ташкенте и других городах СССР. Карточки на продовольствие, введенные в это время государством, настоятельно требовали новых методов распределения продуктов, и появившиеся учреждения общепита оказались удачным выходом. Индустриализация промышленности сопровождалась индустриализацией еды. Так, московские и ленинградские фабрики-кухни в начале 1930-х производили до 60 000 обедов в день, пятую часть которых доставляли на близлежащие предприятия. На местном уровне партийные и профсоюзные активисты всячески подчеркивали, как важны новые формы общественного питания для женской эмансипации: «Насущная необходимость — освободить женщину, для того чтобы ее бросить в первую голову в промышленность. Положение такое, что <...> женщина-работница, которая составляет громадную массу и которая занята в настоящее время плитой, очередями и прочими непродуктивными делами, может дать

колоссальный прирост заводского пролетариата. Я считаю, что это одна из основных причин — почему нам нужно с колоссальной энергией взяться за более широкое развитие дела общественного питания»⁶. Полигоном для реализации идеи быстрого и рационального питания стали жилмассивы, строившиеся на рубеже 1920–1930-х годов на промышленных окраинах Москвы и Ленинграда. Здесь возводились архитектурные комплексы, объединявшие жилые помещения (квартиры или общежития) и разного рода культурно-бытовые учреждения: прачечные, магазины, библиотеки, поликлиники, детсады, ясли и, конечно же, фабрики-кухни.

Принципиально новые для российского быта учреждения общественного питания продемонстрировали возможности механизации многих трудоемких процессов приготовления пищи. Лев Кассиль писал в 1929 году: «Здесь все делается машинами. Машины — кухарки, машины — повара, машины — официанты, машины — судомойки, машины — кондитеры, — громадный штат машин <...> Жаркое готовится на больших плитах, питаемых нефтью <...> Готовое кушанье подъемником подается наверх, в обеденные залы. Требование сверху передается по телефону, имеющемуся у каждого подъемника. Наверху — блистательная чистота, уютная вместительность, щедрый разлив света <...> Отслужившие тарелки собираются в нескольких пунктах зала, здесь с них сбрасываются в люки для отбросов объедки, а сама тарелка кладется в решетчатую качающуюся люльку конвейера и опускается в нижний этаж. Там она принимает кипятковую ванну, проходит горячий осушитель, чтобы через минуту снова вынырнуть на верхнем этаже в блеске своего фарфорового целомудрия»⁷.

Механизация приготовления пищи требовала особой рецептуры блюд. Лишенные индивидуальности, свойственной домашней и хорошей ресторанной еде, они тем не менее должны были быть съедобными, питательными, пригодными для приготовления в больших объемах с использованием кулинарной

техники. Параллельно активисты на местах пытались организовать производство полуфабрикатов. Они действительно облегчали домашний труд и были прогрессивными в контексте общемировых тенденций развития быстрого питания. Эти начинания описаны в романе Юрия Германа «Наши знакомые»: «Вишняков наш, знаете, — рассказывает с нескрываемым восторгом героиня романа Антонина, — недавно принес проект поквартирного семейного питания из полуфабрикатов <...> Семья получает обед уже готовый, но еще без спецификации. Это вишняковское слово. Оно означает, что это обед, который может быть приготовлен по вкусу. Понимаете?.. Такой обед <...> можно приготовить в сорок минут. Он уже рассчитан на быстрое приготовление, скомбинирован из таких фабрикатов. <...> Таким образом, если мать отдает ребенка к нам в очаг или в ясли, но не хочет питаться из общего котла, она все-таки может отлично работать, питаясь дома»⁸. На практике это оказалось непростым делом. Участники заседания Ленсовета в июне 1930 года, где специально обсуждался вопрос о строительстве очередной фабрики-кухни, прямо заявляли, что для нового начинания нет нужных кадров. «Это узкое место, — отмечал представитель Леннарпита. — По всему союзу осталось 6000 поваров. Я не хочу эту профессию ставить низко, она по сравнению со всеми другими кадрами рабочего класса должна занять свое место, но все же мы должны помнить, что повара — это люди старого покроя, остались от старого времени, когда готовили порции в ресторане, в кабаке. Они рассчитывали только на то, сколько после этого будет выпито пива или водки для хозяина. Вот с какой точки зрения оценивался товар. Побольше поперчить, посолить, чтобы больше выпили. Теперь общественное питание требует других поваров. Надо людей, которые знали бы, что двадцатикопеечный обед, который отпускается, должен быть хорошо приготовлен»⁹.

Трудности изготовления «массового» обеда решались благодаря использованию только двух кулинарных технологий:

варки и тушения. Неудивительно, что в меню фабрик-кухонь были супы, каши, тушеные овощи с подливами, изделия из рубленого (молотого) мяса. Это позволяло широко вводить в советское «быстрое питание» и сою, и кроликов, и даже тюлень мясо. Повара старой школы, привлеченные к работе на фабриках-кухнях, пытались протестовать против употребления малопригодных, с их точки зрения, продуктов, которые они именовали «дрянью». Однако под давлением обстоятельств, например в начале 1930-х годов в Ленинграде, все же приходилось заменять свинину соей, а судаков — соленой тюлькой¹⁰. Художественная литература содержит лапидарную, но вполне четкую информацию о меню фабрик-кухонь. В романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова можно прочесть: «В большом зале фабрики-кухни, среди кафельных стен, под ленточными мухоморами, свисавшими с потолка, путешественники ели перловый суп и маленькие коричневые биточки»¹¹. Подробности, из чего состояли биточки, отсутствуют. Отличительной чертой блюда избран лишь цвет, что наводит на мысли о разнообразии его ингредиентов.

Фабрики-кухни 1920–1930-х годов не оправдали надежд на полное освобождение женщин от тягот домашнего хозяйства и не выполнили своей общественно-политической задачи, но справились с проблемой распределения продуктов в промышленных городах. Кроме того, население, хотя и на достаточно нищенской основе, стало приобщаться к мировым практикам «быстрого питания». В индустриализированных заведениях советского общепита осуществлялась и реализация принципов валеологического подхода к еде, который можно свести к лозунгу «Вкусно и полезно».

Мои попытки выяснить у старших родственников что-либо о фабриках-кухнях довоенной поры не принесли результатов. Мама и папа в начале 1930-х годов были слишком молоды, чтобы есть вне дома. С общепитом они имели дело лишь в пионерских лагерях. Бабушка и дедушка по роду своих занятий — одна

бухгалтер, другой — работник уголовного розыска — не соприкасались с системой советского «быстрого питания». Бабушка, как мне кажется, казенную пищу ела только в санатории, но там она впервые и единожды побывала после войны. Есть легенда, которую, кстати сказать, описал в своей повести «Наш друг — Иван Бодунов» Юрий Герман. Рассказывая о жизни бодуновской бригады Ленинградского УГРО в 1930-е годы, он не мог не упомянуть традиционные розыгрыши «орлов-сыщиков»: «Вечно друг друга поддразнивали, „розыгрыши“ смеялись друг друга по несколько раз в день <...> Показывались целые спектакли <...> Чаще всего показывали, как Николай Иванович (мой дед. — *Н. Л.*) отправился с Катенькой (моей бабушкой. — *Н. Л.*) в ресторан и как Катеньке пришлось вместе с Бодуновым и мужем ловить бандитов. С тех пор будто Екатерина Ивановна от приглашений в рестораны решительно отказывается»¹². Очень похоже на правду.

В середине 1930-х изменение социально-экономической ситуации прервало демократизацию вкусовых ориентиров населения, которая отчасти была связана и с фабриками-кухнями. Эти заведения не исчезли полностью, но власть утратила к ним интерес, превратив первые советские центры не только «быстрого», но и рационального питания в заводские столовые. Одновременно в среде формирующейся сталинской элиты начали складываться явно буржуазные привычки питания, которые культивировали советские рестораны — одна из витрин большого стиля. В столичных городах во второй половине 1930-х не только оживилась деятельность заведений, известных до революции, появились и новые учреждения питания вне дома, долгие годы составлявшие гордость советского общепита. Это, например, кафе-магазин «Север» («Норд») в городе на Неве и ресторан «Арагви» в Москве. К рациональной и «быстрой» еде они не имели никакого отношения. Но некие попытки организовать, прежде всего в Москве, подобие американского изобилия еды «прямо на улице»

Сталинское руководство все же предпринимало. Это произошло после поездки Анастаса Микояна в 1936 году в США. Позднее он вспоминал: «Привлекло наше внимание массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой — так называемые „хамбургеры“ — прямо на улице в специальных киосках. Я заказал образцы машин, производящих такие котлеты, а также уличных жаровен. В 1937 г. мы перенесли этот опыт в некоторые наши крупные города — Москву, Ленинград, Баку, Харьков и Киев, обязав местную хлебопекарную промышленность наладить производство специальных булочек, а предприятия мясной промышленности — освоить массовое производство котлет по единому стандарту и развозку их в торговую сеть в охлажденном виде. Были построены и специальные киоски для уличной продажи котлет, по закупленным образцам освоено производство электрических и газовых жаровен. Продажа горячих котлет была встречена у нас очень хорошо потребителями, и торговля пошла бойко. Лишь война помешала прочно и широко привить это начинание в нашей стране»¹³

После окончания Великой Отечественной войны система общественного питания развивалась по хорошо разработанной в условиях сталинского социализма схеме: шикарные рестораны соседствовали с жалкими столовыми и разного рода «забегаловками». Оазисами большого стиля продолжали быть рестораны с дореволюционной историей типа московского «Националя» и ленинградского «Метрополя». Последний был знаменит роскошными котлетами по-киевски. Этим блюдом меня, двенадцатилетнюю девочку, впервые угостил отец. Он вообще считал, что дети должны в ресторан впервые пойти с родителями, чтобы правильно оценить обстановку и понять правила поведения. С мамой и папой я побывала в довольно нежном возрасте в «Кавказском» на Невском проспекте. Поколение питерских литераторов-шестидесятников относилось к этому заведению с легким презрением. Анатолий Найман

писал: «Ресторан „Кавказский“, подвальчик возле Казанского собора, прежде царивший в этой части Невского, свел свою клиентуру исключительно к грузинам, офицерам комсостава и кутилам»¹⁴. Более богемным и в то же время роскошным выглядел открывшийся в конце 1950-х годов ресторан «Восточный», окна которого выходили прямо на Невский проспект. Найман справедливо утверждал, что это заведение за короткое время стало центром притяжения всей «приличной публики». Ленинградская литературная молодежь нередко называла «Восточный» третьим залом Филармонии, находившимся как раз между Малым и Большим залами. Я, конечно же, принадлежала к «неприличной» публике и посещала с друзьями и родителями два банальных филармонических зала, неподалеку от гостиницы «Европейская». О роскоши этого заведения и его ресторана в Ленинграде было известно всем. Отец там бывал на встречах с московским начальством. Больше всего мне почему-то запомнился рассказ о визитах в Ленинград вице-президента АН СССР физика Михаила Дмитриевича Миллионщикова. Все происходило в самом начале 1970-х годов, в преддверии празднования 250-летия Академии наук СССР. Миллионщиков всегда останавливался в «Европейской». Туда на завтрак он приглашал административную верхушку Ленинградского научного центра. Обычно приходили академик Борис Евсеевич Быховский и отец, как ученый секретарь всех академических институтов. Иногда на завтраки являлась и Зинаида Сергеевна Миронченкова — тогда заведующая отделом науки Ленинградского обкома КПСС — дама очень неглупая, а также приятная во всех отношениях, явно оживлявшая мужскую ученую компанию. По иронии судьбы и Миллионщиков и Быховский не дожили для пышных академических торжеств. Отец и Миронченкова участвовали и в подготовке празднования, и в его проведении, о чем свидетельствует наш семейный фотоальбом. О меню завтраков папа ничего не рассказывал, его больше интересовали полунамеки и полутона административно-научной

беседы. Мне удалось побывать в «Европейской» в юности, опять-таки с родителями, на нескольких юбилеях их друзей. Но о кухне этого ресторана я ничего не помню, в отличие от бывшего питерского фарцовщика и стилиста номер один Владимира Тихоненко. Он вспоминал о таких деликатесах, как ботвинья с осетриной, маринованные белые грибы — «каждый как на токарном станочке выточен»¹⁵. Описание гастрономических изысков в «Европейской» есть и у Юрия Нагибина. Он пересказывает историю, якобы произошедшую с Александром Галичем, которому довелось завтракать за одним столиком с Александром Вертинским где-то на рубеже 1950–1960-х годов: «Саша, желая не ударить в грязь лицом перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливо считался А. Н. Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, марочный коньяк и кофе»¹⁶. Кухне «Европейской» соответствовал и интерьер, выполненный в духе имперско-советского шика. Такая же картина наблюдалась и в московском «Национале», где после войны в числе завсегдатаев были писатель Юрий Олеша, поэт Михаил Светлов, композитор Никита Богословский. Славился среди московской богемы и номенклатурной знати также ресторан «Арагви» — типичное детище сталинского гламура, открывшееся в 1938 году и возродившее свою роскошную специализированную грузинскую кухню в 1950-х годах. Там подавали осетрину на вертеле, чанахи в глиняном горшочке, особые котлеты «Сулико»¹⁷. Даже в начале оттепели в советских крупных ресторанах царила обстановка сталинской роскоши — пальмы, массивная мебель, крахмальные скатерти, бархат, плюш.

Однако в ходе хрущевских реформ в 1950–1960-х годах формирование новой стилистики быта затронуло и заведения общественного питания. Из ресторанов и кафе активно вытеснялся шик большого стиля. Быстрее всего новую эстетику освоили в Прибалтике, которая многим казалась маленьким западным раем на территории СССР. В первую очередь это

был Таллин, где жизнь, по словам Наймана, казалась «неординарной, не вполне советской»¹⁸. Именно в таллинские рестораны и кафе отправляет юных москвичей, героев своей повести «Звездный билет», Василий Аксенов: «В кафе громко играла музыка, какая-то запись. Это был рояль, но играли на нем так, словно рояль — барабан. Вокруг курили и болтали. И симпатичная буфетчица <...> поставила перед ними дымящиеся чашки кофе. Стояли рюмки и чашки, валялись сигареты, ломтики лимона были присыпаны сахарной пудрой. Сверкал итальянский кофейный автомат. Сверкало нарисованное небо с асимметричными звездами. Нарисованный мир красивее, чем настоящий. И в нем человек себя лучше чувствует. Спокойней. Как только освоишься в нарисованном мире, так тебе становится хорошо-хорошо»¹⁹. В начале 1960-х в Вильнюсе появилось первое в стране кафе, где при отделке использовались практичные дешевые материалы — кирпич, сосновое дерево, черный металл. Поиск новых интерьерных решений в общепите запечатлен в рязановской комедии «Дайте жалобную книгу», снятой в 1965 году по сценарию Галича и Бориса Ласкина.

И все же определенное обновление интерьера и даже меню ресторанов не имело прямого отношения к «рационализации еды» для широкого населения. Более важными в этой ситуации стали принципиально новые институции общепита. В годы оттепели возродились появившиеся на короткое время в Москве еще в конце 1930-х и тогда прозванные «американками» кафе-автоматы. На рубеже 1950–1960-х годов они воспринимались как некий знак позитивных изменений в обществе. Питерский прозаик Валерий Попов писал: «И когда ты, опустив жетон, после долгого грохота и звона, мог взять из открывшейся железной коробки засохший бутерброд, казалось, что прогресс наступает и когда-нибудь непременно наступит»²⁰. В 1957 году в Ленинграде на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна открылось кафе-автомат, где присутствовали элементы самообслуживания. Это значимое для городского быта событие

Аксенов зафиксировал в повести «Коллеги»: «Максимов <...> прицелился, метко бросил окурок в урну и отправился ужинать в кафе-автомат»²¹. Впрочем, еще важнее оказались заведения общепита, отчасти возродившие принципы работы фабрик-кухонь.

1 марта 1956 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О мероприятиях по улучшению общественного питания». В документе указывалось: «Развитие и улучшение общественного питания в стране имеют большое значение в решении важной политической народнохозяйственной задачи — улучшения материально-бытовых условий советских людей. Общественное питание способствует перестройке быта трудящихся на социалистических началах и освобождению женщин от малопроизводительного домашнего труда»²². Это напоминало период 1920-х — начала 1930-х годов. Однако характерное для эпохи десталинизации обращение к интересам человека и семьи придавало рационализации питания несколько иные тона. Постановление 1956 года рекомендовало расширять «отпуск завтраков, обедов и ужинов на дом». Общественное питание на дому должно было стать неким промежуточным вариантом между буржуазно-крестьянской индивидуализацией и рационализмом в еде, свойственным эпохе всеобщей модернизации. Осуществление этой задачи возлагалось на так называемые домовые кухни, которые стали приметой именно хрущевского времени. Появление такой формы питания связано с развитием массового жилищного строительства на окраинах крупных городов. Как правило, на первых этажах новых домов проектировались помещения для магазинов, где предполагалось продавать полуфабрикаты и уже приготовленные блюда. Их следовало только разогреть перед употреблением. Теоретически новосел мог спуститься в расположенную на первом этаже его дома домовую кухню, купить там полный обед и съесть его в кругу семьи. Сначала для этой цели использовались обычные столовые. Выглядело

это, согласно материалам газет, примерно так: «Эта столовая обслуживает исключительно тех, кто обедает на дому. В субботу вы можете заказать здесь для своей семьи воскресный обед: солянку, заливную рыбу, пирог с рисом, жаркое. Все это будет доставлено вам на дом в судках в точно установленный час. Доставка производится бесплатно»²³.

Специализированные же домовые кухни появились в СССР в 1958 году по инициативе местных властей. Об одной из них, открытой в районе ленинградских новостроек, в прессе сообщалось: «Здесь готовят не только вкусные блюда, но и всегда разнообразные. На выбор всегда три первых, пять-шесть вторых блюд. Но это не все. В продаже в широком ассортименте изделия мясной и рыбной кулинарии, полуфабрикаты, пироги, пирожки, кондитерские товары»²⁴. Такой «общепит на дому» заметно сэкономил время хозяек и в то же время способствовал распространению в крупных городах привычного для Америки и Европы рационалистического подхода к еде. Однако в СССР власть явно пыталась политизировать общемировые процессы, считая их интенсификацию «важной государственной задачей» периода «развернутого строительства Коммунистического общества»²⁵. Полуфабрикаты становились своеобразным пищевым фетишем власти, а полем их распространения были домовые кухни. В конце 1950-х годов в советских хозяйственных магазинах в продаже появились специальные трехэтажные судки для переноски таких обедов. Сеть домашних кухонь быстро расширялась. В начале 1959 года в Ленинграде работало 13, а в конце того же года уже 22 таких заведения²⁶. С 1959 по 1965 год их количество в РСФСР возросло более чем в 10 раз — с 90 до 1000. Сегодня трудно сказать, нравились ли советским людям блюда, которые готовили в системе хрущевского «быстрого питания». В газетах то и дело печатались восторженные письма по поводу работы домашних кухонь. Некая пенсионерка даже в 1962 году очень хвалила работу одной ленинградской домашней кухни: «Здесь

всегда большой выбор первых, третьих и особенно вторых блюд — мясных, рыбных, овощных, — писала женщина. — Стоимость одного обеда, как правило, не превышает 50 копеек. Покупателю остается лишь принести обед домой, подогреть его и есть на здоровье»²⁷. А известный питерский искусствовед Михаил Герман в своих воспоминаниях писал, что домовые кухни — это «вонючие лавочки, где торговали полуфабрикатами для очень здоровых желудков»²⁸. Эти споры разрешила жизнь. В середине 1960-х система маленьких заведений рационального питания, располагавшихся в жилых домах в первую очередь новостроек, явно перестала быть интересной властям. Даже в крупных городах количество домовых кухонь сокращалось. В Ленинграде, например, в 1960–1963 годах их было построено всего лишь 19, тогда как за один только 1959 год — 18²⁹. Демократичные заведения конца 1950-х заменили кулинарии при больших ресторанах типа «Праги» в Москве или «Метрополя» в Ленинграде. У москвичей славились полуфабрикаты и выпечка «Праги» и гостиницы «Украина».

Здесь вспоминается эпизод уже перестроечного времени. В июне 1990 года в Москве я остановилась у папиных друзей Сажиных — они жили в роскошном сталинском доме на углу Большой Дорогомиловской и Можайского Вала. Возвращаясь вечером после работы в архиве в гостеприимный дом, я считала необходимым принести что-нибудь к ужину. Сначала я всех закармливала черешней, которой торговали у Киевского вокзала. А потом все же решила купить что-нибудь более существенное и отправилась в кулинарию гостиницы «Украина». На застекленном прилавке не было ничего, а в вазе, предназначенной для печенья, сидела маленькая мышка и подбирала крошки. Таковы были реалии горбачевской демократии. В 1960-х же годах в ленинградской кулинарии при «Метрополе», например, продавались шикарные котлеты-«метропольки» с начинкой из печени, а также булочки со взбитыми сливками — новшество кондитерского производства. Но очереди

были огромные. Популярностью пользовался и магазин полуфабрикатов при гастрономе № 1 («Елисеевский») на Малой Садовой. Его часто посещала наша семья, иногда специально, а иногда после концерта в филармонии. Самое яркое воспоминание — огромные очереди. Из ассортимента помню селедочное масло, печеночный паштет, маленькие цвета детского мыла вареные курицы... Самая же крупная пока еще домашняя кухня открылась в 1964 году, но опять же в центре города — на улице Герцена (Большая Морская, 14). Ее общая площадь составляла 500 кв. м³⁰. Я всю жизнь жила в центре города и иногда пользовалась «едой навывнос». Помню, как-то в начале 1980-х перед Новым годом для задуманных пельменей у меня не хватало свинины. В магазинах ее уже было трудно купить, как, впрочем, и все другое, и тогда я бросилась в домовую кухню на Суворовском проспекте, купила там свиные отбивные — сырые, но густо посыпанные сухарями. Смыла обильную панировку, срезала излишний жир и получила то, что хотела. Но систематически так пользоваться «быстропитом» было и сложно, и накладно.

Советские властные структуры не сумели реализовать основную идею общепита — ликвидацию домашней кухни. Посещение ресторанов, кафе, а уж тем более заведений «рационального и дешевого питания» (которых просто было очень мало) не превратилось в традиционную практику городского быта и в период брежневского застоя. Иосиф Бродский с грустью вспоминал: «Семейные люди редко едят не дома, в России — почти никогда. Я не помню ни ее (мать. — *Н. Л.*), ни отца за столиком в ресторане или даже в кафетерии»³¹.

ХРУЩЕВКА

Слово и здание в контексте десталинизации

«Хрущевка» — неоспоримый и к тому же политизированный элемент советского новояза. Любопытно, что в словаре Даля вообще отсутствуют какие-либо слова с корнем «хрущ». В первое издание толкового словаря Дмитрия Ушакова внесены такие лексические единицы, как «хрущ» и «хрущик», объясненные как названия майского жука. По моим воспоминаниям, в годы оттепели взрослые в нашем доме с явным удовольствием называли Никиту Хрущева «Хрущом». В четвертом томе «Словаря русского языка», выпущенного Академией наук СССР незадолго до перестройки, не без интеллигентского сарказма слово «хрущ» расшифровано как «жук, причиняющий вред сельскохозяйственным растениям», а «хрущак» — тоже как жук, но «наносящий вред продовольственным запасам»!¹ Конечно, сарказм — это мои домыслы, основанные на хорошем знании научной среды, где очень любят употреблять эзопов язык и показывать фиги в кармане. Но то рвение, с которым в каждый постперестроечный толковый словарь русского стало включаться слово «хрущевка», подтверждает и коллективное научное знание о его существовании, и желание наконец придать устойчивому советизму официальный статус. «Хрущевка», согласно, например, «Толковому словарю языка Совдепии», — это «малогабаритная квартира (обычно в типовом пятиэтажном доме, которые в большом количестве строились в 50–60-х гг.)».

Стилистическая помета «разг.» определяет принадлежность слова к бытовой речи². Кроме того, в слове «хрущевка» явно ощущается пренебрежительное отношение к зданиям, появившимся повсеместно в годы оттепели. Однако остается неясным, когда возник этот термин: во время хрущевских реформ или значительно позже? Логично попытаться найти ответ на этот вопрос в специальных лингвистических работах, посвященных особенностям лексики эпохи Хрущева. Языковые реалии времен десталинизации и оттепели нашли наиболее полное отражение в книге «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов». Лексические единицы, занесенные в словарь-справочник, встречались на страницах газет, чтение которых было частью повседневности в период хрущевских реформ; они звучали в текстах радио- и телепередач, использовались в художественной литературе. В книге, таким образом, зафиксирован официальный язык хрущевской эпохи.

Издание «Новые слова и значения» знакомо мне со студенческой поры и вовсе не по причине моей особой историко-лингвистической просвещенности. Просто к началу 1970-х годов у нас в доме собралась очень приличная библиотека (см. «Макулатура»). Помогали и подарки. Пока отец работал на разных высоких и не слишком высоких постах, в Управлении кадров ленинградских академических учреждений, очень многие ученые по негласному обычаю научного мира дарили ему свои труды. Среди них и работы лингвиста Надежды Захаровны Котеловой. В 1966-м она подарила отцу, тогда рядовому работнику управления кадров, отпечаток статьи в журнале «Вопросы языкознания». А через пять лет, весной 1971 года, он, теперь ученый секретарь всех академических учреждений Ленинграда, получил еще один подарок от Котеловой — книгу «Новые слова и значения». Весной 1984 года под редакцией Котеловой выходит книга «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы

70-х годов». И вновь подарок, пополнение нашей библиотеки. Нового словаря, созданного под руководством Котеловой и охватывающего уже 1980-е годы, отец не увидел — он умер в 1985 году. В 1990-м умерла и Надежда Захаровна. Я берегу ее книги, а главное, постоянно пользуюсь ими.

Словарь-справочник 1960-х годов включает 3500 слов, связанных с разнообразными сторонами жизни советского общества. Здесь много новых терминов, отражающих сферу повседневности: одежду, транспорт (автомобили), ткани, бытовую технику. В словаре приводится 70 новых понятий в области медицины — названий лекарств, направлений медицинской науки, наименований врачебных специальностей («амидопирин», «валокордин», «аллергология», «пульмонология», «иммунолог», «нарколог»). Авторы издания выявили 21 название новых танцев, появившихся в 1960-х годах, и 20 новых бытовых приборов. Позиционируется в словарях и бытовая составляющая «химизации народного хозяйства» (аэрозоль, дакрон, латекс, поролон, орлон) и др.³ Однако понятие «хрущевка» здесь, конечно, отсутствует. Его не существовало в официальной лексике 1960-х годов не только по вполне понятным цензурным причинам, но и потому, что в это время население воспринимало хрущевки вполне лояльно. В относительно узкой профессиональной среде архитекторов неприятие новых форм жилищного строительства проявилось раньше.

В конце 1954 года Хрущев развернул борьбу с «излишествами» в архитектуре. У многих россиян термин «излишества» вызывает воспоминания о фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). Сценаристы вложили в уста Труса забавную ремарку о том, что ящур особенно бурно развивается в организме, ослабленном... «излишествами нехорошими»⁴. Лукавая улыбка гениального комика породила ассоциации с разного рода бытовыми anomalies. Однако в СССР одно время понятия «излишества» использовали в ином контексте — в качестве маркера разного

рода эстетических отклонений (подробнее см. «Язвы») в жилищном строительстве.

Десталинизация началась с административного искоренения сталинского ампира в зодчестве. «Сталинские» здания появились в середине 1930-х годов и продолжали заполнять улицы советских городов после Великой Отечественной войны. Именно тогда власти удалось создать и визуальные доминанты сталинского большого стиля — возведенные в Москве знаменитые «высотки». Их иногда называют «сталинским тортом» за помпезность и особые декоративные детали — последовательно сужающиеся и увеличивающиеся по высоте ярусы. Впервые в таком стиле был задуман гигантский Дворец Советов в Москве. Его должна была увенчать огромная скульптура Ленина высотой 100 м. Однако план строительства Дворца Советов, утвержденный в 1934 году, не удалось реализовать. Уже после войны в ходе реконструкции Москвы было решено создать кольцо высотных зданий с той же самой ступенчатой (тортовой) композицией. 13 января 1947 года появилось постановление Совета министров СССР «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий», инициировавшее возведение восьми таких домов (одного 32-этажного, двух 26-этажных, пяти 16-этажных). «Высотки», как писали в пропагандистской литературе начала 1950-х, продемонстрировали «величие сталинской эпохи, расцвет культуры, героизм созидательного труда советского народа»⁵. Одновременно часть этих зданий стала неким образцом элитного жилья в советском обществе. Для рядовых граждан с середины 1930-х годов предполагалось возводить строения, которые сегодня известны как «сталинские дома» в СССР. Согласно постановлению СНК СССР от 23 апреля 1934 года «Об улучшении жилищного строительства», в жилых зданиях с толщиной стен не менее двух кирпичей предусматривались потолки высотой не менее 3–3,2 м. К строительству таких домов вернулись в начале 1950-х годов. В январе 1951 года на заседании Московского комитета ВКП(б)

было заявлено: «Мы должны строить для советских людей на 100 лет, и нельзя из-за мелочей делать такие квартиры, которые бы вызывали нарекания. Они и через 100 лет должны обеспечивать трудящимся уют, покой и максимально благоприятные условия»⁶. В начале 1950-х в крупных городах действительно начали возводить 5–7-этажные дома. Здания выглядели гармоничными и фундаментальными как снаружи, так и внутри. Полезная площадь двухкомнатной квартиры там нередко достигала 55–60 кв. м, а высота потолков — 3–3,5 м. Однако уже в конце марта 1953 года в Москве заговорили об отказе от оригинальных строительных проектов, характерных для сталинского ампира. Осенью того же года в одном из районов Москвы поточно-скоростным методом строители возвели восемь первых упрощенных пятиэтажек, мало похожих на «сталинские дома», а в августе 1954 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства».

Но наиболее ярко антисталинизм проявляется в документах Всесоюзного совещания строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов, проходившего в Москве в декабре 1954 года. Участники совещания под явным давлением сверху одобрили резолюцию о расширении индустриальных методов возведения жилья. В последний день работы Всесоюзного совещания перед его участниками выступил Хрущев. Он заявил: «В нашем строительстве нередко наблюдается расточительство средств, и в этом большая вина многих архитекторов, которые допускают излишества в архитектурной отделке зданий, строящихся по индивидуальным проектам. Такие архитекторы стали камнем преткновения на пути индустриализации строительства. Чтобы успешно и быстро строить, надо проводить строительство по типовым проектам, но некоторым архитекторам это, видимо, не по душе»⁷

Власти развязали дискуссию о целесообразности художественности в градостроительстве. Летом 1955 года в передовой

статье журнала «Советская архитектура» отмечалось: «Архаика и излишества в архитектурной отделке сооружений — все это вступило в острое противоречие с требованиями передовой индустриальной техники и экономии строительства <...> Преобладающим критерием является назначение здания, техническая и экономическая целесообразность»⁸. В августе 1955 года как рассадник устаревших взглядов была ликвидирована Академия архитектуры. А в ноябре 1955 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». В документе в довольно резких выражениях критиковалась «показуха», царившая в советской архитектуре. Пилястры и колонны, башенки и фигурные карнизы объявлялись «не соответствующими линии КПСС и Советского правительства в архитектурно-строительном деле, направленной, прежде всего, на удовлетворение нужд широких масс трудящихся»⁹.

Десталинизация архитектуры, официально санкционированная властью, стала внедряться на местах. Драматично развивалась ситуация в Ленинграде. В ноябрьском постановлении 1955 года указывалось, что именно в городе на Неве сторонники старых методов в жилищном строительстве тормозят внедрение типовых проектов, а все излишества, присущие индивидуальному проектированию, делают в ущерб внутренней планировке квартир и их удобств¹⁰. Через неделю в Ленинграде началась кампания нападок на «украшательство». 11 ноября 1955 года на собрании сотрудников Управления по делам архитектуры, Управления строительства и проектного института «Ленпроект» бурно обсуждалась стоимость будущих архитектурных сооружений¹¹. А уже 13 ноября в редакционной статье «Ленинградской правды» был подвергнут резкой критике целый ряд архитекторов. Они, по мнению партийных инстанций, придерживались «порочных и архаичных эстетических взглядов» и продолжали «идти по пути ложного украшательства и недопустимых излишеств, пренебрегая интересами

государства, интересами людей, для которых они строят»¹² Подобная властная риторика еще за несколько лет до этого могла означать применение жестких карательных мер. Неудивительно, что уже 15 ноября 1955 года Ленинградское архитектурно-планировочное управление приказало «в месячный срок подготовить предложения по пересмотру проектно-сметной документации по строящимся в Ленинграде объектам с целью решительного устранения в проектах излишеств в архитектурной отделке, планировочных и конструкторских решениях». Основное внимание было решено сосредоточить на коррекции «проекта планировки в районе нового жилого строительства у проспекта им. Сталина <...> в связи с переходом на массовое применение типового проектирования жилых зданий»¹³ В Ленинграде начали воплощаться в жизнь планы Хрущева, который, судя по его собственным воспоминаниям, всячески осуждал «старорежимные штучки» и архитекторов, строивших «не для народа, а для господ»¹⁴.

В январе 1956-го вопросы жилищного строительства бурно обсуждались на конференции Ленинградской городской партийной организации. Городская власть уже прямо заявляла об ответственности за «любовь к излишествам» главного архитектора города Валентина Каменского. До начала борьбы с «украшательством» он спроектировал вид Комсомольской площади и проспекта Стачек. В ходе разгрома ленинградской архитектурной школы Каменского отстранили от проекторочной деятельности, но оставили в должности главного архитектора для «исправления» ошибок».

Первый секретарь Ленинградского областного комитета КПСС ставленник Хрущева Фрол Козлов прямо заявил о том, что и главный архитектор Ленинграда, и директор института «Ленпроект» «пренебрегали типовым проектированием и поощряли других архитекторов создавать вместо экономичных, удобных жилых домов „уникальные произведения“, рассчитанные на увековечивание имен их авторов»¹⁵

Это была неприкрытая атака на «сталинистов» от архитектуры, предпринятая за месяц до XX съезда КПСС. Очередной форум коммунистов, собравшийся в феврале 1956 года, не только официально осудил культ личности Сталина, но и решил ускорить темпы жилищного строительства «за счет широкого применения типовых проектов, внедрения индустриальных методов работ <...> недопущения архитектурных излишеств»¹⁶.

Я не случайно отвожу столько места злоключениям именно ленинградских зодчих в период борьбы с «излишествами». Дело в том, что мои отец и мама дружили с довольно известным архитектором Иринием Александровичем Евлаховым. Папа сошелся с ним в литературном объединении при Ленинградском союзе писателей. Из моего отца литератора, к счастью, не вышло. Из Евлахова, пробовавшего себя в жанре драматурга, тоже. Но дружба осталась. Позднее вдова Евлахова передала мне кое-что из архива интеллигентной петербургской семьи. Среди бумаг была и небольшая книжка стихов, напечатанная в 2000 году в питерском издательстве «Нестор» тиражом 200 экземпляров. Стихи мне показались очень средними по качеству. Внимание привлекло лишь четверостишие под названием «Борьба с излишеством»:

Прочтя статью, завхоз велел отбить
Розетки с потолка. «Зачем?» — его спросили.
«С излишеством борюсь! Меня учили
Всегда за установками следить»¹⁷.

Написать такое в 1955 году мог только непосредственный свидетель разгрома зодчества сталинского неоклассицизма. Автором стихов оказался архитектор, отец известного востоковеда и журналиста-международника Всеволода Овчинникова — Владимир Федорович Овчинников. Он много чего построил в Ленинграде в 1930–1950-х годах и остро переживал грядущие «партийно-правительственные» изменения в градостроительстве. Но беспокойство за судьбы монументальных ансамблей

эпохи сталинского большого стиля пока не явилось толчком к появлению слова «хрущевка» даже в городском жаргоне.

После критики архитекторов-украшателей советские города стали в спешном порядке застраивать типовыми жилыми пятиэтажными домами. Их официальная жизнь началась после постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», принятого в июле 1957 года. Документ можно считать законодательным оформлением хрущевской жилищной реформы — до этого шел эксперимент. Любопытно одно совпадение. В конце июня 1957 года Хрущев уничтожил сталинскую оппозицию — «антипартийную группу Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». Они, кроме прочих порочных деяний, проявляли «барски пренебрежительное отношение к насущным жизненным интересам широких народных масс»¹⁸. И почти ровно через месяц было принято решение по строительству жилья. Создается впечатление, что существование оппозиции тормозило преобразования Хрущева в жилищной сфере.

Постановление ЦК КПСС от 31 июля 1957 года можно без иронии назвать судьбоносным. В нем был сформулирован принцип поквартирного заселения жилплощади. «Начиная с 1958 г., — указывалось в документе, — в жилых строящихся домах, как в городах, так и в сельской местности, (необходимо. — Н. Л.) предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей»¹⁹. Размах возведения жилья вызывал у многих современников неподдельный восторг. Моя хорошая знакомая журналистка Татьяна Олеговна Максимова, долгое время работавшая в журнале «Родина», вспоминала: «В „хрущобу“ я попала в двухмесячном возрасте из прадедова дома <...> К концу 1950-х годов дом напоминал улей, на каждую семью — по комнате, удобства во дворе. Наша семья из четырех человек, ютившаяся в 9-метровой комнате, была на седьмом небе от счастья, получив ордер на двухкомнатную квартиру <...> Вселение было радостным — 30 метров

жилой площади, две смежные комнаты. Причем смежные были выбраны сознательно: в таких квартирах метраж полезной площади был на 2–3 метра больше, чем в изолированных. Своя (!) кухня — ерунда, что 5,5 метра. Можно забыть о туалете во дворе и каждый день принимать душ и ванну!»²⁰ В конце 1950-х годов о счастье получить новую квартиру писали не только газеты. Поэтесса, художница и скульптор Эрлена Лурье, в ту пору юная студентка одного из ленинградских техникумов, оставила в своем дневнике в декабре 1958 года следующую запись: «Да, в „Ленинградской правде“ сегодня статья о грандиозном строительстве в городе <...> очень много 260 тыс. отдельных квартир!.. Господи, как я хочу отдельную квартиру! Хоть крошечную!»²¹ Похоже, что уничижительный термин «хрущевка», не говоря уж о «хрущобе», появился не в конце 1950-х, а значительно позже.

Советское искусство конца 1950-х — начала 1960-х бурно и почти искренне восхваляло хрущевское жилищное строительство. Наиболее показательна в этом плане попытка художественного конструирования особых отношений в новом бытовом пространстве, предпринятая Дмитрием Шостаковичем в оперетте «Москва, Черемушки». Музыкальная комедия в трех действиях, пяти картинах, по либретто Владимира Масса и Михаила Червинского была написана в 1958 году, а премьера состоялась в январе 1959-го в Москве. В центре сюжета — водевильная история о переезде интеллигентной девушки Лиды и ее старого отца в новую двухкомнатную квартиру в только что построенном микрорайоне Москвы, о мелком жульничестве управдома и начальника стройтреста и, конечно, о любви. У самого Шостаковича «Москва, Черемушки» вызывала противоречивые чувства. В официальных интервью композитор заявлял, что настоящий музыкант должен попробовать себя в разных жанрах; в письмах к друзьям называл оперетту «позором». Но произведение стало популярным. В 1963 году по мотивам оперетты режиссером Гербертом Раппапортом был

снят фильм «Черемушки». В роли главной героини снялась ленинградская балерина Ольга Заботкина, жуликоватых хозяйственников сыграли Василий Меркурьев и Евгений Леонов. Блестящий актерский состав главных героев дополнили короли эпизодов 1950-х — Константин Сорокин, Рина Зеленая, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин. Вокальные партии главных героев озвучивали профессионалы, в том числе Эдуард Хиль, а Меркурьев, Леонов, Сорокин и Филиппов свои куплеты исполняли сами. Фильм Шостаковичу понравился больше, чем собственная оперетта, которая пользовалась популярностью в Западной Европе и США — в основном благодаря музыке, построенной на элементах джаза.

В конце 1950-х в каждом регионе страны появились свои «Черемушки» — районы первых хрущевских новостроек. Они характеризовались системой свободной планировки, примитивностью внутреннего устройства квартир, единообразием панельных зданий. Исчезли эркеры и «завитушки», характерные для архитектуры большого стиля. Овчинников, конечно же, отозвался на «зачистку» внешнего декора жилых зданий. Среди его стихов есть «Отходная-архитектурная»:

Архитекторы-мышки
 Позабыли про вышки,
 Эркера, парапеты,
 Про шпили-силуэты...

И под звон похоронный
 Обдирают колонны,
 Обдирают излишки
 Архитекторы-мышки!²²

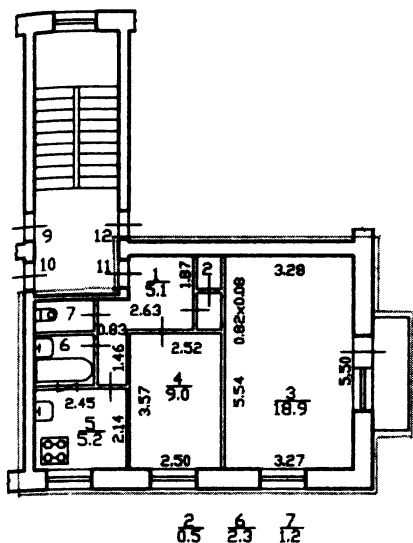
Затем настала очередь лифтов: в пятиэтажных домах их не делали не по причине безразличного отношения к здоровью советских граждан, а по соображениям экономии. Для установки лифта необходимо было по-иному спланировать лестничные площадки, уменьшив количество квартир на них, а это

не соответствовало общей идее жилищных преобразований. До 40–45 кв. м сократилась по сравнению со «сталинками» площадь двухкомнатной квартиры, а высота потолков — до 2,2–2,5 м. Это позволило реализовать планы жилищного строительства полностью, ведь средняя стоимость жилья уменьшилась на 30–35%. Сам Хрущев признавался позднее: «Из-за невероятной нужды в жилье мы вынуждены были, пересматривая проекты, выжимать все лишнее, чтобы поскорее удовлетворить большое количество нуждающихся. Прежде всего, возник вопрос этажности и высоты комнат в ущерб некоторым удобствам»²³.

Многие из этих удобств Хрущеву казались по большому счету вовсе не нужными. Он утверждал незадолго до смерти: «Если перед какой-то хозяйкой поставить вопрос, что лучше, высота или большая площадь, то многие выскажутся за последнее, потому что можно будет удобнее разместить мебель и расположить семью <...> На первых порах не все квартиры, к сожалению, оборудовались ванной, в некоторых имелся лишь душ. Конечно, многие оставались недовольны, но разве лучше было обещать райскую жизнь за гробом? Поэтому, при рассмотрении проектов мы порой пренебрегали некоторыми частными удобствами, помня о том, что масса народа в городах не знает, что такое теплый туалет»²⁴.

В гигиеническом оснащении квартир в хрущевках и впрямь чувствовалась гуманистическая составляющая. После длительного проживания в коммуналках многие считали индивидуальные удобства высшим показателем комфорта. Зять Хрущева известный журналист Алексей Аджубей так описывал посещение одной из только что заселенных хрущевок: «Когда гости собрались, хозяин (кандидат медицинских наук. — Н. Л.) перерезал ленточку открытия своей квартиры. Она висела в дверном проеме совмещенного с ванной клозета. „Впервые за сорок лет, — сказал остроумный врач, — я получил возможность воспользоваться удобствами

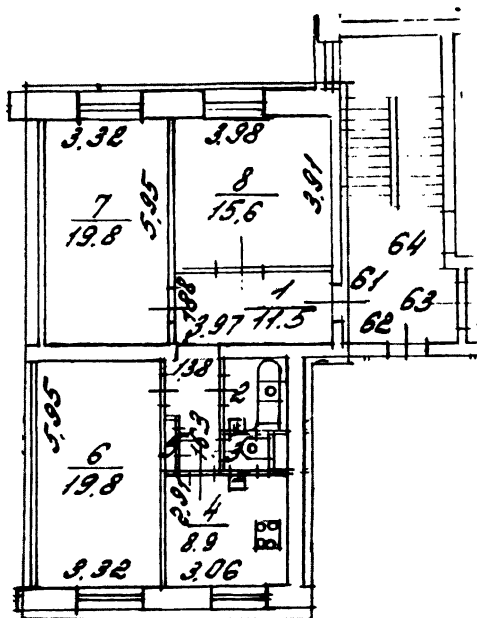
данного заведения, не ожидая истошного вопля соседа: «Вы что там, заснули?»²⁵ Не смущали новоселов маленькие размеры индивидуальных санузлов: планировщикам не удалось отстоять увеличение этих габаритов. Современники вспоминали, что Хрущев во время одного из посещений московскихстроек в конце 1950-х годов категорически запретил увеличивать туалеты даже на полметра. Он всерьез опасался, что это приведет к потерям 2,5 млн кв. м жилья. Партийный лидер, выслушав жалобы на тесноту в отхожем месте, сам зашел в него и заявил: «Ничего, я пролезаю, и другие пролезут»²⁶. Настоящей находкой с точки зрения экономии средств стала знаменитая «гаванна». Так в бытовом обиходе конца 1950-х — начала 1960-х годов называли нововведение хрущевской жилищной реформы — совмещенный санузел в малогабаритной квартире. Первый слог «га» образовался от морского названия туалета — «гальюн». Такой советизм — проявление скорее грубоватого юмора, нежели воинственной сатиры. Еще до рождения слова «хрущевка» ходил анекдот: «Армянское радио спрашивают: „Что такое Гавана?“ Армянское радио отвечает: „Совмещенный санузел“»²⁷. В кубинском звучании этого слова можно усмотреть и закодированный намек на то, что Хрущев перекачивал средства на поддержку кубинской революции и режима Фиделя Кастро в ущерб интересам собственного народа. Но даже в этом совмещенном санузле можно было побаловать себя ванной с «Бадузаном» — первой концентрированной жидкостью для мытья тела. Ее производили в ГДР и в 1960-х годах поставляли в СССР в пластиковых баночках в виде рыбок. «Бадузан» давал очень пышную пену. Неудивительно, что любители помокнуть в ванне получали большое удовольствие от купания и не хотели его быстро заканчивать. Я с детства запомнила карикатуру из «Огонька», изображавшую жену, сидящую в ванне, и приплясывающего рядом мужа, который явно желал воспользоваться унитазом. Картинка сопровождалась



Обычная хрущевка. Личный архив Е. П. Охинченко

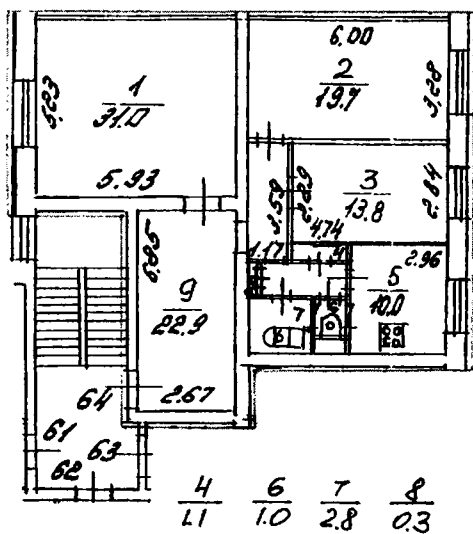
подписью: «Дорогая, нырни на минуточку». Скорее всего, жена мылась с «Бадузаном».

Конечно, в пенной ванне лучше лежать, чем сидеть. Но и этой радости новоселы не были лишены. Дома, строившиеся в 1950-х — начале 1960-х, имели разные планировки. Часть зданий возводилась крупными заводами, институтами, учреждениями культуры. Здесь принципы минимализма и экономии не слишком соблюдались. В неравенстве хрущевок я убедилась на личном опыте. В юности мне, девочке, выросшей в огромных и бестолковых помещениях старого фонда без капремонта, с четырехметровым потолком, анфиладными комнатами, окнами высотой в три метра и прочими радостями быта, которые хороши только при наличии горничных и дворецких, так как уборка в этих пространствах — адский труд, очень нравились уютные хрущевочки. Меня искренне восхищали отдельные малюсенькие комнатки — 9 метров — моих подруг. Семья одной построила в 1964 году двухкомнатный кооператив, а отец второй — военнослужащий — получил трехкомнатную хрущевку.



$$\frac{5}{0.4} \quad \frac{3}{1.0} \quad \frac{2}{2.9}$$

Элитная хрущевка.
Личный архив Н. Б. Лебиной



$$\frac{4}{11} \quad \frac{6}{1.0} \quad \frac{7}{2.8} \quad \frac{8}{0.3}$$

Элитная хрущевка.
Личный архив В. М. Кисловского

С возрастом я постепенно прониклась снобизмом, свойственным всем питерцам, живущим в центре. А на старости лет решила все же уехать из парадной, уже даже отделанной по евростандарту, но очень неудобной квартиры в старинном Доме академиков. И вот после недолгих поисков в Гавани, на Васильевском острове — это почти центр нынешнего Петербурга, — мы купили 80-метровую трехкомнатную квартиру с довольно большой кухней, холлом, трехметровыми потолками, стенами в три кирпича, входной дверью 2,4 на 1,2 м и такими же межкомнатными дверями из натурального дерева.

В доме нет лифта, но по широкой пологой лестнице, имеющей межэтажные площадки в 16 кв. м, подняться на второй этаж не составляет труда. И все это в постройке 1960 года! Великолепие объяснялось просто: здание, возведенное в разгаре хрущевской жилищной реформы, предназначалось для передовых рабочих и инженерного состава Балтийского завода. Я умышленно привожу планы квартир моих соседей по площадке. Подобных домов в Гавани немало.

Но в целом к началу 1960-х годов стало очевидным, что достоинства жилищной реформы грозят превратиться в недочеты. Быстро строившееся экономичное жилье оказалось тесным. Недостатком обернулся и главный козырь хрущевской реформы — поквартирное и посемейное распределение жилья. Об изъянах этой системы заговорили сами представители властных структур. На Всесоюзном совещании по градостроительству, проходившем в Москве в июне 1960 года, Хрущев заявил, что практика предоставления одиноким людям отдельных квартир себя не оправдала, однако нельзя и возвращаться к коммуналкам. В качестве выхода было предложено обратить внимание на строительство домов гостиничного типа. В первых проектах малогабаритных квартир архитекторы умышленно задумывали проходные комнаты, чтобы не возникало соблазнов сделать небольшие квартирки коммунальными. Ярким противником таких планировок стал главный

архитектор Ленинграда Каменский. Он считал, что необходимо создать условия для обособления личного жилого пространства даже в квартире на одну семью. На III съезде советских архитекторов в 1961 году Каменский вообще предложил на законодательном уровне запретить образование коммуналок в объектах нового строительства, настаивая на проектировании в них не смежных, а изолированных комнат²⁸. Новоселы малогабаритных отдельных квартир уже через пять лет жаловались на тесноту. Даже новое жилье в СССР выдавалось строго по норме и без учета перспектив расширения семей. Часто в двухкомнатной квартире (14,5 и 15,2 кв. м) с пятиметровой кухней и совмещенным санузлом жило две семьи: за 5–7 лет после получения хрущевки дети вырастали и женились. Раздражающим моментом стала стандартность новых районов, застроенных пятиэтажными спичечными коробками. В 1969 году Овчинников написал стихотворение «Трагедия заблудившегося новосела».

Налево, направо, бок о бок
 Повсюду — вдали и вблизи
 Громады дырявых коробок
 Стоят в непролазной грязи.

Среди одинаковых зданий
 Стою одиноким столбом,
 Вспотев от бесплодных стараний
 Найти заколдованный дом...²⁹

Поостыл и пыл творческой интеллигенции, восхвалявшей в конце 1950-х государственную жилищную политику. В конце 1960-х, после смещения Хрущева, начала раздаваться критика пятиэтажек. Единообразии новых районов подтолкнуло Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова написать в 1969 году пьесу, по мотивам которой в середине 1970-х был снят фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Скепсис по отношению к массовому жилстроительству выразился и в новой лексике.

Группа филологов во главе с Котеловой зафиксировала появление в официальном языке 1970-х годов таких слов, как «малогабаритка» и «распашонка». Первым понятием маркировалась «небольшая квартира с низкими потолками»³⁰. По сути, это был цензурный синоним слова «хрущевка», которое уже было в разговорной речи. Концом 1960-х годов датируется следующий анекдот: «Есть ли в СССР трюшобы? — Нет, только хрущобы»³¹. Грустной иронией отдавало и слово «распашонка». Наименование одежды для грудного ребенка в 1970-е годы стало названием определенного вида трехкомнатных квартир в типовых жилых домах тех лет³². Комнаты там действительно располагались по крою распашонки: большая проходная и по бокам (как рукава) входы в две маленькие. Общий метраж таких квартир не превышал 44 м. Обычно их давали семье из четырех человек — часто родителей и двоих детей. Но бывали и другие ситуации. В Иркутске в начале 1960-х, как вспоминают современники, «при заселении дома получилось так, что осталась только одна трехкомнатная (квартира. — *Н. Л.*), а из ближайших очередников — одинокая ветеранша труда и молодая семья с ребенком. Их и вселили покомнатно: одну комнату ветеранше; молодой семье — две другие смежные (через одну из которых ветеранша проходила в свою комнату). Так и жили они вместе лет 10 до смерти „бабушки“»³³.

В послеперестроечной литературе слово «хрущевка» курсировало на законном основании. Сами же здания изображались не иначе, как некие «кукольные дома», в которых был душок нестабильности, временности, экспериментальности³⁴. Но это «временное» оказалось почти «постоянным», а главное, социально значимым — и не потому, что хрущевки, рассчитанные на 25 лет, существуют до сих пор. Скорее, суть заключается в индивидуализации жилого пространства, которая способствовала формированию менее контролируемого со стороны государства стиля жизни. Современники хрущевских реформ в маленьких, но индивидуальных кухнях, на 5 квадратных

метрах между холодильником и обеденным столом размером бо на 70 сантиметров, сидя на тонконогих табуретках, могли, не опасаясь доносов, поговорить о политике, послушать «вражеские голоса» по «транзистору», попеть под гитару песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Так вместо тела строителя коммунизма в хрущевках формировалась новая, антитоталитарная идентичность. В ходе массового жилищного строительства конца 1950-х — начала 1960-х годов удалось преодолеть водораздел между элитным меньшинством, проживавшим в отдельных квартирах, и демократическим большинством из коммуналок. Хрущевская жилищная реформа, несмотря на ее бедность и поспешность, привела к деконструкции сталинской коммунальной повседневности — почти так же, как реформа 1861 года, несмотря на всю ее ограниченность, разрушила крестьянский общинный быт.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

*Новые пищевые продукты в условиях дефицита:
поиски выхода или инновации в сфере питания?*

Ни патриотически настроенные политики и деятели культуры, ни даже особо шустрые блогеры не пытаются сегодня опровергать существование и исторический смысл словосочетания «царица полей». В общественном сознании оно прочно связано с хрущевскими экспериментами в области сельского хозяйства. Бытование в советском подцензурном языковом пространстве этого патетического перифраза слова «кукуруза»¹ подтверждают данные кинематографа. В 1964 году режиссер Элем Климов и сценаристы Семен Лунгин и Илья Нусинов в кинокомедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», где действие разворачивается в пионерском лагере, вставили эпизод детского карнавала. За лучший костюм выдавалась премия. Пионеры твердо знали, кто победит. На вопрос «Ребята, кому торт дадут?» звучал четкий ответ: «Кукурузе, царице полей»². Однако кинофильм зафиксировал скорее конец эпохи кукурузы в СССР. Начало же активного и почти повсеместного распространения однолетнего растения высотой до 6 м в СССР относится ко второй половине 1950-х годов. Доказательство тому — выступление Никиты Хрущева в 1955 году на январском пленуме ЦК КПСС с докладом «Об увеличении производства продукции животноводства», где, в частности, отмечалось: «Крупнейшим резервом увеличения зерна является расширение посевов кукурузы»³. Знаковым с точки зрения

датировки хрущевских экспериментов в сельском хозяйстве можно считать анекдот 1957 года: «Воскрес Сталин. Булганин бежит в Индию, Ворошилов — в Китай, Хрущев решил пере- сидеть в кукурузе»⁴. Кое-что о злоключениях этого растения помню и я. В 1958 году во время весенних школьных каникул мы с моей соседкой и одноклассницей, дочкой детского писателя Бориса Марковича Раевского Аней Ривкиной, посетили праздник «Книжкины именины». Так называлось культурное мероприятие, в ходе которого школьники встречались с писателями, обсуждали новые книжки и, конечно, могли посмотреть на киноэкране цветные мультфильмы. Продававшиеся тогда телевизоры были черно-белыми. В этот раз нам показали мультфильм под названием «Чудесница». Каково же было мое удивление, когда вместо волшебницы на экране появился кукурузный початок. Он обозначал свою гендерную принадлежность с помощью зеленой косыночки. Кульминацией мультика была сопровождавшаяся лихой пляской песня:

Сейте больше кукурузы,
Уважайте кукурузу,
И за это кукуруза
Не окажется в долгу.

Других впечатлений от просмотра «Чудесницы» у меня не осталось, зато в моей памяти отчетливо запечатлелся резко изменившийся вид полей вокруг поселка Сосново Ленинградской области, где наша семья традиционно снимала дачу. До 1958 года на Карельском перешейке чаще всего сеяли кормовые травы, в первую очередь овес. Он был всегда живописно «засорен» васильками и клевером. Но уже летом 1959-го вместо овса я увидела десятисантиметровые ростки с тремя довольно крупными листьями. К сентябрю ростки не изменили своего размера, лишь высохли и частично сгнили на корню. Это оказалась знаменитая кукуруза, которую пытались вырастить согласно партийной разнарядке не очень далеко от Полярного круга. А годом позже папа из очередной

командировки в Москву привез мне пластмассовую игрушку — забавный желто-зеленый кукурузный початок на ножках. На предполагаемой голове улыбочивой черноглазой кукурузы уже лихо сидела маленькая корона, и называлась игрушка «Царица полей». «Чудесница в косыночке» стала царствующей особой. У Аксенова в повести «Звездный билет», написанной в 1961 году, уже есть упоминание о модном злаке: «Все эти дни питались консервированной кукурузой. Царица полей восставливала их силы»⁵.

Власть всячески стремилась пропагандировать достоинства кукурузы. Множество визуальных материалов иллюстрируют государственную оценку ее значимости для народного хозяйства. Это плакаты, открытки, карикатуры, елочные игрушки в форме початка, наконец. Их анализ позволит уточнить, когда хорошо известное и существовавшее в военном дискурсе выражение «царица полей» (так называли разные рода войск) получило сельскохозяйственное содержание, а также установить некую периодизацию «кукурузной эпопеи» в СССР. Надо заметить, что культурно-пропагандистское оформление «кукурузизации СССР» — перспективная тема для историко-антропологического исследования, которое вполне могли бы осуществить молодые историки.

Неудачи с кукурузными посадками в средней полосе и северных районах не охладили пыл Хрущева. Даже на XXII съезде КПСС в 1961 году он заявил: «Если в отдельных районах страны кукуруза внедряется формально, колхозы и совхозы снимают низкие урожаи, то в этом виноват не климат, а руководители»⁶. На фоне этого сельскохозяйственного эксперимента в 1962 году возник продовольственный кризис. Композитор Дмитрий Толстой описал в своих воспоминаниях мытарства, выпавшие на долю его семьи в 1962 году. Толстому и его домочадцам пришлось организовать у себя дома прием американского композитора Сэмюэла Барбера. «Это было нелегко, — вспоминал Толстой. — То было время, когда у булочных

выстраивались очереди, а поперек проспектов висели плакаты: „Догоним Соединенные Штаты Америки по производству мяса и молока!“ В эти дни рассказывали, что какая-то старушонка в очереди, увидев такой плакат, перекрестилась и вздохнула: „Слава тебе, Господи, что по хлебу еще не догоняют“⁷. Однако осенью 1962-го начались перебои и с хлебом⁸. Конечно, все это затронуло и нашу семью. Помню, как в начале сентября 1962 года пришедшие с работы родители послали меня в булочную. Хлеба, оказывается, там не было с утра. Я поведала об этом маме, и она, быстро перефразировав слова Марии-Антуанетты, сказала: «Нет хлеба — купим тортик» — и отправилась уже сама в ближайшую кондитерскую. Как сейчас помню выражение лица мамы, пережившей блокаду, когда выяснилось, что тортиков тоже нет...

В том же году в Новочеркасске прошла забастовка рабочих из-за нехватки продовольствия, повышения цен и понижения зарплаты. Там директор завода, по сведениям из разных источников, предложил своим подчиненным, если нет денег на пирожки с мясом, есть пирожки с ливером. Забастовка окончилась вводом войск и стрельбой по демонстрантам — по официальным данным, погибло 26 человек.

Чтобы как-то удержать продовольственный кризис под контролем, ЦК КПСС и Совет министров СССР в октябре 1962 года приняли постановление «О наведении порядка в расходовании ресурсов хлеба». Документы аналогичного содержания с поправками на местные условия в спешном порядке появились во всех регионах страны⁹. Через 15 лет после отмены военных карточек власти запретили продавать «в одни руки» больше 2,5 кг хлебобулочных изделий!¹⁰ С осени 1962 года хлеб в учреждениях общепита стал официально платным — по одной копейке за кусок, независимо от веса. Это было неприятным новшеством. Ведь после отмены карточек в конце 1940-х — начале 1950-х годов в советских столовых и ресторанах черный и белый хлеб просто ставился на стол,

и посетители могли есть его сколько хотели. Житель Самары так описывал обстановку в общепите дохрущевского времени: «Хлеба дают, сколько хочешь <...> хлеб-то бесплатный <...> хлеба-то можно поесть, он же стоит на столах <...> Ты хлеба нажрался, чая напился, свободен»¹¹. Это для обычного человека после вынужденного карточного воздержания ассоциировалось с достатком и благополучием.

В конце августа 1963-го появилось постановление ЦК КПСС и Совета министров РСФСР «О мероприятиях по экономии государственных ресурсов хлеба». Документ легализовал добавки в хлебобулочные изделия. Выполняя его, Управление хлебопекарной промышленности повысило «нормы влажности печеного формового хлеба» на 2%, увеличило «расходы соли при выпечке хлеба» на 1%, рекомендовало использовать ячменную муку, которая должна была составить 20% в ржаном и 10% в пшеничном хлебе¹². И хотя на местах использовали и ячменную, и просяную, и даже гороховую муку, в общественном сознании укрепилось представление о том, что всюду применяют кукурузу. Показателен анекдот начала 1960-х: «Никита Сергеевич, евреи просят разрешения к своей пасхе выпекать мацу. — Пусть выпекают, но из кукурузы. Тогда она будет социалистической по содержанию и национальной по форме»¹³. Примерно в это же время стал популярным слоган «русское чудо». Употреблялся он в двух контекстах. В анекдотах начала 1960-х очереди за хлебом, возникшие в конце эпохи правления Хрущева, называли третьей серией фильма «Русское чудо»¹⁴. Эта двухсерийная документальная кинокартина, созданная в 1963 году кинематографистами из ГДР Андре и Аннели Торндайк, рассказывала о грандиозных переменах в жизни людей за годы советской власти. Я смотрела «Русское чудо» подростком. Нам с родителями в первую очередь хотелось посмотреть тогда еще непривычное «широкоэкранное кино». Других впечатлений у меня не осталось. Одновременно «Русским чудом» окрестили батон белого хлеба, состоявшего

из гороховой и кукурузной муки. Очевидцы вспоминали, что это хлебулочное изделие имело грязно-серый цвет с примесью зелени¹⁵. Кукуруза в этом, впрочем, была не виновата: мука из этой культуры придает выпечке желтовато-золотистый цвет.

Ситуация с кукурузой — предмет для рассуждения не только о хлебе, но и о поиске продуктов, способных обеспечить население питанием. Этот вопрос в советской истории вставал достаточно часто. В годы Гражданской войны и карточной системы в городах большевистской России власть прибегала к разного рода эрзац-продуктам. Популярными были заменители пшеничной и ржаной муки: отруби, греча, просо и даже перемолотая сушеная рыба. В петроградском хлебе они составляли более 40%¹⁶. Вновь идея поиска некой панацеи от голода возникла на рубеже 1920–1930-х годов. В связи с нехваткой продуктов питания на государственном уровне в годы первой пятилетки получили поддержку идеи вегетарианства: недостаток жиров рекомендовалось возместить употреблением «кедровых орехов, сои, арбузных семечек, тыквы», а белков — горохом, бобами, чечевицей, шпинатом, щавелем. Появлялись советы вводить в общественную и домашнюю кухню новые культуры: физалис и корни одуванчика¹⁷. Но фаворитом советского безубойного питания стала соя. Весной 1930 года начал работу научно-исследовательский институт при Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Его сотрудники, по информации «Правды», уже летом 1930 года разработали рецепты 100 блюд из сои¹⁸. Осенью 1930-го в заведениях общепита Москвы и Харькова прошла целая серия показательных обедов, на которых повара продемонстрировали около 130 соевых блюд: суп, борщ, котлеты, голубцы, пудинги, кофе, сыры, творог, кондитерские изделия. Соя должна была стать неким гарантом вкуса и всеобщей сытости. Прямых свидетельств отношения горожан к соевым деликатесам обнаружить пока не удалось. Очевидно, реклама сои не могла сравниться по своему объему с массовой пропагандой кукурузы. Более того,

острословы эпохи первых пятилеток публично подтрунивали над правительственной панацеей в эпоху нехватки белков и жиров. У Ильи Ильфа и Евгения Петрова в фельетоне «Когда уходят капитаны» (1932) в качестве образца литературной халтуры фигурировало «драматическое действо в пяти актах» под названием «Соя спасла», представленное как «собственность Института сои»¹⁹. При Хрущёве кукурузу осмеивали лишь в приватном пространстве — в анекдотах.

В целом «соевую кампанию» население страны восприняло равнодушно. А соевые продукты, в частности шрот — остатки соевых бобов после выжимки масла, — не востребованные в мирной довоенной жизни, спасли жизнь в дни блокады многим ленинградцам. Об этом мне рассказывал мой коллега, известный историк Геннадий Соболев. Он всю блокаду ребенком пробыл в Ленинграде и сам ел соевый шрот. Но потом очень долгое время не мог смотреть на творог, который внешне напоминал ему продукт из блокадного рациона. Кроме того, сою пропагандировали в условиях карточной системы, а кукурузу — на пороге «перехода» от социализма к коммунизму, обществу всеобщей сытости. Одновременно навязчиво рекламировались пищевые достоинства кукурузы. Злак, в целом хорошо известный в южных регионах СССР, был принят всей страной как сырье для производства воздушных хлопьев. На страницах прессы то и дело мелькала реклама этого продукта: «Ароматные воздушные хлопья по вкусу напоминают вафли. Они хороши с молоком, сметаной, сливками, простоквашей, кофе, чаем, киселем, заменяют гренки к бульонам и супам»²⁰. Даже осенью 1963 года, за год до снятия Хрущёва, в Ленинграде открыли кафе, где, как сообщалось в рекламе, можно было «попробовать блюда из кукурузы, отведать „кукурузных“ конфет, шоколада и даже вина из кукурузы»²¹. Неудивительно, что массированная пропаганда «царицы полей» вызывала у населения раздражение и отторжение продуктов, с ней связанных. Любопытно, что в 2016 году на моей публичной лекции в Нижнем

Новгороде на тему «От „вкуса к необходимости“ к „извращенному вкусу“» этот тезис получил неожиданные комментарии. Слушательница, врач-диетолог, сказала, что большевики уже в 1930-х внедрили в сознание населения идею: свинину и говядину можно заменить крольчатиной и супердиетической соей, в 1960-е годы можно было прекрасно питаться кукурузой во всех видах. Отказать в здравости суждений моей слушательнице было невозможно. Но я все же заметила, что выбор питания должен быть добровольным, а все виды продуктов — одинаково доступными.

Значительно лучше получилось удовлетворить потребности населения в мясе за счет массового производства курятины. В период «военного коммунизма» вместо говядины и свинины предлагалось употреблять в пищу лягушек, улиток, ворон, тушканчиков, специальным образом обработанную волчатину²². В начале 1930-х нехватку белка власти попытались восполнить кроличьим мясом. Судя по литературным произведениям рубежа 1920–1930-х, частники довольно активно разводили кроликов. На этом попытался сколотить капитал отец Федор из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова (1928). Вскоре государство решило взять кролиководство под свое начало. В апреле 1930 года журнал «Огонек» недвусмысленно провозглашал: «Почти весь кролик может быть утилизирован. Но главным направлением для нас должно быть мясо-шкурковое»²³. На государственном уровне издавались брошюры о секретах приготовления кроличьего мяса²⁴. А летом 1934 года СНК РСФСР принял специальное постановление «О развитии кролиководства». Трудно сказать, решили ли кролики проблему питания в СССР в 1930-х годах, но и существенного отторжения идеи их разведения не наблюдалось.

В конце эпохи хрущевских реформ в стране возникли проблемы с мясом, во многом порожденные поспешной реализацией задачи, поставленной Хрущевым в мае 1957 года, — «догнать США по производству мяса, молока и масла». «Сила

социалистического строя, патриотизм советских людей, социалистическое соревнование, — заявлял первый секретарь ЦК КПСС, — позволяют нам решить эту задачу в ближайшие годы»²⁵. Как и в случае с кукурузой, хрущевская инициатива была подкреплена наглядной агитацией. На страницах советской прессы в разделах «Изошутки» охотно публиковали в 1957–1959 годах рисунок художника Константина Ротова. Он изобразил американского фермера и советскую колхозницу, несущихся наперегонки в двуколках, запряженных коровами. Под рисунком была подпись: «Держись, корова из штата Айова».

Соревнование с США не слишком помогло советской мясной промышленности нарастить обороты. Более того, административные инициативы вылились в трагедию. После разоблачения рязанской аферы — попытки обманным путем выполнить указания Хрущева — покончил жизнь самоубийством Герой Социалистического Труда, первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов²⁶.

В начале сентября 1964 года, за месяц с небольшим до отставки Хрущева, появилось постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе». Особой пропагандистской шумихи вокруг птицеводства не было. Пока удалось обнаружить один плакат «Освоим голубую целину» (1964) — своеобразный призыв индустриализировать выкармливание уток. Однако водоплавающие птицы не стали основным заменителем свинины, говядины и баранины в СССР — в отличие от бройлеров. Появление этого слова в советском языковом пространстве лингвисты датируют именно концом 1960-х. Птицеводы начали выращивать кур-несушек для увеличения производства яиц, а также некий гибрид породы «белый плимутрок» с петухами — «корнишами», известной мясной породой²⁷. В начале 1970-х без особого пропагандистского ажиотажа в стране заработали птицефабрики. Их число выросло с 20 в 1957 году до 608 в 1975-м²⁸.

Конечно, можно взять под сомнение советскую статистику, однако на помощь приходят иные источники. Лингвисты пишут о появлении в 1970-х годах в прессе и литературе слова «птицеград», означавшего комплексное птицеводческое хозяйство²⁹. При этом строили такие предприятия не только вокруг Москвы и Ленинграда. Осенью 1974 года птицеград, рассчитанный на производство ежегодно двух тысяч тонн курятины, начал работать в Тольятти³⁰. С конца 1960-х в речи советских людей появилось сочетание «цыпленок табака»³¹. Новое блюдо — «разрезанный вдоль, подпрессованный и зажаренный» обычный цыпленок — сразу стало популярным, во всяком случае у посетителей заведений общепита. Литератор Александр Левинтов писал: «Если вы не ели цыпленка табака в ресторане „Арагви“ в перерыве между XXI и XXII съездами КПСС, то, считайте, вы еще не родились и у вас все впереди»³². К середине 1970-х цыпленок табака появился и на частных кухнях. В рассказе Юрия Трифонова, написанном в конце 1970-х, есть фраза: «Саида Николаевна жарит *цыпленка табака*, готовит к нему специальный соус, наполняющий коридор ошеломляющим запахом»³³. Мои собственные воспоминания также подтверждают, что курятины в 1970-х — середине 1980-х, по крайней мере на прилавках ленинградских магазинов, было достаточно. И сегодня можно ночью разбудить женщину, которой довелось вести домашнее хозяйство в эти годы, и она с легкостью назовет тогдашние цены на «птичек». Относительно упитанные стоили 2 рубля 65 копеек за килограмм, более изящные — 1 рубль 75 копеек. В гостях именно цыплет табака были самым распространенным угощением. Особые гурманы, как моя подруга, историк итальянского средневековья Наталья Срединская и ее тогдашний муж Юра Малинов, готовили курицу в апельсинах. Популярны в годы застоя были и рецепты жарки цыпленка на бутылке. В сборнике «Советский анекдот» (2014) я обнаружила лишь одну шутку на «куриную тему», датированную 1979 годом: «Что было раньше, яйцо

или курица? — Раньше все было — и яйца и куры»³⁴. Впрочем, стилистика анекдота очень напоминает острословие периода первых пятилеток, и сам диалог связан с дефицитом в целом, а не с отсутствием именно куриного мяса. Кроме того, средний обыватель, покупая бройлеров, не ощущал себя человеком второго сорта в сравнении с представителями административно-управленческой элиты. Куриное мясо было доступно всем. Конечно, приобретаемые советским покупателем курицы по виду очень отличались от современных. В продажу поступали «щипаные», то есть очищенные от перьев, но непотрошенные битые птицы. В рассказе Виктора Драгунского «Куриный бульон», написанном в 1960-х годах, есть емкая характеристика внешнего вида «куриного продукта»: «Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок»³⁵. Дениска и его папа, решив сварить бульон, долго состригали ножницами остатки перышек, потом опаливали тушку, потом долго мыли ее. Все выглядит очень смешно, но совершенно непонятно современному читателю. Такое же удивление испытывали мы с мамой после рассказа жены папиного друга Владимира Александровича Сажина о том, что в США уже в конце 1950-х годов кур продавали в «расчлененном» виде — грудки отдельно, ножки отдельно. До такого сервиса советская торговля так и не дошла. И все же относительное изобилие куриного мяса никакого отторжения у народа в 1970–1980-х годах не вызывало.

Иначе проходила кампания, целью которой было заставить советских граждан активнее потреблять рыбу. Впервые в организованном порядке переход с более привычного мясного рациона на рыбный был предложен населению еще в 1930-е годы. Исследователи обычно ссылаются на постановление Наркомснаба СССР от 12 сентября 1932 года «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания»³⁶, подписанное Анастасом Микояном. Многие рассматривают этот документ

как свидетельство поиска новых продуктов в условиях острой нехватки продовольствия и даже проводят параллель между властными инициативами начала 1930-х и середины 1970-х. Однако такое сравнение некорректно. Микояновские начинания разворачивались в условиях строго нормированного снабжения. Позднее, после отмены карточек, рыба была в свободной продаже, а икра, севрюга, семга и другие деликатесы считались дорогими, но недефицитными продуктами. Власть в эпоху до- и послевоенного сталинизма стремилась их всячески рекламировать. В 1930–1940-х в СССР повсеместно можно было увидеть плакат художника Александра Миллера, снабженный текстом: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Существовала и реклама разных видов черной икры: зернистой, паюсной и пастеризованной. Известны по меньшей мере два подобных плаката: оба датированы 1952 годом и созданы художниками Александром Андреади и Юрием Цейровым³⁷.

Так создавался визуальный образ не только благополучия жизни в СССР, но даже определенной роскоши.

Проблемы с деликатесами и обычной рыбой начались в годы оттепели. Причиной в определенной мере стало ускоренное строительство электростанций, но чаще — хрущевский «волюнтаризм» в хозяйственной сфере. Так, в 1956 году в Ленинграде начали уничтожать «живорыбные садки» на набережных Невы и ее рукавов³⁸. Опустели традиционные аквариумы в магазинах крупных советских городов. Я хорошо помню, что сначала вместо живой рыбы их заполняли водорослями, а в начале 1960-х годов перестали даже заливать водой. В продаже была в основном морская и мороженая рыба. На излете оттепели население СССР познакомилось с хеком. Название этого рода рыб вошло в словарь новых слов и выражений 1960-х годов³⁹. Но и хек — рыба из породы тресковых — не часто доходила до потребителя. В Ленинграде, например, в 1963 году в продаже имелись только камбала, навага, деликатесный мускул морского гребешка, который тогда

никто не хотел покупать. Треску можно было отведать только в заведениях общественного питания. И конечно, настоящей редкостью становились рыбные деликатесы. И это не воспоминания, а данные официальных документов⁴⁰. Одновременно в качестве нового продукта фигурировала колбаса из мяса кита, которую остряки быстро окрестили «никитовой колбасой». Впервые этот продукт появился в Приморском крае, а затем переместился и в центральные районы СССР. Бывшие студенты Ярославского пединститута вспоминали, что в общежитии постоянно стояла вонь от этого экзотического продукта, который они вынуждены были потреблять в жареном виде⁴¹. О китовой колбасе вспоминал и писатель-невозвращенец Анатолий Кузнецов. Он писал о начале 1960-х годов: «Несколько лет из мясных продуктов в продаже была только „китовая колбаса“, из кита, — значит, нечто очень странное, ни рыба, ни мясо»⁴².

В начале 1970-х купить приличную речную рыбу считалось невероятным везением, что зафиксировал советский кинематограф. В фильме «Неисправимый лгун» режиссера Виллена Азарова по сценарию Якова Костюковского и Мориса Слободского (1973) главному герою, роль исполнял Георгий Вицин, никто не верил, что можно свободно купить судака. Это казалось обычным людям таким же вымыслом, как встреча рядового инженера со звездой эстрады тех лет Эдитой Пьехой. Кризис в рыбном хозяйстве нарастал. Для его разрешения в октябре 1976 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию производства, расширению ассортимента, повышению качества рыбной продукции и по улучшению торговли рыбными товарами». В документе подчеркивалось, что эти меры необходимы «для успешного выполнения решений XXV съезда КПСС в области улучшения снабжения населения продуктами»⁴³. В опубликованном тексте постановления нет упоминаний о «рыбном дне» в системе советского общепита, но в массовом сознании

такая связь прослеживается. На самом же деле во исполнение властных решений в стране намеревались построить 319 фирменных магазинов для торговли рыбными товарами⁴⁴ Действительно, в крупных городах появились торговые комплексы «Океан» — просторные, неплохо оборудованные, с хорошей фасовкой продаваемой продукции. Однако ее ассортимент ограничивался морской мороженой рыбой. В середине 1970-х годов усиленно рекламировались продукты из криля, рыба хек и экзотика океанской фауны — рыба-сабля. Рецепты ее приготовления приходилось разрабатывать при помощи ученых. Одна из кафедр Ленинградского института советской торговли долго билась над способом удобоваримой кулинарной обработки сабли. Ее размораживали в воде и на воздухе. Варили, жарили и тушили, запекали и припускали в масле, но есть ее можно было лишь в холодном виде⁴⁵. Не слишком разнообразными были и консервы в системе «Океан». На полках магазинов не встречались ни печень трески, ни бычки в томате, ни консервированные лосось или горбуша, не говоря уже об ухе из благородных рыб. А ведь такие консервы существовали: я отведала их в 1968 году на селигерской турбазе. В виде «сухого пайка» для трехдневного похода нам выдали консервы «Уха из белуги». И конечно, в продаже не было икры и прочих рыбных деликатесов, что раздражало многих горожан, еще не забывших витринное великолепие сталинских рыбных магазинов. Деликатесы распространялись вне сферы обычной торговли. На этом и было построено знаменитое «икорное дело» магазина «Океан». В научной литературе оно пока не освещено ни юристами, ни историками повседневности, хотя явно заслуживает исследовательского внимания. Осмысление и материалов дела, и его освещения в прессе могут пролить свет не только на номенклатурные разборки брежневской элиты, но и на специфику практик потребления в условиях застоя. В ходе «икорного дела» сместили с постов и отправили на пенсию министра рыбной промышленности — крупного хозяйственника

и талантливого организатора Александра Ишкова, а его заместитель Владимир Рытов был осужден и расстрелян. Но ни осетры, ни икра не появились в «Океанах». В то же время эти продукты превращались в маркеры социального статуса человека. Об этом свидетельствуют в первую очередь материалы фольклора. В 1970-е годы появилось большое количество анекдотов, в которых фигурировала икра как остродефицитный продукт⁴⁶. Несколько странной для людей, не живших в это время, может показаться шутка 1978 года о том, что икру переименовали в «рыбьи яйца». Яйца тогда стоили 0,9 и 1,3 рубля за десяток столовых и диетических соответственно. При этом икра вовсе не была сверхдорогим продуктом: баночка красной (140 г) в начале 1980-х продавалась примерно за 4 рубля, осетровой (110 г) — за 6 рублей. Осетровый балык стоил 9–15 рублей за килограмм⁴⁷. Для праздничного стола рыбные деликатесы за такие деньги мог купить любой советский гражданин, но не имел такой возможности: деликатесов в продаже не было. Средний человек вынужденно довольствовался доступной морской рыбой, о чем свидетельствует анекдот 1976 года, излагающий вымышленный диалог севрюги и хека: «Здравствуй, друг народа! — Здравствуй, обкомовская проститутка!»⁴⁸

В целом появление новых продуктов в торговых сетях и на столах горожан на протяжении всей истории Советского государства не свидетельствует о продуманной политике по поиску пищи, наиболее полезной для человека. Власть лишь стремилась получить некий «вечный хлеб», панацею в условиях дефицита продуктов и разрастания номенклатуры, требовавшей себе привилегий и в питании.

ЧИПСЫ

Вестернизация еды в СССР

«Чипсы», конечно, не советизм, однако слово это появилось в русском языке в годы советской власти, а кроме того, оно имеет непосредственное отношение к процессу «вестернизации еды». Пищевые предпочтения населения всегда испытывают влияние других культур, но в годы хрущевской оттепели стали особенно очевидны новые, западные тенденции в системе питания. Они проявились в жизни обычных людей: жители советских городов узнали, в частности, что такое чипсы. Лингвисты относят это название жаренной во фритюре картошки к новым словам и выражениям 1960-х годов¹. Пресса писала об этом продукте: «Чипсы изготавливаются из специальных сортов картофеля, обжариваются в рафинированном хлопковом или подсолнечном масле, обладают приятным вкусом и высокой калорийностью»². Так в обычную жизнь входили пищевые образцы западной повседневности, продукты из системы «быстрого питания», уже захватившей мир.

В первые годы существования Советского государства официальные суждения о сути питания имели антибуржуазную направленность. Раннебольшевистские ориентиры в области питания вполне характеризовали строки Маяковского:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

В складывающейся пролетарской культуре преобладало восприятие пищи как субстанции сугубо насыщающей. Пролетариат

должен был стать приверженцем того, что французский социальный теоретик Пьер Бурдьё называл «вкусом к необходимости». Такой подход был удобен власти и в условиях затяжных продовольственных кризисов, во многом спровоцированных «сталинскими пятилетками». Лозунги «Мясо — вредно» и «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», которые каждый относительно культурный человек знает благодаря произведению Ильи Ильфа и Евгения Петрова, на самом деле не литературный вымысел, а отражение исторических реалий.

С отменой карточной системы в середине 1930-х в соответствии с общей концепцией большого стиля о еде стали говорить не только как о способе насыщения, но и как об источнике удовольствия. Это нашло отражение в кулинарных книгах. В 1939 году после большого перерыва были изданы кулинарные рецепты знаменитой Елены Молоховец. Факт носил, несомненно, знаковый характер: власть сочла необходимым довести до сведения советских людей знания о вполне буржуазных приемах приготовления и сервировки пищи. В том же 1939-м вышла «Книга о вкусной и здоровой пище» — истинный символ большого стиля в сфере питания. Это была смесь буржуазных представлений об эстетике еды с пролетарским стремлением к плотной тяжеловесной пище. Эти тенденции сохранились и после Великой Отечественной войны.

При жизни Сталина своеобразный «краткий курс кулинарии» — «Книга о вкусной и здоровой пище» — неоднократно переиздавался и дополнялся с учетом «последних достижений науки о питании и пищевой промышленности». Однако идейная направленность сочинения не изменилась. Оно было регулятором потребностей, предназначалось для воспитания одобренных властью вкусовых приоритетов³. На самом деле сельское хозяйство страны — основа пищевой индустрии — к моменту смерти Сталина находилось в глубоком кризисе. Новому, хрущевскому руководству страны пришлось уже в сентябре 1953 года принимать меры, которые могли бы

стимулировать рост урожайности зерновых культур и количества продуктов животноводства. Действительно, с 1953-го по 1956 год результативность сельского хозяйства возросла на 75%. Увеличился и объем продаж высококалорийных продуктов. В 1955 году в Ленинграде, например, покупали в два раза больше мяса, чем в 1950 году⁴. Почти все мемуаристы описывают великолепие прилавков продуктовых магазинов крупных городов в середине 1950-х годов. Сын знаменитого актера Василия Меркурьева и режиссера Ирины Мейерхольд артист Петр Меркурьев запечатлел в своих мемуарах великолепный ассортимент гастрономов тех лет: «Чего там только не было. Какходишь с угла — направо рыбный отдел. Где рыба всякая: и холодного, и горячего копчения, и вяленая, и соленая. Слева — отдел кондитерский, где был любимый зефир бело-розовый, и пастила, и потрясающе вкусные тянучки — коричневые, розовые, бежевые... Напротив кондитерского — колбасный. Там буженина, языки, балыковая колбаса и любая другая. Рядом с колбасами — сыры. И швейцарский тебе, и голландский»⁵

Внешнее оформление тяжеловесных достоинств советской гастрономии в первые годы после смерти Сталина оставалось прежним. Газеты рекламировали различные деликатесы и высококалорийные продукты питания. Накануне нового 1957 года вся четвертая полоса главной газеты ленинградских коммунистов была занята рекламой под таким общим заголовком: «К Новому году — любому в угоду». В центре газетной страницы располагалась фотография девушки на фоне елки, по краям и снизу — реклама разных товаров, к примеру: «Окорока московские, тамбовские, воронежские. Рулеты ленинградский, советский, рулет из поросят, корейка, грудинка, ветчина в форме — все это можно найти в широком выборе во всех продовольственных магазинах и в „Гастрономе“».

Духу сталинского показного изобилия и помпезности соответствовали и кулинарные книги первых лет хрущевских преобразований. В издании «Кулинария», выпущенном в 1955 году,

можно было найти изысканные кушанья, не встречавшиеся в сталинском «кратком курсе по кулинарии». В большом количестве приводились рецепты блюд из пресловутых рябчиков и ананасов, столь когда-то ненавистных большевикам. «Рябчик, прослоенный сыром из дичи» приготавливался следующим образом: «У жареного, охлажденного рябчика каждое филе надрезать острым ножом вдоль на ровные ломтики. На образовавшееся между ломтиками пространство нанести слой сыра из дичи или мусса из дичи, обровнять так, чтобы выделились полоски жареного филе и полоски сыра. Для глянца рябчика покрыть полуостывшим желе»⁶. К рябчику в виде десерта предлагался ананас «в целом виде» с крепким сиропом, ромом или ликером⁷. Это была почти имперская роскошь, явно не соответствовавшая демократическим пищевым тенденциям, которые уже захватили западный мир.

В начале XX столетия в европейской культуре стал постепенно формироваться новый подход к пище: стремление к удовольствию от ее поглощения, господствовавшее в буржуазных эстетико-бытовых представлениях, заменялось оценкой значимости продуктов для здоровья. Правда, первоначально валеологическое отношение к еде приобрело формы жесткого рационализма⁸. Бурный рост городского населения потребовал перехода от традиционных приемов приготовления пищи и индивидуальной домашней кухни к быстрому и хорошо отлаженному снабжению питанием (см. «Фабрика-кухня»). Это был отказ не только от крестьянско-пролетарских привычек в еде и соответствующих вкусовых приоритетов, но и от буржуазного гастрономического эстетизма, который позднее в Советской стране приобрел черты имперско-сталинского гламура. Наметился переход к серийному приготовлению пищи, что подразумевало упрощенность, быстроту, относительную дешевизну, стандартизацию. Так во всем мире стал формироваться рационалистический стиль еды, своеобразное предвестие валеологических взглядов на питание. Рационалистический подход к питанию получил

в капиталистическом мире особое развитие в 1950-е годы в условиях научно-технической революции. Расширилось производство полуфабрикатов и концентратов, во всех западных странах появились супермаркеты, нацеленные на продажу фасованной продукции. Увеличение импорта и внедрение в быт элементов механизации и автоматизации, характерные для жизни после сталинского советского общества, содействовали развитию новых форм торговли продуктами питания и в СССР.

Реформы в сфере питания советские люди, в первую очередь жители больших городов, ощутили с возникновением «магазинов без продавцов». Их открытие шло в русле программы «комплексной автоматизации» всех отраслей народного хозяйства, объявленной решением июльского пленума ЦК КПСС 1955 года⁹. Первые торговые предприятия, работавшие на основе самообслуживания покупателей, появились уже в августе 1955 года. Они были предшественниками советских универсамов — характерной приметы повседневности 1970-х годов. Но в хрущевских «магазинах без продавцов» можно было купить лишь продукты питания. Ничего другого там не продавалось. По моим воспоминаниям, посреди торгового зала находилась длинная невысокая стойка с полками с двух сторон. На полках лежали фасованные товары, которые надо было самим выбрать и складывать в металлические корзинки. Впрочем, ныне в супермаркетах все происходит точно так же. Интереснее другое. Фабрично упакованных товаров было немного. Помню макароны, крупу, концентраты каш и киселей, молоко в бутылках, плавленые сырки. Большую часть продуктов работники магазина фасовали сами. Конфеты, печенье, куски сыра, колбасы они клали в одинаковые серые бумажные пакеты. Различать продукты можно было по надписям на стойке над товаром. Но недоверчивый советский покупатель обязательно норовил открыть пакет и посмотреть содержимое. Это строго запрещалось. В мясном и рыбном отделах по-прежнему работали продавцы, так как фасованная продукция

там практически отсутствовала. Преимущества магазинов самообслуживания на первых порах казались очевидными: при малом числе работников покупатели «отоваривались» очень быстро. За год только в Ленинграде число заведений, торговавших по новым правилам, выросло почти в десять раз. Однако у новшества имелись и существенные недостатки. Новая форма торговли требовала четкой организации и прежде всего наличия фабрично упакованных товаров. А они были еще большей редкостью. В 1956 году в упаковках выпускалось всего 10–12% мяса, поступавшего в торговую сеть, столько же колбасы, 20–25% сахара, 35–40% кондитерских изделий. Несколько лучше обстояло дело со сливочным маслом: 60% фасовалось в пачки прямо на молочных комбинатах. И только макароны были на 100% упакованными в бумажные коробки. Но фасованные продукты не все воспринимали с одинаковым восторгом. Торговые организации признавали, что после перевода магазинов на систему самообслуживания в них упал спрос на колбасные изделия и сыры. Многие горожане считали, что фасованные товары не слишком свежие, и предпочитали приобретать их в обычных магазинах.

Особое развитие магазины самообслуживания, по замыслу идеологических структур, должны были получить после перехода к строительству коммунизма. Действительно, на рубеже 1950–1960-х годов по инициативе власти началась передача в руки общественности части государственных функций. В ряду явлений такого рода можно назвать первые автобусы без кондукторов, общественных пионервожатых, дружинников, передачу преступников на поруки трудовым коллективам и т. д. Это своеобразное «разгосударствление» следует рассматривать как попытку демократизации общества. Торговля без продавцов тоже входила в эту программу преобразования общественных отношений на коммунистических началах всеобщего доверия. Однако глобальности замыслов явно не соответствовали темпы роста числа магазинов самообслуживания. Даже в начале

1962 года в крупных городах их было меньше 20% от числа всех торговых предприятий¹⁰. Появлению новых продмагов препятствовали плохо налаженная система расфасовки товаров и ощутимые убытки из-за воровства¹¹. К тому же магазины самообслуживания в 1950–1960-х годах еще не имели должного оборудования — все это тормозило не только реализацию пищевых товаров, но и приобщение к западным практикам питания. Частично эти недостатки нивелировались автоматизацией производства и продажи отдельных видов еды и напитков.

Техническим новшеством эпохи Хрущева можно считать автоматы для продуктов. Самым распространенным был транспортер для продажи картофеля — своеобразное «чудо техники» конца 1950–1960-х годов. Уже в конце 1958 года в магазинах Ленинграда, например, было 295 агрегатов подобного типа, что, как отмечали корреспонденты «Ленинградской правды», позволяло увеличить реализацию картофеля в 4 раза¹². Тогда же появились автоматы по продаже бутербродов, пирожков и сосисок. Правда, успешно работать они могли только при определенном весе и размере перечисленных продуктов — соблюсти их было достаточно сложно. Автоматизация, способствующая стандартизации вкуса, довольно быстро распространилась в розничной торговле СССР: уже в 1960 году действовало 30 000 автоматов, а в 1964-м — 46 000. Но все же самыми популярными были шкафообразные агрегаты, выдающие за 1 и 3 копейки (в ценах 1961 года) газированную воду. Их в стране в начале 1960-х годов насчитывалось почти 30 тысяч. Неудивительно, что это чудо техники отразил в своей комедии «Операция „Ы“» Леонид Гайдай. Пожалуй, с этого времени начался в СССР бум потребления шипучих напитков, хотя известны они были и в 1930–1950-е годы. Летом газировку продавали с маленьких лоточков так называемые «газировщицы». Они использовали переносной автомат для газирования воды (оно производилось тут же при покупателе) и небольшие емкости с разнообразными сиропами. Автоматы начала

1960-х годов заполнялись, как правило, лишь одним видом жидких подсластителей — лимонным.

Популярность газировки возросла не только с появлением автоматов и сифонов домашнего употребления: советские люди познакомились со знаменитой кока-колой. Впервые вопрос о производстве этого напитка в СССР возник еще во второй половине 1930-х годов, после визита тогдашнего главы Наркомата снабжения Анастаса Микояна в США. Он писал в своих воспоминаниях: «Большой интерес нашей группы вызвало и производство безалкогольных напитков <...> Мы изучили процесс производства кока-колы, но при ограниченности в средствах мы тогда не в состоянии были наладить у себя подобное дело. Впоследствии развернули производство стандартного высококачественного лимонада и русского кваса»¹³.

О кока-коле стали рассказывать и в советской прессе. В номере журнала «Пищевая промышленность», вышедшем в ноябре 1937 года, появилась заметка под названием «Рус-кола», информирующая советского потребителя о любимом питье американцев: «В состав этого напитка входит содержащий кокаин экстракт листьев „Кока“, растущих в Южной Америке, и экстракт орехов Африканского тропического дерева „Колы“, которые содержат теобромин и кофеин. Кроме того, в напиток входят ароматические вещества, скрадывающие его наркотический привкус. Для этого используются лимонные, апельсиновые, коричные, мускатные и другие масла и экстракт ванилевых бобов. Полученный концентрат подслащивают сахарным сиропом, окрашивают жженым сахаром и подкисляют фосфорной кислотой». Далее отмечалось: «Как видно, напиток, приготовленный по такому рецепту, не безвреден для организма человека. Но напиток вкусен и при замене его наркотических составных частей безвредными. Он мог бы с успехом готовиться у нас». В заметке также сообщалось: «Ленинградский химико-пищевой комбинат разработал научно обоснованные рецептуры нескольких новых высококачественных напитков,

на приготовление которых может пойти сырье, произрастающее в СССР. В состав этих напитков входит мандаринное, лимонное, мятные масла, диэтилацетат ванилина, синтетическое коричневое масло, кориандровое и мускатное масла и экстракт грузинского чая». То есть ничего похожего на состав «кока-колы». Однако это все же была всего лишь попытка «советского ответа американскому напитку». Предполагалось назвать новое изобретение пищевой промышленности «рус-колой». Пресса писала и о том, что уже приготовлена опытная партия «концентратов, из которых ленинградский завод „Вена“ выработал сиропы и партию напитков. На дегустации в узком кругу специалистов напитки получили очень хороший отзыв». На этом, по-видимому, попытки произвести нечто подобное кока-коле закончились. В первом издании «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939) нет ни одного упоминания «рус-колы».

С реальной кока-колой рядовой советский человек познакомился в годы хрущевской оттепели. В июле 1959 года в Москве в Сокольниках открылась выставка промышленных и культурных достижений США. Она вызвала огромный ажиотаж не только в высших эшелонах власти, но и в среде рядовых граждан. Около двух миллионов москвичей и гостей столицы в длинных очередях добывали билеты на выставку. Там можно было увидеть, например, цветной телевизор и выпить из автомата кока-колы! Поэт Евгений Рейн писал:

В Сокольниках среди осин
 Стоял американский купол,
 Набитый всем, от шин до кукол,
 Я там бывал, бродил и щупал,
 И пил шипучий керосин.

Конечно, после знаменитой американской выставки в Москве этот напиток не превратился в постоянный элемент советского быта. Но «шипучий керосин» стал для обывателя символом западной жизни, своеобразным вкусовым ориентиром — как казалось, более соответствующим новой демократической

жизни, чем кондовые квас и морс. В продаже пепси-кола впервые появилась в СССР в 1979 году, в преддверии Олимпийских игр в Москве.

Элементом вестернизации стиля еды и питья в 1960-х годах можно считать коктейли. Они входили в меню «молодежных кафе» — новых заведений советского общепита. В самом начале 1970-х в Ленинграде появилось литературное кафе «Сонеты». На билете, приглашавшем на открытие заведения, организаторы напечатали стихотворение «Хвала коктейлю» — напиток, в котором смешались «солнце и сирень»¹⁴. Распространение алкогольных и безалкогольных коктейлей — отражение проникновения западной, в первую очередь американской, культуры потребления в советскую действительность и свидетельство разрушения бытовых канонов большого стиля. В сталинской энциклопедии о еде и напитках — «Книге о вкусной и здоровой пище» — ни в одном издании нет ни слова о коктейлях. Зато уже в книге «Кулинария» (1955) можно найти рецепты 35 разновидностей этого типа напитков¹⁵. «Романтика» коктейлей обеспечивалась особыми элементами внешней ритуализации их потребления. В первую очередь это соломинка, держась за которую, как многим казалось, можно «приплыть» к берегам западной культуры. Литературовед Татьяна Никольская рассказала о своих «коктейльных экзерсисах» в старших классах школы следующее. Сэкономив деньги, выданные на школьные завтраки, они с подругой покупали в знаменитом ленинградском кафе «Лягушатник» либо десертный, либо крепкий напиток из смеси алкоголя и сока. «Потягивая коктейль через соломинку, — вспоминает Никольская, — мы себя чувствовали взрослыми современными девушками»¹⁶. Очень популярным в 1960-е годы стал и молочный коктейль. Его делали в каждом магазине, где продавались мороженое и молоко. Обычный стакан такого напитка стоил 11 копеек (буханка черного хлеба в ценах 1961 года — 12 копеек).

Признаком вестернизации вкусовых ориентиров советских людей в 1950–1960-е годы можно назвать и появление



Миксер для коктейля.
Музей советских
игровых автоматов
в Санкт-Петербурге.
Фото Д. А. Савельевой.

молочных продуктов в специальной упаковке — как правило, пастеризованных и стерилизованных. В городах сокращалось потребление натурального, продаваемого в розлив молока. Этот продукт до середины 1950-х годов горожанам чаще всего привозили молочницы — колхозницы из окрестных сел. Они торговали на рынках, а нередко разносили свою продукцию прямо по квартирам. Знаковый образ такой молочницы не обошел вниманием режиссер Лев Кулиджанов в фильме «Отчий дом» (1959). Молодой горожанке Тане женщина-молочница казалась олицетворением отсталости и несовременности. Но свежее молоко пока не вызывало протеста. Не случайно в уста одного из главных положительных персонажей киноленты сценарист Борис Метальников вложил такие слова: «Парное молоко — оно самое полезительное, потому в ём все минавины еще тепленькие, живые»¹⁷.

Новые формы фасовки молока — практичной стеклянной или бумажной тары — лишали горожан возможности

употреблять его парным, но и уменьшали риск желудочно-кишечных заболеваний. Уже в начале 1955 года «Ленинградская правда» сообщала, что завод «Красная вагранка» целиком переключится на выпуск высокопроизводительных автоматов для пищевой промышленности». Предполагалось серийно изготавливать автоматы для производства бумажных молочных бутылок и розлива в них молока. Образец такого автомата экспонировался на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке еще в 1954 году¹⁸. В начале 1960-х годов появились и первые одноразовые легкие упаковки. Это были так называемые пирамидки, или тетры, — продукт первого в стране опытного молочного завода-автомата, открытого в Красном Селе под Ленинградом. Расфасовочный автомат, стоявший на красносельском молокозаводе, назывался «тетрапак». Пирамидки склеивались одновременно с розливом в них молока. Они, естественно, намокали и рвались, а молоко проливалось. По подсчетам экономистов, выливалось около 1% всего фасуемого в пакеты молока — около 20 000 т ежегодно. В мировой практике пирамидки быстро заменили четырехгранниками. Но в СССР ничего не менялось до середины 1980-х годов. Внедрение высокотехнологичных упаковочных материалов в молочную промышленность требовало использования порошкового молока: это обеспечивало гигиеничность продукта, но явно уменьшало его натуральность. И это тоже была своеобразная «вестернизация питания».

Конечно, вкусовые приоритеты советских граждан в 1960-е годы менялись не только под воздействием западных тенденций в области развития пищевого производства. На характеристики потребительской корзины влияли нехватка, а иногда и полное исчезновение из свободной продажи целого ряда продуктов питания (подробнее см. «Царица полей»). Безусловно, в годы хрущевских реформ не было реальной угрозы голода, однако эксперименты власти в области сельского хозяйства отражались на структуре питания населения. В мае

1957 года Хрущев выдвинул идею «догнать США по производству мяса, молока и масла». В реальности уже весной 1958 года представители Комиссии советского контроля зафиксировали дефицит молочных продуктов. В Ленинградской области, например, план заготовки молока был выполнен только на 87%¹⁹. В конце апреля 1958 года из 102 имевшихся в городе специализированных магазинов только три торговали весь рабочий день, остальные закрылись после обеда из-за отсутствия товара, который на рынке сразу вырос в цене²⁰. «Молочный дефицит», отмеченный повсеместно в стране, возник в результате борьбы с частнособственническими инстинктами, входившей в программу хрущевских преобразований. В стране сокращались приусадебные хозяйства, ликвидировался частный скот. Но натуральное молоко горожане стали потреблять реже не только из-за его нехватки, но и благодаря внедрению новых промышленных способов его переработки. Одновременно в рацион городских жителей стали активнее проникать кисломолочные продукты. Припев «Бутылка кефира, полбатона» из песни группы «Чайф» — явный привет из 1960-х годов. Так обедал Шурик из комедии «Операция „Ы“». Чуть позднее вместо кефира в «обеденный набор» вошла ряженка, которую начали производить на исходе оттепели²¹. В 1960 году советские магазины начали торговать пастой «Снежок», приготовленной на основе молока и натуральных фруктово-ягодных сиропов. Это был российский вариант западных йогуртов.

Европеизация коснулась и хлебобулочной промышленности. В СССР постепенно развивалась западная манера потреблять хлеб в виде тостов. Их уже в конце 1960-х годов можно было приготовить в ранее неизвестном советскому потребителю электроприборе — тостере. У него, по описанию журналистов, «автоматически подскакивали рукоятки, сигнализируя, что ломти хлеба поджарены до нужной кондиции»²². В обычной жизни появились чипсы и крекеры. В издании «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы

и литературы 60-х годов» последнее слово расшифровывается как «сухое печенье, выпекаемое из дрожжевого теста, приготовленного на опаре»²³. Крекерами часто предлагали заменить традиционный хлеб, который с осени 1962 года стал продаваться по норме — не более 2,5 кг в одни руки.

В 1960-е европейская манера употребления кофе потеснила традицию русского чаепития. В стране ликвидировались «чайные» — заведения, расцветшие в период имперского сталинизма, сразу после окончания Великой Отечественной войны. В декабре 1945 года в Москве стали принимать посетителей коммерческие чайные, а после отмены карточек появились и общедоступные заведения, где можно было попить чайку и не только. Здесь можно было поесть бесплатного хлеба, заказав всего лишь «чайную пару» — маленький чайник с заваркой и большой с кипятком²⁴.

Конечно, кофе в некоторых заведениях общепита подавали и до эпохи хрущевских реформ. Накануне Великой Отечественной войны славилось ленинградское кафе «Норд». Михаил Герман вспоминал о своем посещении в конце 1930-х годов этого знаменитого заведения, после 1948 года в ходе кампании борьбы с космополитизмом переименованного в «Север»: «Маленькие столики, крытые стеклом поверх зеленого сукна, многочисленные фарфоровые белые медведи, низкие потолки. Какие лакомства! „Кофе с огнем“, например. Не слишком вкусный напиток, но он пылал (политый сверху спиртом) и вызывал безудержное счастливое волнение»²⁵. В домашней обстановке кофе, конечно, иногда пили, но немногие и в основном с цикорием. А в период оттепели «Робуста» «Арабика», «Коста-Рика» превратились в модные бренды, знаки новой стилистики быта. Лингвистические источники зафиксировали появление именно в 1960-х годах в лексике повседневности понятий «кофеварка» и «кофемолка». В начале 1960-х годов советские люди познакомились и с растворимым кофе. Журнал «Наука и жизнь» констатировал в 1966 году: «Прогресс науки и техники подарил любителям

кофе два новшества — быстрорастворимый кофе и машины типа „Экспресс“»²⁶. Последних не было в частном пространстве среднего горожанина — и по причине дороговизны, и по причине громоздкости, и по причине отсутствия в свободной продаже. Машины «Экспресс» появились в середине 1960-х годов в некоторых кафе. Еще до появления знаменитого «Сайгона» — Мекки питерского андеграунда 1970-х годов — кофемашина работала на истфаке ЛГУ, а возможно, и на других факультетах. Но я помню истфаковскую стоячую кофейню, где во второй половине 1960-х годов выпить «маленький двойной» считалось удовольствием по тем временам не дешевым, но шикарным.

Бюджетным вариантом, представленным начиная с 1960-х всюду и везде, был кофе «из ведра». На самом деле наливали его из бачка или титана с электроподогревом — липкая струя сочилась из крана внизу емкости. Но попадала туда жидкость под названием «кофе с молоком» из ведра. Его выносила из недр кухни работница общепита, предварительно бухнув в кипяток несколько банок «сгущенного кофе с молоком». Напиток, если не был слишком жидким, оказывался безумно сладким. Это пошло входило в ассортимент знаменитых советских «пышечных» — кстати, тоже плода механизации эпохи 1950–1960-х годов. «Пышки» выдавливались автоматом, а затем без всякой механизации жарились в масле. Ну прямо как американские пончики. Хороший удар по печени, а ведь в юности ела с восторгом.

Растворимый кофе в СССР я помню хорошо. Это был всегда дефицитный товар. Красноречиво звучат строки из долатовской повести «Компромисс» (1981): «Сидит журналист и пишет: „Шел грозовой девятнадцатый...“ Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене: „Гарик Лернер обещал мне сделать три банки растворимого кофе...“»²⁷. Петербургская писательница Елена Кумпан вспоминала, что у ее знакомой, литературоведа Тамары Хмельницкой, «в шкафу, кроме обычных вещей, которым положено там храниться, спрятан бывал для очередного гостя растворимый („безразмерный“ — как мы его

называли) кофе»²⁸. Мне запомнились банки индийского производства с мелкодисперсным порошком якобы кофейного вкуса. Их обычно привозил с собой из Москвы папин школьный друг военный дипломат Владимир Александрович Сажин. Каждое лето, вырываясь в отпуск из США, а позднее из Пакистана, дядя Володя и его милая жена Нина Дмитриевна (для меня тетя Нина) навевывались в Питер. Здесь Сажин вместе с папой окончили среднюю школу и сохранили на всю жизнь трогательную дружбу. Дядя Володя старался всегда привезти нам что-нибудь интересное: транзистор Sony в деревянном корпусе (что считалось особым шиком в конце 1960-х), первые высококачественные шариковые ручки, которыми я форсила в школе, и растворимый кофе. О последнем он говорил: «Вообще-то дрянь, но вполне иностранная». Папа Володину точку зрения разделял: мы в семье всегда любили свежемолотый. Его сначала покупали в специализированных магазинах и везли благоухающий пакетик через весь Невский к себе на Васильевский остров. Во второй половине 1960-х приобрели в Эстонии кофемолку и мололи сами. Но интерес к «европеизированным», «западным» продуктам, конечно, был. Неудивительно, что индийский кофе пили помногу. Даже хранили банки из-под него. Недавно во время ремонта на даче мы с мужем обнаружили целый склад кофейной тары.

Демократизация советской системы, научно-техническая революция и расширившиеся контакты с Западом после смерти Сталина — все это отразилось на продуктовой торговле и на вкусовых пристрастиях советских людей. Их ориентиры стали приближаться к западным стандартам рационального питания. Распространение и потребление кофе, фасованных продуктов, газированных напитков — свидетельство появления в бытовом пространстве СССР западных пищевкусовых ориентиров. Однако вечная проблема дефицита не позволила сформироваться валеологическому отношению к пище — основе рационального европейского стиля питания.

ШУБА

Вещи эпохи химизации как инструменты деструкции сталинского гламура

После просмотра словарей советизмов и советского быта у меня создалось впечатление, что их составители не зафиксировали специфических коннотаций слова «шуба». О «шубе» ничего не пишут Валерий Мокиенко и Татьяна Никитина, авторы книги о феномене советского лексикона¹. Не заинтересовало понятие «шуба» и Леонида Беловинского². Более внимательным к деталям оказался Сергей Борисов. В его словаре представлены не только «шуба» (почему-то только каракулевая и цигейковая), но и «шубка». Последнее понятие расшифровывается как «небольшая шуба»³. Но внимание историков советского быта не привлекли социальные контексты ношения этой зимней одежды, а нередко и радикальные изменения материалов, из которых она изготавливалась.

Мех и меховые изделия в России издревле являли собой важные вестиментарные коды. Наиболее интересно и основательно об этом написала в своей статье «В нежных объятиях ласкового зверя: пушнина и меховые изделия в средневековой Руси XIV–XVI веков» Ирина Михайлова. Рано умершая петербургская исследовательница средневековой Руси вычленила те функции пушнины, которые, собственно, определяли ее семиотическую значимость для истории российской повседневности⁴. Речь, конечно, в первую очередь о практической ценности одежды из меха. Шубы защищают от зимнего

холода и в наши дни. Не менее важной была и репрезентативная функция мехов, с помощью которых маркировались и социальный статус, и материальная обеспеченность. В Средневековье выделанные шкурки животных выполняли также роли талисманов и оберегов. Со временем эта последняя функция меха была утрачена. Но для тепла население продолжало использовать меховую одежду и после событий 1917 года. Кожухи из плохо выделанной и покрытой сверху материей овчины можно было увидеть на улицах даже крупных российских городов на крестьянах, приезжавших на толкучки и рынки. Приличные шубы в годы военного коммунизма вынуждены были «и в пир и в мир» носить представители бывших имущих классов, не успевших эмигрировать. Английский журналист Артур Рэнсон, побывавший в 1919 году в Петрограде, писал: «Бросается в глаза <...> общая нехватка новой одежды <...> Я видел одну молодую женщину в хорошо сохранившемся, по всей очевидности дорогом меховом пальто, а под ним у нее виднелись соломенные туфли с полотняными оборками»⁵.

Новая экономическая политика изменила ситуацию: мех вновь превратился в вестиментарный код благополучия. В тяжелой шубе «на чернобурой лисе с синеватой искрой» предстает перед псом Шариком булгаковский Филипп Филиппович Преображенский, социально-профессиональный статус которого и при власти Советов позволял носить вещи из дорогого меха. Им соответствовал и весь стиль — черный костюм английского сукна, неяркая золотая цепочка часов и хорошие кожаные туфли⁶. Мех маркировал и принадлежность к новой нэпманской буржуазии. Она занялась пошивом шуб. Советская власть пока не наладила фабричное изготовление меховых вещей даже на основе сравнительно крупных дореволюционных скорняжных производств, вроде известной в столице Российской империи фирмы Ф. Л. Мертенса. Нэпманы успешно торговали пушниной внутри страны.

Писательница Вера Кетлинская вспоминала об одном из новых меховых магазинов, открывшихся в Петрограде в начале 1920-х. Туда по объявлению устроились работать две подружки-студентки: «Хозяин магазина предупредил <...> что покупателей бывает немного, но каждого надо принять как можно любезней и постараться что-либо продать, для этого он учил новых продавщиц накидывать на плечи меха, кутаться в палантины, примерять на себе любой самый дешевый воротник так, чтобы он выглядел изысканно. Кроме того, в обязанность продавщиц входило быть милыми хозяйками в задних комнатах магазина, куда приходят поставщики и другие деловые люди, — сервировать чай, заваривать кофе, делать бутерброды, угощать коньяком или винами. Оплата была по тому времени довольно высокая, а работа нетяжелая, за прилавком разрешалось сидеть и даже читать, но при входе покупателя нужно было немедленно встать и встретить его приветливой улыбкой». На самом деле девушки вынуждены были оказывать особо настойчивым покупателям и те услуги, которые теперь называют интимными⁷. Женщины же, у которых отцы, мужья и любовники принадлежали к слою коммерсантов или к разряду крупных хозяйственных работников, начали спокойно фланировать в мехах зимой по городским улицам. Но вскоре оказалось, что прогулка в шубе — дело небезопасное: в театрах и ресторанах нэповской России стали активно работать вору, специализировавшиеся на кражах меховых манто. Историю такой банды описал в своих воспоминаниях Иван Бодунов:

Ладыга и Климов прогуливались по Невскому проспекту. Денек был морозный, солнечный, и по проспекту толпами валили гуляющие. Ладыга и Климов шли порознь <...> Каждый из них искал в толпе одинокую и дорогую шубу. К сожалению, хорошие меха обычно гуляли не одни. Котики, каракули, шиншиллы шли окруженные нарядными кавалерами и были совершенно недоступны

для знакомства. Все-таки на углу Садовой Климов заметил выходящий из парикмахерской ТЭЖЭ одинокий каракуль <...>

Климов повел себя как серьезный кавалер. Он ее (девушку. — *Н. Л.*) пригласил не в ресторан, не на танцульку, а в Мариинский театр.

Дальше с помощью сообщницы злоумышленник просто получил по номерку новую каракулеву шубу, которую успешно реализовали знакомому скорняку. Через некоторое время история повторилась в Александринском театре. На этот раз преступник предложил новой жертве — владелице котиковой шубки — посмотреть модную в то время пьесу Анатолия Луначарского «Яд», где в главной роли блистала актриса Евгения Вольф-Израэль. Затем местом преступления с шубой стал Михайловский театр⁸. Мой дед рассказывал, что в годы нэпа к нему, тогда участковому милиционеру, часто обращались с заявлениями «дамочки», у которых в трамваях ловкие «щипачи» умудрялись сзади из каракулевой или котиковой шубки вырезать бритвой приличный кусок меха. Из него скорняки с успехом делали воротники и манжеты.

На рубеже 1920–1930-х с исчезновением «частников» цельномеховая одежда стала встречаться реже. Дорогие шкурки чернобурой лисы, соболя, песца превратились в источник валюты, необходимой советской власти для индустриализации. Весной 1931 года в Ленинграде состоялся первый международный аукцион, на который прибыли 78 представителей иностранных меховых фирм. С 1932 года подобные торги проводились регулярно. В середине 1930-х годов в контексте большого стиля и его бытовой составляющей — своеобразного сталинского гламура — власть начала вновь уделять внимание изготовлению шуб для населения. В Ленинграде заработала меховая фабрика «Рот-Фронт», в штате которой в 1938 году числилось 2600 сотрудников. Ассортимент предприятия накануне Великой Отечественной войны насчитывал около ста

готовых изделий, начиная от меховых пластин и заканчивая беличьими манто — самой дорогой продукцией. Даже фабричная себестоимость одежды из белки составляла 1806 рублей⁹. Эта продукция советских меховых фабрик активно рекламировалась. В 1937 году появился плакат художников А. Колтуновича и П. Золотаревского со следующим текстом: «В магазинах Союзмехторга имеются в большом выборе беличьих манто». Заслуживает внимания сугубо гламурный фасон мехового одеяния: манто вещь без пуговиц, рассчитанная на ношение взапах.

В конце 1930-х годов в СССР в промышленных масштабах начали производить и первые «имитированные» меха, то есть сравнительно дешевые, но выглядевшие как дорогие, благородные. Самым известным из них стал «кролик под котик». В предреволюционной России шубы из морского котика считались дорогой и шикарной вещью. Дамы из среды высшей советской номенклатуры, если судить по деталям из художественной литературы 1940-х — начала 1950-х годов, тоже иногда появлялись в «котике». В романе Веры Пановой «Кружилиха» (1947) можно прочесть о шубе Клавдии — жены директора завода: «Шубка новая, котиковая, предмет забот и восторгов Клавдии»¹⁰. Но это была большая редкость. Известно, что на знаменитой фабрике «Рот-Фронт» из настоящего котика выпускали лишь воротники и шапки. Так что большинству дам из средних слоев сталинской элиты приходилось довольствоваться так называемым «электрическим котиком» — определенным образом выделанным мехом кролика. Подобных шуб в СССР в 1930–1950-х годах было немало, ведь кролиководство, особенно до войны, процветало (см. «Царица полей»). Выглядели шубки неплохо — могу подтвердить на собственном опыте. В начале 1990-х я купила себе этого «рот-фронтского» «кролика под котика». Шубка жива до сих пор, я лишь попросила скорняка осовременить модель, укоротить изделие, снять мощные манжеты, слегка переделать воротник. Все это было сделано под «ахи» и «охи» о потрясающей

выделке мездры и обработке шкурок в советское время. мех блестит, а главное, благодаря особым технологиям выделки, совершенно не вытерся. Именно поэтому меня не удивляет, что в сталинское время «кролики» с технологически дорогой спецобработкой были не дешевы и превратились в своеобразный знак обеспеченности. В общем, шубы даже из сусликов и традиционных кроликов в конце 1930-х годов оказались не по средствам обычным советским горожанам. И тогда в качестве доступной альтернативы власть предложила горжетки из чернобурых лис и песцов, которые модно было надевать поверх пальто, костюмов и даже платьев. Яркое представление об этих знаках сталинского гламура дает фильм Константина Юдина «Девушка с характером» (1939). Главная героиня Катя Иванова не только работает в звероводческом совхозе, но и на короткое время становится продавщицей мехового салона в Москве. В магазине представлено огромное количество именно горжеток — вещи, способной не столько согреть женщину, сколько продемонстрировать в публичном пространстве ее высокий социальный статус.

И в послевоенной сталинской повседневности горжетки и шубы прежде всего выполняли репрезентативные функции вещей-знаков. Меховые предметы одежды и детали туалета могли купить в основном представители советской элиты. Мои бабушки шуб при коммунистах так и не поносили. В молодости, которая совпала с 1920–1930-ми годами, и Екатерина Ивановна и Антонина Станиславовна одевались модненько, но бедненько. Не помогали ни служба дедушки Коли в милиции, ни работа бабушки Тони в системе НКВД на должности шифровальщицы. После войны обе смогли позволить себе приобрести по чернобурому воротнику с лапками (горжетки с мордочками были дороги), но, на мой взгляд, ни одну из бабушек престижная деталь туалета не украшала: Екатерина Ивановна была, прямо скажем, полновата для пышного воротника, а Антонина Станиславовна ростом не вышла.



«Чернобурка» в реальной жизни. 1957. Личный архив Н. Б. Лебиной

Зато моя красавица мама — по тем временам вызывающе худая и довольно высокая, натуральная золотистая блондинка с зелеными глазами — потрясла в 1955 году академический бомонд. На торжественном заседании в Александринском театре по поводу 190-летия со дня смерти Михаила Ломоносова она появилась в черном костюме, украшенном маленькой баской, и накинутыми на шею двумя куньими шкурками. У них не было ни голов, ни лап, ни даже хвостов, так как один из них оторвали в автобусной толчее. Ведь куница маму еще и согрела, так как служила съемным воротником на зимнем пальто. Оставшийся хвост папа решительно отрезал обычными ножницами, чтобы не возникало лишних вопросов.

И все же мода на оскаленные мертвые головки уходила вместе с остальными составляющими сталинского гламура — высотками и «сталинками», широкими брюками и юбками солнце-клевш и др. В художественной литературе в середине 1950-х годов начали писать об одежде из меха как о знаке благополучия именно сталинской элиты и как о своеобразном

предметном выражении тоталитарного гендерного порядка. Шуба в мировой моде, по словам британского искусствоведа Ребекки Арнольд, «один из символов Леди, эмблема холодной аристократки и содержанки». Леди, в свою очередь, — всего лишь «блестящее имущество своего мужа, она безудержно потребляет, чтобы поддерживать его статус»¹¹. Критике подверглись такие гламурные атрибуты женской одежды, как огромная чернобурая лиса на плечах, в «полном сборе» — как живая. Этот меховой аксессуар тешит тщеславие Лизы Потепенко — одной из героинь романа Даниила Гранина «Искатели» (1954), бросившей работу и живущей на средства обеспеченного мужа: «Ей было хорошо, потому что на ней красивое, модное платье и чернобурка»¹². С легким презрением стали писать и о меховых шубах. У Юрия Германа в последней части его знаменитой трилогии о докторе Устименко главная положительная героиня Варвара, конечно же, не имеет шубы и иронизирует по этому поводу:

— А шуба у тебя от мороза есть?

— Шуб у меня избыток, — соврала Варвара, — сколько угодно, три или четыре. Я вообще, папа, исключительно одеваюсь. Но все не перешитые, у меховщика. Я ведь люблю модное, не могу отстаивать. Для тебя надена Ираидкину (малосимпатичная родственница-мещанка. — *Н. Л.*) — с шиком сшита¹³.

Одновременно даже в условиях десталинизации никто не отменял практических функций меха в природной ситуации России. Обеспечить людей теплой одеждой власть попыталась с помощью достижений научно-технического прогресса. Как известно, в 1950–1960-х годах в практиках повседневности во всем мире революцию произвела синтетика. Не случайно Ролан Барт назвал пластмассу — продукт химизации — не веществом, а идеей бесконечных трансформаций. Это свойство, по мнению французского философа и семиотика, отменяет

иерархию вещей; синтетика (пластмасса) «заменяет собой все остальные» (предметы, вещи, ткани. — *Н. Л.*), имитируя все, вплоть до роскоши¹⁴.

В этой связи нельзя не вспомнить нейлоновые рубашки: благодаря им все мужчины в СССР на какое-то время приобрели лощеный вид. В отличие от натуральных тканей, которые необходимо было не только стирать, но и крахмалить для придания воротничкам и манжетам формы, а также тщательно гладить, синтетика ничего этого не требовала. В мире рубашки из нейлона — ткани, разработанной во Франции в фирме DuPont, — появились еще в 1927 году. Внедрение синтетики в мужскую одежду облегчило домашний труд женщины. В СССР о нейлоновых мужских рубашках стало известно на рубеже 1950–1960-х годов. В повести Василия Аксенова «Апельсины из Марокко», написанной в 1962 году, этот вид одежды фиксируется как традиционная часть мужского костюма: «Нина тихонько рассказывала <...> про Ленинград <...> про Мраморный зал, куда она ходила танцевать, и как после танцев зазевавшиеся мальчишки густой толпой стоят возле дворца <...> и в темноте белеют их нейлоновые рубашки»¹⁵. Рубашки из нейлона в 1960-х годах по причине неповоротливости советской легкой промышленности становились предметом спекуляции и фарцовки. Литератор Олег Яцкевич вспоминал: «За нейлоновую рубаху некоторые стилисты родителей были готовы продать»¹⁶. Счастливы привозили химические доспехи из-за границы. По свидетельствам современников, во Франции уже в 1965 году «нейлоновые рубашки <...> стоили гроши, и носили их только бедные приказчики и алжирцы»¹⁷. Но это не останавливало советских франтов, как и то обстоятельство, что летом в нейлоне жарко, а зимой холодно.

Не меньший восторг вызывал на первых порах и искусственный мех. О нем уже во второй половине 1950-х годов много писали в прессе. Так, в августе 1955 года газета «Ленинградская правда» сообщила: «Фабрика искусственной кожи

освоила в этом году массовое производство высококачественного каракуля из волокон капрона и вискозы. Головные уборы, муфты, воротники, манто, изготовленные из искусственного каракуля <...> не боятся снега и дождя, прочны в носке»¹⁸. Особенно привлекала обещанная стоимость искусственного каракуля. Планировалось, что он будет в десять раз дешевле натурального. Популярный журнал «Работница» к тому же заверял, что «только опытный специалист сможет отличить эти темно-серые шкурки с блестящими кольцами лежащих плотными рядами нежных завитков от шкурок натурального каракуля»¹⁹.

В мае 1958 года на пленуме ЦК КПСС активно обсуждалось производство синтетических материалов и изделий из них. Власть, правда, прибегла к риторике самооправдания. В решениях пленума говорилось: «Сейчас в тяжелой промышленности, в науке и технике достигнут такой уровень, когда мы не в ущерб дальнейшему преимущественному развитию тяжелой индустрии и обороноспособности страны можем значительно более быстрыми темпами увеличить производство товаров народного потребления, с тем чтобы в ближайшие 5–6 лет в достатке обеспечить потребности населения в тканях, одежде, обуви и других товарах. В решении этой задачи большое значение имеет ускоренное развитие химической промышленности» (курсив мой. — Н. Л.)²⁰. Предполагалось, что за семь лет производство искусственного каракуля увеличится в 14 раз, что означало выпуск 5 млн м синтетической ткани, имитирующей мех²¹.

Никита Хрущев был увлечен идеей одеть людей с помощью достижений химии. По воспоминаниям Алексея Аджубея, синтетика была у генсека «под особым контролем. Хрущев говорил, что без развития производства синтетических материалов вопрос с одеждой решить будет невозможно»²². Советский лидер сам носил папаху из искусственного барашка и очень гордился тем, что многие не могли отличить его шапку от натуральной.

Пристрастия Хрущева зафиксировал и пленум ЦК КПСС 1958 года: «Изделия, вырабатываемые из этих материалов, по своему качеству, прочности, добротности, изяществу не только не уступают, а зачастую значительно превосходят изделия, вырабатываемые из натурального сырья»²³. Рядовые граждане СССР смогли оценить химические меха уже в 1958 году, когда ленинградская фабрика «Красное знамя» изготовила первую партию синтетического каракуля.

Однако отечественная промышленность не выпускала искусственные материалы в достаточном количестве. И уже в 1960 году в стране появились первые изделия из волокон, произведенных на Западе, в частности из орлона — полимерного нитрила акриловой кислоты. Он был еще в 1948 году синтезирован в США. Позднее орлон, сделанный в СССР по приобретенной лицензии, стал называться «нитроном». Из имитации натуральной цигейки и мутона стали шить зимние детские шубки. Журнал «Работница» с восторгом писал: «Трудно удержаться от похвал, глядя на красивую шубку из орлонового меха с ярко-голубой подкладкой. Чудо-шуба: вывернешь ее наизнанку, получается пальто, опущенное белым мехом. Детские вещи, сшитые из поролона и искусственного меха, дешевле, красивее и практичнее, чем, скажем, суконные и бархатные»²⁴. Но, скорее всего, это были опытные, рекламные образцы. В Ленинграде, например, пробный выпуск таких детских шубок освоили лишь в 1961 году в преддверии XXII съезда КПСС²⁵. Тогда же ленинградская фабрика «Большевичка» наладила производство шапочек из химического каракуля, а главное, первых моделей женских шуб из синтетики. К суперсовременным по качеству материала псевдомеховым пальто прилагалась муфта из искусственного меха — деталь, совершенно не соответствовавшая ритму жизни женщины 1960-х годов²⁶. По-видимому, модельеры все еще следовали принципам сталинского гламура в женской зимней одежде.

Но в целом советские горожане, вынужденные заботиться о зимней одежде в разгар хрущевских реформ, не помнят, чтобы магазины ломились от искусственных шуб. Достойные изделия из квазикаракуля и якобы мутона привозили счастливицы, побывавшие за рубежом. Там синтетический мех был дешев, лучше выделан, элегантнее сшит. Я хорошо запомнила, как папин однокашник по Межкраевой школе НКВД Николай Петрович Чурсинов, в отличие от моего отца продолжавший работу в так называемых «органах» до выхода на пенсию, привез своей 15-летней дочери нежно-кремовую искусственную шубейку. Таня, ныне известный питерский книжный иллюстратор, мастер росписи по тканям, изготовлению квилтов (стеганное вручную панно из лоскутов ткани) и текстильных игрушек, была удивительно хороша в зимней синтетической одежде, скроенной по фигуре и лихо подвязанной пояском из меха. И вообще в пору моей юности искусственная шуба иностранного производства считалась престижной вещью. Заграничные нейлоновые шубки в начале 1960-х можно было достать только по благу. Как-то на мамин день рождения в ноябре, кажется, 1961 года, в одинаковых полосатых американских синтетических манто серовато-голубоватого цвета явились сразу три дамы. Все они имели доступ к закрытому распределению. У одной — тогда доцента, позже профессора Ленинградского финансово-экономического института Виктории Францевны Цага — муж был крупный хозяйственник, у другой — Валентины Федоровны Чурсиновой — сотрудник КГБ. Третья — Ирина Борисовна Григорьева — приобрела, правда, шубку в Мариинском (тогда Кировском) театре, где всю жизнь проработала в художественно-постановочной части. В такие манто кордебалет Мариинки приделся в одной из первых поездок в США в 1960 году. Так в начале 1960-х годов моя семья поняла преимущества и статусность «заграничной» синтетики.

Красота искусственных шуб, произведенных на Западе, казалась неоспоримой. Актриса Маргарита Криницына вспоминала

о том, что у звезды фильма Григория Чухрая «Сорок первый» Изольды Извицкой в конце 1950-х годов «была редкая по тем временам шубка из искусственного меха». Криницына сообщает, что эта «потрясающая» шубка вызвала всеобщее внимание публики²⁷. Неудивительно, что химическая шубка иностранного производства на короткое время превратилась в новый вид шикарного подарка женщине от влюбленного мужчины, стала престижной и желанной вещью. Но сущность этого вождения не соответствовала российскому климату. Изделие из синтетического меха даже западного производства могло выступить на рубеже 1950–1960-х годов маркером социального статуса владельца, но отнюдь не выполняло своей прямой функции спасения от холода. Этот парадокс отразил в своей повести «Нейлоновая шубка», написанной в 1962 году, советский сатирик Самуил Шатров. Писатель воссоздал в своем произведении своеобразный круговорот в советской действительности предмета высоко ценимого, но не имеющего практического значения. Речь шла о почти меновом переходе из рук в руки престижного, но бесполезного предмета — нейлоновой шубки, которую привез из заграничной командировки своей жене профессор Мотовилин. Конец «синтетической мечты» был печален: последний ее владелец, коневод Коржов, пытался потушить ею пожар в колхозной конюшне. Но и для этого нейлоновая шубка, даже импортная, годилась с трудом. В 1973 году режиссер Владимир Басов снял по сценарию Шатрова фильм «Нейлон 100%», который почти не имел зрительского успеха, возможно в связи с падением статуса искусственного меха в СССР²⁸. О качестве, внешнем виде и теплопроводности нейлоновых шуб рассуждают и в фильме «Два воскресенья» (1963) режиссера Владимира Шределя, снятом по сценарию Анатолия Гребнева. В главных ролях снимались забытые ныне Людмила Долгорукова и Владимир Корецкий, а в эпизодических — тогдашние и будущие звезды: Людмила Макарова, Андрей Миронов, Михаил Глузский, Ефим Копелян, Сергей Филиппов. Больше всего кинокартина

запомнилась песней Андрея Петрова на слова Льва Куклина «Голубые города», которую исполнял Эдуард Хиль. Героиня киноленты, живущая в вымышленном сибирском городе Радио-заводске, продает выигранную ею в денежно-вещевой лотерее искусственную шубу как *бессмысленную* в условиях российского Севера одежду и на вырученные деньги отправляется посмотреть Москву. Еще резче о нейлоновом мехе отозвались Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов в фильме «Зигзаг удачи» (1968), который хорошо известен зрителям и сегодня. На предложение дешево купить отечественную нейлоновую цигейку главный герой (в исполнении Евгения Леонова) отвечает: «Эта дрянь и задаром не нужна»²⁹.

Я к ношению непрактичной, но красивой импортной синтетической шубки приобщилась лишь в 1978 году — американское пальто под норку мне продала моя подруга Вера Петровна Новак. Не помню, как ей досталась эта химическая мечта, но Вера, в отличие от меня, была девушкой рослой, и рукава одежды из якобы норки не соответствовали ее габаритам. Носила я неожиданно свалившееся на меня счастье долго, потом даже сделала укороченный жакет, а на свалывшийся синтетический воротник пришила полоски натурального меха, кажется песца. Но вещь была все же не приспособлена для наших зим. А в 1960-х годах — в период «химизации всей одежды» — советский мех, относительно доступный для приобретения, и не грел, и не был привлекательным внешне. Шубы в это время выпускались преимущественно черного цвета. Одной из их отличительных особенностей был специфический запах, проявлявшийся в тепле, например в метро. Кроме того, несмотря на уверения рекламы, что изделия из искусственного меха легки, практичны и долговечны в носке, ворс первых советских синтетических шуб довольно быстро сваливался — по-видимому, от перепадов температуры.

Был и у привлекательных западных, и у менее престижных отечественных химических меховых одежд еще один

недостаток. Они пачкались, а в СССР еще не существовало технологии ухода за синтетикой такого типа. В 1961 году журнал «Работница» писал: «Сейчас Институтом технической химии разрабатывается режим чистки искусственного меха, и в скором времени комбинаты бытового обслуживания начнут принимать изделия из искусственного меха в химическую чистку»³⁰ Но на практике все оказалось не так быстро. Летом 1961 года «Ленинградская правда» разместила на своих страницах письмо горожанки о тщетных попытках почистить пальто из светлого искусственного каракуля. Во всех химчистках города ей отказывали, ссылаясь на то, что этот материал они чистить не умеют³¹. Но скоро привыкшие к трудностям советские женщины поняли, что искусственный мех можно стирать, правда в не очень горячей воде. С воротниками и шапками дело пошло на лад. Я сама, получив в подарок к окончанию школы голубой уличный костюм, украшенный съёмным белым «псевдомеховым» воротничком, раз в месяц успешно стирала эффектный аксессуар. С шубами было сложнее: подкладка садилась.

Универсальность химических изделий способствовала иллюзии всеобщей обеспеченности и в западном мире, но еще большую значимость она приобрела в советской действительности 1960-х годов. В советском быту синтетика в целом играла роль антагониста натуральным тканям и мехам как модным трендам эпохи большого стиля. В годы хрущевских реформ искусственные шубы в СССР выступили в роли своеобразного симулякра не столько роскоши, сколько некоего благополучия и равенства. Материальное — в данном случае практическая функция шубы как одежды для тепла — было заменено сугубо символическим — кратковременной престижностью вещей из синтетики.

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

*Наука и техника в быту советского горожанина:
вещи и смыслы*

Слово «электроприбор(ы)», конечно же, отсутствует в словаре неологизмов Совдепии. Тем не менее очевидно, что в жизни российских горожан именно в советское время появились работавшие на электроэнергию приспособления. Они воздействовали на величину, структуру и даже содержание вне рабочего времени населения. Бытовые электроприборы не только облегчали домашний труд, но обеспечивали доступ к информации и культурным развлечениям в приватном пространстве. В какой-то степени это связано с общими тенденциями развития повседневных практик в XX веке, а также с амбициозным ленинским проектом электрификации всей страны, о которой большевики заявили еще в 1920 году. Но план ГОЭЛРО был нацелен в первую очередь на обеспечение населения электрическим освещением и на снабжение электроэнергией промышленных предприятий. Бытовые же электроприборы в годы нэпа относились скорее к области социальной фантазии. Власть в 1920-е надеялась на правовые инструменты регулирования свободного времени граждан, а не на технологическую оснащенность быта.

Действительно, введенный в 1917 году одним из первых декретов советской власти восьмичасовой рабочий день в целом гарантировал наличие у населения 16–18 часов, предназначенных на сон и другие физиологические, бытовые и культурные нужды.

В 1927 году на юбилейной сессии ЦИК СССР, посвященной десятилетию Октябрьской революции, был провозглашен переход на 7-часовой рабочий день. По официальным статистическим показателям, в 1928 году средняя продолжительность трудового дня в стране составляла 7,8 часа, а в 1934-м — 6,6 часа. В реальной жизни все было сложнее. Сокращение рабочего времени на час одновременно с введением шестидневки вели к потере более 30 часов в месяц. Это отрицательно сказалось на промышленности. В начале 1960-х годов известный экономист Станислав Струмилин отмечал, что с началом пятилетки «пришлось принимать более энергичные меры для организованного набора рабочей силы», и в этих условиях «переход к 7-часовому рабочему дню оказался явно преждевременным»¹. В 1938 году в стране развернулась кампания постепенного возврата к 8-часовому режиму труда. Эпопея с самым коротким в мире рабочим днем законодательно завершилась Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на шестидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Уплотнение рабочего времени было проведено в кратчайшие сроки — от 3 до 6 месяцев, что, естественно, вызвало сокращение досуга.

Однако повседневность наполнена не только трудом в рабочее время, но и домашней работой, в которой пригождаются электроприборы. В годы первой пятилетки советская промышленность начала выпускать достаточное количество нихромовой проволоки — основы нагревательных приспособлений. Первые электроплитки, электрочайники и электрокастрюли воспринимались как чудеса техники. Пролетарский поэт Василий Князев писал в конце 1920-х:

Электрификация
Трудового быта.
Янки, ваша нация
Ленинградом бита!

Сунул в штепсель вилочку,
 Пять минут и крышка:
 Натопил квартирочку,
 Вскипятил чайшко.

Электро-избавился
 От квартирной пыли
 И к плите отправился
 С гордостью на рыле.

Поднажал две кнопочки
 И — готово дело:
 Безо всякой топочки
 Штями засмердело!

Сшамал, схрястал, справился
 И, согретый штями,
 В свой промбанк отправился
 На электротраме².

В середине 1930-х годов появилась книга известного детского писателя Бориса Житкова «Что я видел», рассказывающая о маленьком мальчике Алеше по прозвищу Почемучка. Это яркое свидетельство восприятия технических новшеств в домашнем хозяйстве. Забавна глава «Как я плитки боялся»: «На плите была черная коробочка, круглая, большая. Только сверху она очень смешная. У ней сверху не крышка, а каменный кружок. А в кружке канавка. Канавка идет кругом по всей крышке. А сбоку из этой коробочки торчат две медные палочки. А сама коробочка железная <...> вся сверху засветилась, и в канавках, на крышке, стало красно, как уголья. Я стоял и смотрел, а подходить не хотел»³. Недоверчиво воспринимает ребенок и электрическую кастрюлю, которая сама кипятит воду прямо на столе, а не на плите: «Я залез на табуретку, чтоб посмотреть, как на столе вода закипит в кастрюльке. Она сначала не кипела. И я всё пальцем пробовал ее тихонько. Вода потом

стала теплей. А потом совсем стала теплой, и я не хотел палец туда макать»⁴. Но дальше нагревательных приборов советская промышленность до войны так и не продвинулась — серийное производство маломощных электромоторов, необходимых для пылесосов, полотеров, стиральных машин, не было налажено. Самое слово «электроприбор» (бытового назначения) отсутствовало в словаре под редакцией Дмитрия Ушакова, изданном в 1935–1940 годах⁵, но появилось в 1949 году в первом издании словаря под редакцией Сергея Ожегова⁶. В числе электроприборов были лишь чайники, плитки и утюги. Эти вещи, хотя и облегчали домашний труд, не могли принципиально поменять коды повседневности и стилистику досуга. Хлопоты по хозяйству занимали значительную часть вне рабочего времени горожан в условиях советской послевоенной действительности. Перелом произошел в годы оттепели.

Первоначально хрущевское руководство уповало на правовые инструменты, которые позволят сократить часы, проводимые прежде всего городским населением на работе. Уже в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР уменьшил продолжительность трудового дня до 6 часов в предпраздничные и предвыходные дни. Это увеличило еженедельный непрерывный отдых. Законом от 7 мая 1960 года Верховный Совет СССР установил для всех горожан семичасовой рабочий день. К середине 1960-х годов нормальная трудовая неделя в СССР насчитывала 41 час. Сокращение рабочего дня создавало реальные возможности для увеличения в первую очередь объема свободного времени, но не досуга — часов, проведенных за чтением книг, спортивными занятиями, на прогулках, в театре, кино и т. д.* Известный социолог Борис Грушин в 1967 году отмечал, что бытовые заботы — уборка помещения, стирка, приготовление пищи и т. д. — это «главные антагонисты досуга»⁷.

* В советской социологии «досуг» определяется как часть свободного времени, оставшаяся после выполнения, среди прочего, домашней работы.

Известно, что и в середине 1950-х годов обустройство домашнего быта даже в крупных городах СССР не соответствовало стандартам, по которым, например, уже жил обыватель в США. В знаковой для многих советских людей книге «Триста полезных советов» (1957) в разделе «Домашнее хозяйство» электроприборы, конечно, упоминались, но это были по-прежнему электроплитки, чайники, утюги. Новшеством казался кипятильник⁸. Отсутствие в быту стиральных машин, пылесосов, полотеров, холодильников сокращало объем досуга⁹. Новому руководству страны предстояло внедрить в повседневную жизнь достижения техники и электроники.

В больших городах серьезную проблему представляла стирка, занимавшая значительную часть свободного времени. Стирать белье в квартирах согласно правилам проживания запрещалось, так как это разрушало жилой фонд. При каждом доме еще в 1930-е годы предполагалось организовать некие общие помещения для стирки. Однако пользоваться ими можно было в строго определенное время. Я хорошо помню прачечную в Доме академиков, где я прожила все детство и юность. Располагалась она над индивидуальной котельной, которая отапливала квартиры. Стирали в «специальном помещении» в основном домработницы: в 1950-х годах их присутствие в семьях считалось бытовой нормой. Однако демократизация стилистики жизни в годы оттепели практически уничтожила институт домашней прислуги. Для многих горожан выходом из сложившейся ситуации стали фабрики-прачечные. Правда, развивалась эта услуга очень неспешно: мама почти пять лет возила белье на трамвае в другой район Ленинграда. Лишь к 1965 году в городе начали работать 25 фабрик-прачечных и свыше 200 пунктов приема белья. Их услугами пользовалось почти полтора миллиона заказчиков¹⁰.

На рубеже 1950–1960-х годов благодаря развитию отечественного производства маленьких электромоторов у горожан появилась возможность приобретать стиральные машины,

ранее в советской жизни неизвестные. На XX съезде КПСС в 1956 году было решено за пять лет увеличить выпуск стиральных машин на 608%¹¹. Но и в 1957 году создатели первой советской книги по ведению домашнего хозяйства — «Домоводство» — давали советы по отбеливанию, крахмалению и глаженью белья лишь ручным способом. А в 1959 году в книге «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже нашлось место для обширной статьи о стиральных электрических машинах как насущно необходимом предмете домашнего обихода¹². Правда, в жизни новшества внедрялись с трудом; достигнуть резкого роста производства стиральных машин не удалось. В Ленинграде в 1955 году было выпущено 10 300, а в 1960 году — 35 000 электрических приборов для стирки в домашних условиях. Хотя это составляло почти 350-процентный прирост в относительных показателях, но было недостаточно в реальных¹³. Первые советские «стиралки» делились на две категории: с электронагревателем и без него. Вторая стоила значительно дешевле и потребляла гораздо меньше электроэнергии.

Неудивительно, что люди предпочитали второй вариант. Мой муж вспоминал, что его отец, в конце 1950-х годов хорошо обеспеченный геодезист, часто выезжавший в длительные экспедиции начальником партии, приобрел для семьи «стиралку», но без нагревателя. Такую же машинку в конце 1960-х годов купили мои бабушка и дедушка. У них, уже пенсионеров, был специальный день, отведенный для стирки. Забавно, что, как все люди, чья молодость пришлась на 1920-е годы, они по-прежнему с опаской относились к электричеству. Стиркой (включавшей ручную заливку горячей воды, ручной слив, ручной отжим) занимались в обуви на резиновой подошве и в клеенчатых фартуках. На мою первую свадьбу в 1971 году старшие родственники подарили мне «стиралку» без электронагревателя. Но отношения с ней ни у моих вечно занятых родителей, ни у меня не сложились. Мы по-прежнему пользовались

прачечной. И все же невозможно не признать прорыв в обеспечении горожан электротехникой в 1960-е годы. В 1955 году в СССР произвели 87 000 стиральных машин, в 1965-м — уже 3 430 000¹⁴. Упрощению стирки помогла и хрущевская политика «химизации народного хозяйства».

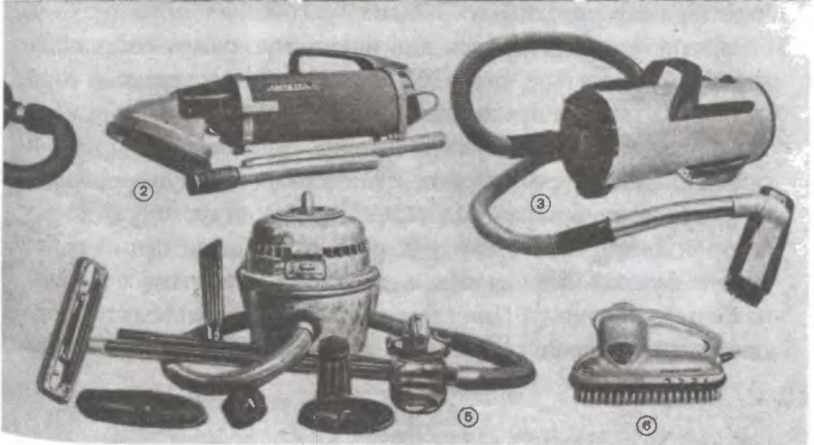
В 1961 году XXII съезд КПСС призвал обеспечить «быстрый рост производства предметов народного потребления», в ряду которых была и различная домашняя техника¹⁵. Действительно, в годы оттепели в домашнем быту горожан появились электроприборы, заметно облегчавшие уборку квартир. По данным обследования большой группы машиностроителей Ленинграда в 1965 году, в зависимости от обеспеченности семьи, на 100 человек приходилось от 6 до 20 пылесосов¹⁶. Их наименования отражали приоритеты эпохи 1960-х: «Вихрь», «Буран», «Комета». Соответствовал им и дизайн.

В 1950–1960-х годах популярностью пользовался электрический полотер. В домах старого фонда паркет в 1960-х годах был у многих, и его следовало натирать мастикой. Физически это было нелегко. Электроприбор действительно серьезно облегчил домашнюю работу, но одновременно уничтожил особую профессию полотера (эти люди натирали пол с помощью щетки и особых движений ногой). У советских домашних агрегатов, работавших на электроэнергию, в 1960-х годах была одна особенность: большинство из них изначально проектировались с расчетом на напряжение 127 вольт. Со временем подаваемую в дома мощность тока увеличили: напряжение в сетях возросло до 220 вольт. Но поменять сразу технику было накладно, так что стиральные машины, пылесосы и полотеры подключали через трансформаторы. Эту практику описал Аркадий Минчиковский в повести «Странные взрослые» (1964):

Тоня была одна-одинешенька. От скуки она пробежалась по коридору и тут заметила электрический полотер <...> Возле полотера стоял еще маленький черный ящичек. Провод от него шел



Стиральные машины. 1960-е годы. Пылесосы. 1960-е годы (илл. справа).
«Краткая энциклопедия домашнего хозяйства». М., 1966



к штепселю. А другой провод от электрополотера надо было включить в свободные дырочки в ящичке. Так — Тоня видела — делал вчера Наливайко (сосед. — *Н. Л.*). Еще он щелкал рычажком между ручек. Тоня нащупала этот рычажок и щелкнула им <...> Потом размотала черный провод, протянула его до ящичка и включила. Пол был очень скоро натерт <...> Она отключила полотер от ящичка и поволокла в кухню. Это было совсем не легко, но она справилась.

Потом еще хотела перетащить и ящичек, но он оказался таким тяжелым, что она решила: можно обойтись без ящичка — и включила провод прямо в штепсель на кухне. Полотер взревел на всю квартиру. Но мотор погудел совсем недолго и вдруг затих. Напрасно Тоня щелкала рычажком вверх и вниз. Напрасно вытаскивала и вставляла в штепсель вилку. Упрямая машина больше не хотела гудеть. И тогда Тоня поняла, что в полотере что-то испортилось¹⁷

По мотивам повести Минчковского в 1974 году был снят трогательный и пронзительный кинофильм, где главную «взрослую» роль сыграл Лев Дуров. Мы тоже долго пользовались трансформатором, натирая полы, но это не мешало приобщаться к новым практикам быта. Ведь наличие в доме техники становилось не только необходимостью, но и показателем современности и обеспеченности. Еще лучше это видно на примере холодильников.

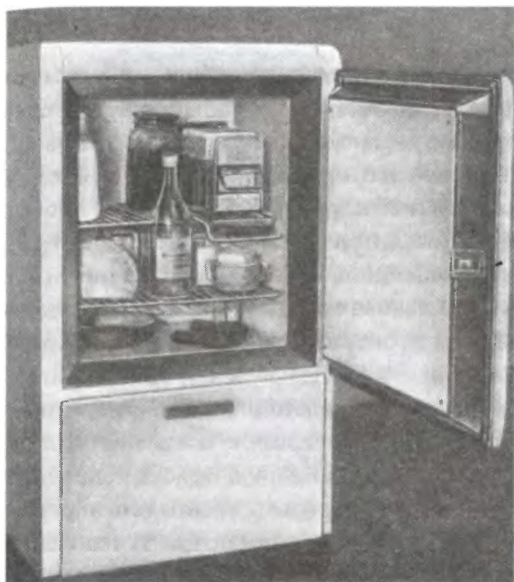
Сохранение продуктов в домашних условиях составляло проблему даже в середине XX века. Особенно страдали горожане, не имевшие привычных для сельских жителей погребов. Замораживающих установок не существовало и на предприятиях пищевой промышленности. Первый завод по производству сухого льда заработал в СССР лишь в 1933 году. К концу второй пятилетки в системе Наркомата пищевой промышленности функционировало всего 207 холодильников с машинным охлаждением¹⁸. При этом вначале их использовали лишь для сохранения мяса, рыбы и масла. Только в самом конце

1930-х годов в крупных холодильных установках стали держать фрукты, сыры, некоторые виды овощей. Бытовые, домашние холодильники считались до Великой Отечественной войны роскошью, доступной лишь представителям высшей номенклатуры. Неудивительно, что при обыске у главы НКВД Генриха Ягоды в 1937 году в ряду «различных заграничных предметов» (домашнего обихода) были обнаружены и электрические ледники (холодильники)¹⁹.

Обычных горожан об этой технике проинформировала, в частности, «Книга о вкусной и здоровой пище», изданная в 1939 году: «В настоящее время наша промышленность приступает к изготовлению небольших электрических холодильных шкафов для домашнего хозяйства». Но в основном в частном пространстве рекомендовалось применение «комнатных ледников с натуральным или искусственным льдом»²⁰. Однако советы эти были трудновыполнимыми, а главное, затратными по времени. Хозяйкам приходилось покупать продукты в минимальном количестве, часто посещать магазины, летом готовить обед на один день, опасаясь, что он испортится. Все это, конечно, сокращало время досуга, в первую очередь женского. Выпуск бытовых отечественных холодильников начался в 1949 году. Но превращению их в привычный атрибут обихода содействовал XX съезд КПСС. В 1956 году в очередном пятилетнем плане развития народного хозяйства указывалось, что в 1960 году производство холодильников возрастет на 419% по сравнению с 1955 годом! И все же немногие городские семьи имели холодильники. До начала 1960-х в зимнее время горожане скоропортящуюся еду вывешивали в сумках за окна. В «Денискиных рассказах» Виктора Драгунского, события которых происходят в годы оттепели, в числе прочих есть смешная история «Куриный бульон» о кулинарных потугах Дениски и его папы. Рассказ начинается так: «Мама принесла из магазина курицу <...> повесила ее за окно»²¹. Такие методы мы не использовали: бабушка

жила на первом этаже, а у родителей в Доме академиков был законный «ледник» — деревянный ящик с дырками, закрепленный в нижней части окна. Елена Кумпан, рассказывая о гостеприимном доме питерского литературоведа Тамары Хмельницкой, отмечала: «Между рамами окон Тамара Юрьевна хранила скоропортящиеся продукты. Холодильника у нее долгое время не было. Холодильник был в те времена, во-первых, роскошь, во-вторых — его почти невозможно было достать!»²² Михаил Герман, который на рубеже 1950–1960-х годов собирался жениться на дочери московских высокопоставленных родителей, вспоминал: «Будущий мой тесть (замначглавка республиканского министерства) <...> войдя в нашу нищую комнату с сумкой, полной номенклатурных же пайков, спросил: „Где у вас холодильник?“ Мама, у которой на лице появилось выражение императрицы перед строем революционных солдат, сказала, что холодильника вовсе нет. Будущий тесть растерялся и воскликнул: „Как можно жить без холодильника!“ Он искренне не понимал этого»²³.

В начале 1960-х холодильники все же появились в домах горожан. «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» (1959 г.) рассказывала о функционирующих в быту компрессионных холодильниках («ЗИЛ», «Саратов», «Днепр», «Ока») и абсорбционном «Севере», возможно чуть позднее эволюционировавшем в «Ленинград»²⁴. Одновременно в советском быту выстраивалась своеобразная мода на те или иные марки домашних рефрижераторов. Самым престижным, большим по объему и дорогим был «ЗИЛ». В комедии «Жених с того света», снятой в 1958 году Леонидом Гайдаем по сценарию Владимира Дыховичного и Мориса Слободского, есть такая фраза: «Обстановка стильная <...> Ну, разумеется, холодильник. „ЗИЛ“»²⁵. Более доступными по цене, но менее шикарными считались «Саратов» и «Ленинград». В первом была очень маленькая морозильная камера, во втором она отсутствовала вообще. Покупали такие холодильники люди не слишком обеспеченные.



Холодильник.
Начало 1950-х.
«Книга о вкусной
и здоровой пище»
(М., 1952)

В 1960 году наша небогатая, мягко выражаясь, семья тоже приобрела «Ленинград»: без морозильной камеры, но с тихим нравом. Он не прыгал, не гудел и не трясся, поскольку был абсорбционным. У соседей — семейства писателя Раевского — был «Саратов». Мои дед и бабушка подкопили немного и купили «ЗИЛ». Папа завистливо вздыхал и успокаивал себя тем, что шкафообразный холодильник, который не помещался ни в маленькой кухне, ни в прихожей, а стоял в столовой, периодически угрожающе урчал и несколько секунд страстно дрожал — в общем, вел себя вызывающе. Казалось, «ЗИЛ» наполнил всем собиравшимся за обеденным столом в праздники и будни, что по части еды он тут самый главный.

В начале 1960-х спрос на холодильники резко увеличился. Эту тенденцию зафиксировали проводимые органами власти обзоры состояния торговли на местах. В Ленинграде, например, в первом квартале 1963 года в официальных списочных очередях на приобретение холодильника стояло около

50 000 человек²⁶. Превращению некоего предмета обихода в дефицитный товар в целом способствует не только его малое количество, но и большой мотивированный спрос. В случае с холодильниками можно наблюдать развитие в быту советских горожан нового отношения к ведению домашнего хозяйства. После распространения холодильников отпала необходимость каждый день посещать магазины, чтобы купить свежие продукты. Непременная ежедневная готовка тоже уходила в прошлое. Все это в конечном итоге меняло парадигмы распределения свободного времени.

Но еще сильнее структура и содержание досуга горожан менялись под воздействием телевизоров и магнитофонов, которые появились в быту именно в 1950–1960-х годах. Развитие научно-технического прогресса способствовало возникновению нового вида отдыха — просмотра телепередач. Сеансы опытного телевидения проводились еще до Великой Отечественной войны. Но относительно систематически они стали в начале 1950-х. Тогда и появились в квартирах горожан первые телеприемники, прежде всего знаменитый «КВН-49», диагональ экрана которого составляла 18 см при общих габаритах 38 × 49 × 40 см. Телевидение зародилось в недрах большого стиля: неудивительно, что в конце 1940-х годов была введена система обязательной регистрации телевизоров, сохранившаяся и в годы ранней оттепели. Об этом, в частности, свидетельствует ежегодная публикация в прессе 1950-х годов следующих объявлений дирекций городских радиотрансляционных сетей: «К сведению владельцев телевизоров и радиоприемников <...> Регистрация телевизоров (независимо от регистрации в телевизионных ателье) и радиоприемников обязательна гражданами — в почтовых отделениях по месту жительства. Радиоприемники подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения, телевизоры — в течение 5 дней»²⁷. Это был прямой контроль над частной жизнью.

Для большинства горожан появление телевизоров стало настоящей сенсацией. Михаил Герман вспоминал: «В воскресенье 25 мая 1953 года я специально пришел в наше академическое общежитие (общежитие студентов Академии художеств. — Н. Л.) посмотреть телевизор. До тех пор я видел этот диковинный прибор только в кино и волновался <...> Я присутствовал при событии несомненно историческом — так мне казалось»²⁸. Люди ходили к соседям и в гости «на телевизор» — свидетельством тому анекдот, датированный 1953 годом: «Гость входит в коридор коммунальной квартиры. „Леночка, а где мама?“ — „Спит в ванной“. — „А где папа?“ — „Читает в уборной газету“. — „Так веди меня в комнату“. — „Нельзя. Там соседи смотрят телевизор“»²⁹. Изображение изначально было черно-белым, но светились телеэкраны серовато-голубоватым светом. В 1960-х годах появилось словосочетание «голубые экраны», ставшее клише в периодической печати³⁰. На первых порах качество телевидения повсеместно оставляло желать лучшего. В комедии «Она вас любит», снятой в 1956 году на студии «Ленфильм» режиссерами Семеном Деревянским и Рафаилом Сусловичем по сценарию известного сатирика Владимира Полякова, есть показательная фраза: «Он так красив, что его даже телевизор исказить не может»³¹. После «КВН-49» советская промышленность стала выпускать и более крупные 12-канальные телеприемники. Появился массивный «Авангард» с закрывавшимся специальной сдвижной деревянной шторкой экраном с диагональю 30 см.

Властные структуры придавали большое значение телефикации страны. К началу 1960-х годов «голубой экран» стал для большинства советских людей окном в мир. Уже в 1961 году, по данным социологического анкетирования, просмотр телепередач занимал четвертое место среди форм досуга. «Из 100 опрошенных 67 в течение недели пользовались телевизором», — констатировали социологи и предположили: «Повидимому, в крупных городах телевидение вообще выдвигается

на одно из первых мест среди других форм культурного воздействия на массы»³². Безусловно, телевидение подвергалось жесткой цензуре, но обязательная регистрация телевизоров в почтовых отделениях к середине 1960-х годов прекратилась. В 1965 году обладателями «голубых экранов», в зависимости от размера денежного дохода, являлись от 68 до 92 из 100 человек, а регулярные просмотры телепередач занимали от 20 до 40% свободного времени³³. Эти данные подтверждают положение о том, что за счет научно-технического процесса досуг советских горожан индивидуализировался.

Впрочем, важнее телевизоров были магнитофоны, использование которых вообще не подвергалось контролю и цензурованию. Первые бытовые звукозаписывающие устройства появились сразу после войны. Это были магнитофоны «Днепр», громоздкие и дорогие. Даже в начале 1960-х годов приобрести такую технику могли далеко не все. Любопытную деталь удалось найти в романе-мемуаре Дмитрия Бобышева. Он описывает состоявшуюся где-то в начале 1960-х годов поездку на дачу к известному ленинградскому литературоведу профессору Борису Мейлаху. В качестве подарка хозяевам фигурирует «магнитофонная лента с голосами московских поэтов». «Весь фокус состоит в том, — отмечает мемуарист, — что ее негде проиграть, а у Мейлахов наверняка есть магнитофон, и голоса эти будут если не подарком, то особым аттракционом к семейному празднику»³⁴.

В середине 1960-х годов звукозаписывающая техника заметно модифицировалась: в продаже появился магнитофон «Астра», имевший две скорости, лучшее качество звучания, дополнительные выносные акустические системы, кассету с длиной ленты 350 м вместо 160 м. Это был результат развития техники, но особая миссия магнитофона обуславливалась вездесущей цензурой. Она не давала обычным людям доступа к новинкам западной музыки, иногда прорывавшейся в эфир. На магнитофоны записывали прежде всего песни

The Beatles, которые официально не тиражировались в СССР в 1960-х годах. Можно сказать, что четыре английских музыканта спровоцировали «магнитофонную революцию» в Советской стране. Мой однокашник и коллега историк Михаил Сафонов ярко описал детали процесса записи на магнитофоны 1960-х годов: «Кассет тогда не существовало, и мы пользовались бобинами. Пленка постоянно рвалась; ее приходилось склеивать самодельным клеем, который издавал жуткий запах. Перемотка часто давала сбой, приходилось мотать руками»³⁵. Магнитофон стал неизменным спутником бардовской (авторской) песни. Она сформировалась как важный пласт советской культуры и повседневности в 1960-е годы. Публицист и литературный критик Лев Аннинский вспоминал свою первую встречу с Булатом Окуджавой в одной из московских коммуналки. Поэт пел под гитару. Сосед по коммуналке, послушав какое-то время, «кинулся к себе и вернулся, таща свой „Спалис“ или „Днепр“ — такой же огромный, ящероподобный, как все магнитофоны той поры, с помощью двух монет он состыковал шнуры и подключился к нашему»³⁶. Песни Александра Галича и Юрия Визбора, Окуджавы и Новеллы Матвеевой, Юрия Кукина и Юлия Кима, а главное, Владимира Высоцкого распространялись в советском обществе именно благодаря магнитофонам.

В 1960–1970-х годах в обыденной жизни советских людей появились электробигуди, электробритвы, электрогриль, электрокофемолка, электрокофейник, электромиксер, электроморозилка, электромясорубка, электроодеяло, электросамовар, электросковорода, электросоковыжималка, электрофритюрница, электрошашлычница³⁷. Именно тогда возникла традиция дарить всякие далеко не всегда нужные и не очень практичные электроприборы на различные торжества. Собираясь праздновать свадьбу в 1973 году, мы с моим будущим мужем строгонастроено наказали гостям не дарить нам кофеварок, так как предпочитали изготавливать кофе в джезве. Но отечественную

кофемолку нам все же подарили. Прибор был совершенно бессмысленным — на один помол следовало закладывать не менее 250 г кофейных зерен. Эффект свежемолотого кофе явно пропадал. Меньшую же порцию агрегат просто распылял по стенкам. Часто электроподарки вообще было трудно использовать в обыденной практике. Мой школьный друг Сергей Иванов, не зная, что подарить на свадьбу своим одноклассникам, купил в 1972 году фен. Он представлял собой довольно объемный вентилятор со шлангом и колпаком, который надо было надевать на голову. Так сушили волосы. Рассмотрев подробнее покупку, мой приятель приуныл и попросил меня написать какие-нибудь стишки, оправдывающие его странный дар. Отказать я, конечно, не смогла, и вот что вышло:

Локоны-кудряшки
У твоей милашки.
Сам ты парень хоть куда:
Просто чудо-борода.

Если эту бородю
Накрутить на бигудю,
То от зависти кудряшки
Разовьются у милашки.

Только этот агрегат
В дом внесет покой и лад.
Будьте, Ирочка и Сашка,
Кучерявы, как барашки.

И все же новые вещи, и в первую очередь электроприборы, появившиеся в быту горожанина впервые в годы оттепели, озаменовали необратимые процессы, которые изменили самую сущность досуга — не только по объему, но и по структуре и содержанию.

ЮНГШТУРМОВКА

Вестиментарные знаки гендерного равноправия

В справочных изданиях по истории советской повседневности слово «юнгштурмовка» присутствует¹ и трактуется примерно одинаково — как некая форма военного образца, появившаяся в СССР на рубеже 1920–1930-х годов. Леонид Беловинский, кроме того, считает, что «мода на ношение юнгштурма связана с интенсивной пропагандой подготовки к грядущей войне с фашизмом»², не подтверждая, впрочем, это мнение никакими документами. Тем не менее отказать ему во вневременной правильности суждения нельзя: ведь, как писал в «Комсомольской правде» летом 1928 года видный деятель ВЛКСМ Александр Косарев, «комсомольская форма способствует военизации комсомола»³. С лета 1928 года на улицах советских городов стали мелькать юноши и девушки в полувоенной одежде. Ее базовым элементом была подпоясанная широким ремнем, иногда с портупеей, гимнастерка цвета темного хаки с отложным широким воротником и двумя карманами на груди. Так выглядела новая революционная мода — искусственно созданная в мирных условиях полутражданская униформа. Параллельно в контексте так называемого «спецедействия» в традиционном форменном гардеробе так называемых «буржуазных специалистов» начали подозревать враждебность к советскому строю. Негативное отношение к людям интеллектуального труда описано в воспоминаниях Даниила Гранина. По его наблюдениям, на рубеже 1920–1930-х годов инженер выделялся в уличной

толпе фуражкой со значками профессии — «молотком с разводным ключом». Этот головной убор многим напоминал «что-то офицерское, и это не нравилось, так что фуражки скоро исчезли»⁴. Форма инженеров — фуражка и шинели с зелеными кантами и двумя рядами блестящих пуговиц — превратилась в символ беспартийного, никому не нужного «спеца». Весной 1928 года почти одновременно с введением «юнгштурмовок» на очередном съезде секции инженеров при ВЦСПС форма и профессиональный знак были запрещены. А людей, не спешивших ликвидировать удобную одежду, в советской прессе окрестили «инженерами-формоносцами», а нередко «формоносцами-вредителями»⁵.

Идею формы для комсомольцев в СССР заимствовали у молодежной немецкой организации «Юный Спартак». На юнгштурмовку возлагались большие социально-экономические надежды. Она должна была решить проблему гардероба части молодых людей. ЦК ВЛКСМ считал, что одежда юнгштурма «не марка, прочна, дешева <...> удобна — не стесняет движений, проста — не криклива, изящна <...> дисциплинирует комсомольцев», позволяет «воспитать <...> примерность поведения у станка, на улице, дома»⁶. Введение единой комсомольской формы выглядело как полное отрицание внешних образов бытовой культуры нэпа.

В студенческой среде, по воспоминаниям историка-востоковеда Игоря Дьяконова, в одинаковых одеждах цвета хаки с ремнем через плечо ходили все комсомольские активисты, маркируя тем самым свою социальную позицию⁷. О камуфляжных функциях комсомольской униформы писал ныне забытый литератор Василий Трушков. В его повести «Борьба за вуз» (1929–1930) отец главной героини, бывший управляющий графским имением, презрительно называл юношей и девушек в юнгштурмовках «саранчой». Одновременно своей дочери он настоятельно советовал тоже приобщиться к новой моде: «Эх ты, глупышка моя! Цвет хаки — *защитный* цвет. Он спас

тысячи от смертей! Поняла? <...> Поступить в вуз, голубушка, та же война!»⁸ Чтобы стать своей в пролетарской среде, одевается в юнгштурмовку «защитного цвета, с кожаным ремнем и португеей» героиня романа Викентия Вересаева «Сестры», бывшая студентка Лелька, пришедшая работать на завод резиновых изделий «Красный Витязь» (в реальности московский завод «Красный богатырь»)⁹. Однако уже в начале 1930-х годов настойчиво заговорили о том, что юнгштурмовка пригодна лишь для коллективных выступлений, для военной учебы и т. д. Авторы сборника статей «Изофронт. Классовая борьба на фронте пространственных искусств» утверждали, что в условиях отдыха и труда, не требующих спецодежды, такой наряд «нельзя считать видом нового костюма, ибо в нем не соблюдены требования гигиены в отношении правильного подбора ткани и покроя». Ношение же португеи в обыденной жизни уже считалось бессмысленным и вредным явлением¹⁰.

По сути дела, как проявление советской милитари-моды, созданной в ожидании будущей войны, юнгштурмовка существовала около трех лет. Однако кроме «военизации повседневности» на нее возлагались функции одежды в стиле унисекс. На исходе нэпа в организованном порядке возрождались нормы аскетизма военно-коммунистической эпохи со свойственным ей пренебрежением к половой дифференциации. Советские идеологические структуры сделали попытку закрепить разрушение традиционной иерархии полов в новых образцах одежды. Унисексуальный характер комсомольской формы ощущали современники. Писательница Марианна Басина вспоминала, как возмущалась ее бабушка «новой модой»: одетая в юнгштурмовку девушка казалась похожей «на мужика в юбке, на отставного солдата пехотного полка»¹¹.

Ныне стиль унисекс — «направление в дизайне <...> основанное на уничтожении разницы между мужской и женской одеждой» и характеризующееся использованием «функциональных тканей и материалов, простых конструкций», — явление

распространенное¹². Так модная индустрия, во всяком случае на Западе, реагирует на все более очевидное равноправие полов. Размывание жестких границ гендерных категорий и наполнение их новым смыслом привело к внедрению в женскую одежду элементов мужского костюма и наоборот; к появлению андрогинности в обуви и унисексуальных тканей, не закрепленных за конкретным видом одежды и определенным полом; к устойчивому желанию людей носить комфортные вещи. Считается, что этот новый стиль превратил моду «в пространство социальных и политических трансформаций»¹³. Люди стали отказываться от выраженных внешних признаков гендерной принадлежности, обозначая тем самым свою солидарность с новыми представлениями о гендерном укладе в социуме.

Элементы унисекса в советском культурно-бытовом пространстве появились на десять лет раньше, чем юнгштурмовки, еще в годы Гражданской войны. В определенной степени это было отражением общемировых модных тенденций. В 1910–1920-х годах в Европе и США доминировал стиль женской одежды, названный французским словом «гарсон» — мальчик. Модными считались брюки гольф, жилеты с мужскими галстуками. Женщины надевали даже смокинги. Приход большевиков к власти в России хронологически почти совпал со всплеском моды а-ля гарсон. Новая женщина Страны Советов легко восприняла общемировую моду на короткие волосы, но добавила к «гарсон-стилю» кожаные куртки. Этот вид одежды в российской действительности начала 1920-х годов имел выраженный унисексуальный характер. Кожанки — форменная одежда летчиков и шоферов времен Первой мировой войны — превратились в символ революционной моды, лишенной традиционного полового символизма. Определяющую роль здесь играл материал — непромокаемый, немнущийся, предохраняющий от ветра. В рассказах и полублегдах нашей семьи не сохранилось информации о кожанках 1920-х годов. Однако папа — типичный представитель первого поколения



Кожанка на рыбалке.
1960-е. Личный архив
Н. Б. Лебиной

людей, родившихся при советской власти, — очень трепетно относился к курткам из кожи, поносить которые ему в молодости не удалось. В начале 1960-х через каких-то знакомых отец приобрел списанную летнюю куртку. Но мама строго-настрого запретила являться в этом потертом символе романтики и мужественности на службу в Управление Ленинградского отделения Академии наук СССР. Папа надевал вождеденную кожанку лишь на рыбалку.

Зато мне удобная одежда летчиков помогла пережить поездку «на картошку» осенью 1966 года. Вызывающе тоненькая студентка первого курса истфака ЛГУ щеголяла в кожанке, туго подпоясанной папиным офицерским ремнем, оставшимся еще со времен войны. Выглядело это очень забавно, но кожа спасала и от дождя и от ветра.

В начале 1920-х кожанка подчеркивала причастность к социальным переменам, произошедшим в России в 1917 году, служила пропуском в любое советское учреждение, демонстрировала принадлежность к высшим слоям советского общества. Достать кожанку — предмет вожделения многих — было нелегко. И в период Гражданской войны, и в начале нэпа этот вид одежды считался ходовым товаром на толкучках. В первую очередь кожаные куртки стремились приобрести начинающие партийные работники и комсомольские активисты. Тянулись к внешней революционной атрибутике и желающие таким образом приобщиться к «пролетарской культуре» представители средних городских слоев, в первую очередь молодежь. Надеть кожанку для многих означало зафиксировать изменение социальной ориентации. Писательница Вера Панова отмечала, что в самом начале 1920-х годов ее муж, юноша из ростовской интеллигентной семьи, «ковал» из себя железного большевика: говорил гулким басом, вырабатывал размашистую походку, а главное, любимыми путями стремился приобрести кожанку¹⁴. Та же Панова вспоминала некую Лялю Орлову, дочь известного в Ростове профессора-офтальмолога: «Она была настоящая тонная „барышня“, но, подросши, вступила в комсомол, стала носить кожаную куртку, и буденовку с красной звездой, и кобуру с револьвером у пояса»¹⁵. Действительно, и женщины воспринимали одежду из кожи как некий мандат на привилегии в новом обществе. Не случайно рассуждению о таком «революционном прикиде» нашлось место в интимном дневнике молодой москвички, дочери мелких служащих. В 1924 году она писала: «Я видела одну девушку, стриженую, в кожаной куртке, от нее веяло молодостью, верой, она готова к борьбе и лишениям. Таким, как она, принадлежит жизнь. А нам ничего»¹⁶. Кожаная куртка была введена в ранг модной вещи в стиле унисекс по инициативе самих революционных масс, без участия властей. Ее появление явно отражало серьезные перемены в российском быту и гендерном укладе после революции.

Но во второй половине 1920-х ситуация поменялась. Кожанка перестала считаться модной и престижной вещью, что можно расценивать как признак демилитаризации жизни. Отказ от ношения старых военизированных атрибутов одежды демонстрировал не только усталость от психологического напряжения «военного коммунизма», но и повышение уровня жизни рядовых горожан. Бывший член Государственной думы, ярый монархист Василий Шульгин тайно посетил в 1925 году СССР. Он стремился выглядеть по-советски, чтобы не выделяться из толпы. Но каково же было его удивление, когда прохожие с любопытством поглядывали на странного нарочито «комиссарского вида человека». «Этот вышедший из моды тип, — писал Шульгин, — еще хранивший облинявшие заветы коммунизма, был я. О, ирония судьбы»¹⁷.

В конце 1930-х — начале 1940-х годов кожаную одежду вновь можно было видеть на улицах советских городов, но носили ее лишь военные. Как своеобразный социальный маркер изделия из кожи выступили в самом конце Великой Отечественной войны. По воспоминаниям современников, работников наркоматов в это время стали узнавать на улицах по светло-коричневым кожаным пальто. Они в качестве шоферской спецодежды прилагались к автомашинам, присылаемым по ленд-лизу американцами. Машины отправляли на фронт, а кожаные пальто оседали в Москве, но унисексуального характера не обрели. Это была мужская одежда. Лишь в 1970-е годы кожаные куртки, пальто, пиджаки начали носить и женщины. В это же время появились остромодные юбки из кожи. Это был особый вид унисекс-одежды, в котором сочеталась размытая гендерная принадлежность материала (кожи) и утрированная, даже агрессивная женственность формы («мини»). В 1969 году и я стала обладательницей такой вещи: отец из служебной командировки в Чехословакию привез мне жемчужно-серую мини-юбку из лайковой кожи.

Конечно, о мини-моды я знала и раньше, но в частном странстве все сводилось к «самостроку», то есть пошиву модной



Кожаная мини-юбка. Конец 1960-х. Личный архив Н. Б. Лебиной

составляющей женского туалета, а скорее, к «саморезу» — демонстративному укорачиванию уже имевшейся одежды. И вот реальное счастье — фирменное мини, к тому же кожаное. И все же юбка до сих пор у меня вызывает ассоциации не столько с модой, сколько с политическими событиями конца 1960-х годов, с Пражской весной. Мне вспоминается вторжение советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 года. Тогда я испытала не возмущение, а реальный страх. Наверно, его корни прятались в моем детстве. Осенью 1956 года я слушала радиопередачи о событиях в Венгрии. Конечно, советская пропаганда с особым чувством подавала сведения об убийствах коммунистов и сотрудников органов безопасности в Будапеште, но я этого не понимала и страшно боялась, что такое может произойти и у нас. Я была советским ребенком, родившимся в семье членов коммунистической партии, и оставалась такой же в юности, чего не стыжусь ныне в своем очень зрелом возрасте. И это честнее, чем стремление многих обязательно приписать себе статус бывших стилиг или диссидентов. Моя взволнованность еще усилилась, когда в начале апреля 1969 года папа с делегацией представителей Академии наук поехал в Прагу. За несколько дней до этого, 15–31 марта, состоялся чемпионат

мира по хоккею. Команда СССР дважды проиграла чехам. Их центральным нападающим и самым результативным игроком был Вацлав Недоманский. И все же сборной ЧССР досталось только третье место. Раздражение болельщиков слилось с ненавистью ко всему советскому. В Праге вновь начались волнения... Отец рассказывал о надписях на стенах домов, расположенных около советского посольства: «У вас Даманский (остров на границе с Китаем, где в марте 1969 года произошел вооруженный конфликт), а у нас Недоманский». Встречи советской академической делегации с чешскими учеными происходили в нервостной обстановке, передвигаться по Праге рекомендовали группами. И все же я получила модную юбку. В семье мы ее долго звали «хоккейной».

Маскулинность женской одежде придавал и бостон — в условиях сталинского гламура эта ткань была маркером социального благополучия. В ряду вещей, которые хотели бы приобрести многие советские мужчины в конце 1930-х — начале 1950-х годов, был костюм, обязательно пошитый из бостона. Эпоха большого стиля ассоциируется с нарочитыми образцами мужественности и женственности. Но элементы стиля унисекс проявлялись и в это время. Именно так можно расценить использование «мужской ткани», бостона, для пошива женских вещей. Из гладкоокрашенного шерстяного материала с мелким рубчиком считалось модным шить так называемые английские костюмы — своеобразный вид официальной одежды для деловых женщин эпохи большого стиля. Михаил Герман вспоминал заведующую кафедрой марксизма-ленинизма в Ленинградской академии художеств в начале 1950-х годов, даму «с обликом генеральской жены (каковой и являлась) и повадками лагерной надзирательницы. Она носила исключительно ответственные костюмы только двух цветов: красного и зеленого»¹⁸. Примерно в таком же стиле известный оператор Борис Волчек приодел свою дочь Галину перед поступлением в Школу-студию МХАТ. Темно-синий пиджак



Английский костюм на «партийной даме». Конец 1940-х годов.
Личный архив Н. Б. Лебиной

и юбку даже шили у мужского мастера — правда, лучшего в Москве в 1950 году¹⁹. У моей мамы на рубеже 1940–1950-х тоже был английский костюм в стиле унисекс, о чем, в частности, свидетельствуют детали пошива, а именно лацканы. Это отчетливо видно на семейных фотографиях. К счастью, мама была очень изящной женщиной, и на ней полумужской пиджак смотрелся изысканно. Но большинство «номенклатурных дам» в бостоновых костюмах выглядели далеко не элегантно.



Английский костюм моей мамы — Е. Н. Лебиной.
Начало 1950-х годов.
Личный архив Н. Б. Лебиной

В 1960-е годы в Советском Союзе пользовался спросом материал, изделия из которого обладали не только выраженной функциональностью, но и в определенной мере унисексуальностью. Это синтетическая ткань «болонья», названная по имени итальянского города, где впервые было налажено ее производство. В СССР «болонья» появилась благодаря хрущевской идее «химизации народного хозяйства». Алексей Аджубей вспоминал: «Он (Хрущев. — Н. Л.) стал активно принимать западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник <...> поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так вошла в наш быт ткань „болонья“»²⁰. Плащи из этой ткани сразу превратились в дефицит, предмет вожделения и фарцовки. Погоня за «болоньей» — химической химерой первой половины 1960-х годов — хорошо запомнилась Евгению Рейну, купившему плащ цвета «жанدارм» у одного из ленинградских фарцовщиков²¹. Современники, вспоминая о «болонье», писали: «Плащи были хорошо сшиты, с дополнительной отлетающей кокеткой на спине, под

которой скрывалась сетчатая материя для вентиляции, погончиками, большими прорезными карманами и широкими поясами <...> К плащам прикладывалась маленькая косыночка, а у мужчин — беретик»²². В скрупулезном описании «болоньи» явно обнаруживаются детали (погончики, кокетка), подчеркивающие унисексуальность этой одежды. Совершенно очевидно, что приверженность к одежде из синтетики была одним из кодов элегантности как у мужчин, так и у женщин. Но полностью удовлетворить спрос на болоньевые плащи в годы хрущевских реформ не удалось. Массовое производство «болоньи» наладили в СССР к концу 1960-х годов. Но мода вещь, изменчивая даже в условиях развитого социализма. Экономисты были вынуждены констатировать, что в 1971–1975 годах спрос на «болонью» резко упал.

Безусловным признаком распространения стиля унисекс считается освоение женской модой брюк — традиционного вида мужской европейской одежды. Этот процесс, начавшийся на Западе уже в 1920-х годах, пришел в СССР только в середине 1950-х годов. В советском культурно-бытовом пространстве брюки даже как часть мужского костюма нередко становились поводом для бурных идеологических споров среди комсомольцев. В 1920-х годах фаворитом моды для сильной половины стал так называемый «оксфордский мешок» — широкие брюки из тонкого серого сукна в мелкую клетку с сильным отливом, в которых ходили студенты Оксфордского университета. Но в начале нэпа «оксфордами» комсомольские активисты окрестили почему-то узкие брюки, модные у эдвардианцев — английских денди. «Обтянулись „оксфордами“ и фокстроты наяривают», — писала о нэпманах газета уральских комсомольцев «На смену»²³. Мода на настоящий «оксфордский мешок» пришла в СССР в конце 1920-х годов. Поэт Вадим Шефнер вспоминал реакцию его пожилой соседки на новый стиль: «Ой, и модные ребята вы стали!.. Я помню, парни узенькие брюки носили в трубочку, чем ужее — тем

моднее, а нынче чем ширше — тем красивше»²⁴. На государственный уровень обсуждение ширины штанин было поднято в период хрущевской оттепели. Поклонника «дудочек»* могли исключить из комсомола с клеймом человека, не верящего в социализм, «нигилиста». Не случайно одноименное стихотворение Евгения Евтушенко, написанное в 1960 году, начиналось со строк: «Носил он брюки узкие, / читал Хемингуэя». Андрей Битов немного пафосно, но совершенно справедливо писал об оттепели:

Лучшие годы не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюкам), не только, через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости *другого*: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные ушмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки!.. — и были легкомысленны, а борьба была — серьезна. Пусть сами «борцы» не сознавали своей роли: в том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет... Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения с тем, чтобы через два-три года «Москвошвея» и «Ленодежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра вместо сорока четырех, а в масштабе такого государства, как наше, это хотя бы много лишних брюк²⁵.

* Название брюк, введенных в моду в 1950-х годах итальянским дизайнером Эмилио Пуччи. Он создавал в первую очередь одежду для отдыха и спорта. Дудочки — очень узкие, не более 22 см, прямые брюки — многие стали носить повседневно. В СССР в 1950-х годах они отличали стилиягу.

На рубеже 1950–1960-х годов властные структуры изменили свое отношение к новым канонам одежды: в официальной мужской моде победили тенденции минимализма. Изменения во внешнем облике советских людей подметили даже западные журналисты. По словам корреспондента американского журнала *Time*, широкие брюки в СССР в это время уже носили «только военнослужащие, деревенщина и Никита Хрущев»²⁶.

Именно в 1960-е годы произошло внедрение в советскую повседневность женских брюк как некой партикулярной одежды и свидетельства распространения унисекс-моды. Конечно, и до начала десталинизации женщины в СССР носили нечто более удобное, чем платья и юбки, — ватные стеганые штаны на тяжелых физических уличных работах и шаровары для занятий спортом. Такая одежда презентовала сталинскую модель женственности, в которой сочетались признаки существа, предназначенного для воспроизводства потомства, и своеобразного механизма, безотказного в тяжелой работе. В западной же моде дамские брюки — несомненный элемент стиля унисекс — придавали женщинам особый флер эротизма и сексуальности. Однако и в Европе и в США этот вид одежды стал появляться в коллекциях от-кутюр и прет-а-порте лишь в 1960-х годах²⁷. Примерно в это же время робкие попытки изменить представления властей о «приличии в моде» предприняли и советские модельеры. В альбоме «Одежда молодежи», выпущенном в 1959 году, была размещена статья «Когда и где носить брюки девушке». После ряда советов авторы статьи прямо заявляли: «Вы в каждом отдельном случае сможете решить сами: куда, где и когда можно надевать брюки»²⁸. В начале 1960-х даже твердокаменные апологеты советской власти позитивно оценивали одежду в стиле унисекс. Всеволод Кочетов в романе «Секретарь обкома» (1961) посвятил целый абзац описанию брюк супруги главного героя, партийного работника Денисова: «София Павловна немало

потрудилась над тем, чтобы одежды ее для такой поездки были удобны и в то же время, чтобы она выглядела в них соответствующим образом. Она сшила несколько комбинезонов, с лямками, с медными пряжечками, с карманами и карманчиками, застегивающимися большими красивыми пуговицами»²⁹. В 1962 году журнал «Работница» с назидательным осуждением писал: «Среди мам распространено мнение, что брюки можно носить только дочерям. А разве мамы во время отдыха не катаются на велосипеде, не ходят на прогулки в горы, не играют в волейбол?»³⁰ Это означало явную легализацию брюк, хотя и с частичным поражением в правах. Но важнее было другое обстоятельство — проникновение в советскую моду стиля унисекс, живое свидетельство изменений в гендерном укладе в СССР. Унисексуальный характер женских брюк в восприятии советских людей подмечен в эссе филолога Ревекки Фрумкиной. Она пишет: «Услышав, что нашелся портной, который готов сшить мне брюки (дамские брюки, кроме сугубо спортивных *штанов*, у нас не продавались), отец (профессиональный текстильщик на пенсии. — Н. Л.) не без решительности сказал, что пойдет со мной покупать материал. В отделе тканей ГУМа <...> отец довольно быстро остановил свой выбор на черном *фрачном сукне* (это не сукно, а шерстяная ткань особо высокого качества). Эти брюки я носила лет десять с осени до лета»³¹. Символичен и сам факт участия в этой покупке мужчины, в данном случае отца, и выбор для женской одежды сугубо мужского материала. Стоит отметить, что некоторые частные портные, на первых порах не рисковавшие сделать на женской одежде ширинку, использовали застежку «ланцбант» из так называемого морского фасона. Это был ярко выраженный унисекс. Брюки появились и в нашей семье. Мама поехала в вызывающем по тому времени наряде на отдых в Кисловодск в 1959 году. Она неоднократно слышала вслед себе неодобрительные высказывания почтенных дам из санатория Академии наук.

В период так называемого «развитого социализма» власти в СССР поддерживали развитие унисекс-моды в дозированных объемах: в магазинах можно было приобрести и женские брючные костюмы, и отдельные брюки. Я сама в 1971–1974 годах, будучи аспиранткой, фланировала по коридорам Ленинградского института истории и Библиотеки Академии наук СССР (БАН) то в клетчатом кримпленовом пиджаке, то в черном джерсовом блузоне, в пандан к которым надевались бежевые или черные брюки. И все это было вполне отечественного производства. Одновременно в советском культурно-бытовом пространстве развивались неподконтрольные явления. Основным вестиментарным признаком гендерного равноправия в это время стали джинсы. Это была общемировая тенденция. Западные историки феномена джинсовой моды называют брюки из денима «второй братской кожей» и «первой „одеждой для обоих полов“»³², не ведая, что в 1920-х годах такая «унисекс-кожа» уже существовала в СССР — прежде всего в виде «кожанок». Переодевание жителей советских городов в джинсы властями практически не контролировалось, но наличие новых модных тенденций активно фиксировала художественная литература. С конца 1950-х годов советские люди иногда позволяли себе надеть «техасы» из стран народной демократии. Старшее поколение называло их брюками со швами наружу³³. «Техасы» носили в домашней обстановке, на отдыхе и расценивали как удобный вид рабочей одежды, но не более. А главное, их надевали пока только мужчины. В повести Анатолия Рыбакова «Приключения Кроша» (1960–1961) толстый и неуклюжий модник Вадим во время школьной практики на автобазе появился «в финских брюках, очень узких, в обтяжку, прошитых вдоль и поперек белыми нитками». Писатель не мог удержаться от похвалы в адрес джинсов: «Это хорошие удобные брюки, с множеством карманов»³⁴. У главного героя повести Василия Аксенова «Звездный билет» (1962) Димки Денисова

в гардеробе тоже имелись «штаны неизвестного <...> происхождения» — на самом деле черные джинсы³⁵.

В конце 1960-х годов слово «джинсы», трактуемое как «узкие брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, прошитые цветными нитками», было зафиксировано лингвистами как принципиально новая для русского языка лексическая единица³⁶. А в 1973 году в СССР даже наладили производство отечественных модных брюк, выпуск которых достиг в 1975 году 16 800 000 пар. Однако конкурировать не то что с американским, а и с польским этот товар не мог. Престижным в конце 1970-х — начале 1980-х годов считалось иметь «фирменные» джинсы. Они являлись вестиментарным знаком человека, с одной стороны, не отстающего от моды, а с другой — раскованного, демократичного и вечно двадцатилетнего. Желание получить «фирму», в которой появлялись и в театрах, и в ресторанах, и на работе, было в это время настолько велико, что ее обладателя могли попросту раздеть в темном переулке. В поездах дальнего следования, ложась спать, счастливый обладатель джинсов старался положить их под матрас и лечь сверху, чтобы уберечься от воровства. Именно так поступил один из аспирантов Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, возвращаясь из командировки в Москву где-то в начале 1980-х годов. По свидетельству очевидца (а им был мой друг Николай Смирнов, директор СПбИИ РАН в 2013–2017 годах), проснувшись, будущий крупный ученый (не буду называть его фамилию) долго искал свои супербрюки и проклинал воровство в поездах. Но коллеги, посмеявшись, помогли найти пропажу.

Джинсы превратились в устойчивый элемент фарцовки и перепродажи. Власти вынуждены были включить образцы американской моды в распределительную систему, с помощью которой тогда снабжалось население. Характерен случай, описанный в газете «Заполярье» в апреле 1981 года. В Воркуте, где прошел слух о поступлении в продажу «западногерманских

джинсов из американской ткани», около главного магазина города образовалась огромная очередь. Люди создали специальную общественную комиссию, которая ездила на склад и проверяла наличие брюк. Власти решили дело по-иному: вождеденный товар изъяли из магазинов и передали на предприятия «для продажи передовикам производства»³⁷.

В повести «Апельсины из Марокко» брюки из денима уже маркированы как норма женской одежды. В обыденной жизни Катя — жена геолога Кичекьяна и объект любовных переживаний главных героев — ходит «в толстой вязаной кофте и синих джинсиках»³⁸. И это не литературное преувеличение. Яркое описание некой Татьяны Стриженовой, женщины-вамп, есть в мемуарах поэта, геолога и географа Александра Городницкого: «О самой Стриженовой к тому времени (начало 1960-х годов. — Н. Л.) в Туруханском крае ходили самые фантастические легенды <...> Сама героиня оказалась худощавой и черноволосой <...> Затянута она была в редкие в то время американские джинсы, заправленные в резиновые сапоги, и тельняшку с глубоким вырезом»³⁹. Действительно, уже в середине 1960-х годов в канонах женственности явно прослеживались элементы унисекса, проявляющиеся в моде в периоды серьезных изменений гендерного консенсуса в обществе. А в начале перестройки с помощью фарцовщиков, блата и прочих ухищрений, выражаясь словами героя фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) конструктора Дятлова (артист Леонид Куравлев), «в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения»⁴⁰. Первые свои джинсы фирмы Lee я купила в 1982 году у школьной подруги и долго ушивала их в длину и ширину. Потом мои болгарские друзья прислали мне шикарные коричневые вельветовые штаны, а потом были поездки в Польшу и ГДР и джинсы, джинсы, джинсы — для себя, и для мужа, и для сына. Брюки из денима стали и в советском быту «одеждой для обоих полов». У Виктории Токаревой в небольшом эссе «Самый счастливый день (Рассказ

акселератки)» (1980–1981) девочка-подросток описывает своих родителей так: «Худые и в джинсах»⁴¹. Конечно, советский унисекс не был полным аналогом западного, в рамках которого формировался новый действительно «бесполой» стиль одежды и поведения. Но разнообразные вестиментарные знаки — кожанка, юнгштурмовка (первый и единственный государственный образец унисекс-одежды), плащи «болонья», женские брюки и джинсы — свидетельствовали о наполнении бытового пространства СССР внешними признаками гендерного равноправия.

ЯЗВЫ

Принципы конструирования социально-бытовых аномалий

Толкование слова «язва» («язвы») не встречается ни в одном из словарей советского быта. Нет такого понятия ни у Валерия Мокиенко и Татьяны Никитиной, ни у Леонида Беловинского, ни у Сергея Борисова. Разумеется, не стоит включать в такие издания медицинский термин. Однако в академическом словаре русского языка указано и иное значение: язвы — это «что-либо дурное, вредное, какое-либо отрицательное явление, порок, зло»¹. Этот переносный смысл имеет прямое отношение к советскому властному дискурсу о бытовых нормах и аномалиях.

Большевики не были наивными идеалистами. После прихода к власти во второй программе РКП(б) в марте 1919 года они обозначили целый ряд так называемых «социальных болезней», к числу которых относились алкоголизм, проституция и сопутствующий ей «венеризм» и др. Существование этих явлений в системе новой государственности советские идеологические структуры тогда объясняли «ненормальностями общественных отношений», причины которых «глубоко зарыты в капиталистическом обществе»². Действительно, традиционные аномалии, всегда негативно характеризуемые с позиций общечеловеческих ценностей, — преступность, пьянство, суицид, проституция, — не были порождением новой действительности. Неудивительно, что и способы их

нивелирования большевики нередко изыскивали в российском прошлом — правда, не афишируя это. Так, с помощью нормативных суждений формулировались признаки преступлений, что, безусловно, облегчало их выявление.

Однако после 1917 года в повседневном быту начали развиваться явления, не отвечающие принципам пролетарской морали, но и не регламентируемые правовыми нормами. И тогда власти прибегли к нормализующим суждениям³ как способу маркирования аномалий, которые формально существовали вне правового поля, но фигурировали в пространстве повседневности. Советские властные и идеологические структуры неоднократно применяли этот способ для целенаправленного конструирования аномалий. Любопытно, что в официальных документах почти невозможно найти формулировок признаков нормы, но всегда присутствуют характеристики патологии. С помощью нормализующих суждений власти не только порождали новые лексические единицы, уникальные советизмы, но и выделяли предметы одежды или интерьера, якобы аккумулирующие в себе признаки той или иной социально-бытовой деформации.

Этот прием был впервые использован в середине 1920-х, когда советские властные и идеологические структуры обнаружили в быту в первую очередь членов партии явления, не вписывающиеся в общую, достаточно иллюзорную модель обычного поведения сознательных советских граждан. Переход к нэпу, означавший возврат к мирному образу жизни, означал возрождение не только традиционных бытовых практик, но и разнообразных девиаций. У населения возродилась тяга к привычной для городов «веселой жизни». Об обстановке нэпа в ноябре 1922 года Корней Чуковский писал: «Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами, прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. <...> Все живут зоологией и физиологией»⁴. Вскоре властные

и идеологические структуры вынуждены были отметить, что «нэпманский разгул» проник и в партийную среду. В октябре 1924 года состоялся II пленум ЦК и ЦКК РКП(б), посвященный вопросам партийной этики, а точнее, нормам поведения коммунистов в быту. В материалах пленума слово «язва» стало употребляться для характеристики разнообразных девиаций⁵. Одновременно с «язвами» в советской партийно-идеологической лексике, связанной с бытом, появилось выражение «онэпивание»⁶. Впервые термин «онэпивание» стал фигурировать в выступлениях на уже упоминавшемся II пленуме ЦК и ЦКК РКП(б). Даже партийные активисты не могли сначала понять, что означает это загадочное слово. Емельян Ярославский, делавший на пленуме доклад «О партэтике», заметил, что «один товарищ понял это так: онэпивание — значит не надо пить»⁷. На самом деле «онэпиванием» был назван процесс возрождения повседневной жизни после окончания в России Гражданской войны. Хорошая одежда, благоустроенная квартира, калорийное питание — признаки благополучия и социальной стабильности в быту в 1920-е годы обрели кроме номенклатуры и представители нового слоя населения — нэпманской буржуазии. Вероятно, поэтому большевикам многие бытовые атрибуты казались с идеологической точки зрения более опасными, нежели труды философов и политических деятелей, окрещенных «представителями мелкобуржуазной стихии». Труды эти обычные люди не читали, зато внешние признаки зажиточности нэпманов видели все. Не случайно еще в 1921 году Владимир Ленин заявил, что самый решительный бой за социализм — это бой «с мелкобуржуазной стихией у себя дома»⁸. Наивысшей точки этот бой достиг в конце 1924-го — начале 1925 года в момент стабилизации нэпа. В стране развернулась настоящая война с «нэпманской» модой и мещанством в быту. Сигнал к началу этой войны был дан на II пленуме ЦК и ЦКК РКП(б). В материалах пленума отмечалось: «Период нэпа таит в себе опасности, особенно для той части коммунистов,

которая в своей повседневной деятельности соприкасается с нэпманами. Неустойчивые элементы начинают тяготиться режимом партийной дисциплины, завидуют размаху личной жизни новой нэпманской буржуазии, поддаются ее влиянию, перенимают ее навыки, ее образ жизни⁹. Все это власти называли «онэпиванием» и маркировали как осуждаемое и подлежащее искоренению социальное отклонение.

Своеобразной разновидностью «онэпивания», по мнению идеологических структур, было «хозобрастание» — еще одна экзотическая и сугубо советская социальная патология, причисленная к «болезням партии». Этим словом клеймили коммунистов, заводивших слишком большое хозяйство в деревне с «целью торговли». Одновременно контрольные органы коммунистической партии не могли игнорировать и недовольство рядовых коммунистов злоупотреблениями чиновников, возглавлявших высшие партийные и советские инстанции. Действительно, представители партийно-советской верхушки в начале нэпа получили за счет государства не только хорошие отдельные квартиры (подробнее см. «Уплотнение»), но и мебель, и домашнюю утварь. Например, в Петрограде летом 1922 года по просьбе заместителя председателя Петросовета Бориса Позерна в пустующих квартирах одного из шикарных петербургских домов был разыскан уникальный буфет красного дерева. Его безвозмездно передали в собственность семье функционера. Еще один питерский чиновник от партии — управляющий делами Северо-Западного бюро ЦК РКП(б) Сергей Бабайлов — присвоил кабинет из 13 предметов, в том числе медвежью шкуру; обстановку для столовой из 9, для гостиной — из 11 и для спальни — из 12 предметов¹⁰. И таких примеров по всему СССР к осени 1924 года, судя по документам контрольных комиссий, набралось немало. Назвав этот процесс «хозобрастанием», высшие идеологические инстанции вынуждены были отметить: «Мы не должны требовать, чтобы члены партии жили в нищенской обстановке. Мы должны

предъявить только одно требование, чтобы товарищи жили по средствам, чтобы товарищи не использовали своего положения и не создавали себе исключительных удобств»¹¹.

В нормализующих суждениях 1920-х годов можно обнаружить еще одну социально-бытовую патологию. В данном случае идеологические структуры сообщили привычному понятию новое, политизированное содержание. Речь идет о слове «излишество». Его словарная интерпретация выглядит следующим образом: «1. Устар. Слишком большое количество чего-л.; избыток, излишек <...> 2. Употребление чего-л. сверх меры, нормы, злоупотребление чем-л.»¹² Согласно же материалам II пленума ЦК и ЦКК РКП(б), «излишество» как некая «болезнь партии» имело две разновидности. Во-первых, это уже заметные на седьмом году советской власти огромные расходы на «обслуживающий учреждения и отдельных советских работников автомобильный и гужевого транспорт», на оборудование «чисто учрежденческих санаториев, домов отдыха для узкого круга лиц», «на дорогостоящие, никому, кроме издателей, не нужные ведомственные издания»¹³. Во-вторых, это стремление к роскоши в личном быту. Пленум отметил необходимость борьбы с развивающимся в среде коммунистов «барством, дорогостоящей, не по средствам обстановкой, вызывающими роскошными нарядами, золотыми драгоценными украшениями»¹⁴. Однако, фиксируя «излишества» в жизни не только высшего, но и среднего партийного и советского руководства, пленум все же не смог предложить действенных мер по их искоренению.

Иначе складывалась ситуация с девиациями, которые властные и идеологические структуры обнаруживали у обычных горожан, а по сути просто им приписывали. Именно так можно объяснить появление в середине 1920-х и существование до начала 1950-х годов понятия «есенинщина». Связанное с именем талантливейшего русского поэта Сергея Есенина, оно отражало не только тенденции развития литературы в советском

обществе, но и активные попытки власти регулировать процессы повседневности, в частности структуру и содержание досуга. Под строгим идеологическим контролем находился круг чтения советских людей (подробнее см. «Макулатура»). В 1920-х годах Есенин был самым популярным поэтом в СССР. Обследования читательской аудитории в 1928 году показали, что его произведения за один год в библиотéках выдавались на руки 400 раз, тогда как стихи Владимира Маяковского — всего 28¹⁵. Людей привлекали внешняя простота и задушевность есенинской поэзии. У кого-то интерес к ней был вызван трагической кончиной автора в декабре 1925 года, чаще всего трактуемой как самоубийство. Это событие к тому же спровоцировало вспышку суицида в крупных городах. В суицидологии уже в 1920-е годы был известен так называемый «эффект Вертера» — самоубийства, совершаемые под влиянием примера. Однако советские идеологические структуры все объяснили распространением мелкобуржуазных, «упаднических настроений», которые и получили название «есенинщина». В крупных городах Советской России в 1926–1928 годах проводились специальные обследования случаев самоубийств среди молодежи. Вывод нередко был следующим: «У нас многие увлекаются есенинщиной и другими такими книгами и поддаются таким настроениям, даже есть случаи самоубийств»¹⁶. Поэзию Есенина официально называли «упаднической», не соответствующей идеям строительства социализма. Николай Бухарин прямо заявлял: «Есенин талантлив, но „есенинщина“ — это самое вредное, заслуживающее бичевания явление нашего литературного дня»¹⁷. Книги поэта изымались из массовых библиотек. После 1928 года и до начала 1950-х его стихи редко переиздавались. В 1960-х читательский интерес к творчеству Есенина вырос до невероятных размеров. Его фотографии или линогравюры украшали интерьеры студенческих общежитий и квартир наряду с изображениями Хемингуэя и Маяковского. В моей семье знали и любили есенинскую поэзию и в 1920-х годах. Бабушка

по маминой линии как-то очень забавно произносила «Эсенин» и неизменно цитировала его «Письмо матери»: «Ты жива еще, моя старушка?» — наряду с очень любимым ею стихотворением Алексея Апухтина «Посвящение» (1859):

Еще свежа твоя могила,
Еще и вьюга с высоты
Ни разу снегом не покрыла
Ее поблекшие цветы.

Реабилитация есенинских стихов совпала с хрущевской оттепелью. Популярнейшей формой досуга горожан стали вечера поэзии. При этом люди ходили не только на выступления поэтов, читавших свои стихи, но и на специальные концерты профессиональных чтецов. Мне довелось в начале 1960-х годов несколько раз побывать на выступлениях знаменитых артистов Вячеслава Сомова и Эдуарда Велецкого. Концерты проходили и в старинном здании Академии наук на Университетской набережной тогдашнего Ленинграда. Сомов предпочитал иностранную поэзию: Гийома Аполлинера, Федерико Гарсиа Лорку, Николаса Гильена. Велецкий — советскую: Маяковского, Александра Твардовского, Константина Симонова. Но в конце на бис оба читали Есенина.

Менее долговечным оказался характеризующий социально-бытовые аномалии термин «давидсоновщина». Он будоражил умы женской части молодого поколения Страны Советов во второй половине 1920-х годов. Тогда на страницах молодежных коммунистических газет и журналов развернулись дискуссии о любви. Ярой обвинительницей мужчин, толкавших женщин на аборт и не желавших разделять с ними трудности материнства, выступила Софья Смидович, член партии большевиков с 1898 года. Она в то время работала в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Критика мужского поведения велась с позиций борьбы за женскую эмансипацию. Смидович, клеймя сексуально озабоченных и безответственных мужчин, критиковала и покорных, безответных

женщин, жизнь которых «была служением своему господину — мужу». Толчком для рассуждений Смидович послужила судьба студентки Московской горной академии Давидсон. Ее муж, тоже студент-горняк, систематически унижал женщину, избивал ее, трижды за год вынудил сделать аборт. В результате, не вынеся издевательств и не имея сил порвать с мужем-садистом, летом 1926 года Давидсон покончила жизнь самоубийством. Партийная активистка Смидович образовала от фамилии несчастной самоубийцы название «мелкобуржуазного явления» — «давидсоновщина». Оно означало женскую слабость, «неизбежное последствие векового рабства женщины». Жалея студентку Давидсон, Смидович тем не менее призывала бороться с «давидсоновщиной» — зависимостью женщины от мужа, нежеланием уйти от личных переживаний и бытовых забот в «общественную работу». Несмотря на кажущуюся феминистическую агрессивность осуждения «давидсоновщины», борьба с ней отражала традиционное отношение к вопросам половой морали, где активность в области секса являлась привилегией мужчин. Женщине же предлагалась жесткая альтернатива: или секс как выражение полного подчинения, или свобода без сексуальной жизни. Параллельно с осуждением «давидсоновщины» в комсомольской печати поднимались вопросы о недостойном поведении мужчин. В студенческой среде в то время обнаружилось немало случаев сексуального притеснения девушек под предлогом борьбы с «мещанскими» представлениями о половых отношениях. Эти факты, отчасти спровоцированные публичными дискуссиями о свободе любви в новом обществе, идеологические структуры маркировали как социальные отклонения. Они получили названия «петровщина», «кореньковщина», «тюковщина», образованные от фамилий мужчин, виновных в самоубийствах изнасилованных или обманутых женщин.

Но эти социально-бытовые патологии были быстро забыты. Значительно более стойким в реально-историческом

и вербальном пространстве оказалась аномалия, именованная «мещанством». Эволюция этого термина демонстрирует один из советских властных приемов, конструирующих представления о девиациях. До революции России «мещанами» называли представителей городского населения. Они не принадлежали к таким сословиям, как дворянство или купечество. Считается, что мещанство появилось при Екатерине II, когда в 1775 году было введено деление городского населения на гильдейское купечество, цеховых и мещанство. К последнему были отнесены люди, имевшие капитал менее 500 рублей. Категория мещан в составе городского населения постоянно увеличивалась. В нее вливались как мигрировавшие в город крестьяне, так и разорявшиеся купцы. В начале XX века в России мещане составляли почти 45% городского населения. Невысокое материальное положение этой части горожан порождало и особые бытовые практики в их среде: характерную одежду, специфический интерьер жилища, своеобразное содержание и особую структуру досуга. Мещане или мелкая буржуазия на рубеже XIX и XX веков не были только русским феноменом. У западных интеллектуалов также существует традиция осуждения мелкобуржуазной стилистики быта и мышления. Но формирующаяся российская интеллигенция не только маркировала мещан как носителей пошлого материализма, приземленности, пошлости и т. д., но и сделала борьбу с ними своей «духовной миссией». Эту традицию подхватили большевики. Они искореняли мелкобуржуазность в политике, искусстве, а главное, в повседневной жизни. Наиболее активно борьба с мещанством развернулась с переходом к нэпу и возвращением основной массы населения к традиционным практикам быта. В советских идеологических структурах сформировалась целая когорта критиков «мещанства». Для рядовых граждан особенно ощутимым был избранный властью своеобразный прием наделения целого ряда бытовых предметов, видов одежды, стилей причесок и т. д., идеологическим,

в данном случае мелкобуржуазным, мещанским содержанием. Приобретение вещей и стремление к благоустройству жилища также объявлялись проявлением мещанства. На так называемых «бытовых» конференциях 1929 года — мероприятиях, ставивших цель воспитать принципы коммунистического отношения к быту, — демонстрировались макеты комнат мещан, заполненные символами прошлой, уходящей жизни. К их числу относились особая мещанская мебель, пышные занавески, семейные фотографии, цветы в горшках, абажур, граммофон. Подобные атрибуты традиционного жилья обыкновенного горожанина якобы мешали строительству социализма. В анти-мещанской борьбе большевики довольно умело использовали новые эстетические веяния в сфере дизайна и моды, в частности рациональность, технологичность и упрощенность. Мещанские ценности повседневной жизни, по мнению идеологических структур, мешали кристаллизации нового человека. Та же Смидович на страницах «Малой советской энциклопедии» утверждала, что, «если человек свое свободное время и силы способен отдавать украшению жилища и одежды и недостаточно интересуется общественностью», он заслуживает звание мещанина¹⁸. В контексте общей борьбы с мещанством в 1920-х годах шла и критика традиционных брачно-семейных отношений. В середине 1930-х одновременно с унификацией социального состава советского общества, исчезновением нэпманов, мелких частных торговцев, «бывших», старой, буржуазной интеллигенции власти перешли к формированию сталинского гламура и отказались от раннебольшевистских эгалитаристских ценностей, заменив их традиционными. Наступление на мещанство прекратилось.

Вновь идея борьбы с мещанином всплыла в советском обществе на рубеже 1950–1960-х годов в ходе форсированного построения коммунизма в СССР. Властные и идеологические структуры в эпоху «великого десятилетия» стремились выдвинуть новые, отличные от предыдущих, сталинских, приемы

формирования личности «сознательного строителя коммунизма». В первую очередь считалось необходимым разрушить старую, тоталитарную систему идентичности. На эту задачу и была нацелена критика сталинского мещанства в сфере быта. Мещанскими были объявлены «излишества в архитектуре» (подробнее см. «Хрущевка»). К концу 1950-х страстный накал борьбы в сфере строительства перешел в область мелкой пластики — в проблему быта. Фетишем организации частного пространства советских людей стала «минимизация». Народный художник РСФСР Николай Жуков на страницах журнала «Работница» в 1956 году писал: «Быт советского человека должна отличать строгая продуманность, строгий отбор всех деталей, устранение всех и всяческих излишеств». О том, как надо жить по-новому, писали не только представители возрождающегося племени советских дизайнеров, но и литераторы. Наиболее яркий пример — пьеса Виктора Розова «В поисках радости». Она шла на рубеже 1950–1960-х годов в большинстве театров страны, а в 1961 году появилась и киноверсия — художественный фильм «Шумный день». И пьеса, и фильм преследовали цель возродить характерную для начала 1920-х борьбу с мещанством. Но «мурло мещанина» в годы оттепели — это лица «наследников Сталина», инициатива наступления на которых в то время исходила от властных структур. Мещанскими стали не только статуэтки слоников, коврики с лебедями и кровати с шарами, но и широкие брюки, широконосые туфли на толстых каблуках, габардиновые пальто, френчи-сталинки, натуральные ткани и меха — знаки сталинской эпохи (подробнее см. «Шуба»).

В период брежневского застоя на смену борьбе с мещанством приходит критика «вещизма». Этот термин, означавший «повышенный интерес к вещам, к обладанию ими в ущерб духовным интересам»¹⁹, лингвисты относят к разряду новых слов и выражений, зафиксированных в подцензурной лексике в 1970-е годы²⁰. «Комсомольская правда» летом 1973 года писала:

«„Вещная болезнь“, „вещизм“ — эти слова все чаще мелькают на страницах газет, звучат в учительских, так называют проблему в исследованиях социологов»²¹. Новую социально-бытовую патологию советская гуманитарная наука рассматривала как разновидность мещанства: «Социалистическое общество осуждает мещанскую психологию „вещизма“»²². «Нездоровое» стремление к приобретению вещей маркировалось исследователями, публицистами и деятелями искусства как аномалия периода развитого социализма. Такую позицию можно считать выполнением «неофициального» заказа идеологических структур. Подтверждением тому являются в первую очередь художественная литература и советское кино 1970–1980-х годов. Препарирование литературных текстов позволяет увидеть в них не только критический подход к проблеме потребления, но и конкретные сведения о престижных вещах, материальных знаках «вещизма». Показательными являются примеры не из известных и сейчас произведений Юрия Трифонова, Даниила Гранина, Василия Аксенова, а из литературы «второго плана», иногда несправедливо забытой. У Виля Липатова есть повесть «Лида Вараксина» (1968), главы которой носят названия конкретных, остромодных на рубеже 1960–1970-х годов предметов одежды: «Коричневые лакированные туфли», «Бордовый костюм с вышивкой», «Комбинация с дорогой вышивкой и кружевами»²³. Литератор подчеркивает безусловный «вещизм» своей героини: «Лида открыла фанерный шкаф, в котором висели ее наряды, занимая шкаф без остаточка. <...> она имела все, что, по ее мнению, полагалось»²⁴. Авторская позиция очевидна: модные вещи не сделали Лиду счастливой. И все же не следует пренебрегать тем, что на определенном этапе жизни, доставая с большим трудом модные предметы одежды, девушка осуществляла свою мечту и получала от этого большое удовлетворение. О влиянии «вещизма» на судьбы советских людей писала и Елена Катасонова. Ее роман «Кому нужна синяя птица» (1980) — советская лав-стори, трагизм

которой замешен на несовместимости материального и духовного начал. Герой Катасоновой встречается через пятнадцать лет после разлуки свою первую любовь журналистку Юлю, но оказывается не в силах порвать с привычным, а главное, очень и комфортным для него существованием в старой семье. Любопытно, что текст Катасоновой, где вещи являются важным фоном повествования, насыщен описаниями не одежды, что кажется естественным для женского романа, а бытовой техники, автомобилей, интерьера: «Все у них будет прекрасно! <...> И у них будет свой дом <...> Он сам обставит его, Юльке этого не дано: ей и на мебель, и на обои — на все наплевать <...> Он выпросит у Татьяны (брошенной жены. — *Н. Л.*) кое-что <...> поговорит о библиотеке — есть же книги, подаренные ему лично, — а главное — о стереосистеме. Уж ее-то должны отдать: он сам, отдельно копил на нее деньги, сам выбирал, у него столько записей! <...> Да, у них будет свой дом, такой, чтоб сразу было ясно: здесь живут умные, интересные люди, и назло всем пророкам они будут счастливы. А то Юльке до смешного все равно: поставила папки с вырезками из газет и журналов («Это мое справочное бюро»)... — и считает, что их жизнь устроена!»²⁵

«Вещизм» в начале 1970-х годов бичевали и советские кинематографисты. В кинофильмах Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966) и «Гараж» (1979), Владимира Фетина «Сладкая женщина» (1976), Бориса Григорьева «Кузнечик» (1978), Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984) приобретение было главным объектом критики, независимо от того, что стремились заполучить осуждаемые персонажи: дефицитные автомобили или квартиру, билеты на модные культурные мероприятия или гаражи. Но постепенно бичевание потребительства смягчилось. Многие предметы быта, а главное, одежды — объекты вождения советских людей на рубеже 1970–1980-х, стали фигурировать в кинокартинах, не преследовавших цель развенчать идеологию и практики «вещизма».

Из рязановского фильма «Служебный роман» (1977) советский зритель получил четкую информацию о батниках и блейзерах, остромодных во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов. Батниками называли стилизованные под мужские рубашки женские блузки. В Европе в конце 1960-х годов такую моду ввел Жан Кашарель. В СССР батники были дефицитом. Эту деталь Рязанов и Эмиль Брагинский удачно вставили в пьесу «Сослуживцы», написанную в начале 1970-х годов, а затем переделанную в сценарий фильма «Служебный роман» (1977). Секретарша Вера (актриса Лия Ахеджакова) в порыве симпатии готова уступить директору Людмиле Прокофьевне Калугиной (актриса Алиса Фрейндлих) с трудом раздобытый батник. Тот же фильм сделал знаковым и термин «блейзер» (в фильме — «блайзер») — изначально форму членов мужских аристократических клубов в Англии. Отсюда прямое толкование слова — клубный пиджак. Первые блайзеры в СССР были темно-синими, двубортными и, конечно, импортными. В середине 1970-х годов к этой одежде приобщились и женщины. Они стали надевать пиджаки мужского покроя с юбками и брюками и, главное, с остродефицитными джинсами. В фильме секретарша Вера, посвящая свою начальницу в тайны моды, советует ей приобрести «блайзер — клубный пиджак», который можно надевать, в частности, в Дом культуры²⁶. В обычных магазинах такой модной одежды не было. Помню, по совету подружки я купила себе в начале 1980-х годов подростковый пиджак. Эту практику выживания в пику французской моде на «одежду со старшего брата» я про себя назвала стильной штучкой «с плеча подрастающего сына». Кинолента режиссера Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) проинформировала советских людей о высоком престиже вещей от Пьера Кардена: «У нас в Союзе две-три единицы таких. И то у жен дипломатов неприсоединившихся стран»²⁷. В фильмах «Осенний марафон» (1979) Георгия Данелии и «Где находится нофелет?» (1987) Бежанова фигурируют мужские куртки из натурального

хлопка как остромодная одежда. В общем, кино становилось невольным пропагандистом «вещизма». Эта ситуация отражала двойственность позиции руководства страны в отношении снабжения граждан товарами. С одной стороны, коммунистическая партия, отказавшись от утопических идей построения коммунизма в кратчайшие сроки, в 1971 году выдвинула цель «обеспечить значительный подъем материального и культурного уровня народа»²⁸. Слоган «более полное удовлетворение растущих потребностей населения»²⁹, несмотря на явную стилистическую корявость, стал выражением новой советской национальной идеи, основы для сплочения народа. Любопытна сама по себе замена высшего духовного смысла на концепцию всеобщего благосостояния. С другой стороны, власть явно опасалась последствий подобной подмены, не собираясь посягать на парадигмы экономического, политического и социального развития страны. На XXV съезде КПСС (1976) в докладе Брежнева было отмечено: «Мы добились немало в улучшении благосостояния советского народа. Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. Необходимо, однако, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мелкобуржуазной психологии»³⁰. Речь, по сути, шла о пресловутом «вещизме». Это понятие не фигурировало в официальной партийной лексике, но советская идеологическая машина косвенно нацеливала деятелей культуры на осуждение нового вида мещанства. Критика «вещизма» представляла собой продуманный идеологический ход, с помощью которого возможно было по-прежнему тормозить создание в СССР системы потребительской культуры по западным образцам.

Однако в СССР развивались процессы, опережающие властные инициативы, а чаще им противоречащие. В начале 1980-х советские социологи провели масштабное исследование, чтобы установить основные характеристики и тенденции

развития советского образа жизни. Удалось выявить прямую связь между тем, как респонденты оценивали свой социальный статус, и обеспеченностью автомобилями и такими престижными вещами, как цветной телевизор, магнитофон, фотоаппаратура³¹. Социологи пришли к выводу, что «характерной чертой образа жизни советских людей является высокий уровень материальных потребностей»³². В условиях развитого социализма формировался любопытный тип «потребителя советского», личности вполне динамичной, способной разобраться в качестве товаров и услуг, а вовсе не инертной жертвы тотального «дефицита». Это особенно ощущалось в молодежной среде, представители которой искусство покупать осваивали как жизненную стратегию. Потребление (консюмеризм) как характеристика поведения личности или группы лиц значительно шире, чем просто экономическая активность. Реализация своих потребностей в вещах в какой-то мере позволяет осуществить мечты и даже дать некое утешение. Приобретая, человек входит в ситуацию общения и одновременно противостояния, формирует свой внешний образ и в значительной степени свою идентичность³³. Михаил Герман подметил в своих воспоминаниях, что «стремление к вещам было одним из немногих средств забвения, видом национального спорта»³⁴. А я бы осмелилась расценить это «занятие» как проявление социальной активности, что важно для формирования культуры потребления. В годы перестройки властные структуры явно умили свой пыл по наклеиванию ярлыков аномальности на формы бытового поведения людей. И произошло это прежде всего потому, что серьезным сомнениям подверглись идеологические представления о постулатах морали.

«НОВЫЙ ПОВОРОТ, ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ?»

Бытовизация / антропологизация исторического процесса — инструмент исследования прошлого

Тематические сборники статей одного автора, как правило, не предусматривают какого-либо заключения. Однако в моем случае оно обязательно. Ведь сверхзадача книги «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города. 1917–1991» — выявление сущности советского общества с точки зрения общецивилизационного процесса модернизации. В названии своего нового текста я намеренно отказалась от понятий «повседневность» и «повседневная жизнь»¹ и заменила их термином «быт»*. Он представляет собой некий синтез элементов материальной и духовной культуры. В 1971 году блестящий писатель Юрий Трифонов писал в статье «Выбирать, решать, жертвовать»:

Быт... Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находимся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней, психологии, идеологий. Каждый человек, живущий в большом городе, испытывает на себе ежедневно, ежечасно неотступные магнитные токи этой структуры, иногда разрывающие его на части².

* Конечно, в тексте мне приходится во избежание тавтологии заменять слово «быт» выражениями «повседневность», «обыденность», «житейские правила, каноны» и т. д.

А еще через пять лет в трифоновской публицистике можно обнаружить еще более интересное определение быта:

Расхожее противопоставление «быта» — «бытию» не проясняет дела, ибо смысл первого понятия, <...> какой-то безразмерный. Допустим, так: «быт» — это жизнь низменная, материальная, а «бытие» — жизнь возвышенная, духовная. Но человек живет одновременно и в той и в другой жизни. Это слитно, это нельзя разъять. Самое низменное, на первый взгляд, является самым возвышенным. И наоборот. Что такое семья? Ячейка общества, как известно из марксизма. Значит, изобразив семью, можно изобразить общество. Изобразив любовь двух людей или смерть человека — можно показать и общество, и государство, и прошлое, и будущее³.

Такой подход к содержанию и смыслу бытовой сферы, заключающей в себе жилье, одежду, питание, досуг, телесность и т. д., не только антропологичен, но и во многом оправдывает методику моего исследования. А в данном случае идеи непревзойденного бытописателя советской эпохи важнее многочисленных якобы научных словопрений. Трифонов, несомненно, отдает предпочтение оптике микроанализа явлений быта. Это оправдывает мою попытку ввести в научное повествование о закономерностях советской обыденной жизни материалы, связанные с историей моей семьи.

Для меня очень ценно и трифоновское осознанное стремление описывать и анализировать бытовые детали существования человека в большом городе. В городском пространстве можно обнаружить следы обыденности прошлого, как материального, так и эмоционального характера⁴. Город формирует своеобразный лексический мир эпохи, транслируя как неологизмы (советизмы), так и новые смыслы привычных слов и выражений в иные сферы жизни. Это способствует инициации изменений, уже произошедших в мегаполисе, в населенных пунктах более скромных размеров. Именно поэтому явный

«петербургско-петроградско-ленинградский оттенок» моего текста несущественно меняет генеральную модель советского городского быта. К числу общих закономерностей обыденной жизни в 1917–1991 годах можно отнести «жилищный передел» 1918-го — начала 1920-х годов, появление новых форм общественного питания — фабрик-кухонь, распространение «бормотухи», криминальные аборты, перманентную нехватку еды, внедрение синтетики в быт и многое другое.

Как уже отмечалось, тематика этюдов обусловлена авторским дискурсом, однако в тексте отражены все основные стороны городской повседневности: жилье и интерьер («ЖАКТ», «Общежитие», «Уплотнение», «Хрущевка», «Электроприборы»), питание («Фабрика-кухня», «Царица полей», «Чипсы»), одежда и обувь («Галоши», «Красная косынка», «Рукоделие», «Шуба», «Юнгштурмовка»), телесность и сексуальность («Акваланг», «Волосатик», «Интим», «ЗАГС», «Смерть»), досуг («Дикари», «Елка», «Макулатура», «Танцы») и социальные отклонения («Бормотуха», «Лотерея», «Наркотики», «Проституция», «Язвы»). Закономерности бытовых практик горожан на разных этапах развития советского общества выявлены как на макро-, так и на микроуровне. В первом случае проведен анализ нормативных и делопроизводственных документов государственных и общественных организаций, периодической печати, фольклора, статистики, художественной литературы. Во втором — использованы архивы и воспоминания представителей одной пятипоколенной городской семьи.

И все же мне кажется, что, несмотря на явную «интересность» изучения деталей быта, это не может быть самоцелью исследования. Бытовизация и антропологизация исторической действительности — прежде всего инструменты, позволяющие уточнять и усложнять существующие модели прошлого вообще⁵. Попытка же превращения советского быта в некое дискретное историко-социальное полотно позволяет сделать определенные умозаключения относительно

тенденций развития общества, возникшего в России после 1917 года. Такой подход демонстрирует, например, наличие социальных явлений, существующих вне зависимости от политических катаклизмов. Далеко не все культурные инициативы и, главное, бытовые практики царской России были уничтожены в результате прихода к власти большевиков. В начале XX века страна находилась на пороге фазы индустриального развития. Стиль жизни городского населения формировался под воздействием научно-технического прогресса, новых тенденций в коммунальном хозяйстве, урбанистических культурных и нравственных ценностей. Первая мировая война усилила эти тенденции, но одновременно придала им экстраординарный характер. Неудивительно, что некоторые каноны советского быта стали лишь трансформацией обыденности горожан дореволюционного времени. К городской культуре прошлого имеют прямое отношение феномен «русской дачи», о котором написано в этюде «ЖАКТ», традиции игры в карты и посещения ипподромов (см. «Лотерея»), существование семейных библиотек (см. «Макулатура») и типично женских домашних занятий в часы досуга (см. «Рукоделие»); такие социальные аномалии, как злоупотребление спиртным (см. «Бормотуха»), наркомания, проституция, самоубийства (см. «Смерть»). Даже некоторые вещи перекочевали в советскую жизнь из предыдущей исторической эпохи (см. «Галоши», «Красная косынка», «Шуба»). Какие-то из них исчезли с течением времени. Иные, напротив, обрели новый знаковый смысл, не утратив при этом своего вещно-прагматического назначения. Все это свидетельствует о наличии преемственности в быту горожан, несмотря на смену парадигм политического развития страны. Но нельзя игнорировать системные изменения обыденности, произошедшие под влиянием нормативных и нормализующих суждений новой власти, а главное, в условиях почти постоянного отсутствия частной собственности.

В 1917–1991 годах из публичного пространства повседневности была вытеснена религия, ранее распространявшая свое так называемое «обычное право» на обряды перехода: рождение, заключение брака, смерть. В стране появились ЗАГСы и дворцы бракосочетания, но исчезли традиционные для российского дореволюционного досуга религиозные праздники (см. «Елка»). Сугубо советскими явлениями стали акции «уплотнения» и феномен коммунальных квартир, а также «жилищные» нормы, не только регламентировавшие распределение жилья, но часто блокировавшие личные инициативы граждан в решении «квартирных вопросов» (см. «Уплотнение», «ЖАКТ», «Хрущевка»). Продуктовый дефицит и «карточки» стали перманентными реалиями быта в СССР (см. «Царица полей», «Фабрика-кухня»). Конечно, нормированное распределение существовало в большинстве государств, и в том числе в царской России, в период военных действий. Но в СССР оно не только продолжало функционировать некоторое время после их завершения, но и неоднократно реанимировалось в мирных условиях. Результатом господства коммунистической цензуры можно считать самиздат (см. «Макулатура»), жесткий контроль за танцевальной культурой (см. «Танцы»), диктат в выборе внешности, в частности причесок (см. «Волосатик»). Бытовизация и антропологизация прошлого как инструменты исследования российского общества в целом позволяют продемонстрировать особенности формирования социальных страт и советских элит, способы их обособления (см. «Общежитие», «Дикари») и внешнего маркирования (см. «Красная косынка», «Шуба»).

Соотношение в реалиях быта 1917–1991 годов элементов «преемственности» и «уникальности» измерить сложно. Очевидно одно: преувеличение значимости ориентиров прошлого означает признание нового общества сугубо традиционалистским, а гиперболизация «эксклюзивности» советского бытового конструкта чревата признанием его в качестве устойчивой аномалии. И то и другое является гиперболой. Важнее

в данной ситуации выяснить, как на быт российских горожан влияли общецивилизационные процессы, и в первую очередь модернизация. Здесь значимы даже не главные показатели — рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство. Говорить об их присутствии в 1917–1991 годах по меньшей мере наивно. Очевидно, что житейские практики горожан после событий 1917 года формировались под диктатом коммунистической идеологии и в условиях насильственной ликвидации частной собственности. Однако нельзя не заметить воздействия на городской быт и внешний облик советских обывателей достижений научно-технической революции (см. «Галоши», «Шуба», «Электроприборы»). В контексте общецивилизационных тенденций горожанин приобщался к практикам «рациональной еды», новым институциям общепита и продуктам (см. «Фабрика-кухня», «Чипсы»). Менялись объем, структура и содержание досуга городских жителей, происходили обособление и интимизация пространства свободного времени. Это отразилось, например, в изменении роли спорта в жизни советских горожан. Из гражданской обязанности он превратился в модный стиль поведения (см. «Акваланг»), чему, в частности, способствовало появление и внедрение в быт особых видов одежды для отдыха (см. «Дикари»). Детальное рассмотрение сюжетов, связанных с понятиями «волосатик» и «танцы», наряду с демонстрацией идеологического давления на телесность горожан позволяет выявить взаимосвязь советских житейских практик с западными канонами. Следует подчеркнуть, что в 1920-х годах советская государственность вполне лояльно относилась к сексуальной активности населения в достаточно разнообразных формах (см. «Интим»). Новая Россия стала первой страной мира, разрешившей аборт и прекратившей преследование гомосексуалов. И в данном контексте раннебольшевистская бытовая культура оказалась значительно более модернизированной, нежели западная. Российские горожане приобщились и к ценностям

«великой сексуальной революции 1960-х годов», что выразилось не только в либерализации отношения власти к проблемам интимности, но и в дальнейшем укоренении в практиках повседневности стиля унисекс (см. «Юнгштурмовка»). Реалии жизни российских городов в целом и нашей семьи в частности позволяют размышлять и о зарождении на советской почве, особенно в 1950–1980-х годах, элементов «общества потребления» (см. «Язвы», «Юнгштурмовка») — а это признак модернизации. Безусловно, многие процессы «осовременивания» быта, развивавшиеся в СССР и западных странах, были асинхронными⁶. И все же согласиться с распространенным утверждением о том, что революция 1917 года вообще сняла «проблему модернизации с повестки дня»⁷, нельзя. Прием бытовизации/антропологизации российской исторической действительности 1917–1991 годов позволяет с определенной долей уверенности утверждать, что в советской действительности, несомненно, шел процесс превращения «традиционного» общества в «современное». Но идеологические парадигмы, плановая экономика, социалистическая собственность на средства производства и недвижимость были непреодолимым препятствием на пути модернизации обыденной жизни россиян.

В конце хочу вновь прибегнуть к фольклору, правда не совсем советского происхождения. Немецкий коллега моего мужа, а теперь уже наш общий друг Ханс-Йоахим Польш, до объединения Германии заместитель директора по науке в корпорации Carl Zeiss Jena, рассказывая о специфике темперамента немцев и австрийцев, ссылаясь на следующий анекдот: «На вопрос о положении на фронте немцы обычно отвечают: „Положение страшное, но не безнадежное“. Австрийцы же констатируют: „Положение нестрашное, но совершенно безнадежное“». Последнее можно отнести к характеристике быта советского города.

ПРИМЕЧАНИЯ

Историк и антропологический поворот: общее и сугубо частное

- 1 <https://aloban75.livejournal.com/1470409.html>. Дата обращения: 02.05.2018.
- 2 Отсутствуют в книге по вполне понятным причинам слова и выражения на буквы Й, Ъ, Ь, Ы. Не привлекла мое внимание и буква Щ, так как знаковых лексических единиц, начинающихся с нее, мне обнаружить не удалось. Одновременно не захотелось приписывать «советскость» словам «щекovina», «щелок», «щетка», «щи», «щипцы» и др., как это делают некоторые исследователи. Подробнее см.: Беловинский; Борисов.
- 3 Руднев 5.
- 4 Подробнее см.: Лебина 1999а; Лебина 1999; Лебина 2007а; Лебина 2014а; Лебина 2014b; Лебина 2015b.
- 5 Подробнее см.: Утехин; Меевич.
- 6 НСИЗ 2014 105.
- 7 Мокиенко, Никитина 252; Беловинский 285; Борисов 2:35.
- 8 Штурман, Тиктин 76.
- 9 Подробнее см.: Шубин.
- 10 Подробнее см.: Продовольственная программа.
- 11 Мельниченко 551–552.
- 12 ЛГ 2002 6.
- 13 Герман 2001 339.
- 14 О жизни в ЗАТО подробнее см.: Мельникова.
- 15 Раскрывая первые страницы 27.
- 16 Нетрадиционная продукция 81.
- 17 Липатов 1976 150.
- 18 Подробнее см.: Кром 2006.
- 19 Журавлев, Гронов.
- 20 Подробнее см.: Лебина 2017.
- 21 Гумилев 76.
- 22 Савкина 137.
- 23 Подробнее см.: Пушкарева.
- 24 Подробнее см.: Смолин.
- 25 Паустовский 1957 2:634.

Акваланг

- 1 Беловинский 21.
- 2 НСИЗ 1971 195.
- 3 Наука и жизнь 1965 8.
- 4 Советский спорт.
- 5 Велихов 88.
- 6 Аксенов 2005 243.
- 7 Товарищ комсомол 26.
- 8 ИСРК 101.
- 9 Цит. по: Кирсанова 1997 45.
- 10 О'Махоуни 11.
- 11 Подробнее см.: Лебина 1983; Цендровская.

- 12 О'Махоуни 23.
 13 Программа КПСС 206–208.
 14 Подсчитано по: Ленинград за 50 лет 134.
 15 Справочник физкультурника 1938 72–74.
 16 Вайль, Генис 207.
 17 Очерки истории Ленинграда 1970 288.
 18 О'Махоуни 218.
 19 Смирнов 354; Тюпа 2008 19.
 20 Аксенов 2005 110–111.
 21 Аксенов 2005 172.
 22 ЛП 1958b.
 23 ЛП 1959b.
 24 Лебина, Чистиков 247.
 25 Работница 1961d 30.
 26 Память тела 93.
 27 Вайль, Генис 143.
 28 Аксенов 2005 361.
 29 ЛП 1963c.
 30 Аксенов 2002 327.
 31 Неделя 6.
 32 Рабочий класс СССР 1969 276.
 33 Рабочий класс СССР 1979 156.
 34 Кожевников 707.
 35 Юность 1965 55.
 36 Работница 1960a 30.
 37 Штерн 2005 130–131.
 38 Штерн 2001 42.
 39 Нагибин 224.
 40 Вайль, Генис 207.
 41 Аксенов 2005 425.
- 4 Соломон 15.
 5 Троцкий 287.
 6 СЗ СССР. 1924. № 27. Ст. 233.
 7 Булгаков 1990 31, 39.
 8 Шитц 89.
 9 СЗ СССР. 1925. № 57. Ст. 425.
 10 Советский анекдот 714.
 11 Цит. по: Измозик 84.
 12 Панин 93.
 13 Сталин 10:232.
 14 Сталин 10:312.
 15 Бюджеты рабочих и служащих 1929 28.
 16 Такала 208.
 17 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 50. Д. 21. Л. 147, 180, 181.
 18 Книга о вкусной и здоровой пище 79.
 19 Подробнее см.: Gropov 29–40.
 20 Микоян 313–314.
 21 КП 1936.
 22 Такала 245.
 23 Подробнее см.: Кнышевский; Такала.
 24 Вечеслова 163.
 25 Кнышевский 47.
 26 Такала 336, 337.
 27 Экштут 73.
 28 Куратов 7.
 29 Цит. по: Зубкова 34–35.
 30 Правда 1991.
 31 Справочник партийного работника 404.
 32 Советский анекдот 716.
 33 ЛП 1959a.
 34 Битов 1996 1:63.
 35 Волков 37.
 36 МСЭ-1 1: стб. 582.
 37 НСИЗ 1971 64.
 38 Кожевников 652.

Бормотуха

- 1 НСИЗ 1984 102.
 2 Цит. по: Рейли 296.
 3 Павлюченков 23.

- 39 НСИЗ 1971 303; ЛГ 1966а.
 40 НСИЗ 1971 46.
 41 Такала 256.
 42 Довлатов 55.
 43 Народное хозяйство 1986 285.
 44 Иванова 153–154.
 45 Советский анекдот 719.
 46 Советский анекдот 727.
 47 Семенова.
 48 Народная борьба за трезвость.

Волосатик

- 1 СРЯ 1:206.
 2 НСИЗ 1984 139.
 3 Шукшин 287.
 4 Подробнее см.: Ильин; Констебл.
 5 Дзеконьска-Козловска 51, 153–155.
 6 Здатни 91.
 7 А. Н. Толстой 1:318.
 8 Ильф, Петров 1:216.
 9 Романов 324, 483.
 10 Подробнее см.: Кирсанова 1997;
 Лебина 1994; Лебина 1999б.
 11 Островский 1:199.
 12 Вересаев 1990 294.
 13 Богданов 258, 271, 292.
 14 Огонек 1989 8.
 15 Панова 1951 175.
 16 Юность 1960 76; Работница
 1960с 31.
 17 Померанцев 126; Крокодил 1954
 15.
 18 Битов 1999 233–234.
 19 Работница 1964 31.
 20 НСИЗ 1971 231.
 21 Крокодил 1955 15; Крокодил 1960
 14.
 22 Гурченко 1994 365.

- 23 Работница 1962а 29; Работни-
 ца 1960с 31.
 24 Аксенов 2005 377.
 25 Найман 181.
 26 Герман 2001 132, 229.
 27 Панова 1954 272, 274, 275.
 28 Герман 2001 133.
 29 Аджубей 109.
 30 Уфлянд 201.
 31 Кожевников 496.
 32 Сафонов 174–176.
 33 Вайнштейн 534–535.
 34 НСИЗ 1971 516.
 35 КЭДХ 1959 599–600; КЭДХ 1966
 734.
 36 КЭДХ 1966 734.
 37 Работница 1956с 30.
 38 КЭДХ 1959 191.
 39 Работница 1960д 29.
 40 Работница 1958 15.
 41 Работница 1960с 31.
 42 Грекова 262.
 43 Аствацатуров, Кольгуненко 84.
 44 Товарищ комсомол 175.
 45 Народное хозяйство 1982 493.

Галоши

- 1 Цит. по: Дождь в Петербурге 15.
 2 Стрельцова 46–47
 3 Цит. по: Стрельцова 47.
 4 МСЭ-1 7:262.
 5 Вересаев 1990 236, 253.
 6 МСЭ-1 7:262; МСЭ-2 7:1007.
 7 Шефнер 1999 30; Гранин 1986 80.
 8 Советская жизнь 569.
 9 ЛП 1955е.
 10 Литвинов 129.
 11 Юшкова 33–34.

- 12 Вайль, Генис 65.
- 13 Хармс 439.
- 14 Ильф, Петров 1:262.
- 15 Романов 290.
- 16 Романов 366.
- 17 Романов 404.
- 18 Городницкий 52–53.
- 19 Рейн 270; Бобышев 80.
- 20 Аксенов 2002 135.
- 21 Евтушенко.
- 22 Доронина 201.
- 23 ЛП 1960а.
- 24 ЛП 1961с.
- 25 Работница 1961с 30.
- 26 ЛП 1961d.
- 27 ЛП 1962с.
- 28 КПСС 1971 327.
- 29 ЛП 1962с.
- 30 Бобышев 116–117.
- 31 ЛП 1963а.
- 32 Бродский 421.
- 33 Кунин 87.
- 34 Народное хозяйство 1968 721.
- 35 Матвеева 37.
- 36 Международная выставка 56.
- 37 Международная выставка 58.

Дикари

- 1 Даль 1:432.
- 2 НСИЗ 1971 157.
- 3 ПП 1920.
- 4 Чуковский 276–277.
- 5 Измозик 274.
- 6 Полтора века 149–150.
- 7 Булгаков 1989 355.
- 8 Подробнее см.: Щеглов 540–541.
- 9 Маньков 149.
- 10 Из личного архива Н. Б. Лебиной и О. Н. Годисова.

- 11 Чуковский 276–277.
- 12 ЛГ 1966b.
- 13 Рабинович 348.
- 14 Комлева 115.
- 15 Страна Советов 86.
- 16 Литвинов 72.
- 17 ЛП 1955с.
- 18 КЭДХ 1959 642.
- 19 Михалков 132–133.
- 20 Михалков 128–129.
- 21 Кирсанова 2004 99.
- 22 Работница 1960с 31.
- 23 Подробнее см.: Бартлетт 296, 297.
- 24 Домоводство 1957 178–183.
- 25 Домоводство 1957 178.
- 26 Домоводство 1960 326.
- 27 Одежда молодежи 90.
- 28 Модели сезона 32.
- 29 Модели сезона 33.
- 30 Рижские моды 19.
- 31 Кожевников 509.
- 32 Абрамов 127.
- 33 Балдано 271.
- 34 Аксенов 2005 36.
- 35 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 42. Д. 41. Л. 92.
- 36 Бобышев 116–117.
- 37 Рыбаков 268.
- 38 Лебина, Чистиков 286.
- 39 Труд.
- 40 Цит. по: Давыдов 131.
- 41 Кожевников 471.

Елка

- 1 Даль 1:519.
- 2 Чуковский 137.
- 3 На линии огня 73, 74.
- 4 См. подробнее: Слезин 89–91.

- 5 Координаты подвига 96.
- 6 Подробнее см.: Лихачев, Панченко, Поньрко.
- 7 РГА СПИ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 82.
- 8 Известия ЦК 1923 203.
- 9 ЦГА ИПД. Ф. К-601. Д. 537. Л. 5, 33, 61.
- 10 Там же. Л. 61.
- 11 Чуковский 300.
- 12 Беньямин 84.
- 13 Беньямин 61, 63.
- 14 Толстая-Воейкова 17, 24, 309.
- 15 Подробнее см.: Кашеваров 92.
- 16 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-1791. Оп. 1. Д. 10. Л. 6.
- 17 Антирелигиозник 1929 89.
- 18 ЛП 1929.
- 19 Скрябина 80.
- 20 Цит. по: Душечкина 272.
- 21 Скрябина 79.
- 22 Герштейн 211.
- 23 Цендровская 86.
- 24 Кашеваров 92.
- 25 Правда 1935.
- 26 Герман 1959 284–285.
- 27 Герман 1959 582, 588.
- 28 Панова 1954 5–7.
- 29 Бондаренко 112.
- 30 Курдов 1994; 32.
- 31 Антирелигиозник 1927 28.
- 32 Бобрышев 28.
- 33 Маньков 141.
- 34 ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 437. Л. 60; РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 173. Л. 147.
- 35 Шкаровский 1995 157.
- 36 Подробнее см.: Шкаровский 1995.
- 37 Шкаровский 1995 145.
- 38 Герман 1964 306.
- 39 Герман 1964 310.

ЖАКТ

- 1 Мокиенко, Никитина 188.
- 2 СЗ СССР 1924. № 5. Ст. 60.
- 3 Нарский 2001 336.
- 4 Цит. по: Нарский 2001 512.
- 5 Рабочий край 1920; Рабочий край. 1921.
- 6 Паустовский 1961 19.
- 7 Вересаев 1990 79.
- 8 Ленин 53:106–107.
- 9 Подробнее см.: Пиир.
- 10 Подробнее см.: Обертрейс.
- 11 МСЭ-1 4:217.
- 12 Мельниченко 587.
- 13 Маньков 140.
- 14 Говорушин 15–16.
- 15 Вересаев 1990 270.
- 16 Меерович 2008.
- 17 См., напр.: Вязова 37–49.
- 18 ЖЗ 1950 351.
- 19 Цит. по: Меерович 2003 71.
- 20 Подробнее см.: Бюллетень НККХ.
- 21 НСИЗ 1984 216.
- 22 Право на жилую площадь 249.
- 23 Куратов 74.
- 24 Санин 20.
- 25 Подробнее см.: Иванова 135–137.
- 26 Подробнее см.: Белкин.
- 27 Шефнер 1995 26.
- 28 Катанян 50, 54.
- 29 СУ РСФСР 1928. № 8. Ст. 70.
- 30 СУ РСФСР 1932. № 9. Ст. 87.
- 31 Источник 1999. С. 70.
- 32 Герман 2008.
- 33 ЛП 1955d.

ЗАГС

- 1 Мокиенко, Никитина 1998 200.
- 2 Ильф, Петров 1:27.
- 3 Ильф, Петров 2:33.

- 4 Культура и быт горняков 191.
- 5 Пирожкова 52.
- 6 Герман 1959 200.
- 7 Правда 1923.
- 8 ЮП 1924а.
- 9 Брыкин 160.
- 10 Маяковский 455.
- 11 Песенник 43.
- 12 Смена 1923-1.
- 13 Молодой ленинец.
- 14 Антирелигиозник 1926.
- 15 Советская жизнь 689; Кодекс законов о браке 39.
- 16 Товарищ комсомол 175.
- 17 XIII съезд ВЛКСМ 37–38.
- 18 Журнал мод (форзац).
- 19 Куратов 137.
- 20 Бюллетень Исполнительного Комитета 1959.
- 21 Смена-2 1959.
- 22 ЛП 1959b.
- 23 Постановление Верховного Совета 20.08.16.
- 24 Подробнее см.: Лебина 2014.
- 25 Молодожены 77.
- 26 Лурье 535.
- 27 Битов 1996 136, 139.
- 28 Кожевников 473.
- 29 Рейн 277.
- 30 Панова 1983 556.
- 31 Годы и фильмы 299.
- 32 Бобышев 258.
- 33 Кодекс о браке и семье РСФСР.
- 34 Мокиенко, Никитина 534; Беловинский 299.
- 35 Молодожены 76.
- 36 Мельниченко 724.
- 37 Там же.
- 38 Такала 269.

Интим

- 1 НСИЗ 1971 188–189.
- 2 Епишкин.
- 3 НСИЗ 1971; 426.
- 4 Подробнее см.: Голод 1996.
- 5 Молодая гвардия 1923а 122.
- 6 Коллонтай 1919 15.
- 7 Подробнее см.: Коммунистическая мораль 114–115; Марков 25.
- 8 Залкинд 56, 59.
- 9 Василевский 66.
- 10 Партийная этика 243.
- 11 Подробнее см.: Молодая гвардия 1923b 154.
- 12 Молодая гвардия 1923b 153.
- 13 Гельман 65–71.
- 14 Труды ЛИИПЗ 57–58.
- 15 ГАРФ. Ф. А 482. Оп. 11. Д. 87. Л. 13.
- 16 Кетлинская, Слепков 37.
- 17 Полвека труда и строительства 86.
- 18 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 12. Л. 56.
- 19 Подробнее см.: Рожков; Беззубцев-Кондаков 2006.
- 20 Вересаев 1990 206.
- 21 Вересаев 1990 213.
- 22 Вересаев 1990 336.
- 23 Райх 274.
- 24 Подробнее см.: Engelstein L. Soviet Police Toward Male Homosexuality: Its Origins and Historical Roots // Gay Men and the Sexual History of Political Left. London: Haworth Pr Inc., 1995. P. 155–178.
- 25 Подробнее см.: Клеш 96.
- 26 Подробнее см.: Иванов 126–147.
- 27 Источник 1993 164.
- 28 УК РСФСР 1946а 200.
- 29 Райх 271.

- 30 ЦГА СПб. Ф. 7884. Оп. 2. Д. 52. Л. 27, 28.
- 31 Мельниченко 746.
- 32 Герман: Интервью. Эссе. Сценарий. Книга А. Долина. М., 2011 // <http://e-libra.ru/read/373045-german-interv-yu-esse-scenariy.html>. Дата обращения: 15.06.2017.
- 33 ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2332. Л. 47.
- 34 Вишнеvский, Сакевич, Денисов.
- 35 Подробнее см.: Лебина 2007 228–241.
- 36 Мельниченко 746.
- 37 Бейлинсон 463–464.
- 38 Вишнеvский, Сакевич, Денисов.
- 39 Бюллетень Исполнительного Комитета 1962 14.
- 40 Довженко 22.
- 41 Петкевич 2000 248.
- 42 Подробнее см: Хоффманн 85.
- 43 Красная деревня.
- 44 ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 695. Л. 57.
- 45 КЭДХ 1959 6.
- 46 Методическое письмо 11.
- 47 Садвокасова 135; Яковлева 1966 8, 11, 14, 23.
- 48 Яковлева 1964 4.
- 49 Яковлева 1966 15–16.
- 50 См.: Бардецкая; Пушкарева.
- 51 Крокодил 1962.
- 52 Голод 1996 40–41.
- 53 Грушин 2001 287.
- 54 Подробнее см.: Грушин 2001 287.
- 55 Грушин 2001 331.
- 56 Роткирх 184.
- 57 Харчев, Голод 138, 139.
- 58 Бродский 28.
- 59 Кон 28–29.
- 60 Бродский 446–447.
- 61 Битов 1999 314.
- 62 Подробнее см.: Ландау-Дробанцева; Роткирх 230–290; Кура-тов 183.

Красная косынка

- 1 Мокиенко, Никитина 284.
- 2 Подробнее см.: Леонтьева.
- 3 А. Н. Толстой 6:18, 26, 41, 74, 252.
- 4 См., напр., плакаты «Первая Всероссийская выставка и съезд по овцеводству» (худ. А. Комаров, 1912), «На помощь жертвам войны» (худ. С. Виноградов, 1914), «Лубочная картинка», «Проводы на войну за святое дело», «Новая солдатская песня „Трудно братцы собираться“» (М.: Изд-во Б. В. Кудимова, 1914).
- 5 См. напр.: ЭМ; Таланцева.
- 6 Берберова 28.
- 7 См., напр., плакаты: Хвостенко В. «Я теперча не твоя, я теперча Сенина» (1925); Кораблева В. «Иди, товарищ, к нам в колхоз!» (1931); Шегаль Г. «Долой кухонное рабство. Даешь новый быт» (1931); Дейкин Б. «8 марта — день восстания работниц против кухонного рабства» (1932).
- 8 Богданов 241.
- 9 Гладков 22.
- 10 Вересаев 1990 198.
- 11 А. Н. Толстой 2:290.
- 12 Романов 312–313.
- 13 Подробнее см.: Дашкова.
- 14 Вспоминая Ольгу Берггольц 56.
- 15 Музей Кирова.
- 16 Зудин, Мальковский, Таланов 39.
- 17 Жуков, Черненко 35.

- 18 Элтонен 28.
 19 Катаев 148.
 20 Бартлетт 113.
 21 Кожевников 411.
 22 Журавлев, Гронов 97.
 23 Волков 24.
 24 Рейн 275.
 25 Герман 265.
 26 Работница 1957b 30.
 27 Работница 1960b 27.
 28 Работница 1957b 30.
 29 Работница 1960b 27.
 30 Работница 1961a 29.
 31 Саган 680–681.
 32 Рейн 270; Бобышев 80.
 33 Рейн 270–271.
 34 Одежда молодежи 20.
 35 Таланцева 104.
 36 Цит. по: Гордин 158.
 37 Найман 184.
- Лотерея*
- 1 СРЯ 201.
 2 Конт-Спонвиль 279.
 3 Чистиков 1994 44.
 4 Пушка 1926а.
 5 Шульгин 313–314.
 6 Катаев 74.
 7 КГ 1925.
 8 Поссе 307.
 9 Финансовый бюллетень 7, 9б.
 10 Лебин 18–20.
 11 Аксенов 2005 279, 280.
 12 Пушка 1926б.
 13 КГ 1926.
 14 ПП 1922.
 15 Поссе 307.
- 16 КГ 1925.
 17 КГ 1926.
 18 СЗ СССР 1928. № 27. Ст. 249.
 19 Бодунов, Рысс 275.
 20 Бюллетень НКВД 396.
 21 Курдов 83.
 22 Шефнер 1995 57.
 23 Цендровская 85.
 24 РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 124. Л. 80.
 25 Источник 1994 123.
 26 Мокиенко, Никитина 201.
 27 Ильф, Петров 1:240.
 28 Ильф, Петров 1:292.
 29 Мельниченко 533.
 30 Мельниченко 534.
 31 Там же.
 32 Личный архив семьи Н. Б. Лебиной — О. Н. Годисова. Письмо от 15 апреля 1942 г.
 33 Дервиз 2011 112.
 34 Панова 1954 116–117.
 35 О государственных займах, размещаемых по подписке среди трудящихся Советского Союза <http://sssr.regnews.org/doc/tq/no.htm>. Дата обращения: 26.07.2018.
 36 Мельниченко 535.
 37 Там же.

Макулатура

- 1 Справочный коммерческий словарь / Под ред. проф. Н. Г. Филимонова. М.: Изд. Центрсоюза, 1926. Цит. по: <http://economics.niv.ru/doc/dictionary/commercial-reference/fc/slovar-204.htm#zag-1056>. Дата обращения: 01.08.2018.

- 2 ТСРЯ 1940.
- 3 Рубакин 98, 100.
- 4 На путях к новой школе 149.
- 5 Чуковский 194.
- 6 Чуковский 200.
- 7 ЦГА ИПДФ. К-776. Оп. 1. Д. 103. Л. 8.
- 8 Смена-2 1924 24.
- 9 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 1652. Л. 75.
- 10 Смена-1 1923.
- 11 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 736. Л. 76-79.
- 12 Одиннадцатый съезд РКП(б) 567.
- 13 Одиннадцатый съезд РКП(б) 571-572.
- 14 Товарищ комсомол 1:89.
- 15 Бюллетень 18 конференции 28.
- 16 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-630. Оп. 1. Д. 33-в. Л. 6.
- 17 Красные всходы 24.
- 18 Смена. 1924. № 11. С. 24.
- 19 Крупская 96.
- 20 Ленгубоно 8.
- 21 Ганичев 160-161.
- 22 Беккер 23-47.
- 23 Что читает рабочая молодежь 52-53.
- 24 Шагинян 144.
- 25 Что читает рабочая молодежь 22; Каган 20.
- 26 Франкфурт 12, 15.
- 27 Каган 88.
- 28 КП 1931.
- 29 Известия ВЛКСМ 64.
- 30 Шефнер 1976 111.
- 31 Романов 302-303.
- 32 КП 1934.
- 33 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 10. Д. 60. Л. 14.
- 34 Молодежь СССР 260-261.
- 35 КП 1935.
- 36 Смена-1 1935.
- 37 КП 1936.
- 38 Перемышлев 221-255.
- 39 См., например: АН СССР 183.
- 40 Цит. по: По страницам самиздата 24-25.
- 41 По страницам самиздата 25.
- 42 Куратов 92.
- 43 Подробнее см.: Лебина 2006 224.

Наркомания

- 1 НЭС 272.
- 2 Подробнее см.: Мертон.
- 3 Л. Н. Толстой 9:335-336.
- 4 Куприн 251, 252.
- 5 Воспоминания о Серебряном веке 454-455.
- 6 Серебряный век 185; Воспоминания о Серебряном веке 418, 419.
- 7 Булгаков 1988 432.
- 8 Булгаков 1988 426.
- 9 А. Н. Толстой 3:275-276.
- 10 Булгаков 1988 432-433.
- 11 Анненков 96.
- 12 ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 9. Л. 324.
- 13 Булгаков 1988 436-437
- 14 Научная медицина 81.
- 15 Рабочий суд 321.
- 16 Рабочий суд 322.
- 17 Шоломович 3.
- 18 Уголовный кодекс РСФСР 1922. Ст. 215.
- 19 МСЭ-1 2:382.
- 20 Шкаровский 1997 475.
- 21 Шкаровский 1997 476.

- 22 Бахтияров 5–7.
 23 МСЭ-1 5:544.
 24 СЗ СССР 1934.
 25 УК РСФСР 1946а 224.
 26 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2с. Д. 60. Л. 250.
 27 Нагибин 240–241.
 28 НСИЗ 1971 303.
 29 Указ 25 апреля 1974 года «Об усилении борьбы с наркоманией» // <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&tm=4398#028611906335310033>. Дата обращения: 30.07.2018.
 30 НСИЗ 1971 492.
 31 НСИЗ 1984 794.
 32 Влади 151.
 33 Социология 101–123.
 34 Габiani 1977; Габiani 1988.
 35 Гишинский, Афанасьев 67.

Общежитие

- 1 Даль 2:634.
 2 Мокиенко, Никитина 10.
 3 Подорога 50.
 4 Подробнее см.: Свешников 159–160.
 5 Чистиков 2003.
 6 Гинзбург 5.
 7 ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 302. Л. 307.
 8 ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 392. Л. 12–13, 316–317, 318–319.
 9 Петроград на переломе 52.
 10 Анненков 32.
 11 Цит. по: Тимина 419.
 12 СУ РСФСР 1923.
 13 Беньямин 39.
 14 Филимонов 12.
- 15 Панова 1980 88.
 16 Северный комсомолец.
 17 Смена-2 1926 18.
 18 Строительство Москвы 11.
 19 Беззубцев-Кондаков 2003 46.
 20 Подробнее см.: Кузьмин 1928; Кузьмин 1930.
 21 Берггольц 69–71.
 22 Там же.
 23 Хан-Магомедов 263.
 24 Правда 1930а.
 25 ЦГА ИПД. Ф. К-157. Оп. 1. Д. 4. Л. 27–28.
 26 РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 4. Д. 39. Л. 62.
 27 Архив Н. Б. Лебиной и О. Н. Годисова. Письмо от 15 июня 1961 г.
 28 Архив Н. Б. Лебиной и О. Н. Годисова. Письмо от 28 июля 1988 г.
 29 Архив Н. Б. Лебиной и О. Н. Годисова. Письма от 28.июля, 3 августа 1988 г.
 30 Волков 301.
 31 Смена-2 1929 2–3.
 32 Смена-2 1930 10.
 33 Люди Сталинградского тракторного 144.
 34 Из истории государственного руководства 149.
 35 Люди Сталинградского тракторного 144.
 36 XVII съезд 30.
 37 ЦГА СПб. Ф. 506. Оп. 1. Д. 650. Л. 1.
 38 Архитектура СССР 2.

Проституция

- 1 Лебина, Шкаровский 3.
 2 Лебина, Шкаровский.
 3 Лебина 1997.

См.: Габиани, Мануильский; Голод 1988а; Голод 1988b; Проституция и преступность.

Указ Верховного Совета от 29 мая 1987.

Ленин 50:142.

ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 131. Д. 57. Л. 7.

Коллонтай 1921 22.

Рабочая газета.

Подробнее см.: Лебина, Шкаровский.

ЦГА СПб. Ф. 3215. Оп. 1. Д. 89. Л. 10.

Подробнее см.: Лебина 2015а.

Вестник 967.

ЦГА ИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 174. Л. 9.

Броннер 35.

СУ РСФСР 1929b.

ЦГА ИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 174. Л. 9.

ГА РФ. Ф. А 390. Оп. 10. Д. 181. Л. 147.

ЦГА СПб. Ф. 2554. Оп. 2. Д. 57. Л. 4.

Мельниченко 541.

11 Жилкина, Жилкин.

12 Жилкина, Жилкин 218.

13 Жилкина, Жилкин 9.

14 Домоводство 1957 2.

15 Маврина; Коваленко.

16 Работница 1955 30.

17 Цит. по: Вайнштейн 2003 121.

18 Работница *958 31.

19 Вайнштейн 2007 119.

20 Вайнштейн 2007 109.

21 Вайнштейн 2007 110–111.

22 Дервиз 2011 60.

23 Кочетов 1961а 21; Кочетов 1961b 46–47.

24 РПИП 1968а 559–560.

25 РПИП 1968b 205.

26 Работница 1957а 28.

27 Учитесь шить 24–28.

28 Лебина 2015 370.

29 Альбом моделей 1961; Альбом моделей 1965; Модели одежды.

30 Захарова 66.

31 Работница 1956b 29.

32 Гай-Гулина, Гай-Гулина; Гай-Гулина 1958.

33 Пармон 257.

34 Кокуина, Шмырин 1955.

35 Работница 1961е 32.

Модели

Даль 4:112.

Карсавин 99.

Нарский 2008.

Меттер 218–272.

Струмилин 1963 203, 232.

Герман 1959 55.

Гранин 1987 32.

Катанян 50, 64.

Скрябина 60, 61.

Свиньина 44.

Смерть

1 Подробнее см.: Шкаровский 2006 158–162.

2 Петроградский Совет 145, 152.

3 Биржевые ведомости.

4 Паперный 42.

5 Известия 1918а.

6 Кашеваров 72.

7 ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 4–4 об.

- 8 ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 2.
 9 Малевич.
 10 Анненков 91.
 11 ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 24.
 12 Там же.
 13 Чуковский 153.
 14 Анненков 94.
 15 Чуковский 153.
 16 Вересаев 1926 4.
 17 Вересаев 1926 11.
 18 Безбожник 4.
 19 Огонек 1927.
 20 Щеглов 338.
 21 Мельниченко 593.
 22 Зудин, Мальковский, Таланов 70.
 23 Кабо 200.
 24 Антирелигиозник 1929 89.
 25 Антирелигиозник 1926 12.
 26 ЮП 1924а; ЮП 1924б.
 27 Марчуков 83.
 28 Подробнее см.: Рожков 300–301.
 29 Цит. по: Рожков 2014 299.
 30 Подробнее см.: За власть Советов.
 31 Личный архив семьи Н. Б. Лебиной — О. Н. Годисова. Письмо от 26 августа 1942 г.
 32 Там же.
 33 ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 560. Л. 38.
 34 Партийная этика 194.
 35 Известия ЦК 1925 5; Тяжелникова 162.
 36 Партийная этика 246.
 37 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1а. Д. 735. Л. 1, 11, 15.
 38 Там же. Л. 17.
 39 Там же. Л. 115.
- Танцы*
 1 Богданов 384.
 2 Товарищ комсомол 77.
 3 Золотоносов 98.
 4 Смена-1 1924.
 5 О комсомоле и молодежи 182.
 6 Ленинец 1929а; Ленинец 1929б; Ленинец 1929с.
 7 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 10. Д. 16. Л. 91.
 8 Островский 362–363.
 9 Мельниченко 730.
 10 ЦГА ИПД СПб. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 76а. Л. 34.
 11 Цит. по: Советская культура 1989.
 12 Дервиз 2011 43.
 13 Козлов 70.
 14 Литвинов 57.
 15 Ланской, Рест 1956 266.
 16 Товарищ комсомол 2:175.
 17 Кировский рабочий.
 18 Дервиз 2008 45.
 19 Харчев 197.
 20 Аксенов 2005 21, 105.
 21 Павлов 50.
 22 Грушин 2001 458.
 23 Гранин 1989 64–65.
 24 Аксенов 2005 441.
 25 Советская культура 1964.
 26 Аксенов 2005 247.
 27 Дементьев 36.
 28 Дервиз 2008 45.
 29 Кассиль 1962 106–107.
 30 Там же.
 31 Аксенов 2005 384.
 32 Аксенов 2005 457–458.
 33 НСИЗ 1971 475.
 34 Аксенов 2002 301.

- 35 Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ 436.
- 36 Кожевников 499.
- 37 Нарский 2018 127.
- Уплотнение*
- 1 СРЯ 4:503.
- 2 Мокиенко, Никитина 623.
- 3 МСЭ-1 9:154.
- 4 Маркс, Энгельс 239.
- 5 Ленин 31:44.
- 6 Ленин 34:314.
- 7 Ленин 54:380–381.
- 8 Подробнее см.: Потехин 97.
- 9 Подробнее см.: Лебина 2000.
- 10 ЦГА СПб. Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 24.
- 11 Обертрейс 75–98.
- 12 Подробнее см.: Меерович 2003; Пиир.
- 13 Гиппиус 202–203.
- 14 Ремизов 489.
- 15 Панова 1980 66.
- 16 СУ РСФСР 1921.
- 17 ЦГА СПб. Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 37.
- 18 Там же. Д. 1094. Л. 15–18.
- 19 Вересаев 1990 85–86.
- 20 ЦГА СПб. Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 38
- 21 Там же. Д. 1135. Л. 13.
- 22 Там же. Ф. 4303. Оп. 1. Д. 1103. Л. 12.
- 23 Там же. Л. 34.
- 24 Там же. Ф. 4303. Оп. 1. Д. 1103. Л. 34.
- 25 Дьяконов 79.
- 26 Там же.
- 27 Хармс 533.
- 28 Подробнее см.: Герасимова.
- 29 Курдов 83.
- 30 ЖЗ 1924 109–114.
- 31 ЖЗ 1927 12–13; Бюллетень ФХЗ 2031–2033.
- 32 Известия 1921.
- 33 СУ РСФСР 1924.
- 34 См.: СУ РСФСР 1927а; СУ РСФСР 1927б.
- 35 Аксакова 45.
- 36 СУ РСФСР 1929а.
- 37 Лишенцы 609.
- 38 ЦГА СПб. Ф. 3199. Оп. 2. Д. 468. Л. 93, 94.
- 39 Там же.
- 40 Там же. Л. 17–18.
- 41 Панова 1951 259.
- 42 Житинский 139, 143.
- Фабрика-кухня*
- 1 Кожаный 1924 8.
- 2 Кожаный 1927 17.
- 3 Цит. по: Маршак 14.
- 4 Пушка 1927 7.
- 5 Революция и культура 26–27.
- 6 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 66. Д. 12. Л. 33.
- 7 Известия 1929.
- 8 Герман 1959 472.
- 9 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 66. Д. 12. Л. 37–38.
- 10 Там же. Л. 39.
- 11 Ильф, Петров 2:343.
- 12 Герман 1964 340–341.
- 13 Микоян 306.
- 14 Найман 358–359.
- 15 Тарзан в своем отечестве 26.
- 16 Нагибин 269–270.
- 17 Васькин 282, 283, 290.

- 18 Найман 155–156.
- 19 Аксенов 2005 246–247.
- 20 Попов 54–55.
- 21 Аксенов 2005 58.
- 22 РПИП 1968b 284.
- 23 ЛП 1957.
- 24 ЛП 1958a.
- 25 РПИП 1968b 553.
- 26 ЛП 1959a.
- 27 ЛП 1962a.
- 28 Герман 2000 412.
- 29 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 42. Д. 7. Л. 28.
- 30 ЛП 1964.
- 31 Бродский 428–429.

Хрущевка

- 1 СРЯ 4:628.
- 2 Мокиенко, Никитина 643.
- 3 Лебина 2011.
- 4 Кожевников 499.
- 5 Архитектура и конструкции 6.
- 6 Цит. по: Таранов 25.
- 7 ЛП 1954.
- 8 Советская архитектура 3.
- 9 Директивы КПСС 65.
- 10 Директивы КПСС 3, 65.
- 11 ЛП 1955h.
- 12 ЛП 1955i.
- 13 ЦГА НТД. Ф. 389. Оп. 1–4. Д. 145. Л. 114, 115.
- 14 Хрущев 387.
- 15 ЛП 1956.
- 16 КПСС 1971 162.
- 17 Овчинников 46.
- 18 КПСС 1971 269.
- 19 РПИП 1968a 368.
- 20 Максимова 19.

- 21 Лурье 471.
- 22 Овчинников 50.
- 23 Хрущев 393.
- 24 Хрущев 394.
- 25 Аджубей 118.
- 26 Таранов.
- 27 Мельниченко 591.
- 28 Съезд архитекторов 37–38.
- 29 Овчинников 51.
- 30 НСИЗ 1984 340.
- 31 Мельниченко 591.
- 32 НСИЗ 1984 620.
- 33 Меерович 2004 230–231.
- 34 Вайль, Генис 145.

Царица полей

- 1 Мокиенко, Никитина 644.
- 2 Кожевников 475.
- 3 КПСС 1971 18.
- 4 Мельниченко 248.
- 5 Аксенов 2005 277.
- 6 XXII съезд КПСС 102.
- 7 Д. А. Толстой 428–429.
- 8 См., напр.: Цориева.
- 9 Подробнее см.: Лебина 2011b.
- 10 ЦГА СПб. Ф. 9626. Оп. 1. Д. 255. Л. 20, 30.
- 11 Запорожец, Крупец 323.
- 12 Подробнее см.: Лебина 2011b.
- 13 Мельниченко 485.
- 14 Штурман, Тиктин 1987 44.
- 15 Подробнее см.: Аксютин.
- 16 Годзикевич 62.
- 17 Гессен.
- 18 Правда 1930b.
- 19 Ильф, Петров 3:119.
- 20 ЛП 1955g.
- 21 ЛП 1963b.

- 22 Подробнее см.: Словцов.
 23 Огонек 1930 7.
 24 Осипов, Золотарев.
 25 Свет и тени 117–119.
 26 Подробнее см.: Агарев.
 27 НСИЗ 1971 85.
 28 Мымрин 118.
 29 НСИЗ 1984 579.
 30 Правда 1917.
 31 НСИЗ 1971 473.
 32 Левинтов 2005b 119.
 33 Трифонов 1985 544.
 34 Мельниченко 545.
 35 Драгунский 222.
 36 См., напр.: Зюзина 138.
 37 Подробнее см.: Снопков, Снопков, Шклярчук 165, 171, 173.
 38 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 37. Д. 300. Л. 491.
 39 НСИЗ 1971. С. 515.
 40 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 42. Д. 197. Л. 47.
 41 Аксютин 159.
 42 Кузнецов 128.
 43 <http://lawru.info/dok/1976/10/26/p1187134.htm>. Дата обращения: 10.08.2018.
 44 Там же.
 45 Подробнее см.: Медведев.
 46 Мельниченко 547–548.
 47 Куратов 152–153.
 48 Мельниченко 548.

Чипсы

- 1 НСИЗ 1971 524.
 2 Цит. по: НСИЗ 1971 524.
 3 Подробнее см.: Добренко.
 4 Очерки истории Ленинграда 121.

Шуба

- 1 Мокиенко, Никитина.
 2 Беловинский.
 3 Борисов 3:467.
 4 Подробнее см.: Михайлова.
 5 Цит. по: Петроград на переломе 68.
 6 Юмор серьезных писателей 223.
 7 Кетлинская 74.
 8 Бодунов, Рысс 246, 247, 248.

- 9 Куликова 118, 119, 120.
 10 Панова 1951 217.
 11 Арнольд 27, 24.
 12 Гранин 1987 62.
 13 Герман 1965 319.
 14 Барт 212–213.
 15 Аксенов 2005 407.
 16 Литвинов 114.
 17 Герман 2000 436.
 18 ЛП 1955f.
 19 Работница 1956a.
 20 КПСС 1971 325–326.
 21 КПСС 1971 327, 328.
 22 Аджубей 98.
 23 КПСС 1971 326.
 24 Работница 1960e.
 25 ЦГА СПб. Ф. 2071. Оп. 8. Д. 715. Л. 2.
 26 ЛП 1961a.
 27 Бахарева.
 28 Кожевников 577.
 29 Кожевников 512.
 30 Работница 1961a 29.
 31 ЛП 1961e.
- Электронприборы*
- 1 Струмилин 386.
 2 КГ 1927.
 3 Житков 196.
 4 Житков 201.
 5 ТСРЯ 1940.
 6 ТСРЯ 1949.
 7 Грушин 1967 47.
 8 Триста полезных советов 48–49.
 9 Подробнее см.: Пруденский; Грушин 1967; Труфанов.
 10 Очерки истории Ленинграда 270.
- 11 КПСС 1971 119, 120.
 12 КЭДХ 1959 601.
 13 10 пятилеток 277.
 14 Народное хозяйство 1968 201.
 15 КПСС 1972 270.
 16 Труфанов 135.
 17 Минчковский 1979 539–540.
 18 Осокина 185.
 19 Акт обыска 40.
 20 Книга о вкусной и здоровой пище 18.
 21 Драгунский 222.
 22 Кумпан 42.
 23 Герман 2000 338.
 24 КЭДХ 1959 673.
 25 Кожевников 444.
 26 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 42. Д. 192. Л. 55.
 27 ЛП 1955b.
 28 Герман 2000 212–213.
 29 Мельниченко 586.
 30 НСИЗ 1971 141–142.
 31 Кожевников 434.
 32 Беляев 107–108.
 33 Труфанов 135, 115.
 34 Бобышев 196.
 35 Сафонов 174.
 36 Аннинский 111, 112.
 37 НСИЗ 1971 533–535; НСИЗ 1984 788–793.
- Юнгштурмовка*
- 1 Беловинский 739; Борисов 3:484–485.
 2 Беловинский 739.
 3 КП 1928.
 4 Гранин 1986 77.
 5 Подробнее см.: Шаттенберг 198.

- 6 КП 1928.
- 7 Дьяконов 176.
- 8 Цит. по: Рожков 211.
- 9 Вересаев 1990 198.
- 10 Изофронт 62.
- 11 Цит. по: Борисов 3:484.
- 12 Балдано 357; Стеорн 58–59.
- 13 Стеорн 53.
- 14 Панова 1980 87.
- 15 Там же.
- 16 Рубинштейн 234.
- 17 Шульгин 305.
- 18 Герман 2000 198.
- 19 Райкина 30–31.
- 20 Аджубей 99.
- 21 Рейн 247.
- 22 Дервиз 2011 68.
- 23 На смену.
- 24 Шефнер 1982 137.
- 25 Битов 1996 23.
- 26 Цит. по: Рафикова 150.
- 27 Подробнее см.: Бар 217–236.
- 28 Одежда молодежи 31.
- 29 Кочетов 1961а 85–86.
- 30 Работница 1962b 31.
- 31 Фрумкина 225–226.
- 32 Бар 226.
- 33 Герман 2000 266.
- 34 Рыбаков 33.
- 35 Аксенов 2005 195.
- 36 НСИЗ 1971 155.
- 37 Цит. по: Иконникова, Кобляков 139–140.
- 38 Аксенов 2005 377.
- 39 Городницкий 168–169.
- 40 Кожевников 707.
- 41 Токарева 10.

Язвы

- 1 СРЯ 4:779.
- 2 КПСС 1970 59.
- 3 О трактовке понятия «нормализующие суждения» см. подробнее: Лебина 1999; Лебина 2015.
- 4 Чуковский 218.
- 5 Партийная этика 202.
- 6 Подробнее см.: Лебина, Белоцкая; Лебина 2006; Лебина 2008.
- 7 Партийная этика 174.
- 8 Ленин 43:141.
- 9 Партийная этика 160.
- 10 Подробнее см.: Лебина 2000.
- 11 Партийная этика 162.
- 12 СРЯ 1:645.
- 13 Партийная этика 163.
- 14 Партийная этика 164.
- 15 Что читает рабочая молодежь 59.
- 16 ЦГА ИПД. Ф. К-156. Оп. 1-а. Д. 18. Л. 3.
- 17 Бухарин 106.
- 18 МСЭ-1 5:192.
- 19 НСИЗ 1984 117.
- 20 Там же.
- 21 КП 1973.
- 22 См.: Иконникова, Кобляков 18.
- 23 Липатов 1975 403, 418, 436.
- 24 Липатов 1975 436.
- 25 Катасонова 164.
- 26 Кожевников 624.
- 27 Кожевников 707.
- 28 КПСС 1972 370.
- 29 КПСС 1972 352.
- 30 КПСС 1978 162.
- 31 Советский образ жизни 35.
- 32 Советский образ жизни 37.
- 33 Подробнее см.: Арнольд 13.
- 34 Герман 2000 420.

*«Новый поворот,
что он нам несет?»*

- 1 О многообразии толкования этих понятий подробнее см.: Кром 2003; Орлов; Бригадина.
- 2 Трифонов 1985а 88.
- 3 Трифонов 1985а 103–104.
- 4 О методологических проблемах изучения города и повседневности в историческом контексте подробнее см.: Город и горожане.
- 5 Подробнее см.: Кром 2003 11; Вальденфельс 40–41.
- 6 О специфике развития процессов модернизации в России в XX в. подробнее см.: Вишневский; Миронов.
- 7 Российская цивилизация 213.

БИБЛИОГРАФИЯ

Опубликованные источники и литература

- А. Н. Толстой** — Толстой А. Н. Избранные сочинения: В 6 т. М.: Сов. писатель, 1950–1953.
- Абрамов** — Абрамов Ф. А. Дела российские: Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1987.
- Агарев** — Агарев А. Ф. Трагическая авантюра. Сельское хозяйство Рязанской области. 1950–1960 гг. А. Н. Ларионов, Н. С. Хрущев и др.: Документы, события, факты. Рязань: Русское слово, 2005.
- Аджубей** — Аджубей А. И. Те десять лет. М.: Сов. Россия, 1989.
- Аксакова** — Аксакова Т. А. Дочь генеалога // Минувшее. Т. 4. М.: Прогресс; Феникс, 1991.
- Аксенов 2002** — Аксенов В. П. Затоваренная бочкотара: Сб. произведений. М.: Эксмо, 2002.
- Аксенов 2005** — Аксенов В. П. Апельсины из Марокко. М.: Эксмо; ИзографЪ, 2005.
- Аксютин** — Аксютин Ю. В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М.: РОССПЭН, 2004.
- Акт обыска** — Акт обыска у Ягоды // Родина. 1999. № 1. С. 40.
- Альбом моделей 1961** — Альбом моделей одежды с чертежами кроя. Л.: Ленинградский дом моделей одежды, 1961.
- Альбом моделей 1965** — Альбом моделей одежды с чертежами кроя. Л.: Ленинградский дом моделей одежды, 1965.
- АН СССР** — Академия Наук СССР. Справочник на 1953 год. М.: АН СССР, 1953.
- Анненков** — Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. М.: Худ. лит., 1991. Т. 1.
- Аннинский** — Аннинский Л. А. Барды. М., 1999.
- Антирелигиозник 1926** — Антирелигиозник. 1926. № 6.
- Антирелигиозник 1927** — Антирелигиозник. 1927. № 6.

- Антирелигиозник 1929** — Антирелигиозник. 1929. № 4.
- Арнольд** — Арнольд Р. Мода, желание и тревога. Образ и мораль в XX веке / Пер. с англ. Е. Канищевой, А. Красниковой. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
- Архитектура и конструкции** — Архитектура и конструкции высотных зданий Москвы: [В помощь докладчику]. М.: Госиздат лит. по строит. и арх., 1952.
- Архитектура СССР** — Архитектура СССР. 1936. № 5.
- Аствацатуров, Кольгуненко** — Аствацатуров К. Р., Кольгуненко И. И. Косметика для всех. М.: Медицина, 1965.
- Баженова** — Баженова К. М. Состояние акушерско-гинекологической помощи в Ленинграде за 10 лет (1950–1959) и пути ее дальнейшего развития. Автореф. дис. ... д. м. н. Л., 1963.
- Балдано** — Балдано И. Ц. Мода XX века: Энциклопедия. М.: Олма-Пресс, 2002.
- Бар** — Бар К. Политическая история брюк / Пер. с фр. С. Петрова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- Бардецкая** — Бардецкая И. Абортная культура // Итоги. 2001. № 12.
- Барт** — Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., вступ. ст., комм. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.
- Бартлетт** — Бартлетт Дж. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе / Пер. с англ. Е. Кардаш. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Бахарева** — Бахарева Т. Маргарита Криницына: «Своего мужа, Евгения, отбила у Изольды Извицкой» // Факты. 2002. 9 октября.
- Бахтияров** — Бахтияров В. А. К вопросу о наркомании. Свердловск, 1936.
- Безбожник** — Безбожник. 1927. № 10.
- Беззубцев-Кондаков 2003** — Беззубцев-Кондаков А. Е. Производственно-бытовые коммуны Москвы и Ленинграда: 1923–1934 гг. Магистерская диссертация. СПб., 2003.
- Беззубцев-Кондаков 2006** — Беззубцев-Кондаков А. Е. Без черемухи // Урал. 2006. № 6. С. 229–242.
- Бейлинсон** — Бейлинсон В. Г. Советское время в людях. М.: Новый Хронограф, 2008.
- Беккер** — Беккер М. Поэты и писатели красной молодежи. М.; Л.: ЦКЖД «Гудок», 1924.
- Белкин** — Белкин А. А. Молодежные жилищные комплексы (организационно-правовые вопросы) // Правоведение. 1986. №3. С. 49–54.

- Беловинский** — Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь истории советской повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- Беляев** — Беляев Э. В. и др. Изучение бюджета времени трудящихся как один из методов конкретно-социологического исследования // Вестник Ленинградского университета. Серия экономики, философии и права. 1961. № 23. Вып. 4.
- Беньямин** — Беньямин В. Московский дневник / Пер. с нем., прим. С. Ромашко. М.: Ad Marginem, 1997.
- Берберова** — Берберова Н. Н. Железная женщина. М.: Книжная палата, 1991.
- Берггольц** — Берггольц О. Ф. Дневные звезды. Л.: Сов. писатель, 1960.
- Биржевые ведомости** — Биржевые ведомости. 1917. 11 марта. Утренний выпуск.
- Битов 1989** — Битов А. Г. Близкое ретро, или Комментарий к общеизвестному // Новый мир. 1989. № 4. С. 135–164.
- Битов 1996** — Битов А. Г. Империя в четырех измерениях: В 4 т. СПб.: Амфора, 1996. Т. 2: Пушкинский дом.
- Битов 1999** — Битов А. Г. Неизбежность ненаписанного. М.: Вагриус, 1999.
- Бобрышев** — Бобрышев И. Т. Мелкобуржуазные влияния среди молодежи. М.; Л.: Молодая гвардия, 1928.
- Бобышев** — Бобышев Д. В. Я здесь (Человекотекст). М.: Вагриус, 2003.
- Богданов** — Богданов Н. Первая девушка. М.: Молодая гвардия, 1958.
- Бодунов, Рысс** — Бодунов И. В., Рысс Е. Г. Записки следователя. М.: Дет. лит., 1966.
- Бондаренко** — Бондаренко П. П. Дети Кирпичного переулка // Невский архив. СПб.—М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1993.
- Борисов** — Борисов С. Б. Энциклопедический словарь российской повседневности XX века: В 3 т. Шадринск: Шадринский дом печати, 2016.
- Бригадина** — Бригадина О. В. Парадигма повседневности в ранней советской истории (1917 — начало 1920-х гг.): Проблемное поле исследований // Российские и славянские исследования: Науч. сб. Вып. 6. Минск, 2011. С. 212–220.
- Бродский** — Бродский И. А. Меньше единицы: Избранные эссе. М.: Независимая газета, 1999.
- Броннер** — Броннер В. М. Проституция и пути ее ликвидации. М.; Л.: ОГИЗ; Гос. мед. изд., 1931.

- Брыкин** — Брыкин Н. Люди низин. Л.: Прибой, 1927.
- Булгаков 1988** — Булгаков М. А. Избранное. М.: Худ. лит., 1988.
- Булгаков 1989** — Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: Худ. лит., 1989.
- Булгаков 1990** — Булгаков М. А. Под пятой. М.: Огонек, 1990.
- Бухарин** — Бухарин Н. И. Революция и культура. М.: Фонд им. Н. И. Бухарина, 1993.
- Бюджеты рабочих и служащих** — Бюджеты рабочих и служащих. Вып. 1. М.: ЦСУ РСФСР, 1929.
- Бюллетень 18 конференции** — Бюллетень 18 конференции Петроградской организации ВКП(б). Вып. I. Пг., 1923.
- Бюллетень Исполнительного Комитета 1959** — Бюллетень Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 1959. № 8.
- Бюллетень Исполнительного Комитета 1962** — Бюллетень Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1962. № 2.
- Бюллетень НКВД** — Бюллетень НКВД. 1929. № 20.
- Бюллетень НККХ** — Бюллетень НККХ РСФСР. 1939. № 18.
- Бюллетень ФХЗ** — Бюллетень финансово-хозяйственного законодательства. 1927. № 49.
- Вайль, Генис** — Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- Вайнштейн 2003** — Вайнштейн О. Б. «Мое любимое платье»: портниха как культурный герой в Советской России // Теория моды. 2007. № 3. С. 101–126.
- Вайнштейн 2005** — Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
- Вальденфельс** — Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигель рациональности // Социо-логос. Социология, Антропология, Метафизика. М.: Прогресс, 1991. С. 39–50.
- Василевский** — Василевский Л. М. Проституция и рабочая молодежь. М.: Новая Москва, 1924.
- Васькин** — Васькин А. Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежнев. М.: Молодая гвардия, 2017.
- Ведомости ВС СССР 1954** — Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 15.
- Ведомости ВС СССР 1955** — Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 22.

- Велихов** — Велихов Е. П. Я на валенках поеду в 35-й год... М.: АСТ, 2010.
- Вересаев 1926** — Вересаев В. В. Об обрядах старых и новых (к художественному оформлению быта). М.: Новая Москва, 1926.
- Вересаев 1990** — Вересаев В. В. В тупике. Сестры. М.: Книжная палата, 1990.
- Вестник** — Вестник современной медицины. 1929. № 18.
- Вечерний Ленинград** — Вечерний Ленинград. 1948. 11 июля.
- Вечеслова** — Вечеслова Т. М. Я — балерина. Л.; М.: Искусство, 1964.
- Вишневский** — Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998.
- Вишневский, Сакевич, Денисов** — Вишневский А. Г., Сакевич В. И., Денисов Б. П. Запрет аборта: освежите вашу память // Демоскоп Weekly. 2016. № 707–708. <http://demoscope.ru/weekly/2016/0707/tema05.php>. Дата обращения: 03.05.2018.
- Влади** — Влади М. Владимир, или Прерванный полет. М.: Прогресс, 1989.
- Волков** — Волков С. М. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998.
- Воспоминания о Серебряном веке** — Воспоминания о Серебряном веке. М.: Республика, 1993.
- Вспоминая Ольгу Берггольц** — Вспоминая Ольгу Берггольц. Л.: Лениздат, 1979.
- Вязова** — Вязова О. Г. Жилищно-строительная кооперация Чувашии 20–30-х гг. XX в.: организационная структура и взаимоотношения с властью // Вестник Чувашского университета. 2006. № 1.
- Габiani 1977** — Габiani А. А. Наркотизм (Конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1977.
- Габiani 1988** — Габiani А. А. Наркотизм: Вчера и сегодня. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1988.
- Габiani, Мануильский** — Габiani А. А., Мануильский М. А. Цена «любви» (Обследования проституток в Грузии) // Социологические исследования. 1987. № 6. С. 61–68.
- Гай-Гулина 1958** — Гай-Гулина З. С. Учись вязать. М.: Детский мир, 1958.
- Гай-Гулина, Гай-Гулина** — Гай-Гулина М. С., Гай-Гулина З. С. Вязите сами. М.: КОИЗ, 1956.

- Ганичев** — Ганичев В. Н. Боевой опыт комсомольской печати. М.: Московский рабочий, 1973.
- Гельман** — Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М.: Госиздат, 1923.
- Герасимова** — Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-социологический анализ (на материалах Петрограда — Ленинграда, 1917–1991). Дис. ... канд. социол. наук. СПб., 2000.
- Герман 1959** — Герман Ю. П. Наши знакомые. Свердловск: Кн. изд-во, 1959.
- Герман 1964** — Герман Ю. П. Операция «С Новым годом». М.: Политиздат, 1964.
- Герман 2001** — Герман М. Ю. Сложное прошедшее. СПб.: Искусство-СПб., 2001.
- Герман 2008** — Алексей Герман: «Помнить, как было». Неопубликованное интервью режиссера, похожее на сценарий неснятого фильма // Colta.ru. 22.02.2013. <http://archives.colta.ru/docs/14360>. Дата обращения: 02.05.2018.
- Герштейн** — Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998.
- Гессен** — Гессен С. Г. Продовольственное снабжение городов // Вопросы питания. 1930. № 4–6. С. 1.
- Гилинский, Афанасьев** — Гилинский Я. И., Афанасьев В. С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1993.
- Гинзбург** — Гинзбург С. З. О прошлом — для будущего. М.: Изд-во политической литературы, 1983.
- Гиппиус** — Гиппиус З. Н. Живые лица: В 2 кн. Тбилиси: Мерани, 1991. Кн. I.
- Гладков** — Гладков Ф. В. Цемент. М.: Сов. Россия, 1980.
- Гниатуллина** — Гниатуллина Г. Г. Реализация абортной политики в БАССР в 1920–1930-х гг. // Вестник ВЭГУ. 2013. № 1 (63). С. 168–171.
- Говорушин** — Говорушин К. В. За Нарвской заставой. М.: Политиздат, 1975.
- Годзикович** — Годзикович В. Санитарное состояние первого хлебозавода в Петрограде. Хлеб и хлебопечение в гигиеническом состоянии. Пг., 1922.
- Годы и фильмы** — Годы и фильмы. Избранные киносценарии. М.: Искусство, 1980.

- Голод 1988a** — Голод С. И. Социально-психологические проблемы проституции. М.: Знание, 1988.
- Голод 1988b** — Голод С. И. Проституция в контексте изменений половой морали // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 65–70.
- Голод 1996** — Голод С. И. XX век и тенденции сексуальных отношений. СПб.: Алетейя, 1996.
- Голубовская** — Голубовская В. Время, назад, или Волшебный рог памяти // Дерибасовская — Ришельевская // Одесский альманах. 2014. № 58. С. 237–259.
- Гонина, Вавиленко** — Гонина Н. В., Вавиленко А. Ю. Многодетная мать в восточносибирском городе: провинциальные аспекты демографического перехода (вторая половина 1950-х — начало 1980-х годов) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия История, филология. 2017. Т. 16. № 1. С. 135–147.
- Гордин** — Гордин Я. А. Переключка во мраке. СПб.: Изд-во Пушкинского фонда, 2000.
- Город и горожане** — Город и горожане в Советской России 1920–1930-х годов: мир эмоций и повседневных практик: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А. Ю. Рожков. Краснодар: Традиция, 2017.
- Городницкий** — Городницкий А. М. Васильевский остров. М.: Москва, 1999.
- Гранин 1986** — Гранин Д. А. Ленинградский каталог. Л.: Дет. лит., 1986.
- Гранин 1987** — Гранин Д. А. Искатели. М.: Высшая школа, 1987.
- Гранин 1989** — Гранин Д. А. Иду на грозу. Клавдия Вилор. М.: Сов. Россия, 1989.
- Грекова 1998** — Грекова И. Дамский мастер. Избранное. М.: Текст, 1998.
- Грушин 1967** — Грушин Б. А. Свободное время. Актуальные проблемы. М.: Мысль, 1967.
- Грушин 2001** — Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале общественного мнения. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Гумилев** — Гумилев Л. Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? // Русская литература. 1972. № 1. С. 73–82.
- Гурченко** — Гурченко Л. М. Аплодисменты. М.: Центрполиграф, 1994.
- Д. А. Толстой** — Толстой Д. А. Для чего все это было: Воспоминания. СПб.: Библиополис; Композитор, 1995.

- Давыдов** — Давыдов А. Ю. Деятельность Всесоюзного общества пролетарского туризма и экскурсий в Ленинграде // Добровольные общества в Петрограде-Ленинграде в 1917–1937 гг.: Сб. ст. Л.: Наука, 1989. С. 130–141.
- Даль** — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Гос. издат. иностран. и нац. словарей, 1955–1956.
- Дашкова** — Дашкова Т. Ю. Идеология в лицах. Формирование визуального канона в советских журналах 1920-х — 1930-х годов // Культура и власть в условиях коммуникативной революции XX века. Форум немецких и российских исследователей / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова и И. Гарбовского. М.: АИРО-XX, 2002.
- Дементьев** — Дементьев Н. С. Замужество Татьяны Беловой. Л.: Лен-издат, 1977.
- Дервиз 2008** — Дервиз Т. Е. Рядом с большой историей // Звезда. 2008. № 9. С. 73–93.
- Дервиз 2011** — Дервиз Т. Е. Рядом с большой историей. Очерки частной жизни XX века. СПб.: Звезда, 2011.
- Дзеконьска-Козловска 1977** — Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. М.: Легкая индустрия, 1977.
- Директивы КПСС** — Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Т.4. М.: Госполитиздат, 1968.
- Добренко** — Добренко Е. А. Гастрономический коммунизм: вкусное vs. здоровое // Неприкосновенный запас. 2009. № 2.
- Довженко** — Довженко Г. И. К 125-летию клиники акушерства и гинекологии (1842–1967). Л., 1967.
- Довлатов** — Довлатов С. Д. Встретились, поговорили. СПб.: Азбука-Классика, 2005.
- Дождь в Петербурге** — Дождь в Петербурге. Буклет. СПб., 2010.
- Домоводство 1957** — Домоводство. М.: Сельхозгиз, 1957.
- Домоводство 1960** — Домоводство. М.: Сельхозгиз, 1960.
- Доронина** — Доронина Т. В. Дневник актрисы // Наш современник. 1997. № 12. С. 124–137.
- Драгунский** — Драгунский В. Ю. Денискины рассказы. М.: Эксмо, 2003.
- Дробижев** — Дробижев В. З. У истоков советской демографии. М.: Мысль, 1987.
- Душечкина** — Душечкина Е. В. Русская елка. СПб.: Норинт, 2002.
- Дьяконов** — Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб.: Фонд регион. развития Санкт-Петербурга, 1995.

- Евтушенко** — Евтушенко Е. А. Лев с петербургской набережной // Новые известия. 2011. 14 января.
- Епишкин** — Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. М.: ЭТС, 2010; сетевая версия: <http://gallicismes.academic.ru>. Дата обращения: 07.05.2018.
- ЖЗ 1924** — Жилищное законодательство: Сб. декретов, постановлений и распоряжений центральной и местной власти. М.: М. К. Х., 1924.
- ЖЗ 1927** — Жилищное законодательство / Под общ. ред. М. Брагинского и А. Иодковского. Вып. 3: Распределение жилищ; Наем помещения; Выселение. М.: Юр. изд-во НКЮ РСФСР, 1927.
- ЖЗ 1950** — Жилищное законодательство: Сборник официальных материалов. М.: Гос. изд-во юр. лит., 1950.
- Жилкина, Жилкин** — Жилкина А. Д., Жилкин В. Ф. Рукоделие. М.: Учпедгиз, 1955.
- Житинский** — Житинский А. Н. От первого лица. Повести. Л., 1982.
- Житков** — Житков Б. С. Что я видел. Л.: Лениздат, 1950.
- Жуков, Черненко** — Жуков Ю., Черненко М. После гудка: Заметки на комсомольские темы. М.: Молодая гвардия, 1934.
- Журавлев, Гронов** — Журавлев С., Гронов Ю. Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР. 1917–1991. М.: ИРИ РАН, 2013.
- Журнал мод** — Журнал мод. М., 1956. № 1.
- За власть Советов** — За власть Советов! Вып. 2. Омск: Омское книжное изд-во, 1989.
- Залкинд** — Залкинд А. Б. Половой вопрос в условиях советской ответственности. Л., 1926.
- Запорожец, Крупец** — Запорожец О., Крупец Я. Советский потребитель и регламентированная публичность: новые идеологемы и повседневность общепита конца 50-х гг. // Советская социальная политика: сцены и действующие лица. М.: ООО «Вариант»; ЦСПГИ, 2008. С. 315–336.
- Зарницкий** — Зарницкий А. Аборт и заболеваемость женщины. Одесса, 1956.
- Захарова** — Захарова Л. Советская мода 1950–60-х гг.: политика, экономика, повседневность // Теория моды. 2007. № 3. С. 55–80.
- Здатни** — Здатни С. Стрижка под мальчика и свободная женщина: идеология и эстетика женской прически // Теория моды. 2007. № 4. С. 83–118.
- Здоровье** — Здоровье. 1956. № 3.

- Золотоносов** — Золотоносов М. Мастурбанизация. «Эрогенные зоны» советской культуры 1920–1930-х годов // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 93–99.
- Зубкова** — Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 2000.
- Зудин, Мальковский, Шалашов** — Зудин И., Мальковский И., Шалашов П. Мелочи жизни. Л.: Прибой, 1929.
- Зюзина** — Зюзина Е. А. О рыбе, осетровых и икре: из глубины веков. Хронология в именах, датах и фактах // Астраханский вестник экологического образования. 2013. № 4. С. 202–223.
- Иванов** — Иванов В. А. Контрреволюционные организации среди гомосексуалистов Ленинграда в начале 1930-х годов и их погром // Новейшая история России. 2013. № 3. С. 126–164.
- Иванова** — Иванова А. С. Магазины «Березка». Парадоксы потребления в позднем СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- Из истории государственного руководства** — Из истории государственного руководства культурным строительством в СССР. М.: Ин-т истории СССР, 1983.
- Известия 1918a** — Известия ВЦИК. 1918. 11 декабря.
- Известия 1918b** — Известия ВЦИК. 1918. 22 ноября.
- Известия 1921** — Известия ВЦИК. 1921. 12 августа.
- Известия 1929** — Известия ВЦИК. 1929. 11 ноября.
- Известия ВЛКСМ** — Известия ВЛКСМ. 1932. № 11–12.
- Известия ЦК 1923** — Известия ЦК ВКП(б). 1923. № 3.
- Известия ЦК 1925** — Известия ЦК ВКП(б). 1925. № 34.
- Измозик** — Измозик В. С. Частные письма середины 20-х годов (из архивов Политконтроля ОГПУ) // Нестор. 2001. № 2. С. 27–92.
- Изофронт** — Изофронт. Классовая борьба на фронте пространственных искусств. М.; Л.: ОГИЗ; Изогиз, 1931.
- Иконникова, Кобляков** — Иконникова С. Н., Кобляков В. П. Мораль и культура развитого социалистического общества. М.: Знание, 1976.
- Ильин** — Ильин В. И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2003.
- Ильф, Петров** — Ильф И. А., Петров Е. П. Собр. соч.: В 5 т. М.: Гослитиздат, 1961.
- ИСРК** — История советского рабочего класса: В 6 т. М.: Наука, 1984. Т. II.
- Источник 1993** — Источник. 1993. № 5–6.
- Источник 1994** — Источник. 1994. № 5.

- Источник 1999** — Источник. 1999. № 5.
- Кабо** — Кабо Е. О. Очерки рабочего быта. М: Книгоизд-во ВЦСПС, 1928.
- Каган** — Каган А. Г. Молодежь после гудка. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930.
- Карсавин** — Карсавин Л. П. Философия истории. Берлин: Обелиск, 1923.
- Катаев** — Катаев В. П. Алмазный мой венец: Повести. М.: Сов. писатель, 1981.
- Катанян** — Катанян В. В. Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. М.: Захаров, 1998.
- Катасонова** — Катасонова Е. Н. Пересечение. М.: Сов. писатель, 1988.
- Кашеваров** — Кашеваров А. Н. Государство и церковь: Из истории взаимоотношений советской власти и Русской Православной Церкви, 1917–1945 гг. СПб.: СПбГТУ, 1995.
- Кетлинская** — Кетлинская В. К. Здравствуй, молодость // Новый мир. 1975. № 11. С. 16–121.
- Кетлинская, Слепков** — Кетлинская В. К., Слепков Вл. Жизнь без контроля. М.; Л.: Молодая гвардия, 1929.
- Кириленко** — Кириленко С. А. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта // *Studia culturae*. Вып. 3. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 111–125.
- Кирсанова 1997** — Кирсанова Р. М. «Гимнастерка», «джимми» и «полпред» // Родина. 1997. № 11. С. 46–48.
- Кирсанова 2004** — Кирсанова Р. М. Взрыв на атолле Бикини // Родина. 2004. № 6. С. 98–99.
- Клеш** — Клеш А. Русский гомосексуал (1905–1938 гг.): парадоксы восприятия // Новое литературное обозрение. 2012. № 5 (117). С. 96–113.
- Книга о вкусной и здоровой пище** — Книга о вкусной и здоровой пище. М.; Л.: Пищепромиздат, 1939.
- Коваленко** — Коваленко В. Д. Кройка и шитье дома. М.: Сов. Россия, 1960.
- Ковригина** — Ковригина М. Д. О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания населения. М.: Медгиз, 1956.
- Кодекс законов о браке** — Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 февраля 1961 года и с приложением постатейно-систематизированных материалов. М.: Гос. изд-во юр. лит., 1961.

- Кодекс о браке и семье РСФСР** — Кодекс о браке и семье РСФСР 30 июля 1969 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1086.
- Кожаный 1924** — Кожаный П. М. Долой частную кухню! М.: Нарпит, 1924.
- Кожаный 1927** — Кожаный П. М. Без печных горшков. М.; Л.: Госиздат, 1927.
- Кожевников** — Кожевников А. Ю. Большой словарь. Крылатые слова отечественного кино. М.: ОЛМА-Пресс, 2001.
- Козлов** — Козлов А. Козел на саксе. М.: Вагриус, 1998.
- Кокуина, Шмырин** — Кокуина Е., Шмырин И. Альбом рисунков для вышивки. Л.: Гос. изд-во дет. лит., 1955.
- Коллонтай 1919** — Коллонтай А. М. Семья в коммунистическом обществе. Одесса: Гос. изд-во «Москва—Петроград», 1919.
- Коллонтай 1921** — Коллонтай А. М. Проституция и меры борьбы с ней. М.: Госиздат, 1921.
- Комлева** — Комлева Г. Т. Танец — счастье и боль. Записки петербургской балерины. СПб.; М.: РОССПЭН, 2000.
- Коммунистическая мораль** — Коммунистическая мораль и семейные отношения. Л.: Кубуч, 1926.
- Кон** — Кон И. С. 80 лет одиночества. М.: Время, 2008.
- Констебл** — Констебл Д. Бороды в истории: символы, моды, восприятие // Одиссей. Человек в истории. Картина мира в народном и ученом сознании. М.: Наука, 1994. С. 165–181.
- Конт-Спонвиль** — Конт-Спонвиль А. Философский словарь. М. Этерна; Палимпсест, 2012.
- Координаты подвига** — Координаты подвига. Из истории челябинской областной комсомольской организации. 1918–1968. Челябинск Южно-Уральское кн. изд-во, 1968.
- Кочетов 1961b** — Кочетов В. А. Секретарь обкома // Роман-газета 1961. № 19.
- Кочетов 1961a** — Кочетов В. А. Секретарь обкома // Роман-газета 1961. № 18.
- КПСС 1970** — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Издание 8-е. Т. 2. М., 1970.
- КПСС 1971** — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Издание 8-е. Т. 7. М., 1971.
- КПСС 1972a** — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Издание 8-е. Т. 8. М., 1972.

- КПСС 1972b** — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Издание 8-е. Т. 10. М., 1972.
- КПСС 1978** — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 8-е. Т. 12. М., 1978.
- Красная деревня** — Красная деревня. 1936. № 7.
- Красные всходы** — Красные всходы. 1923. № 11.
- Крестьянка** — Крестьянка. 1961. № 8. С. 31.
- Крокодил 1954** — Крокодил. 1954. № 18.
- Крокодил 1955** — Крокодил. 1955. № 33.
- Крокодил 1960** — Крокодил. 1960. № 28.
- Крокодил 1962** — Крокодил. 1962. № 8.
- Кром 2003** — Кром М. М. Повседневность как предмет исторического исследования // История повседневности: Сб. науч. раб. СПб.: Изд-во ЕУ СПб.; Алетейя, 2003. С. 7–14.
- Кром 2006** — Кром М. М. Арон Яковлевич Гуревич и антропологический поворот в исторической науке // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 221–228.
- Крупская** — Крупская Н. К. Из атеистического наследия. М.: Наука, 1964.
- Кузнецов** — Кузнецов А. В. Я дошел до точки... // Новый Мир. 2005. № 4. С. 90–138.
- Кузьмин 1928** — Кузьмин Н. О рабочем жилищном строительстве // Строительство и архитектура. 1928. № 3. С. 82–83.
- Кузьмин 1930** — Кузьмин Н. Проблемы научной организации быта // Строительство и архитектура. 1930. № 3. С. 14–17.
- Куликова** — Куликова М. «Кролик под котик»: роскошь и ее имитация в советской моде 1930-х годов // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: Материалы 8-й междунар. конф. СПб.: Изд-во ЕУ СПб., 2014. С. 116–123.
- Культура и быт горняков** — Крупянская В. Ю., Будина О. В., Полищук Н. С., Юхнева Н. В. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917–1970). М.: Наука, 1974.
- Кумпан** — Кумпан Е. А. Ближний подступ к легенде. СПб.: Звезда, 2005.
- Кунин** — Кунин В. В. Ребро Адама. Сошедшие с небес. М.: АСТ, 2008.
- Куприн** — Куприн А. И. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1958.
- Куратов** — Куратов О. В. Хроники русского быта. 1950–1990 гг. М.: Делли принт, 2004.

- Курдов** — Курдов В. И. Памятные дни и годы. СПб.: АО «Арсис», 199
- КЭДХ 1959** — Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. М.: БСЭ, 1959.
- КЭДХ 1966** — Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. М.: Советская энциклопедия, 1966.
- КГ 1925** — Красная газета. 1925. 25 марта. Вечерний выпуск.
- КГ 1926** — Красная газета. 1926. 23 сентября. Вечерний выпуск.
- КГ 1927** — Красная газета 1927. 4 августа.
- Кировский рабочий** — Кировский рабочий. 1957. 9 сентября.
- КП 1928** — Комсомольская правда. 1928. 2 июля.
- КП 1931** — Комсомольская правда. 1931. 21 января.
- КП 1934** — Комсомольская правда. 1934. 11 декабря.
- КП 1936** — Комсомольская правда. 1936. 5 сентября.
- КП 1973** — Комсомольская правда. 1973. 5 августа.
- Л. Н. Толстой** — Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М.: Худ. лит., 1951–195
- Ландау-Дробанцева** — Ландау-Дробанцева К. Т. Академик Ландау. Как мы жили. М.: АСТ, 1999.
- Ланской, Рест** — Ланской М. З., Рест Б. М. Незримый фронт. Л.: Лениздат, 1956.
- ЛГ 1966а** — Литературная газета. 1966. 20 января.
- ЛГ 1966б** — Литературная газета. 1966. 28 мая.
- ЛГ 2002** — Литературная газета. 2002. № 26. 26 июня — 2 июля.
- Лебин** — Лебин Б. Во имя жизни // Советский воин. 1956. № 4. С. 18–21
- Лебина 1983** — Лебина Н. Б. От поколения к поколению. Историко-социологический портрет молодого ленинградского рабочего. Л.: Лениздат, 1983.
- Лебина 1994** — Лебина Н. Б. Оксфорд сиреневый и желтые ботиночки // Родина. 1994. № 9. С. 112–117.
- Лебина 1999а** — Лебина Н. Б. Абортмахиры в подполье. Государственные секреты частной жизни // Родина. 1999. № 1. С. 47–51.
- Лебина 1999б** — Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии. 1920-е — 1930-е годы. СПб.: Журнал «Нева». Летний сад, 1999.
- Лебина 2000** — Лебина Н. Б. О пользе игры в бисер. Микроистория как метод изучения норм и аномалий советской повседневности 20–30-х гг. // Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России, 1920–30-е гг. СПб: Журнал «Нева», 2000. С. 9–26.

- Лебина 2006** — Лебина Н. Б. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: символы, контуры, знаки. СПб.: Дм. Буланин, 2006.
- Лебина 2007** — Лебина Н. Б. «Навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин...» Abortная политика как зеркало советской социальной заботы // Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность: Сб. ст. М.: ЦСПГИ; Вариант, 2007. С. 255–265.
- Лебина 2008** — Лебина Н. Б. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: символы, контуры, знаки. СПб.: Дм. Буланин, 2008 (2-е изд.).
- Лебина 2011a** — Лебина Н. Б. Лингвистические источники периода десталинизации в СССР // Новейшая история России. 2011. № 1. С. 19–26.
- Лебина 2011b** — Лебина Н. Б. Хлеб — имя прилагательное (новые документы о хлебном кризисе 1962–1963 гг.) // Новейшая история России. 2011. № 2. С. 210–220.
- Лебина 2014a** — Лебина Н. Б. «...В обстановке советских больниц...» (Новые документы о советской abortной политике 1930-х годов как части «большого террора») // Новейшая история России. СПб., 2014. № 2. С. 168–178.
- Лебина 2014b** — Лебина Н. Б. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — Оттепель. М.: Новое литературное обозрение, 2014. (2-е изд. — 2017.)
- Лебина 2015a** — Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М.: Новое литературное обозрение, 2015. (2-е изд. — 2016.)
- Лебина 2015b** — Лебина Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы: Деструкция большого стиля. Ленинград. 1950-е — 1960-е годы. СПб.: Крига; Победа, 2015.
- Лебина 2017** — Лебина Н. Б. «Что делает историю? — Тела». Революционная телесность в советской монументальной пропаганде // Теория моды. 2017. № 45. С. 141–158.
- Лебина, Белоцкая** — Лебина Н. Б., Белоцкая О. В. «Онэпивание» // Родина. 2000. № 6. С. 62–66.
- Лебина, Чистиков** — Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. СПб.: Дм. Буланин, 2003.
- Лебина, Шкаровский** — Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге. М.: Прогресс-Академия, 1994.
- Левинтов 2005a** — Левинтов А. Е. Выпивка и пьянка. М.: Яуза; Эксмо, 2005.

- Левинтов 2005b** — Левинтов А. Е. Жратва. М.: Яуза; Эксмо, 2005.
- Ленгубоно** — Информационный бюллетень Ленгубоно. 1924. № 8.
- Ленин** — Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М.: Политиздат, 1958–1966.
- Ленинец 1929a** — Ленинец. 1929. 2 сентября.
- Ленинец 1929b** — Ленинец. 1929. 12 сентября.
- Ленинец 1929c** — Ленинец. 1929. 17 сентября.
- Леонтьева** — Леонтьева С. «Он ведь с нашим знаменем цвета одного»: материалы к истории одного шейного платка // Теория моды. 2009. № 13. С. 237–257.
- Липатов 1975** — Липатов В. В. Деревенский детектив: Повести. М.: Сов. Россия, 1975.
- Липатов 1976** — Липатов В. В. И это все о нем // Роман-газета. 1976. № 8.
- Литвинов** — Литвинов Г. Стиляги: Как это было. СПб.: Амфора, 2009.
- Лихачев, Панченко, Понырко** — Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.
- Лишенцы** — Лишенцы / Публ. А. И. Добкина // Звенья. Альманах. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. С. 600–628.
- ЛП 1929** — Ленинградская правда. 1929. 9 июля.
- ЛП 1954** — Ленинградская правда. 1954. 7 декабря.
- ЛП 1955a** — Ленинградская правда. 1955. 4 января.
- ЛП 1955b** — Ленинградская правда. 1955. 16 февраля.
- ЛП 1955c** — Ленинградская правда. 1955. 19 марта.
- ЛП 1955d** — Ленинградская правда. 1955. 24 марта.
- ЛП 1955e** — Ленинградская правда. 1955. 28 июня.
- ЛП 1955f** — Ленинградская правда. 1955. 23 августа.
- ЛП 1955g** — Ленинградская правда. 1955. 22 октября.
- ЛП 1955h** — Ленинградская правда. 1955. 12 ноября.
- ЛП 1955i** — Ленинградская правда. 1955. 13 ноября.
- ЛП 1956** — Ленинградская правда. 1956. 13 января.
- ЛП 1957** — Ленинградская правда. 1957. 20 января.
- ЛП 1958a** — Ленинградская правда. 1958. 10 августа.
- ЛП 1958b** — Ленинградская правда. 1958. 28 ноября.
- ЛП 1958c** — Ленинградская правда. 1958. 10 декабря.
- ЛП 1959a** — Ленинградская правда. 1959. 4 октября.
- ЛП 1959b** — Ленинградская правда. 1959. 3 ноября.
- ЛП 1959c** — Ленинградская правда. 1959. 5 декабря.

- ЛП 1960а — Ленинградская правда. 1960. 4 января.
- ЛП 1961b — Ленинградская правда. 1961. 12 января.
- ЛП 1961с — Ленинградская правда. 1961. 20 апреля.
- ЛП 1961d — Ленинградская правда. 1961. 20 мая.
- ЛП 1961е — Ленинградская правда. 1961. 6 июня.
- ЛП 1962a — Ленинградская правда. 1962. 9 янв.
- ЛП 1962b — Ленинградская правда. 1962. 10 февраля.
- ЛП 1962с — Ленинградская правда. 1962. 14 февраля.
- ЛП 1963a — Ленинградская правда. 1963. 22 сентября.
- ЛП 1963b — Ленинградская правда. 1963. 27 октября.
- ЛП 1963с — Ленинградская правда. 1963. 30 октября.
- ЛП 1964 — Ленинградская правда. 1964. 11 февраля.
- Лурье — Лурье Э. В. Дальний архив. 1922–1959. Семейная история в документах, дневниках, письмах. СПб.: Нестор-История, 2007.
- Люди Сталинградского тракторного — Люди Сталинградского тракторного. М.: ОГИЗ, 1934.
- Маврина — Маврина К. П. Кройка и шитье: Конструирование, моделирование и технология пошива одежды. Л.: Лениздат, 1960.
- Максимова — Максимова Т. Я родом из «хрущевки» // Родина. 2006. № 8. С. 19–20.
- Малевич — Малевич К. О музее // Искусство революции. 1919. 23 февраля.
- Малиновский — Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.
- Маньков — Маньков А. Г. Дневник маленького человека // Звезда. 1994. № 5. С. 134–168.
- Марков — Марков А. Р. Был ли секс при советской власти? // Родина. 1995. № 9. С. 51–55.
- Маркс, Энгельс — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Изд-во политической литературы, 1961. Т. 18. С. 203–284.
- Марчуков — Марчуков А. Маленький мир с маленькими людьми // Родина. 2002. № 2. С. 81–86.
- Маршак — Маршак М. С. Общественное питание сегодня и завтра. М.: Нарпит, 1930.
- Маслов — Маслов Л. А. Кулинария: Учебник для школ кулинарного ученичества. М.: Госторгиздат, 1955.
- Матвеева — Матвеева Е. Ф. На верном пути. Л.: Лениздат, 1961.

- Маяковский** — Маяковский В. В. Сочинения в одном томе. М.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1941.
- Медведев** — Медведев М. Н. Страна кулинария. Л.: Лениздат, 1977.
- Меерович 2003** — Меерович М. Г. Жилищная политика в СССР и ее реализация в архитектурном проектировании (1917–1941 гг.) Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003.
- Меерович 2004** — Меерович М. Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. Жилищная политика в СССР. 1924–1937 гг. (социально-культурный и социально-организационный аспекты). Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004.
- Меерович 2008** — Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937. М.: РОССПЭН, 2008.
- Международная выставка** — Международная выставка «Обувь-69». Советские экспонаты. СССР, Москва, Сокольники. 24 сентября — 8 октября 1969 г. М., 1969.
- Мельникова** — Мельникова Н. В. Феномен закрытого атомного города. Екб.: Банк культурной информации, 2006.
- Мельниченко** — Мельниченко М. Советский анекдот: Указатель сюжетов. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Меркурьев-Мейерхольд** — Меркурьев-Мейерхольд П. В. Сначала я был маленьким: Книга о родителях Василии Меркурьеве и Ирине Мейерхольд. М.: Алгоритм, 2001.
- Мертон** — Мертон Р. К. Социальная структура и anomia // Социологические исследования. 1992. № 4. С. 91–96.
- Методическое письмо** — Методическое письмо по применению противозачаточных средств. Л.: Ленинградский городской отдел здравоохранения, 1959.
- Меттер** — Меттер И. М. Обида. Л.: Сов. писатель, 1960.
- Микоян** — Микоян А. И. Так было: Размышления о минувшем. М.: Вагриус, 1999.
- Минчковский 1969** — Минчковский А. М. Мы еще встретимся. Л.: Сов. писатель, 1969.
- Минчковский 1979** — Минчковский А. М. Мы еще встретимся. Небо за стеклами. Странные взрослые. Л.: Лениздат, 1979.
- Миронов** — Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб.: Дм. Буланин, 2003.

- Михайлова** — Михайлова И. Б. В нежных объятиях ласкового зверя: пушнина и меховые изделия в средневековой Руси XIV–XVI веков // Теория моды. 2013. № 27. С. 23–49.
- Михалков** — Михалков С. В. Дикари // Михалков С. В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М.: Худ. лит., 1982. С. 124–169.
- Модели одежды** — Модели одежды с чертежами кроя. Л.: Лениздат, 1968.
- Модели сезона** — Модели сезона. 1959. № 1.
- Мокиенко, Никитина** — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб.: Фолио-пресс, 1998.
- Молодая гвардия 1923a** — Молодая гвардия. 1923. № 3.
- Молодая гвардия 1923b** — Молодая гвардия. 1923. № 4–5.
- Молодежь СССР** — Молодежь СССР: Статистический сборник. М.: ЦУНХУ Госплана СССР, 1936.
- Молодожены** — Молодожены: Сб. ст. М.: Мысль, 1985.
- Молодой ленинец** — Молодой ленинец. 1924. 24 февраля.
- МСЭ-1** — Малая советская энциклопедия: В 10 т. М.: АО «Советская энциклопедия», 1928–1932.
- МСЭ-2** — Малая советская энциклопедия: В 10 т. М.: БСЭ, 1959.
- Мыррин** — Мыррин И. А. Бройлерное птицеводство. М.: Россельхозиздат, 1985.
- На линии огня** — На линии огня. Очерки истории волгоградской комсомолки. Волгоград: Ниж.-Волж. изд-во, 1970.
- На путях к новой школе** — На путях к новой школе. 1922. № 3.
- На смену** — На смену. 1922. 18 ноября.
- Нагибин** — Нагибин Ю. М. Рассказ синего лягушонка. М., 1991.
- Найман** — Найман А. Г. Славный конец бесславных поколений. М.: Вагриус, 1999.
- Народная борьба за трезвость** — Народная борьба за трезвость в русской истории: Материалы семинара... / Отв. ред. Р. Г. Скрынников, Н. А. Копанев. Л.: БАН СССР, 1989.
- Народное хозяйство 1968** — Народное хозяйство СССР в 1967 г. Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1968.
- Народное хозяйство 1982** — Народное хозяйство СССР. 1922–1982. Юбилейный статистический сборник. М.: Финансы и статистика, 1982.
- Нарский 2001** — Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1921 гг. М.: РОССПЭН, 2001.

- Нарский 2008** — Нарский И. В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (автобио- историко-графический роман). Челябинск: Энциклопедия, 2008.
- Нарский 2018** — Нарский И. В. Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- Научная медицина** — Научная медицина. 1926. № 6.
- Неделя** — Неделя. 1965. № 20.
- Нетрадиционная продукция** — Нетрадиционная продукция Горьковского автомобильного. Страницы истории Горьковского ОАО «ГАЗ». Нижний Новгород, 1999.
- НиЖ 1965** — Наука и жизнь. 1965. № 5.
- НиЖ 1966** — Наука и жизнь. 1966. № 3.
- Никончик** — Никончик О. К. Аборт и противозачаточные средства. Л.: Медгиз, 1961.
- НСИЗ 1971** — Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов. М.: Сов. энциклопедия, 1971.
- НСИЗ 1984** — Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов. М.: Рус. яз., 1984.
- НСИЗ 2014** — Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века: В 2 т. Т. 2. СПб.: Дм. Буланин, 2014.
- НЭС** — Новый энциклопедический словарь. Т. XXVII. Пг., 1916.
- О комсомоле и молодежи** — О комсомоле и молодежи. М.: Политиздат, 1970.
- О'Махоуни** — О'Махоуни М. Спорт в СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- Обертрейс** — Обертрейс Ю. «Бывшее» и «излишнее» — изменения социальных норм в жилищной сфере в 1920–1930-е годы // Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России, 1920–30-е гг. СПб.: Журнал «Нева», 2000. С. 75–98.
- Овчинников** — Овчинников В. Ф. Стихи разных лет. СПб.: Нестор, 2000.
- Огонек 1927** — Огонек. 1927. 11 декабря.
- Огонек 1930** — Огонек. 1930. 20 апреля.
- Огонек 1989** — Огонек. 1989. № 27.

- Одежда молодежи** — Одежда молодежи. Альбом: М.: Государственное научно-техническое изд-во литературы по легкой промышленности, 1959.
- Одиннадцатый съезд РКП(б)** — Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1961.
- Орлов** — Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М.: ГУ ВШЭ, 2010.
- Осипов, Золотарев** — Осипов А. И., Золотарев А. А. Приготовление кушаний из кроличьего мяса. М.: Жизнь; Знание, 1933.
- Осокина** — Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. М.: РОССПЭН, 1998.
- Островский** — Островский Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 1.
- Очерки ВЛКСМ** — Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ. Л.: Лениздат, 1969.
- Очерки истории Ленинграда** — Очерки истории Ленинграда. Т. 6. Л.: Изд-во АН СССР, 1970.
- Павлов** — Павлов А. Н. Делайте добро. СПб.: ВВМ, 2011.
- Память тела** — Память тела. Нижнее белье советской эпохи. Каталог выставки. СПб.: Гос. музей истории СПб., 2000.
- Панин** — Панин С. Хозяин улиц городских. Штрихи к портрету хулигана 1920-х годов // Родина. 2002. № 2. С. 92–94.
- Панова 1951** — Панова В. Ф. Спутники. Кружилиха. Ясный берег. Л.: Гослитиздат, 1951.
- Панова 1954** — Панова В. Ф. Времена года. Л.: Гослитиздат, 1954.
- Панова 1980** — Панова В. Ф. О моей жизни, книгах и читателях. Л.: Сов. писатель, 1980.
- Панова 1983** — Панова В. Ф. Времена года. Л.: Сов. писатель, 1983.
- Паперный** — Паперный В. З. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- Пармон** — Пармон Ф. М. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1985.
- Партийная этика** — Партийная этика: Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М.: Политиздат, 1989.
- Паустовский 1957** — Паустовский К. Г. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1957.
- Паустовский 1961** — Паустовский К. Г. Время больших ожиданий. Одесса: Кн. изд-во, 1961.

- Перемышлев** — Перемышлев Е. Заочная ставка: Л. Овалов и майор Пронин // Новое литературное обозрение. 2006. № 4. С. 221–251.
- Песенник** — Песенник революционных, антирелигиозных, комсомольских и украинских песен, собранных для массового пения преподавателей Ком. университета им. Свердлова К. Поставничевым. М.: [б.и.], 1923.
- Петкевич** — Петкевич И. Г. Плач по красной суке. СПб.: Амфора, 2000.
- Петроград на переломе** — Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. СПб.: Дм. Буланин, 2000.
- Петроградский Совет** — Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году: Документы и материалы. Л.: Наука, 1991.
- Пиир** — Пиир А. (Само)управление в петроградских/ленинградских жилых домах. 1. Домовые комитеты (1917–1921) // Антропологический форум. 2012. № 17. С. 175–218.
- Пирожкова** — Пирожкова В. А. Потерянное поколение. СПб.: Журнал «Нева», 1998.
- По страницам самиздата** — По страницам самиздата. М.: Молодая гвардия, 1990.
- Подорога** — Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995.
- Полвека труда и строительства** — Полвека труда и строительства. История Ярославского ордена Ленина автомобильного завода. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1966.
- Полтора века** — Полтора века: Очерки, документы, воспоминания, материалы, посвященные 150-летней истории комбината б. Карточной фабрики. Л., 1969.
- Попов** — Попов В. Г. Запомните нас такими. СПб.: Звезда, 2003.
- Поссе** — Поссе В. А. Голод и НЭП // Русское прошлое. № 4. СПб., 1993. С. 288–329.
- Постановление ВС** — Постановление Верховного Совета РСФСР 15 июня 1960 года «О работе органов ЗАГС в РСФСР».
- Постановления об охране здоровья** — Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. М.: Медгиз, 1958.
- Потехин** — Потехин М. Н. Петроградская трудовая коммуна. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
- ПП 1920** — Петроградская правда. 1920. 22 июня.
- ПП 1922** — Петроградская правда. 1922. 3 июня.

- Правда 1917** — Правда. 1917. 3 ноября.
- Правда 1923** — Правда. 1923. 14 июля.
- Правда 1930a** — Правда. 1930. 29 мая.
- Правда 1930b** — Правда. 1930. 1 августа.
- Правда 1935** — Правда. 1935. 28 декабря.
- Правда 1991** — Правда. 1991. 16 февраля.
- Право на жилую площадь** — Право на жилую площадь. Сборник руководящих нормативных актов и судебной практики по применению жилищного законодательства. Л.: Лениздат, 1973.
- Программа КПСС** — Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Госполитиздат, 1962.
- Продовольственная программа** — Продовольственная программа — путь к изобилию. М.: Госполитиздат, 1982.
- Проституция и преступность** — Проституция и преступность. М.: Юр. лит., 1991.
- Пруденский** — Пруденский Г. А. Время и труд. М.: Мысль, 1964.
- Пушка 1926a** — Пушка. 1926. № 7.
- Пушка 1926b** — Пушка. 1926. № 22.
- Пушка 1927** — Пушка. 1927. № 51.
- Пушкарева** — Пушкарева Н. Л. Гендерная система советской России и судьбы россиянок // Новое литературное обозрение. 2012. № 5. С. 8–23.
- Пушкарева, Любичанковский** — Пушкарева Н. Л., Любичанковский С. В. Понимание истории повседневности в современном историческом исследовании: от Школы Анналов к российской философской школе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 4. История. № 1. С. 7–21.
- Рабинович** — Рабинович М. Б. Воспоминания долгой жизни. СПб.: Фонд регионал. разв. СПб., 1996.
- Работница 1955** — Работница 1955. № 10.
- Работница 1956a** — Работница. 1956. № 5.
- Работница 1956b** — Работница. 1956. № 9.
- Работница 1956c** — Работница. 1956. № 12.
- Работница 1957a** — Работница. 1957. № 2.
- Работница 1957b** — Работница. 1957. № 12.
- Работница 1958** — Работница. 1958. № 9.
- Работница 1960a** — Работница. 1960. № 2.

- Работница 1960b** — Работница 1960. № 4.
- Работница 1960c** — Работница. 1960. № 5.
- Работница 1960d** — Работница. 1960. № 9.
- Работница 1960e** — Работница. 1960. № 12.
- Работница 1961a** — Работница. 1961. № 1.
- Работница 1961b** — Работница. 1961. № 4.
- Работница 1961c** — Работница. 1961. № 8.
- Работница 1961d** — Работница. 1961. № 10.
- Работница 1961e** — Работница. 1961. № 12.
- Работница 1962a** — Работница. 1962. № 1.
- Работница 1962b** — Работница. 1962. № 5.
- Работница 1964** — Работница. 1964. № 7.
- Рабочая газета** — Рабочая газета. 1924. 9 января.
- Рабочий класс СССР 1969** — Рабочий класс СССР (1951–1965 гг.).
М.: Наука, 1969.
- Рабочий класс СССР 1979** — Рабочий класс СССР (1966–1970 гг.).
М.: Наука, 1979.
- Рабочий край 1920** — Рабочий край. 1920. 28 октября.
- Рабочий край 1921** — Рабочий край. 1921. 14 декабря.
- Рабочий суд** — Рабочий суд. 1925. № 7–8.
- Разумовский** — Разумовский Л. С. Дети блокады // Нева. 1999. № 1.
Сетевая версия: <http://berkovich-zametki.com/2013/Starina/Nomer2/LRazumovskiy.php>. Дата обращения: 14.05.2018.
- Райкина** — Райкина М. Галина Волчек как правило вне правил. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
- Райх** — Райх В. Сексуальная революция. СПб.: Универ. книга; М.: АСТ, 1997.
- Раскрывая первые страницы** — Раскрывая первые страницы: К истории города Снежинска (Челябинска-70). Екб.: Уральский рабочий, 1997.
- Рафикова** — Рафикова С. Сибирский стилиста. Нонконформизм на провинциальной почве // Родина. 2010. № 9. С. 149–152.
- Революция и культура** — Революция и культура. 1928. № 3–4.
- Рейн** — Рейн Е. Б. Мне скучно без Довлатова. СПб.: Лимбус Пресс, 1997.
- Ремизов** — Ремизов А. М. Дневник 1917–1921 гг. // Минувшее. Т. 16. 1994. С. 407–549.

- Ривош** — Ривош Я. Н. *Время и вещи: Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века*. М.: Искусство, 1990;
- Рижские моды** — Рижские моды. 1961–1962. Рига, 1961.
- Рожков** — Рожков А. Ю. *В кругу сверстников. Жизненный путь молодого человека в Советской России 1920-х годов*. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Романов** — Романов П. С. *Светлые сны: Роман, рассказы*. М.: Моск. рабочий, 1990.
- Российская цивилизация** — Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь. М.: Республика, 2001.
- Роткирх** — Роткирх А. *Мужской вопрос: любовь и секс трех поколений в автобиографиях петербуржцев*. СПб.: Изд-во ЕУ СПб., 2011.
- РПИП 1968a** — Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: В 5 т. Т. 4: 1953–1961 годы. М.: Политиздат, 1968.
- РПИП 1968b** — Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: В 5 т. Т. 5: 1962–1965 годы. М.: Политиздат, 1968.
- Рубакин** — Рубакин Н. А. *Этюды о русской читающей публике // Рубакин Н. А. Избранное: В 2 т. Т. 1*. М.: Книга, 1975. С. 35–106.
- Рубинштейн** — Рубинштейн М. М. *Юность по дневникам и автобиографическим записям*. М.: Высш. педаг. курсы при Моск. высш. техн. училище, 1928.
- Руднев** — Руднев В. П. *Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты*. М.: Аграф, 2003.
- Рыбаков** — Рыбаков А. Н. *Приключения Кроша. Каникулы Кроша. Неизвестный солдат: Повести*. М.: Эксмо, 2007.
- Савкина** — Савкина И. Л. *«Мои простые записки»: модели самоидентификации в дневнике Нины Лашиной // Шаги/Steps*. 2017. Т. 3. № 1. С. 136–157.
- Саган** — Саган Ф. *Ангел-хранитель / Пер. с фр. И. Комина и др.* М.: Эксмо, 2003.
- Садвокасова** — Садвокасова Е. А. *Социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи*. М.: Медицина, 1969.
- Санин** — Санин В. М. *Семьдесят два градуса ниже нуля // Роман-газета*. 1976. № 13.
- Сафонов** — Сафонов М. *Краткий курс «Beatles story» // Родина*. 2003. № 5–6. С. 174–176.
- Свет и тени** — Свет и тени «великого десятилетия». Н. С. Хрущев и его время. Л.: Лениздат, 1989.

- Свешников** — Свешников Н. И. Воспоминания пропавшего человека. М.; Л.: Academia, 1930.
- Свиньина** — Свиньина Е. А. Письма в Париж (1922–1938) // Звезда. 1997. № 11. С. 40–79.
- Северный комсомолец** — Северный комсомолец. 1924. 2 марта.
- Серебряный век** — Серебряный век. Мемуары. М.: Известия, 1990.
- СЗ СССР 1924** — Собрание законов СССР. 1924. № 27. Ст. 233.
- СЗ СССР 1928** — Собрание законов СССР. 1928. № 27. Ст. 249.
- СЗ СССР 1934** — Собрание законов СССР. 1934. № 56. Ст. 422.
- Скрябина** — Скрябина Е. А. Страницы жизни. М.: Прогресс-Академия, 1994.
- Слезин** — Слезин А. А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. // Вопросы истории. 2010. № 12. С. 82–91.
- Словцов** — Словцов Б. И. О суррогатах мяса. Пг.: Гос. изд-во, 1922.
- Смена-1 1923** — Смена. 1923. 22 сентября*.
- Смена-1 1924** — Смена. 1924. 15 января.
- Смена-2 1924** — Смена. 1924. № 3.
- Смена-2 1926** — Смена. 1926. № 16.
- Смена-2 1929** — Смена. 1929. № 19.
- Смена-2 1930** — Смена. 1930. № 10.
- Смена-2 1935** — Смена. 1935. 29 октября.
- Смена-2 1959** — Смена. 1959. 26 августа.
- Смирнов** — Смирнов И. П. Социософия революции. СПб.: Алетейя, 2004.
- Смолин** — Смолин А. В. Стенограммы вечеров воспоминаний как исторический источник (По материалам стенографических записей воспоминаний участников обороны Петрограда в 1919 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. 1985. № XVI. С. 245–253.
- Снопков, Снопков, Шклярук** — Снопков А. Е., Снопков П. А., Шклярук А. Ф. Шестьсот плакатов. М.: Контакт-Культура, 2004.
- Советская архитектура** — Советская архитектура. 1955. № 7.
- Советская жизнь** — Советская жизнь. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 2003.
- Советская культура 1964** — Советская культура. 1964. 20 февраля.
- Советская культура 1989** — Советская культура. 1989. 29 августа.

* Газета «Смена» обозначена как Смена-1, журнал с тем же названием — как Смена-2.

- Советский образ жизни** — Советский образ жизни. Состояние, мнения и оценки советских людей. М.: ИСИ, 1984.
- Советский спорт** — Советский спорт. 1966. 8 декабря.
- Социология** — Социология в Ленинграде–Санкт-Петербурге во второй половине XX века. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
- СПР** — Справочник партийного работника. Вып. 2. М., 1959.
- Справочник физкультурника** — Справочник физкультурника Ленинградской области на летний сезон 1938 года. Л., 1938.
- СРЯ** — Словарь русского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1981–1984.
- Сталин** — Сталин И. В. Сочинения. Т. 10. М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит., 1949.
- Стеорн** — Стеорн П. Мужчина может быть привлекательным и немного сексуальным. Трансформация концепта маскулинности и стиль унисекс в Швеции 1960–1970-х годов // Теория моды. 2011/2012. № 22. С. 53–69.
- Страна Советов** — Страна Советов за 50 лет. Сборник статистических материалов. М.: Статистика, 1967.
- Стрельцова** — Стрельцова А. Л. «Красный треугольник». Л.: Лениздат, 1978.
- Строительство Москвы** — Строительство Москвы. 1926. № 6.
- Струмилин** — Струмилин С. Г. Избранные произведения: В 5 т. Т. 3. М.: Наука, 1964.
- Стяжкина, Мирошниченко** — Стяжкина Е. В., Мирошниченко И. М. Abortивное табу 1936 г.: дискуссии в региональной прессе Донбасса // Былые годы. 2012. № 2 (24). С. 28–35.
- СУ РСФСР 1921** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1921. № 10. Ст. 67.
- СУ РСФСР 1923** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1923. № 76. Ст. 741.
- СУ РСФСР 1924** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1924. № 68. Ст. 673.
- СУ РСФСР 1927a** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1927. № 80. Ст. 535.
- СУ РСФСР 1927b** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1927. № 118. Ст. 800.
- СУ РСФСР 1928** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1928. № 8. Ст. 70.
- СУ РСФСР 1929a** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1929. № 33. Ст. 339.

- СУ РСФСР 1929b** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1929. № 60. Ст. 598.
- СУ РСФСР 1932** — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 9. Ст. 87.
- Сумерки Сайгона** — Сумерки Сайгона. СПб.: Zamizdat, 2009.
- Съезд архитекторов** — Третий всесоюзный съезд советских архитекторов. 18–20 мая 1961 г. Сокращенный стенографический отчет. М.: Госстройиздат, 1962.
- Такала** — Такала И. Р. Веселие Руси. История алкогольной проблемы в России. СПб.: Журнал «Нева», 2002.
- Таланцева** — Таланцева О. Ф. Человек в костюме: опыт семиотического исследования. Мн.: БГУ, 2012.
- Таранов** — Таранов Е. Хрущевки. Этажи «Великого десятилетия» // Родина. 2002. № 1. С. 81–86.
- Тарзан в своем отечестве** — Тарзан в своем отечестве // Пчела. 1997. № 11. С. 20–28.
- Тимина** — Тимина С. И. Культурный Петербург: ДИСК. 1920-е гг. СПб.: Logos, 2001.
- Товарищ комсомол** — Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ. 1918–1968. М.: Молодая гвардия, 1969.
- Токарева** — Токарева В. Ничего особенного. СПб.: Азбука, 2015.
- Толстая-Воейкова** — Русская семья в водовороте «Великого перелома»: письма О. А. Толстой-Воейковой, 1927–1929 гг. СПб.: Нестор-история, 2005.
- Триста полезных советов** — Триста полезных советов по домоводству. Л.: Лениздат, 1957.
- Трифонов 1985a** — Трифонов Ю. В. Как наше слово отзовется... М.: Сов. Россия, 1985.
- Трифонов 1985b** — Трифонов Ю. В. Предварительные итоги: Роман, повести, рассказы. Кишинев: Литература артистикэ, 1985.
- Трифонов 1987** — Трифонов Ю. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Худ. лит., 1987.
- Троцкий** — Троцкий Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. М.: Панорама, 1991.
- Труд** — Труд. 1967. 6 июня.
- Труды ЛИИПЗ** — Труды Ленинградского института по изучению профессиональных заболеваний. Т. 1: Профессиональные болезни котельщиков-пневматиков. Л.: Ленингр. губздравотдел, 1926.

- Труфанов** — Труфанов И. П. Проблемы быта городского населения СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973.
- ТСРЯ 1940** — Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Советская энциклопедия», 1935–1940.
- ТСРЯ 1949** — Толковый словарь русского языка / Под ред. С. И. Ожегова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1949.
- Тюпа** — Тюпа В. И. Кризис советской ментальности в 1960-е гг. // Социокультурный феномен шестидесятых. М.: РГГУ, 2008. С. 11–27.
- Тяжелникова** — Тяжелникова В. С. Самоубийства коммунистов в 1920-е гг. // Отечественная история. 1998. № 6. С. 158–173.
- УК РСФСР 1922** — Уголовный кодекс РСФСР. М., 1922.
- УК РСФСР 1946a** — Уголовный кодекс РСФСР. М., 1946.
- УК РСФСР 1946b** — Уголовный кодекс РСФСР. Комментарии. М., 1946.
- Указ 1974** — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1974 года «Об усилении борьбы с наркоманией» // <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4398#039137133180283223>. Дата обращения: 19.05.2018.
- Указ 1987** — Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 мая 1987 г. «О внесении изменений и дополнений в законодательство РСФСР об ответственности за административные правонарушения» // <https://base.garant.ru/1308723/> Дата обращения: 19.05.2018.
- Усманова** — Усманова А. «Девчата»: девичья честь и возраст любви в советской комедии 1960-х годов // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. М.: ЦСПГИ; Вариант, 2009.
- Утехин** — Утехин И. В. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2001.
- Уфлянд** — Уфлянд В. И. «Если Бог пошлет мне читателей...» СПб.: Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999.
- Учитесь шить** — Учитесь шить: В помощь начинающим. М., 1960.
- Фадеев** — Фадеев А. А. Молодая гвардия. Роман. Дополненное и переработанное издание. М.: Военное изд-во Военного министерства Союза ССР, 1952.
- Филимонов** — Филимонов Н. А. По новому руслу: Воспоминания. Л.: Лениздат, 1967.
- Финансовый бюллетень** — Финансовый бюллетень. 1925. № 7.
- Франкфурт** — Франкфурт Л. Рабочая молодежь и книга: Опыт обследования Выборгского района. М.; Л.: Мол. гвардия, 1929.
- Фрумкина** — Фрумкина Р. «Случайно на ноже карманном...» Шопинг по-советски // Теория моды. 2007. № 4. С. 221–230.

- Хан-Магомедов — Хан-Магомедов С. О.** Пионеры советского дизайна. М.: Галарт, 1995.
- Хармс — Дневниковые записи Даниила Хармса // Минувшее.** Т. 11. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. С. 417–583.
- Харчев — Харчев А. Г.** Брак и семья в СССР: Опыт социологического исследования. М.: Мысль, 1964.
- Харчев, Голод — Харчев А. Г., Голод С. И.** Молодежь и брак // Человек и общество: Ученые записки. Вып. VI: Социальные проблемы молодежи. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. С. 125–143.
- Хоффманн — Хоффманн Д. Л.** Возращивание масс. Модерное государство и советский социализм. 1914–1939. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- Хрущев — Хрущев Н. С.** Воспоминания. М.: Вагриус, 1997.
- Цендровская — Цендровская С. Н.** Крестовский остров от нэпа до снятия блокады // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. II. СПб.: Atheneum; Феникс, 1995. С. 80–94.
- Цориева — Цориева М. Т.** Советский периферийный город в условиях хлебного кризиса конца 1950-х — начала 1960-х гг. (по материалам города Орджоникидзе) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 9 (71). С. 217–220.
- Человек в кругу семьи — Человек в кругу семьи.** Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени / Под ред. Ю. А. Бессмертного. М.: Изд. центр РГГУ, 1996.
- Чистиков 1994 — Чистиков А. Н.** Тройка, семерка, туз // Родина. 1994. № 10. С. 44–45.
- Чистиков 2003 — Чистиков А. Н.** Остров Смольный // Родина. 2003. № 1. С. 134–137.
- Что читает рабочая молодежь — Что читает рабочая молодежь.** По материалам выборочного обследования московских рабочих библиотек. М.: Труд и книга, 1930.
- Чуковский — Чуковский К. И.** Дневник. 1901–1929. М.: Сов. писатель, 1991.
- Шагинян — Шагинян М. С.** Дневники. 1917–1931. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932.
- Шаттенберг — Шаттенберг С.** Техника — политична. О новой, советской культуре инженера в 30-е годы // Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России, 1920–30-е гг. СПб.: Журнал «Нева», 2000. С. 193–217.

- Шевельков** — Шевельков А. И. Аграрная политика и решение проблемы продовольственного обеспечения населения РСФСР во второй половине XX века // Аграрный вестник Урала. 2010. № 9 (75). С. 37–42.
- Шефнер 1976** — Шефнер В. С. Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде // Звезда. 1976. № 8. С. 11–66.
- Шефнер 1982** — Шефнер В. С. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. Л.: Худ. лит., 1982.
- Шефнер 1995** — Шефнер В. С. Бархатный путь // Звезда. 1995. № 4. С. 26–80.
- Шефнер 1999** — Шефнер В. С. Бархатный путь. СПб.: Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999.
- Шкаровский 1995** — Шкаровский М. В. Антицерковные гонения в Ленинградской епархии 1958–1964 // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. II. СПб.: Atheneum; Феникс, 1995. С. 123–168.
- Шкаровский 1997** — Шкаровский М. В. Семь имен «кошки»: расцвет наркомании в Ленинграде в 1917–1920 годы // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. III. СПб.: Atheneum; Феникс, 1997.
- Шкаровский 2006** — Шкаровский М. В. Строительство Петроградского (Ленинградского) крематория как средства борьбы с религией // Клио. 2006. № 3. С. 158–163.
- Шоломович** — Шоломович А. С. Кокаин и его жертвы: Научно-популярный очерк. М.: Жизнь и знание, 1926.
- Штерн 2001** — Штерн Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М.: Независимая газета, 2001.
- Штерн 2005** — Штерн Л. Довлатов — добрый мой приятель. СПб.: Азбука-классика, 2005.
- Штурман, Тиктин 1985** — Штурман Д., Тиктин С. Советский Союз в зеркале политического анекдота. L.: Overseas Publications Interchange, 1985.
- Штурман, Тиктин 1987** — Штурман Д., Тиктин С. Советский Союз в зеркале политического анекдота. Иерусалим: Экспресс, 1987.
- Шубин** — Шубин А. СССР в апогее: как мы жили // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). С. 13–35.
- Шукшин** — Шукшин В. М. Калина красная. Киноповести. Рассказы. М.: Эксмо-Пресс, 1999.
- Шульгин** — Шульгин В. В. Три столицы. М.: Современник, 1991.

- Щеглов** — Щеглов Ю. К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009.
- Экштут** — Экштут С. Предвестие свободы, или 1000 дней после Победы. М.: Дрофа-Плюс, 2006.
- Элтонтон** — Элтонтон Д. Как весело жилось в Ленинграде. История жизни английской семьи в России в 1933–1938 г. СПб.: Балтийские сезоны, 2003.
- ЭМ** — Энциклопедия моды. СПб.: Литера, 1997.
- Юмор серьезных писателей** — Юмор серьезных писателей. М.: Худ. лит., 1990.
- Юность 1960** — Юность. 1960. № 1.
- Юность 1965** — Юность. 1965. № 4.
- ЮП 1924a** — Юношеская правда. 1924. 5 января.
- ЮП 1924b** — Юношеская правда. 1924. 22 января.
- Юшкова** — Юшкова А. Александр Игманд: «Я одевал Брежнева...» М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- Яковлева 1964** — Яковлева С. М. К вопросу о противозачаточных средствах. Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1964.
- Яковлева 1966** — Яковлева С. М. Противозачаточные средства. М.: Медицина, 1966.
- XIII съезд ВЛКСМ** — XIII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М.: Мол. гвардия, 1959.
- XVII съезд ВКП(б)** — XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934.
- XXII съезд КПСС** — XXII съезд КПСС. 17–31 октября 1961 г. Стенографический отчет. Т. 1. М.: Гос. издат. полит. лит., 1962.
- 10 пятилеток** — 10 пятилеток ленинградцев. Л.: Лениздат, 1980.

Архивы

Архив Н. Б. Лебиной и О. Н. Годисова

Письмо от 15 июня 1961 г.

Письмо от 28 июля 1987 г.

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)

Ф. А 390. Оп. 10. Д. 181. Л. 147.

Ф. А 482. Оп. 11. Д. 87. Л. 13.

Музей С. М. Кирова

Ф. V. Д. 148. Л. 36.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГА СПИ)

Ф. М-1. Оп. 3. Д. 124. Л. 80.

Ф. М-1. Оп. 3. Д. 4. Л. 82.

Ф. М-1. Оп. 4. Д. 39. Л. 62.

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГА ИПД СПб)

Ф. 16. Оп. 1. Д. 174. Л. 9.

Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2332. Л. 47.

Ф. К-156. Оп. 1а. Д. 18. Л. 3.

Ф. К-157. Оп. 1. Д. 4. Л. 27-28.

Ф. К-202. Оп. 2. Д. 12. Л. 56.

Ф. К-202. Оп. 2. Д. 76а. Л. 34.

Ф. К-601. Оп. 1. Д. 1652. Л. 75.

Ф. К-601. Оп.1. Д. 537. Л. 5, 33, 61.

Ф. К-601. Оп. 1а. Д. 735. Л. 1, 11, 15.

Ф. К-601. Оп. 1а. Д. 735. Л. 17.

Ф. К-601. Оп. 1а. Д. 2332. Л. 115.

Ф. К-630. Оп. 1. Д. 33в. Л. 6.

Ф. К-776. Оп. 1. Д. 103. Л. 8.

Ф. К-881. Оп. 10. Д. 16. Л. 91.

Ф. К-1791. Оп. 1. Д. 10. Л. 6.

Центральный государственный архив научно-технической документации (ЦГА НТД)

Ф. 389. Оп. 1-4. Д. 145. Л. 114, 115.

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб)

Ф. 33. Оп. 2. Д. 560. Л. 38.

Ф. 142. Оп. 1. Д. 9. Л. 324.

Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 2.

- Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 4-4об.
 Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 24.
 Ф. 1000. Оп. 50. Д. 21. Л. 147, 180, 181.
 Ф. 1000. Оп. 66. Д. 12. Л. 33.
 Ф. 1001. Оп. 131. Д. 57. Л. 7.
 Ф. 1001. Оп. 1. Д. 302. Л. 307.
 Ф. 2071. Оп. 8. Д. 715. Л. 2.
 Ф. 2554. Оп. 2. Д. 57. Л. 4.
 Ф. 3199. Оп. 2. Д. 468. Л. 17-19.
 Ф. 3199. Оп. 2. Д. 468. Л. 93, 94.
 Ф. 3215. Оп. 1. Д. 89. Л. 10.
 Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1094. Л. 15-18.
 Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1135. Л. 13.
 Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 24.
 Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 37.
 Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 38.
 Ф. 7384. Оп. 37. Д. 300. Л. 491.
 Ф. 7384. Оп. 37. Д. 1334. Л. 6.
 Ф. 7384. Оп. 42. Д. 7. Л. 28.
 Ф. 7384. Оп. 42. Д. 41. Л. 92.
 Ф. 7384. Оп. 42. Д. 192. Л. 55.
 Ф. 7384. Оп. 42. Д. 197. Л. 47.
 Ф. 7884. Оп. 2. Д. 52. Л. 11.
 Ф. 7884. Оп. 2. Д. 52. Л. 27, 28.
 Ф. 7965. Оп. 1. Д. 392. Л. 12-13, 316-317, 318-319.
 Ф. 9156. Оп. 4. Д. 695. Л. 57.
 Ф. 9626. Оп. 1. Д. 19. Л. 1, 2.
 Ф. 9626. Оп. 1. Д. 255. Л. 30, 20.

УКАЗАТЕЛЬ·ИМЕН*

- Абрамов Ф. 108
Абросимов П. 277
Аджубей А. 69, 393, 441, 475
Азаров В. 413
Азерников В. 143
Аксакова Т. 361
Аксенов В. 24, 29, 30, 32, 33, 38, 67,
69, 87, 110, 111, 185, 210, 337, 338,
340, 342, 343-344, 377-378, 403,
440, 480, 495
Александров А. 275
Александров Г. 198
Александрова Д. 274
Алексеев И. 119
Алексеева Л. 310
Аллилуева С. 241
Ангарская М. 201
Андерсен Г. Х. 231
Андреади А. 412
Андреев А. 169
Андропов Ю. 55
Анка П. 342
Анненков Ю. 248-249, 316, 317
Аннинский Л. 463
Аполлинер Г. 490
Апухтин А. 490
Арнольд Р. 439
Аронович Г. 250
Астафьев В. 39
Ахеджакова Л. 497
Ахматова А. 234, 240
Бабаджян А. 343
Бальзак О. де 238
Бальмонт К. 246
Барбер С. 403
Бардо Б. 66, 106, 108, 305
Басина М. 467
Басов В. 143, 444
Бах И. С. 188
Бедный Д. 117
Бежанов Г. 35, 497
Безыменский А. 228
Бейлинсон В. 179
Белинский В. 87
Беловинский Л. 10, 21, 432, 465, 484
Белый А. 246
Беляев А. 22
Бенуа Л. 315
Беньямин В. 119, 267
Берберова Н. 191
Берггольц О. 195, 271
Бессарабов И. 93
Битов А. 49, 66, 130, 166, 188, 477
Блок А. 351

* В Указателе имен учитываются персоналии, но не названные их именами исторические явления (сталинизм, хрущевская оттепель, брежневский застой и т. п.): последние можно найти в Тематическом указателе.

- Бляхин П. 227
 Бобрышев И. 130
 Бобышев Д. 90, 111, 167, 462
 Богданов Н. 61, 192, 328
 Богословский Н. 376
 Бодунов И. 132, 212, 373, 434
 Бондаренко П. 129
 Бонди В. 245
 Борисов С. 21, 432, 484
 Бортко В. 496
 Боярский М. 207
 Брагинский Э. 398, 445, 497
 Брежнев Л. 10, 55, 498
 Брик Л. 147, 193, 300
 Брик О. 147
 Бродский И. 50, 92, 187, 188, 198,
 203, 275, 381
 Бронте Ш. 241
 Бронте Э. 241
 Бронштейн З. 265
 Бронштейн Н. 265
 Брумель В. 38
 Брыкин Н. 156
 Брюллов К. 355
 Брюсов В. 246
 Булгаков М. 42, 77, 97, 135, 208,
 246–249, 433
 Булганин Н. 402
 Бурдьё П. 33, 417
 Буссенар Л. 228, 242
 Бухарин Н. 226, 489
 Быховский Б. 375
- Вайнштейн О. 304–305
 Вайль П. 28, 31, 38, 84
 Вайшля И. 332
 Василевский Л. 173
 Васильев А. 138
 Введенский А. 121
 Вейнберг (семья) 231, 333
 Вейнберг Н. 231
- Велецкий Э. 490
 Велихов Е. 24
 Вересаев В. 61, 62, 79, 136, 140, 174,
 192, 231, 318, 326, 353, 467
 Верн Ж. 228
 Вертинская А. 22
 Вертинский А. 376
 Вечеслова Т. 46
 Визбор Ю. 463
 Вицин Г. 52, 344, 413
 Влади М. 65, 66, 258
 Владимиров И. 207
 Власов Ю. 38
 Вознесенский А. 38, 344
 Войнич Э. Л. 232
 Волков С. 50, 275
 Володин А. 50
 Волчек Берта 337
 Волчек Борис 473
 Волчек Г.
 Вольф-Израэль Е. 435
 Воробей Е. 330
 Ворошилов К. 402
 Высоцкий В. 38, 69, 236, 241, 258,
 400, 463
- Габиани А. 259
 Гагарин А. 354–355
 Гай-Гулина М. 309
 Гайдай Л. 51, 52, 53, 108, 215, 216,
 344, 384, 422, 458
 Галич А. 256, 376, 463
 Гарин-Михайловский Н. 232
 Гастев А. 81
 Генис А. 28, 31, 38, 84
 Герасимов С. 184
 Герман А. 149, 178
 Герман М. 11–12, 68, 127, 187, 199,
 380, 429, 458, 461, 473, 499
 Герман Ю. 125, 132–133, 149–150,
 154, 299, 371, 373, 439
 Герштейн Э. 123

- Гилинский Я. 259
 Гильен Н. 490
 Гинзбург Е. 240
 Гинзбург М. 271–272
 Гиппиус З. 350–351,
 Gladков Ф. 192, 228
 Глузский М. 444
 Говорухин С. 38, 69
 Говорушин К. 140
 Гоголь Н. 230, 232
 Годисов Л. 36, 275
 Годисов Н. 99, 220, 323–324, 327
 Годисов О. 35, 145
 Годисова О. 98, 219, 324–325, 327
 Голубева А. 282
 Горбачев М. 56, 144
 Городницкий А. 86, 482
 Горький М. 147, 205, 232, 247
 Готт К. 131
 Гранин Д. 81, 185, 299, 338, 341,
 439, 465, 495
 Гребнев А. 444
 Грекова И. 73
 Григорьев Б. 496
 Григорьев С. 157
 Григорьева И. 443
 Гримм Д. 315
 Гримм Я. и В. 231
 Гронов Ю. 15
 Грушин Б. 450
 Гумилев Л. 16
 Гумилев Н. 249, 317
 Гумилевский Л. 231
 Гурченко Л. 66
 Гусарова А. 73
 Гусев Д. 166
- Давидсон (студентка) 490–491
 Даль В. 39, 95, 115, 206, 224, 261,
 294, 382
 Данелия Г. 50, 166, 497
- Дашкова Т. 195
 Дементьев Н. 341
 Демьяненко А. 53
 Дербенев Л. 93
 Дервиз Т. 334, 336, 342
 Деревянский С. 461
 Добронравов Н. 69
 Довлатов С. 55, 204, 430
 Дозмарова-Харкевич Г. 37
 Долгоорукова Л. 444
 Доронина Т. 88, 142
 Достоевский Ф. 238
 Драгунский В. 411, 457
 Драйзер Т. 238
 Дрюон М. 242
 Дурбин Д. 62
 Дуров Б. 38
 Дуров Л. 456
 Дыховичный В. 458
 Дьяконов И. 356, 466
 Дьяконовы (семья) 356
 Дюма А. 242
 Дюма Ф. 21
 Дякин В. 238
- Евлахов И. 389
 Евтишкин Д. 362
 Евтишкина П. 362
 Евтушенко Е. 37, 88, 477
 Елисеев С. 266
 Есенин С. 239, 488–490
 Ефремов С. 323
- Жаров А. 228
 Житинский А. 364
 Житков Б. 449
 Жданов А. 326
 Жуков Н. 494
 Жуков Ю. 197
 Журавлев С. 15
 Жуховицкий Л. 11

- Заботкина О. 391
 Залкинд А. 172
 Замятин Е. 238, 270
 Здатни С. 59
 Зеленая Р. 392
 Земан Б. 131
 Зиновьев Г. 196, 265, 319
 Златковская К. 149
 Золотаревский П. 436
 Зощенко М. 235–236
- Иванов Вс. 228
 Иванов Г. 245
 Иванов С. 464
 Иванов Ю. 233
 Ивановский А. 198
 Игманд А. 84
 Извицкая И. 103, 444
 Измозик В. 62
 Ильин Л. 315
 Ильф И. 60, 153, 217, 320, 372, 407, 408, 417
 Исаев В. 110
 Исфандияри-Бахтиари С. 200
 Ишков А. 415
- Каганович Л. 229, 390
 Казавчинская Т. 305
 Казакевич Э. 47
 Казанский Г. 22
 Калинин М. 68
 Каменский В. 388, 398
 Каплер А. 67
 Каплун Б. 249, 285, 315, 317, 318
 Карден П. 497
 Карсавин Л. 294
 Кассиль Л. 342, 370
 Кастро Ф. 69, 394
 Катаев В. 197, 208
 Катасонова Е. 495–496
 Кашарель Ж. 497
 Кетлинская В. 434
- Ким Ю. 463
 Киплинг Р. 225
 Киров С. 196, 281, 282, 289–290, 294–295, 331
 Киришон В. 117
 Клейн Л. 182
 Климов Э. 401
 Князев В. 448
 Кобзон И. 89
 Козлов Ф. 388
 Коллонтай А. 172, 286
 Колтунович А. 436
 Комаров Н. 265
 Комас А. 330–331, 437
 Комиссаров П. 324
 Комлева Г. 101
 Кон И. 187
 Конецкий В. 67
 Конради А. 149
 Конради Г. 149
 Конт-Спонвиль А. 206
 Копелян Е. 444
 Коренев А. 143
 Коренев В. 22
 Корецкий В. 444
 Косарев А. 465
 Костюковский Я. 413
 Котелова Н. 383–384, 399
 Кочетов В. 111, 185, 306, 478
 Краснов А. 62
 Криницына М. 443
 Кристиан-Жак 66
 Крупская Н. 42, 228
 Кузнецов А. (актер) 103
 Кузнецов А. (писатель) 413
 Кузьмин Н. 270
 Кукин Ю. 463
 Куклин Л. 445
 Кулиджанов Л. 426
 Куликов И. 193
 Кумпан Е. 430, 458

- Кунин В. 92
 Купер Ф. 242
 Куприн А. 65, 244
 Куравлев Л. 482
 Куратов О. 161, 188
 Курдов В. 130, 213, 356
 Кусто Ж.-И. 21–22
- Ланской М. 335–336
 Ларионов А. 409
 Ласкин Б. 377
 Лебедев С. 82
 Лебин Б. 34, 374
 Лебин Д. 330–331
 Левинтов А. 410
 Ленин В. 16, 40, 42, 118, 136, 163,
 196, 225, 242, 264, 285, 323, 347,
 385, 447, 486
 Леонов Е. 50, 392, 445
 Леонов Л. 231
 Либединский Ю. 228
 Лилина З. 265, 319
 Липатов В. 13, 495
 Липин В. 317, 318
 Липкин Я. 276
 Липский О. 131
 Лихачев Д. 70, 239
 Лоллобриджида Д. 305
 Ломоносов М. 438
 Лондон Д. 241
 Лорка Ф. Г. 490
 Лукашевич Т. 159
 Луначарский А. 322, 349, 435
 Лунгин С. 401
 Луппиан Л. 207
 Лурье Э. 165, 391
 Луспекаев П. 88
- Макарова Л. 444
 Маковский К. 355
 Максимова Т. 390
- Маленков Г. 390
 Малевич К. 316
 Малинов Ю. 410
 Малышкин А. 228, 231
 Малюгин Л. 103
 Маньков А. 82, 130, 138, 139
 Маринина А. 310
 Мария-Антуанетта 404
 Маркус М. 289
 Масс В. 391
 Матвеева Н. 463
 Матушка В. 131
 Маяковский В. 61, 79, 147, 156,
 416, 489, 490
 Мейерхольд И. 418
 Мейлах Б. 462
 Мельниченко М. 56, 240
 Меньшиков Ф. 37
 Меркурьев В. 392, 418
 Меркурьев П. 418
 Мертенс Ф. 433
 Метальников Б. 426
 Метгер И. 149, 298
 Миансарова Т. 341
 Миллер А. 412
 Миллионщиков М. 375
 Миловы (семья) 46
 Микоян А. 44–45, 374, 411–412, 423
 Милютин Н. 272
 Минчковский А. 453, 456
 Миронов А. 444
 Миронченкова З. 375
 Митта А. 103
 Михайлова И. 432
 Михалков С. 24, 102, 104–105, 106
 Мишель А. 65
 Мокиенко В. 39, 432, 484
 Молотов В. 390
 Молоховец Е. 417
 Моргунов Е. 344
 Мордюкова Н. 215

- Нагибин Ю. 256, 376
 Назаров М. 162
 Назарова М. 67
 Найман А. 67, 87, 374, 375, 377
 Наппельбаум М. 137, 350
 Нарский И. 295, 345
 Натансон Г. 184
 Недоманский В. 473в
 Некрасов Н. 225
 Немцова З. 62
 Нивинский И. 191
 Никитина Т. 39, 432, 484
 Николаев А. 162
 Николаев И. 122, 147, 358–360
 Николаева Е. 121, 360
 Николаева Л. 279–280
 Николай II 42
 Никольская Т. 425
 Никулин Ю. 52, 344
 Новак В. 445
 Нойберт Р. 186
 Носков В. 145
 Нусинов И. 401
- Овалов Л. 234
 Овчинников В. 389, 392, 398
 Овчинников Вс. 389
 Оганесян Г. 114
 Ожегов С. 39, 450
 Окуджава Б. 103, 400, 463
 Олеша Ю. 25, 369, 376
 Оль А. 271
 Ольхина Н. 149
 О'Махоуни М. 26–28
 Орджоникидзе Г. 289
 Орлова Л. 470
 Оруэлл Д. 238
 Осипов Д. 320
 Островский А. 89
 Островский Н. 61, 232, 233, 326, 332
- Охинченко Е. 298
 Охинченко (семья) 310
 Ошанин Л. 89
- Павлов А. 337
 Павлов И. 351–352
 Панова В. 63, 68, 127, 166, 220–221, 268, 351, 364, 436, 470
 Пантелеев А. 349
 Пастернак Б. 240
 Паустовский К. 19, 135
 Пахмутова А. 69
 Пекуровская А. 37
 Перро Ш. 231
 Петкевич И. 181
 Петр I 57
 Петров А. 22, 343, 446
 Петров Е. 60, 153, 217, 320, 372, 407, 408, 417
 Петров-Водкин К. 190, 193
 Петровская Н. 246
 Петровский Б. 183
 Пирожкова В. 154
 Подешт Л. 341
 Подорога В. 262
 Позерн Б. 487
 Польш Х.-Й. 506
 Поляков В. 461
 Понтекорво Б. 34
 Понтекорво Т. 34
 Попов В. 240, 377
 Поссе В. 209, 212
 Постышев П. 124
 Потапов А. 354
 Преображенский Е. 226
 Прокофьев В. 233
 Протусевич М. 227
 Прохоров В. 83
 Пуговкин М. 392
 Пурышев А. 363
 Пурышева Ю. 362

- Пуччи Э. 477
 Пушкин А. 186, 232, 238, 240, 261
 Пырьев И. 196
- Рабинович М. 101
 Равенских Б. 159
 Радзинский Э. 184
 Радлов Н. 235–236
 Раевский Б. 305, 402
 Райх В. 177
 Ракин П. 149
 Раппапорт Г. 391
 Распутин Г. 239
 Рахилло И. 228
 Рашеев Н. 38
 Реар Л. 106
 Рейн Е. 84, 166, 199, 202, 424, 475
 Ремарк Э. М. 188
 Рембрандт 355
 Рест Б. 336
 Рёкк М. 62
 Ривкина А. 305, 402
 Рид Д. 226
 Рид Т. М. 241
 Риттенберг Т. 149
 Родченко А. 79, 80, 193
 Рождественский Р. 69
 Розов В. 161, 494
 Роллан Р. 232, 233
 Романов П. 60, 85, 195, 230, 231
 Ромм М. 166, 167, 184
 Ротов К. 409
 Рубинович Л. 227
 Рубинштейн С. 212
 Руденков В. 331
 Руднев В. 8
 Русаков А. 356
 Рыбаков А. 111, 480
 Рыков А. 41–42
 Рытов В. 415
- Рэнсон А. 433
 Рязанов Э. 335, 377, 398, 445, 495, 497
 Рязский Г. 193, 196
- Сабатини Р. 242
 Саблин И. 227
 Савкина И. 18
 Саган Ф. 202
 Сажин В. 241, 411, 431
 Сажина Н. 411, 431
 Сажины (семья) 380
 Салтыков А. 103
 Самойлов Л. 185
 Самойлова Т. 161
 Самохвалов А. 26, 197
 Санд Ж. 242
 Санин В. 144
 Сафонов М. 71, 463
 Светлов М. 228, 376
 Свиньин А. 300
 Свиньи́на Е. 300–301, 363
 Северянин И. 77
 Сейфуллина Л. 228, 232
 Семашко Н. 272, 288
 Семенова Л. 56–57
 Серафимович А. 228
 Сиверс А. 361
 Симонов Г. 277
 Симонов К. 490
 Скьяпарелли Э. 97
 Скрябина Е. 122, 123, 300
 Слободской М. 413, 458
 Смидович С. 490–491, 493
 Смирнов А. 53
 Смирнов Н. 481
 Соболев Г. 407
 Собчак А. 310
 Солженицын А. 240
 Соллогуб В. 76
 Сологуб Ф. 314
 Солоухин В. 70

- Сомов В. 490
 Сорокин К. 391
 Спесивцева О. 317
 Срединская Н. 410
 Стайтс Р. 263
 Сталин И. 21, 25, 42, 45, 84, 127,
 159, 176, 203, 241, 327, 335, 389,
 402, 417, 418, 431, 494
 Стриженова Т. 482
 Струмилин С. 299, 448
 Сулович Р. 461
 Сымонович Ч. 33
 Тарасов С. 38
 Тарковский А. 79
 Твардовский А. 490
 Тейлор Ф. 81
 Тендряков В. 36
 Терешкова В. 162
 Тихоненко В. 376
 Токарева В. 482
 Толстой А. Н. 59, 190, 194, 247
 Толстой Д. 403
 Толстой Л. 232, 238, 244
 Торндайк Андре 405
 Торндайк Аннели 405
 Трифонов Ю. 143, 410, 495, 500–501
 Троцкий Л. 40, 155, 172, 265, 267, 315
 Трушков В. 466
 Тупиков П. 227
 Тургенев И. 171, 232
 Тутьшкин А. 103
 Тучкевич В. 204
 Успенский Л. 227
 Уфлянд В. 69
 Ушаков Д. 39, 224, 255, 261, 382, 450
 Уэллс Г. 238
 Федорова Л. 162
 Фетин В. 67, 496
 Филиппов С. 391, 444
 Флярковский А. 93
 Фогельсон С. 22
 Фокин Н. 360
 Фомин И. 317
 Фрейндлих А. 207, 497
 Фрумкина Р. 479
 Фрэнсис Д. 210
 Фурманов Д. 232
 Хармс Д. 84–85, 86, 356
 Харчев А. 279–280
 Хейфиц И. 149
 Хемингуэй Э. 50, 68, 477, 489
 Хепберн О. 199
 Хиль Э. 392, 445
 Хмельницкая Т. 430, 458
 Хрущев Н. 48, 50, 51, 69, 150, 204,
 222, 311, 382, 383, 384, 386, 388,
 390, 393, 394, 397, 398, 401, 403,
 405, 407, 408, 409, 422, 428, 441,
 442, 475, 478
 Хряков А. 277
 Цага В. 443
 Цейров Ю. 412
 Цендровская С. 123, 214
 Чарская Л. 225
 Чарушин Е. 356
 Червинский М. 391
 Чехов А. 233, 241
 Чеботарев В. 22
 Черненко М. 197
 Честертон Г. К. 242
 Чех В. 65
 Чирков Н. 46, 99, 132, 139, 320, 331
 Чиркова Е. 46, 133, 296, 373, 437
 Чистиков А. 145
 Чичерин Г. 175, 226
 Чуковский К. 96, 99, 116, 118, 225,
 317, 485

Чулюкин Ю. 110, 184

Чурсинов Н. 443

Чурсинова В. 443

Чурсинова Т. 443

Чухрай Г. 103, 444

Шагинян М. 228

Шатров С. 444

Швейгольц В. 90

Шекрот А. (Галич) 38

Шепилов Д. 390

Шеридан Э. 62

Шефнер В. 81, 146, 213, 230, 476

Шкаровский М. 280–281

Шоломович А. 253

Шолохов М. 232

Шостакович Д. 391–392

Шредель В. 444

Шукшин В. 58

Шульгин В. 208, 471

Щеглов Ю. 320

Эйм Ж. 106

Эйрамджан А. 35

Элтон Д. 197

Юденич Н. 246

Юдин К. 198, 437

Ягода Г. 176, 457

Ярославский Е. 173, 226, 325, 486

Яцкевич О. 102, 335, 440

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аборт 172, 177–183, 490–491, 505
аборт криминальный 178–180,
182, 502
- Автомат 49–50, 368, 370, 377–378,
422–423, 424, 426, 427, 430
- Автомобиль 102–104, 106, 113, 163,
205, 215, 217, 289, 384, 471, 496,
499
- Автостоп 111–113
- Автотуризм 102–103
- Азарт 127, 128, 206–223
- Азартные игры 42, 206–214
- Академия наук 15, 33, 34, 35, 56,
87, 145, 148, 150, 151, 223, 237, 238,
274, 305, 375, 469, 472, 479, 480,
481, 490
- Акваланг 21–23, 38
- Алкоголизм 44, 46, 207, 214, 253,
287, 291, 484, 503
- Алкоголик 32, 44, 47, 53, 244, 255
- Алкоголь 39–57, 161, 165, 167, 169–
170, 229, 243–244, 246, 253, 257,
425
- Английский костюм 433, 473–
475
- Андроповка 55
- Анекдот 7, 10–11, 14, 31, 42, 51, 56,
137, 169, 178, 179, 218, 222, 240,
292, 321, 323, 332, 394, 399, 402,
405, 407, 410–411, 415, 461, 506.
- Антабус 52
- Антропологизация 500, 502, 504
- Антропологический поворот
7, 14, 352
- Архитектура 25, 139, 140, 268–272,
277, 311, 315, 318, 320, 368, 370, 384,
386–390, 392, 397–399, 494
- «Бабетта» 66
- «Бадузан» 394–395
- Бадминтон 33–34
- Бал 120, 329, 331, 333–335, 344
- Бар 49–50
- Бармен 50
- Безалкогольная свадьба 169–170
- Белье 106–107, 126, 302, 355, 451
- Бензин 78–80, 103
- «Березка» 55
- Берет 196–197, 199, 476
- Библиотека 225–226, 228–230, 232,
263, 370, 480, 489
домашняя библиотека 232, 238–
239, 302, 383, 384, 496, 503
- Бикини 106, 108–109
- Блейзер 497
- Блокада 17, 46, 91, 99, 132, 233, 334,
362, 363, 404, 407
- Болонья 475–476, 483
- Большой стиль 9, 25, 26, 102, 277,
325, 326, 334, 335, 373, 374, 376, 385,
392, 417, 425, 435, 446, 460, 473
- Борода 59, 61, 64, 68–71, 72, 464
- Бормотуха 39, 41, 45, 50, 54–55, 57,
502
- Бостон (вальс) 333
- Бостон (ткань) 198, 299, 473–474

- Брак 153–170, 171, 172, 185, 313, 321, 493, 504
 Бракосочетание 153–170
 Бродвейка 67–68
 Бройлер 409–411
 Брюки 30, 31, 87, 104, 194, 302, 338, 438, 468, 476–483, 494, 497
 Буги-вуги 335–336
 Буденовка 192, 470
 Буржуйка 135
 «Бывшие» 85, 119, 137, 194, 300, 350, 363, 493
 Быт 7–11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 48, 49, 52, 54, 72, 73, 74, 83, 86, 90, 101, 115, 118, 128, 134, 135, 143, 144, 145, 152, 155–156, 176, 183, 187, 190–191, 193, 195, 206, 214, 215, 223, 228, 230, 238, 240, 241, 244, 253, 257, 262, 267–271, 272–273, 279, 286, 292, 298, 306, 308, 311, 312, 314, 321, 323, 328, 333, 338, 339, 345, 351, 357, 366–370, 376, 377, 378, 381, 395, 400, 420, 424, 429, 432, 446, 447, 448, 451, 453, 456, 458, 460, 464, 470, 475, 482, 484–486, 488, 492–494, 496, 500–506
 Бытовизация 502, 504, 506
 Бытовой коллектив 276
 Валеологический подход (стиль) 372, 419, 431
 Вельветы 94, 203, 482
 Венчание 154–155, 157–168, 322
 «Весна» 164–165
 Вестернизация 339, 416, 425, 427
 Вестиментарный код 9, 432, 433
 Вечера поэзии 490
 «Вещизм» 18, 494–496, 498
 Винные погромы. 40
 «Внешпосылторг» 144
 Водка 41–44, 46–47, 50, 51
 «Водочная монополия» 41–43, 47, 48, 51, 54–56, 57, 243, 249, 471
 Военизация 26, 28, 30, 84, 465, 467, 471
 Волосатик 58–60, 71, 505
 Воспоминания 7, 12, 13, 17, 19, 40, 42, 46, 48, 56, 60, 67, 68, 83, 87, 88, 122, 123, 125, 128, 130, 135, 139, 140, 196, 200, 202, 209, 213, 223, 259, 265, 276, 279, 280, 282, 289, 380, 381, 382, 288, 403, 410, 413, 420, 423, 434, 441, 465, 466, 471, 499, 502
 Вселение 263, 348–349, 351–352, 354, 361, 364, 390
 Выигрыш 206, 213, 216–218, 220–221
 Высотки 385, 438
 Вырезвитель 32, 52
 Вышивка 296, 298–301, 309, 310–311, 495
 Вязание 301, 309–310
 Габардин 299, 494
 «Гаванна» 394
 Галоши 76–83, 84, 89, 90–94
 Гарсон (стиль) 59–61, 194, 468
 Гендер 105, 168, 175, 191, 196, 305, 402, 439, 468, 470, 471, 479, 480, 482, 483
 Гитара 22, 69, 114, 400, 463
 «Голубой дунай» (чайная) 47, 49
 Голубой экран 461–462
 Гомосексуальность 171, 175–176, 182, 505
 Горжетка 437
 Город 7, 9, 10, 12–13, 27, 31, 36, 40, 47, 49, 68, 69, 74, 81, 92, 93, 102, 107, 110, 115, 117, 118, 122, 134, 135, 137, 139, 141, 145–147, 151, 161, 163, 165, 168, 193, 198, 201, 202, 203, 207, 209, 211, 213, 219, 228, 244, 254, 262, 265, 266, 270, 286, 290, 291, 292, 299, 307, 312, 314, 320, 321, 325, 328, 330, 332, 334, 348, 349, 356, 358, 369, 372–374, 378, 379, 380, 381, 385, 386, 388, 390, 391, 406, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 426, 428, 433, 445, 451, 461, 465, 471, 475, 480, 482, 485, 489, 492, 500–503, 506

- Гостиница 264, 266, 375, 380
 Гуманизация 160
- Давидсоновщина 490–491
 Дакрон 384
 Дача 33, 54, 145–150, 239, 402, 431, 462, 503
 Дачники 147–150
 Дачно-строительный кооператив (ДСК) 143, 147, 150
 Дворец бракосочетаний 162–165, 167, 504
 Деинтимизация 93
 Десоматизация 268
 Дефицит 9–13, 31, 75, 79, 91, 110, 111, 164, 182, 215, 222, 241, 308, 338, 411, 412, 415, 428, 430, 460, 475, 496, 497, 499, 504
 Джинсы 480–483, 497
 «Дикари» 24, 95, 101–102, 103, 104–105, 107, 108, 114, 505
 Дом академиков 34, 142, 305, 339, 397, 451, 458
 Дом-коммуна 140, 262, 269–272, 277
 Дом отдыха 95–96, 98, 147, 488
 Дом Советов 264–267
 Домовая кухня 378–381
 Домовой комитет (домком) 77, 136, 348, 349, 350, 361
 Домоводство 72, 107, 202, 301–302, 308, 309, 452
 Домоуправление 141, 361
 Досуг 21, 22, 27–28, 35, 49, 95–97, 102, 114, 115, 116, 119, 120, 206, 207, 212, 214, 225, 229, 231, 240, 253, 264, 328–345, 367, 448, 450, 451, 460–461, 464, 489, 490, 492, 501, 502, 503, 504, 505
 Дудочки 477
- Есенинщина 488–489
 Ёлка 115–129
- ЗАГС 153–155, 158–160, 163–165, 167, 169, 185, 321, 323, 504
 Заем 216–218, 220–223
 Закрытый город (ЗАТО) 12, 36
 Застой 10, 13, 14, 18, 35, 58, 67, 70, 75, 184, 203, 205, 214, 257, 381, 410, 414, 494
 брежневский застой 10, 18, 35, 58, 257, 381
- ЖАКТ 9, 134, 137–139
 Женщина (женское) 26, 33, 36–38, 47, 50, 59–67, 72, 73–75, 78, 80, 82, 88–91, 94, 87, 101, 105–108, 122, 138, 154, 156–157, 166, 171–174, 177–181, 183, 184, 185, 186–187, 189–203, 205, 210, 225, 228, 235, 269, 270, 280, 283–293, 294, 296, 298–305, 307–309, 330, 331, 332, 334, 341, 344, 347, 353, 361, 364, 367, 369, 372, 378, 380, 410, 426, 433, 434, 437, 439, 440, 442, 444, 446, 457, 467–468, 470, 471–480, 482, 483, 485, 490–491, 496–497, 503
 Жилищная кооперация 147
 Жилищная политика 9, 134, 136, 263, 355, 398
 Жилищный (квартирный) передел 16, 136, 137, 263, 346–352, 355, 360–361, 365, 502
 Жилищно-арендная кооперация 134, 137, 141
 Жилищно-строительная кооперация, ЖСК 139, 140, 141, 143 150
 Жилмассив 126, 269, 370
 Жилтоварищество 136, 137
 Жилье 9, 97, 101, 118, 134–141, 143, 144, 180, 233, 262–263, 266–273, 277–278, 288, 340, 348–352, 355–358, 360–361, 360, 367, 385–386, 390–393, 394, 397–398, 493, 501, 504
- Игорный дом 207–209, 211–213
 Игральные карты (карты) 42, 206–208, 211, 212–214, 223, 485, 503

- Излишества 311, 384, 386–389, 488, 494
 Излишки 263, 350, 351, 361, 392
 Икра 12, 119, 376, 412, 414–415
 Импорт 72, 87, 88, 90, 108, 111, 420, 444, 445, 497
 Инверсия 115, 120, 159
 Интим 171–175, 187–188, 470
 Интимизация 150, 188, 505
 Интимность 65, 107, 187, 277, 506
 Ипподром 209–211, 503
 Искусственная кожа 90, 440
 Искусственная шуба 8, 443, 445, 446
 Искусственный мех 440–442, 444–446
 Календарь 116–117, 120, 123, 130, 132, 229
 Капрон 295–296, 441
 Карточки (карточная система распределения) 44, 47, 82, 98, 130, 159, 183, 271, 277, 369, 404–407, 412, 417, 429, 504
 Квартира 16, 46, 60, 91, 92, 123, 132, 134–136, 139–145, 150, 151, 159, 169, 180, 187, 205, 212–214, 235, 238, 239, 251, 259, 263, 266, 268–269, 271–273, 277, 339, 340, 347–356, 357, 359–365, 367, 370, 382, 386, 387, 390–394, 397–400, 426, 449, 451, 453, 456, 460, 461, 486, 487, 489, 496, 504
 Квартирный вопрос 16
 Квартировладелец 361
 Квартирохозяйева 142, 356
 Кеды 93, 114
 Кепка 30, 87, 191, 196, 202–203
 Клей «Момент» 259
 Кладбище 312, 315, 316, 318–321, 363
 Кожаная куртка (кожанка) 62, 192, 468–471, 480, 483
 Кожаная юбка 472
 Кокаин 246, 249–254, 423
 Кока-кола 423–424
 Коктейль 50, 425–426
 Колбасный поезд (колбасная электричка) 7, 9–14, 20, 36, 275
 «Колдунья» 65–67
 Коллективизация 358
 Коллективизация быта 267, 270, 272
 Коллективизм 162, 262, 268, 278
 Коллективное тело 278
 Коммуна 140, 262–273, 275–278, 323
 Коммунальная квартира (коммуналка) 60, 123, 142, 180, 187, 194, 268, 273, 334, 363, 393, 398, 400, 461, 463, 504
 Коммунитаризм 267, 275, 278
 Комсод 218
 Комсомольская пасха 129–130
 Комсомольская свадьба 157–158
 Комсомольское рождество 116–117
 Контрацепция 172, 182–183
 Короткая стрижка 37, 60, 62, 64, 67, 194
 Кофе 376, 377, 406, 407, 429–431, 434, 463–464
 Книги 13, 44, 72, 107, 186, 188, 192, 202, 211, 224–242, 270, 279–282, 298, 301–302, 326, 351, 383–384, 417–418, 424, 425, 449, 450, 451, 452, 457, 489, 496
 Красная косынка 189–193, 195–197, 202
 Красная свадьба 156–157
 Красный платок 98, 190–193
 Крематорий 313–321
 Крепдешин 303
 Кролики 204, 372, 408, 436–437
 «Кролик под котика» 436–437
 Кукуруза 401–409
 Кулинария 379–380, 418, 425
 Купальник 97, 102, 104, 105–109, 111, 114, 210
 Купля-продажа 141–142, 279, 286, 293

- Лексика 14, 39, 58, 143, 157, 224, 255, 312, 322, 383, 384, 398, 429, 486, 494, 498
- Личный архив 23, 29, 48, 63, 70, 71, 86, 100, 112, 124, 138, 146, 155, 163, 164, 194, 219, 235, 236, 237, 274, 295, 296, 297, 302, 307, 340, 344, 345, 358, 359, 395, 438, 469, 472, 473, 475, 502
- Лондонка 202
- Лотерея 113, 206, 214–215, 220, 223, 445
- Любовь 69, 158, 165, 172–176, 184, 185, 190, 231, 232, 326, 391, 490, 491, 496, 501
- «Магазин без продавцов» 420–421
- Магнитофон 338, 460, 462–463, 499
- Малогобаритка 382, 394, 397–399
- Маклер 142–143
- «Манная каша» (микратора) 83, 90
- Манто 434, 436, 441, 443
- «Мебельные дела» 16, 352–353, 360
- «Менингитка» 199
- Мех 73, 190, 204, 306, 432–446, 494
- Меховые шапки 200, 203–204
- Мещанство 32, 195, 208, 439, 486, 491–495, 498
- МЖК (молодежный жилищный комплекс) 144–145
- Микратора 83, 90–93
- Микроистория 19, 307
- Милитари-мода 62, 467
- Модернизация 313, 366, 378, 500, 505–506
- «Мокроступы» 76, 77, 81, 83, 84
- Молодожены 154, 158, 160, 163–165, 169
- Морфий, морфинизм 243–250, 254, 255, 256, 258–259
- Мохер 204, 310
- Мужчина (мужское) 13, 26, 31, 33, 37, 38, 47, 56, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 70–71, 72, 75, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 97, 101, 106, 109–110, 154, 171, 172, 173, 176, 179, 185, 186, 187, 191, 194, 195, 196, 197, 198–199, 202–203, 204, 205, 225, 270, 279–280, 286, 302, 330, 332, 334, 341, 347, 353, 375, 440, 444, 467, 468, 471, 473, 474, 476, 478, 479, 480, 485, 490–491, 497
- Муниципализация 134, 136, 141, 348–349, 355, 361–362
- Найм-сдача 141
- Наркотики 243–259, 423
- Наркомания 243–244, 248–249, 252–255, 257, 259–260, 287, 503
- Наркодиспансер 254
- Нарпит 367–368, 371
- Нарратив 16, 217
- Начес (ворс) 31
- Начес (укладка волос) 66–67
- Нейлон 13, 109, 205, 440, 443–445
- Нейлоновые рубашки 440
- «Непрерывка» 120, 130
- «Никитовая колбаса» 413
- Норма 26, 27, 28, 43, 44, 115, 120, 125, 129, 140, 147, 167, 174, 177, 184, 211, 212, 215, 245, 262, 263, 283, 285, 293, 315, 321, 335, 336, 339, 354, 355, 360, 363, 364, 398, 405, 429, 451, 476, 482, 484–486, 488, 504
- Нормы жилищные 263, 265, 270, 271, 273, 277, 278, 346, 350, 361
- Ночлежка 273
- Нэп 17, 34, 41, 79, 84, 116, 118, 119, 125, 129, 130, 136, 141, 146, 147, 153, 182, 193, 207, 211, 212, 214, 216, 225, 227, 250, 253, 254, 257, 266, 267, 286, 299, 301, 318, 319, 322, 325, 331, 355–359, 367, 369, 388, 434, 435, 447, 466, 467, 470, 467, 485–486, 487, 492
- Облигация 216–222
- Обмен 141–143, 150, 356

- Обручальные кольца 122, 158, 161, 164–166
- Обувь 13, 26, 76–79, 81–94, 306, 355, 441, 452, 468, 502
сменная 91
резиновая 76–79, 81–83, 93–94
- Общежитие 145, 169, 261–265, 268, 273, 275, 278, 370, 413, 461, 489
- Общественное питание 368–371, 374, 376, 378, 411
- Одежда 9, 13, 15, 25, 26, 28, 31, 36, 80, 84, 96–97, 99, 101, 102, 107, 110, 114, 120, 156, 157, 189, 191–193, 195, 198, 201, 203, 205, 267, 270, 299, 302–304, 311, 335, 351, 354, 355, 356, 384, 399, 432–433, 435–446, 465–473, 476–480, 482–483, 485, 486, 492–493, 495, 496–498, 501, 502, 505
- Онэпивание 486–487
- Опий, опиум 244, 245, 249, 255, 259
- Орлон 384, 442
- Отдых 23, 69, 95–96, 98–99, 101–107, 111, 114, 118, 123, 127, 145–148, 229, 262, 269, 275, 348, 368, 450, 460, 467, 477, 479, 480, 488, 505
- Отель Советов 265–266
- Оттепель 23, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 50, 52, 65, 66, 83, 84, 88, 90, 91, 93, 94, 109, 110, 114, 131, 161, 171, 184, 186, 201, 202, 203, 222, 236, 238, 302, 303, 308, 309, 335, 340, 342, 376, 382, 383, 412, 416, 424, 429, 450, 451, 453, 457, 460, 464, 477, 490, 494
хрущевская оттепель 83, 88, 94, 171, 201, 236, 416, 424, 477, 490
- «Парилки» 122
- Пасха 129–133, 190, 405
- Патология 115, 118, 120, 188, 207, 485, 487–488, 491, 495
- Парикмахерская 59, 66, 73, 74, 435
- Перманент 62–63, 73
- Пивная 44, 47–50
- Пивбар 49
- Пижама 99, 104, 114
- Пирожок (шапка) 204
- Плавки 104–105, 109, 111–112, 114
- Платье 89, 127, 299–301, 302, 303–305, 309, 311, 331, 437, 439, 478
белое платье 97, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 166, 205, 298
- Пляж 89, 96–97, 101, 105–108, 110–111, 214, 344–345
- Половой вопрос 171, 268
- Полотер 450, 451, 453, 456
- Портной, портниха 273, 299–300, 304–306, 479
- Походы 30, 106, 113–114, 414
- Пражская весна 472
- Приватность 38, 95, 104, 114, 181, 186, 262, 268, 294, 301, 308, 447
- Проституция 251, 254, 279–293, 484, 503
- Профилакторий 53–54, 257, 280, 288–290, 292
- «Прощай, молодость» 90–91, 94
- Пылесос 450, 451, 453, 454
- Распределение 98, 140, 346, 368, 372, 397, 443, 481, 504
- Распашонка 399
- Регламентация 58, 64, 75, 141, 143, 182, 264, 282, 284, 285, 293, 323, 333, 339, 485, 504
- Репродуктивность 177, 180–181
- Ресторан 48, 50, 125, 166–168, 277, 329, 338, 366–371, 373–377, 380–381, 404, 410, 434–435, 481
- Религиозный праздник 115, 121, 124–125, 129, 131, 132, 504
- Религия 116, 117, 133, 161, 314, 317, 504
- Ретретиизм 243, 252–254, 257–258, 260
- РЖСКТ 139, 140
- Ритуал 56, 64, 130, 131, 153, 156, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 312, 318,
- Рождение 153, 160, 162, 163, 312, 313, 321, 322, 325, 504

- Рожество 115–121, 123, 125, 127
 Розыгрыш 206, 214, 215, 217, 220, 373
 Рок-н-ролл 342–343
 Рукоделие 107, 294, 298, 300–302, 304, 307, 311
 «Русское чудо» 405
 Рыбный день 411, 413
- Садоводство 93, 150
 Самиздат 239–241
 Самоубийство, суицид 80, 313, 325–327, 409, 484, 489, 491, 503
 Самоуплотнение 141, 360–363, 365
 Санаторий 25, 96–96, 98–99, 101, 114, 223, 373, 479, 488
 Сапоги 13, 84–87, 94, 136, 250, 482
 Сапожки 91
 Сапожник 83, 306
 Сберкасса 218–219
 Сберкнижка 219, 222
 Свадьба 103, 153, 155–157, 159–165, 167–170, 337, 452, 463–464
 Секс 171, 173, 175, 177, 188, 270, 287, 491
 Сексуальность 64, 97, 171, 174, 176, 177, 179, 180, 182, 186–188, 478, 502
 Сексуальные отклонения 175
 Сексуальные практики 172, 173, 181, 188, 342
 Смерть 25, 55, 56, 127, 132, 133, 150, 154, 158, 159, 160, 178, 180, 203, 312–315, 319, 321, 322, 325–327, 329, 335, 360, 365, 393, 399, 417, 418, 431, 438, 501, 504
 «Советскость» 170, 216, 346
 «Солнцедар» 54–55
 Спецраспределитель 277
 «Спортлото» 215–216
 Социальная болезнь 254
 Соя 406–407
 Сталинизм 23, 25–26, 37, 64, 158, 177, 178, 179, 181, 242, 412, 429
- «Сталинные дома», «сталинки» 380, 385, 393, 438
 Сталинский ампир 385, 386
 Сталинский гламур 9, 62, 64, 65, 86, 198, 200, 201, 333, 376, 419, 435, 437, 438, 442, 473, 493
 «Сталинский торт» 201
 Статус (модный, социальный) 27, 59, 64, 86, 94, 127, 129, 130, 153, 180, 195, 264, 281, 288, 308, 312, 415, 433, 437, 439, 444, 472, 499
 Стиральная машина 215, 450, 451–454
 Спецеедство 465
- Талоны 57, 113, 164, 165, 242
 Танго 329, 330, 332, 333, 335, 339, 342
 Танцкласс 330–332
 Танцплощадка 22, 26
 Танцы 22, 209, 213, 214, 274, 328–345, 384, 440, 504
 Тапочки 92, 93
 Твист 343–345
 Телевизор 131, 365, 402, 424, 460–462, 499
 Тело, телесность 25–28, 30, 58, 64, 75, 96, 105, 107, 114, 262, 263, 265–269, 272, 280, 341, 400, 501, 502, 505
 «Техасы» 480
 Торгсин 122, 158
 Трусы 97, 106, 107, 109–110, 111
 семейные 109–110
- Унисекс 26, 90, 196, 203, 467–468, 470–471, 473–476, 478–480, 482–483, 506
 Уплотнение 346, 349–352, 355, 360–361, 363–365, 504
 Управдом 123, 137–138, 215, 359, 391
- Фабрика-кухня 270, 366, 368–372, 378, 502
 Фаланстер 262–268, 271–273, 277

- Фарцовка 440, 475, 481
Фарцовщик 211, 376, 482
Фата 153, 157, 159, 163, 166, 168
Фокстрот 332–333, 335, 339, 342, 476
Фольклор 10, 11, 14, 31, 42, 49, 51,
54, 55, 85, 157, 170, 178, 179, 217,
218, 221, 222, 323, 332, 415, 502, 506
Формоносец 466
- Химическая завивка 73–74
Хек 412, 414, 415
Хозобрастание 487
Хрущевка, хрущоба 382–383, 384,
390, 391, 393–396, 399, 400
Художественная литература 13,
16–17, 32, 39, 54–55, 61, 73, 79, 91,
125, 135, 140, 156, 174, 185, 186, 192,
195, 217, 224, 232, 234, 326, 349,
352, 357, 372, 383, 436, 438, 480,
495, 502
- Царица полей 401, 403, 407
Цыпленок табака 410
- Чарльстон 22, 340–341
Частная жизнь 175, 177–178, 184,
188, 230, 298, 460
Черемушки 391–392
Черный костюм 159, 161–162, 166,
353, 433, 438
- Чипсы 416, 428, 502, 505
Чтение 17, 225, 229–230, 233, 234,
281, 383, 450, 489
Чудесница 402–403
- Шампанское 24, 45, 104, 126–127,
333
Шампунь 72, 75
Шапка-ушанка 149, 204–205
Швейная машинка 308
Шестидневка 123, 448
Шимми 84–85
Шитье 294, 299–305, 307–309, 442,
473, 479
Шляпа, шляпка 97, 107, 128, 168,
189–191, 194–203, 287
Шпилька 88–90
Шуба 8, 432, 439, 442–446, 494,
502–505
- Электроприборы 428, 447–448,
450–451, 453, 463–464, 502, 505
Эротизм, эротика 114, 172, 177, 181,
184, 188, 345, 478
Эфедрин 259
- Юнгштурмовка 61, 189, 465–468,
483, 502, 506
- Язвы 385, 484, 486, 502, 506

СОДЕРЖАНИЕ

Историк и антропологический поворот: общее и сугубо частное	7
Акваланг <i>Любительский спорт: от гражданской обязанности к модному стилю поведения</i>	21
Бормотуха <i>Алкоголь в сфере советской социально-бытовой политики</i>	39
Волосатик <i>Волосы и власть: протест и контроль</i>	58
Галоши <i>Научно-технический прогресс и внешний облик горожанина</i>	76
Дикари <i>Одежда как гарантия приватности досуга</i>	95
Елка <i>Религиозные праздники в стране «безбожников»: инверсия досуговых норм и патологий</i>	115
ЖАКТ <i>Личная инициатива решения жилищных проблем: возможности и ограничения</i>	134
ЗАГС <i>Брачные институты и обряды: «советскость» и традиционность</i>	153
Интим <i>Сексуальные практики эпохи социализма: регламентация сферы приватности</i>	171
Красная косынка <i>Головные уборы: мода или социальная мимикрия?</i>	189

Лотерея		
Соблазны азарта:		
<i>формы государственного регулирования</i>		206
Макулатура		
Художественная литература:		
<i>характеристики культурно-бытового маркера</i>		224
Наркомания		
<i>Ретретизм в пространстве советской жизни</i>		243
Общежитие		
<i>Коммунитаризм в СССР: границы тела</i>		261
Проституция		
Классика сексуальной коммерции		
<i>в новых социальных условиях</i>		279
Рукоделие		
Хенд-мейд и семейные архивы —		
<i>источники по истории повседневности</i>		294
Смерть		
Смена обрядов перехода: секуляризация бытовых норм		312
Танцы		
Танцевальная культура в советском быту:		
<i>политико-эротические характеристики</i>		328
Уплотнение		
Жилищный передел: правовые и эмоциональные аспекты		346
Фабрика-кухня		
Общественное питание: городские традиции		
<i>и советские инновации</i>		366
Хрущевка		
Слово и здание в контексте десталинизации		382
Царица полей		
Новые пищевые продукты в условиях дефицита:		
<i>поиски выхода или инновации в сфере питания?</i>		401
Чипсы		
Вестернизация еды в СССР		416

Шуба	
<i>Вещи эпохи химизации как инструменты деструкции сталинского гламура</i>	432
Электроприборы	
<i>Наука и техника в быту советского горожанина: вещи и смыслы</i>	447
Юнгштурмовка	
<i>Вестиментарные знаки гендерного равноправия</i>	465
Язвы	
<i>Принципы конструирования социально-бытовых аномалий</i>	484
«Новый поворот, что он нам несет?»	
<i>Бытовизация/антропологизация исторического процесса — инструмент исследования прошлого</i>	500
Примечания	507
Библиография	525
Указатель имен	559
Предметный указатель	568

Наталья Лебина

ПАССАЖИРЫ КОЛБАСНОГО ПОЕЗДА

ЭТЮДЫ К КАРТИНЕ БЫТА
РОССИЙСКОГО ГОРОДА: 1917–1991

Редактор *Л. Оборин*
Дизайнер обложки *С. Тихонов*
Корректоры *Т. Озерская, М. Смирнова*
Верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

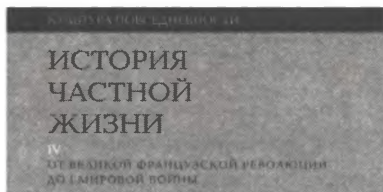
ООО Редакция журнала «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
сайт: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84 × 108 1/32. Бумага офсетная №1.
Офсетная печать. Печ. л. 18,25. Тираж 2000. Зак. № 1094/18.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А
www.pareto-print.ru

в серии: КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

История частной жизни. Том 4
От Великой Французской революции
до I Мировой войны
Под общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби



Пяти томная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пяти томник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. В четвертом томе — частная жизнь европейцев между Великой французской революцией и Первой мировой войной: трансформации морали и триумф семьи, особняки и трущобы, социальные язвы и вера в прогресс медицины, духовная и интимная жизнь человека с близкими и наедине с собой.

в серии: КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Инухико Ёмота Теория каваяи



Современная японская культура обогатила языки мира понятиями «кавайи» и «кавайный» («милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»). Как убедятся читатели этой книги, Япония просто помешана на всем миллом, маленьком, трогательном, беззащитном. Инухико Ёмота рассматривает феномен каваяи и эволюцию этого слова начиная со средневековых текстов и заканчивая современными практиками: фанатичное увлечение мангой и анимэ, косплей и коллекционирование сувениров, поклонение идол-группам и «мимимизация» повседневного общения находят здесь теоретическое обоснование. Сопоставляя каваяи с другими уникальными понятиями японской эстетики, автор размышляет, действительно ли каваяи представляет культуру Японии? Инухико Ёмота — известный японский ученый-гуманитарий: семиотик, литературовед, киновед, переводчик, приглашенный профессор в нескольких японских и зарубежных университетах, автор почти ста книг.

в серии: КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Анна Иванова
Магазины «Березка»:
Парадоксы потребления в позднем СССР



Магазины «Березка» воспринимались в советском обществе одновременно и как эталон потребления, и как пример социальной несправедливости. В книге Анны Ивановой розничная валютная торговля в позднем СССР впервые становится объектом исторического исследования. Автор рассматривает причины появления магазинов «Березка», описывает категории советских граждан, имевших доступ в «закрытые» валютные магазины, и образ валютной торговли в официальном дискурсе и среди потребителей. Книга основана на документах из центральных и республиканских архивов, материалах советской прессы, воспоминаниях и личных интервью как с работниками, так и с пользователями системы валютной торговли.

в серии: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЕРИЯ

Лев Рубинштейн
Целый год. Мой календарь



По словам автора, календарь, вещь сугубо прикладная, предельно эфемерная, является яркой и поучительной приметой своего времени, быть может более наглядной, чем объекты так называемой высокой культуры. Он предназначен, чтобы служить год, а при этом имеет свойство застревать в памяти на целые десятилетия. Известный поэт и прозаик Лев Рубинштейн предлагает читателю свой календарь, где каждый день отмечен каким-нибудь сохраненным прихотливой памятью событием, воспоминанием, красноречивой деталью, в которой странно и удивительно преломляется эпоха... Где, казалось бы, заурядные бытовые мелочи вдруг поражают своей неожиданной глубиной и теплотой живой жизни.

в серии: КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Юлия Яковлева
Создатели и зрители:
Русские балеты эпохи шедевров



Главный герой новой книги известной писательницы, критика балета Юлии Яковлевой, — Мариус Иванович Петипа, человек, который создал русский классический балет, каким мы его знаем. Но знаем ли на самом деле? Юлия Яковлева очищает историю русского балета от культурных наслоений советского времени — и погружает читателя в быт театральной конкуренции и балетомании, в условности изнурительной подготовки спектаклей и темные истории о небескорыстном покровительстве. На страницах этой книги читатель встретится с Артуром Сен-Леоном и Петром Чайковским, Вирджинией Цукки и Екатериной Вазем — люди, составившие славу русской культуры, а равно и те, кто остался лишь в учебниках по истории театра, вновь предстанут здесь как живые.


Новая книга известного историка **Наталии Лебиной** состоит из исследований — этюдов, на микро- и макроуровне описывающих все стороны повседневности советского горожанина: от питания до развлечений, от выбора одежды до интимной жизни, от заключения брака до похоронных обрядов.

ЛЕЙТМОТИВ КНИГИ — СПЕЦИФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СОВЕТСКИХ УСЛОВИЯХ. ЛЕБИНА ПИШЕТ НЕ ТОЛЬКО КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, НО И КАК СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ: ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ЕЕ СЕМЬИ ВЫСТУПАЮТ КАК ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ, В КОТОРЫЕ ПОПАДАЛИ СОВЕТСКИЕ ОБЫВАТЕЛИ.

2-28-1 Читин-город
02.02.2019 ООО 'ГРАМОТА'
Пассажир колбасного поезда Этюды к книге
"Ине быта российского города 1917-1991"

РЧ
Че-

16
Номер
9540760
Код
2698678
ТБК
11-85



9785444809488 ВК:
Цена 671 руб.